

Л. Н. Большаков

«ВСЕ ОН ИЗВЕДАЛ...»

Тарас Шевченко: поиски и находки



Эта книга - итог долголетних настойчивых и увлеченных поисков нового о Тарасе Шевченко. В исследовательских повестях и рассказах лауреата премии им. П. Г. Тычины "Чувство семьи единой" Л. Н. Большакова жизнь и творчество гениального Кобзаря рассматриваются с разных сторон и в различных аспектах, но всегда на основе ранее неизвестных или малоизвестных источников, прежде всего архивных. Автора волнуют проблемы взаимодействия среды и творческой личности, углубления интернационализма поэта, прозаика, художника, психологии рождения и осуществления его замыслов.

ВСТУПЛЕНИЕ

У каждого из нас свой Пушкин и свой Шевченко.

Всякое новое поколение богаче предшествующего - такова диалектика жизни. Чем глубже наши знания, чем шире наши горизонты, тем больше извлекаем мы из шевченковской сокровищницы. Открытия порождают загадки. Загадки влекут к поискам. И так будет всегда.

Много лет читаю я Тараса Шевченко.

Жизнь Шевченко, его творчество, его судьба не дают мне покоя.

Шевченко - целый мир. Мир образов, чувств, мыслей, идей. Именно им, безграничным шевченковским миром, всем нашим общим - и моим личным - желанием проникнуть в него глубже вызвана к жизни каждая страница мною написанного. В это издание вошла лишь часть сделанного за четверть века; в иных

разделах ранее изданное предстает только в виде фрагментов. Но, формируя книгу, которая перед вами, я старался с наибольшей полнотой, целостностью, убедительностью передать читателю свое преклонение перед гением.

Из конца в конец исхожены мною дороги Тарасовы. Исхожены? В наше время это понятие и проще, и... сложнее. С недавних пор быстроскрылый Ту напрямую связал Оренбург с Мангышлаком. За каких-то три часа можно проделать путь, на который ему, Шевченко, потребовалось более двух недель. Но с высот трассы скоростного лайнера не увидишь - и тем более не почувствуешь - всего того, что открывалось взгляду изгнанника и откладывалось в душе его, чтобы потом вылиться в слова и строки. Добраться до нужного пункта - дело ныне простое, нехитрое; докопаться до истины - вот это сложно. И с каждым годом все сложнее. Почему? Да потому, что верхние слои знаний сняты и отработаны, надо идти вглубь, проникая во все более дальние горизонты, а подземные клады, как известно, залегают не сплошными пластами. Много, очень много усилий затратишь, прежде чем нащупаешь действительно ценное, нужное, то, без чего не обойтись никак.

ЛЕТА НЕВОЛЬНИЧЬИ

ГОРЬКИЙ ИЮНЬ

1.

Его арестовали 5 апреля 1847 г. во время переправы через Днепр возле Киева.

Того же месяца, 17-го, квартальному надзирателю киевской полиции Гришкову была выдана расписка: "...доставленный им в сопровождении одного жандарма из Киева художник Шевченко с его бумагами и вещами принят в исправности в III отделении собственной е. и. в. канцелярии".

Пробыл Шевченко в каземате полтора месяца. Но показались ему эти 44 дня настолько долгими, бесконечно долгими, что вспоминал их семь лет спустя как "тяжкие полгода".

Между тем и в заключении, перед допросами и после допросов, будучи в полном неведении насчет будущего, он продолжал творить.

На тонкой почтовой бумаге, сложенной в несколько раз, поэт записал тринадцать своих стихотворений: "Ой одна я, одна...", "За байраком байрак...", "Мет однаково", "Не кидай матер!!" - казали, "Чого ти ходиш на могилу?", "Ой три шляхи широки...", "Ве-селе сонечко ховалось...", "Садок вишневий коло ха-ти..." и другие - целый цикл.

Некоторые из них были задуманы раньше, на свободе.

Садок вишневий коло хати, Хрущ! над вишнями гудуть, Плугатар! з плугами йдуть, Сшвають вдучи д!вчата, А матер! вечерять ждуть...

А это он "услышал в себе" после того, как увидел через решетки камеры старенькую мать Костомарова, пришедшую на свидание к сыну.

...І я згадав своє село. Кого я там коли покинув? І батько і мати в домовин!... І жалем серце запеклось, Що шкому мене згадати! Дивлюсь: твоя, мш брате, мати Чортше чорно! земл! Іде, з хреста неначе знята...

Поэт задумался и над своей судьбой:

В невол! тяжко, хоча и вол!, Сказать по правд!, не було. Та все-таки якось жилось. Хоть на чужому, та на пол!...

Судьбой и будущим; оно, по всему видно, ничего хорошего ему не сулило:

Холоне серце, як згадаю, Що не в Украин! поховають, Що не в Украин! буду жить, Людей і господа любить.

В общем, тринадцать. Кроме названных,- "Не спа-лося,- а н!ч, як море...", "Рано-вранц новобранц!...", "В невол! тяжко, хоча и вол!...", "Чи ми ще зждемося знову?", "Косар" ("Понад полем !де...") - тоже стихи взволнованные, проникновенные.

Он написал их в камере, за сорок четыре дня. Полтора месяца показались ему полугодием. "Через піе-року вивели мене на свгт божий..." (Т. Шевченко - Я. Кухаренко.- 1854).

Вывели после приговора - сурового, беспощадного и ни в чем не обнадеживающего:

"...Художника Шевченко, за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский Отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений".

Доклад начальника III отделения Орлова Николай I удостоил своей резолюции. Как засвидетельствовал почтительный служака Дубельт: "На подлинном собственною его величества рукою написано карандашом: "под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать".

Писать... Рисовать...

Да ведь это равно запрету жить!

...В невол! вир!с меж чужими, І, неоплаканий своши, В невол!- плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого слвду не покину На нашш славши Укра\ш, На нашш - не сво'ш земл!...

"Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора",- напишет он в дневнике десять лет спустя.

А тогда? В день и час объявления участи?

Шевченко, его товарищи по Кирилло-Мефодиев-скому братству слышали царскую волю 30 мая 1847 года.

И в тот же день...

Вспоминал Н. И. Костомаров, один из кирилломе-фодиевцев:

"...Взглянувши в окно моего номера, я увидал, как вывели Шевченко и посадили в экипаж: его отправляли для передачи в военное ведомство. Увидя меня, он улыбнулся, снял картуз и приветливо кланялся..."

Уезжал в горе, но - с улыбкой!

2.

Управляющий военным министерством - начальнику III отделения Орлову:

"Милостивый государь граф Алексей Федорович!

Сделав распоряжение к отправлению с фельдъегерем присланного при отношении вашего сиятельства № 876 бывшего художника С.-Петербургской Академии художеств Шевченка к командиру Отдельного Оренбургского корпуса для зачисления рядовым в один из оренбургских линейных батальонов, я имею честь уведомить о сем ваше сиятельство.

Покорнейше прошу принять уверение в моем совершенном почтении и преданности.

В. Адлерберг"

Из того дня, 30 мая, дошло до нас с полдюжины - даже больше - бумаг, касающихся Шевченко. И мы знаем, о чем распорядился дежурный генерал Игнатьев, куда поместили "секретного арестанта" в ожидании и как устроили его охрану, кто и что принял: арестанта и вещи - поручик Гусев, деньги - помощник казначея Романенко, "конверт № 876" - старший адъютант Попович. Медлить тут не собирались.

И не медлили.

Но отправили не тридцатого, как о том из издания в издание свидетельствует "Летопись жизни и творчества Т. Г. Шевченко".

Первым взял под сомнение эту дату и убедительно оспорил ленинградский историк Николай Иванович Моренец. Он назвал другую - 31 мая. А в доказательство сослался на официальную переписку - ее я упомянул чуть раньше.

Что ж, для вывода о тридцать первом основания есть.

30 мая генерал-адъютант Игнатьев, уведомляя о полной готовности к отправке Шевченко, писал: "...чтобы избежать посылки нарочного фельдъегеря собственно для доставления этого арестанта, я отнесся к директору канцелярии военного министерства и управляющему департаментом военных поселений о сообщении сведений: не предстоит ли теперь или в скором времени надобности в отправлении каких-либо экстренных бумаг в Оренбург". Другим письмом того дня генерал просил "наряжать с сего числа в инспекторский департамент военного министерства одного человека из ближайшей к департаменту гауптвахты", оговаривая, что отмена поста "последует в самом непродолжительном времени".

На первом письме Игнатьева имеется резолюция: "Ежели нет... каких экстренных бумаг, то надобно отправить Шевченко теперь же..."

Что касается часового, то из переписки известно: его выделили 30-го, а уже 31-го надобность в нем миновала.

Почему?

"Поскольку арестанта отправили..." - сделал вывод Н. И. Моренец.

Мне же хочется уточнить: "...или передали под непосредственное наблюдение фельдъегеря". В таком случае они могли отправиться в путь и рано поутру 1-го июня.

В летописях и биографиях это стоит оговаривать.

Но так или иначе, а о 30-м, как дне выезда, речи уже быть не может.

Однажды я отыскал в Оренбурге любопытную подшивку старых бумаг. На обложке ее значится: "Дело об экстра-почте из Москвы в Оренбург и обратно". Со всей тщательностью тут подобрана переписка почтового департамента с оренбургскими военными властями.

"Для доставления Оренбургу сношения скорого и безостановочного с обеими столицами, в 1833 году учрежден ход экстра-почты между Москвою и Оренбургом, по одному разу в неделю.

Сия экстра-почта отходит из Москвы по пятницам, приходит в Оренбург по четвергам, на шестые сутки...

На сию экстра-почту бумаги казенные и письма посылаются из Санкт-Петербурга до Москвы по вторникам..."

Значит, Шевченко с 1 по 4 июня находился в пути из Петербурга в Москву, четвертого же был увезен далее и уже не на девятые, а именно на восьмые сутки оказался в Оренбурге.

"Во мне была (как я после узнал) экстренная надобность..." - иронизировал поэт-изгнанник спустя годы, и добавлял: "Он меня из Питера на осьмые сутки поставил в Оренбург, убивши только одну почтовую лошадь на всем пространстве.

3.

Он - это фельдъегерь Виддер. "Фельдъегерь неудобозабываемого Тормоза" - сказано о нем в дневнике. И ни одного доброго слова.

В военном министерстве Виддеры служили много лет. Три брата, они слыли самыми надежными и безупречными исполнителями. Пунктуальнейшее исполнение инструкций, отсутствие каких бы то ни было эмоций, в том числе - и прежде всего - сочувствия к "подопечным", службистское рвение выдвинули их в первый ряд даже среди столь же вышколенных фельдъегерей ведомства.

Теперь один из братьев препровождал в Оренбург, к командиру Отдельного Оренбургского корпуса, рядового Шевченко. Задание было из "особо ответственных", Виддер проникся этим сознанием сразу и, едва выехав, взял темп весьма быстрый.

Никаких задержек, промедлений.

Никаких "неслужебных" разговоров, тем более с посторонними.

Дальше... дальше...

В повести "Близнецы" Шевченко "провезет" потом этим маршрутом своего лекаря Сокиру. Лекарь захочет рассказать о виденном своим близким. Но не очень-то это удастся. "...Сегодня совершенно свободный день, и, чтоб не потратить его все, я взялся за перо и думал описать вам мимолетное мое путешествие, но как подумал хорошенько, то оказалось, что и писать нечего, что все пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько..."

Маршрут же был более чем разнообразным.

698 верст "столичного" тракта - из Петербурга в Москву - это и Ижоры, и Чудово, и Новгород, и Вышний Волочек, и Торжок... и сколько городов, сел, деревень еще!

Сколько почтовых станций, столько и остановок. Смена лошадей, отметка подорожных - Виддер сводил "потери времени" к минимуму. Впрочем, фельдъегерям вообще предпочитали не перечить - станционные смотрители были людьми бывалыми, осмотрительными.

Ночлег сокращали тоже. Останавливались, конечно, не в лучших гостиницах, вроде той, которую воспел Пушкин:

На досуге отобедай У Пожарского в Торжке, Жареных котлет отведай И отправься налегке!

"Пожарские котлеты" на более чем скромные кормовые не закажешь; нет и досуга, чтобы ими насладиться. Скамья на почтовой станции, еда, приготовленная наскоро,- вот и весь отдых после десятков верст тряского пути.

- Ни одной черты не могу схватить хорошенько,- сокрушался Сокира.

Так же "промелькнул" и стольный град Москва. Задержались в нем не более чем на другой какой почтовой станции - и дальше, на Нижний Новгород: через Богородск, Покров, Владимир, Муром, по карте - 441 верста.

...Владимирский тракт - слезами политая Владимирка - сколько горя тут прошло, сколько судеб в грязь втоптанно.

4.

Что мы о пути том достоверно знаем?

Ни-че-го!

Виддер мемуаров не писал - его призванием было иное.

Сам Шевченко?

"...все пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает..."

Десять лет спустя он остановится - на пути к Москве - во Владимире и даже не вспомнит, что однажды на этой почтовой станции уже был. Да что там во Владимире, если за полгода жизни в Нижнем Новгороде (сентябрь 1857 - начало марта 1858) Шевченко ни разу не оговорится, мол я здесь бывал и при других обстоятельствах! Мелькало и - промелькнуло...

А все-таки что-то да вспомнил!

Дневник, 13 сентября 1857-го. "Казань городок - Москвы уголок.

Эту поговорку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в Симбирской губернии, когда препровождался я на фельдъегере в Оренбург. Какой-то упитанный симбирский степняк, описывая моему препроводителю великолепие города Казани, замкнул свое описание этою ловкою поговоркою. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась..."

Тогда он Казани не видел. Как не видел и Симбирска.

Дневник, 9 сентября.

"Другой раз я проезжаю мимо Симбирска, и другой раз не удастся видеть мне монумент придворного историографа. Первый раз в 1847 меня провез фельдъегерь мимо Симбирска. Тогда было не до монумента Карамзина. Тогда я едва успел пообедать в какой-то харчевне, или, вернее сказать, в кабаке. Во мне была (как я после узнал) экстренная надобность в Оренбурге, и потому-то фельдъегерь неудобно-забываемого Тормоза не дремал..."

Доискиваться не станем - где, когда, на каком перегоне огромного пространства Виддер загнал (у Шевченко - "убил") почтовую лошадь.

Он удивлялся: "только одну".

Удивлялся потому, что мчали сверх всяких сил и возможностей.

Из Нижнего Новгорода в Казань вел так называемый Большой Московский тракт. Через Васильсурск, Чебоксары, Свияжск. По земле, населенной русскими, чувашами, татарами. С Волгой и ее притоками... Еще 380 верст на восток, навстречу... солдатчине.

В Симбирск из Казани - путем кратчайшим: через Сеитово, Буинск, Шумовку. 204 версты... Лаишевский тракт "котировался" повыше, но удлинял путь на 35 верст, почти два перегона, и фельдъегеря это не устраивало.

Фельдъегерь и торопился, и торопил.

5.

Вернемся к цитате из "Близнецов" - описанию Сокирой своей поездки.

Полторы тысячи верст для Шевченко "промелькнули". Но чем ближе становился край неволи, тем пытливей, острее всматривался он во все, что можно было увидеть.

"...Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи. Переправясь через Волгу, я в Самаре только пообедал и сейчас же выехал. И после волжских прекрасных берегов передо мною раскрылась степь, настоящая калмыцкая степь. Первая станция от Самары была для меня тяжела, вторая легче, и глаза мои начали осваиваться с бесконечными равнинами".

С Волгой он встречался в пути своем не раз. И хоть не было для него ближе, дороже, роднее Днепра, не мог не восхищаться Шевченко красотой великой реки России и ее берегов:

"После волжских прекрасных берегов..."

Из всего, что промелькнуло, запомнилась она, Волга-матушка.

Тем разительнее оказался контраст: "прекрасные берега" и - "настоящая калмыцкая степь". Почему "калмыцкая"?

О заволжской степи он знал понаслышке или из литературы. А в устных рассказах и печатных книгах сложились уже определенные представления: если степь за Волгой, значит непременно калмыцкая. Вот и у Пушкина: "друг степей калмык".

І там степи, і тут степи, Та тут не такп, РУДИ, РУДИ, аж червой!, А там голуб!!'...

Впечатления личные складывались по крупицам. Стихи Шевченко додумает, запишет уже на месте.

"Первая станция от Самары" - Алексеевск. До Алексеевска ему было "тяжело": степь и степь. Ко второй - Бобровке - стало "легче". С каждой последующей (Малышевка... Богот-Умет... Заплавная...) глаза все более "осваивались" с "бесконечными равнинами".

Рассматриваю старые карты, которые удалось отыскать в картографической коллекции Государственного архива Оренбургской области. Они-то и позволяют с наибольшей достоверностью представить путь, проделанный Тарасом Шевченко в июне сорок седьмого.

Путь горьких раздумий о будущем.

Дорога-мастерская.

Мастерская поэта - она и в дороге, когда не толь ко дремлетсЯ, а и думаетсЯ.

"...Не зробив я, і не думав я, атамане, батьку мш, кому-небудь лихого, а терплю горе і бог його знав за що. Така, мабуть, уже усгм кобзарям погана доля..."

Пушкин. Рылеев, Лермонтов. Полежаев, Одоевский. Славные Кобзари России и мира, сколько и как вы страдали, какие муки приняли! А стихи ваши живут, стихи - вечны.

"...Усгм кобзарям погана доля, як і мет, недотеп-ному, випала". Я будто не строки в письме к Куха-ренко читаю, а мысли, сокровенные мысли поэта подслушиваю.

Написанное в каземате III отделения он везет с собою. Сложенные не раз листочки тоненькой почтовой бумаги - трудно ли их припрятать? Он посвятит весь этот цикл своим товарищам, своим союзникам.

Згадайте, браия моя... Бодай те лихо не вертелось, Як ви гарнесенько і я 13-за решотки визирали.

Посвящение нужно - само напрашивается. Дадут ли ему взять карандаш? Как руки отрубили: "с запрещением писать и рисовать". Поэту - и не сочинять?! Художнику - и не рисовать?!

"Веселе сонечко ховалось" надо прямо посвятить Николаю Ивановичу Костомарову. А может, его матери, Татьяне Петровне? Как она убивалась тогда, сердечная! Вот уж поистине: "чорнипе чорно! землю.

Дивлюсь - невольникова мати... Не так, пожалуй, надо. Ну, а если: Дивлюсь - товаришева мати...

Или:

Дивлюсь: твоя, мш брате, мати...

"Первые три переезда показывались еще кое-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи, по берегам речки Сакмары. Наконец, и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только - и то местах в трех - я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы..."

От Симбирска до Оренбурга - верст шестьсот. Две трети его позади. Оренбург все ближе, хоть ехать еще и ехать - дня два наверняка.

- Кутлубанка...

- Елшанская...

Здесь увидел он переселенцев.

Земли вокруг было много, и земли хорошей. Потому-то Бузулукский уезд и привлекал к себе издавна крестьян из Курской, Рязанской, Воронежской и других губерний.

Увидел и коренных жителей этих мест. Бросились в глаза "калмычки с грудными детьми на плечах", даже головные уборы их заметил: "четыреугольные красные шапочки, наподобие кучерских". "Совершенно цыганки, только что не ворожат..." Они тянулись к русским мужикам и бабам, приехавшим из далей дальних в их раздольные места, и это тоже запомнилось, отложилось в голове, как нечто существенное, важное.

"Большая дорога" - или, как на картах, "большая линейная", "большая почтовая" - на значительном протяжении шла вдоль реки Самары, левого притока Волги, берущего начало с Общего Сырта. Шевченко в "Близнецах" окрестил ее Сакмарой. Но это совсем другая река; с ней автор повести встретился уже близ Оренбурга, где и впадает она в Урал. Ошибка или описка налицо; к сожалению, ни в одном издании ее не исправляют и даже не оговаривают.

- Бузулук...

За десять лет до того, как проезжал здесь Шевченко, вышла в свет книга тайного советника Иосифа Дебу "Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в нынешнем ее состоянии". Десятилетие - срок небольшой, и не будет ошибки, если я сошлюсь на этот ученый труд, как на свидетельство современника.

Что писал Дебу о Бузулуке?

Сообщая, что город сей отстоит от Петербурга на 2041 версту (такой путь к тому времени уже оставался за спиною препровождаемого в солдаты Шевченко!), что основан он в 1736 году и "построен на левой стороне реки Бузулук, впадающей в Самару в трех верстах от города, и правом берегу реки Домашки", автор описания

характеризовал бывшую крепость таким образом: "Строение в городе почти все деревянное, кроме острога и присутственных мест, кои каменные; церковь одна, деревянная, и до 400 обывательских домов. Число жителей простирается до 1000 душ мужеского пола".

Герб города - опять же до Дебу - представлял собою "щит, разделенный на две половины: в верхней изображен губернский (оренбургский!) герб, а в нижней в зеленом поле серебряный олень, в знак изобилия сих зверей в уезде".

...Бузулукский бор знаменит на весь мир. На восьми-десяти тысячах гектаров - настоящее чудо природы, собравшей здесь несметные лесные богатства, тем более замечательные оттого, что со всех сторон окружены степями.

Шевченко о боре не пишет. Чем объяснить? Вероятнее всего тем, что у бора путники оказались уже вечером и проезжали тут в сумраке спускавшейся на землю ночи.

Но коль так, то именно в Бузулуке - последнем городе перед Оренбургом - останавливался фельдъегерь с препровождаемым им Шевченко на кратковременный отдых, чтобы с рассветом продолжить путь дальше.

Мемориальная доска в современном Бузулуке напоминает: в июне 1847-го через город проследовал великий сын и поэт Украины.

"Проехавши город Бузулук" (так в повести), Шевченко заинтересовался "плоскими возвышенностями Общего Сырта".

Сырт - по-казахски - "высокое место". Общий Сырт тянется посредине Южного Приуралья цепью увалов с поверхностью то волнистой, то равнинной, со склонами, то плавными, то крутыми, с оврагами и шиханами, с ложбинами и вершинами - непривычный глазу человека не здешнего, необычный и необычно-прекрасный во всем.

Привыкший к природе иной, впитавшей в себя красоту земли украинской, Шевченко как-то сразу увлекся величаво-суровым ландшафтом оренбургского Сырта. Увлёкся настолько, что, "любясь этим величественным горизонтом, ...незаметно въехал в Татищеву крепость". А до Татищевой, если считать от Бузулука, ни много и ни мало - 186 верст!

Встречи с Татищевой Шевченко ждал.

Опять из "Близнецов":

"...Я (напомню, что рассказ идет от имени лекаря Сокиры - Л. Б.) отдал подорожную смотрителю, а сам остался на улице, и, пока переменили лошадей, я припоминал "Капитанскую дочку", и мне как живой представился грозный Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне..."

Мысли о Пугачеве занимали Шевченко в течение всего его переезда по дорогам Оренбуржья.

В разгар крестьянской войны в руках повстанцев оказались все крепости по Самаре, через которые он проехал: и Тоцкая, и Сорочинская, и Новосергиевская, и Переволоцкая. (Тогда же к восставшим присоединились крепостные в районе Бузулука; позднее пугачевцы держали в своих руках и эту крепость).

Вот и тут, в Татищевой, вспоминал поэт пушкинскую "Капитанскую дочку", и в воображении его возникал Пугачев - "грозный Пугач". Не закованный в кандалы и не в клетке - а величественный и сильный, победитель "на белом коне".

В Татищевой Шевченко увидел одну из первых русских крепостей на Урале.

Крепость, которой так лихо овладел Пугачев в сентябре 1773-го: весь крепостной гарнизон перешел тогда на сторону крестьянской армии.

Крепость, из которой пугачевцы были выбиты в конце марта следующего, 1774-го, что означало крупное их поражение.

"Крепость сия разорена и сожжена была бунтовщиком Пугачевым и с того времени укрепления не имеет..." Это вновь тайный советник Дебу. В его же, Шевченко, глазах, в его, бунтаря, душе Татищева оставалась пугачевской.

Нет, не случайно выделил он крепость в своей повести. Знал о ней раньше. Хотел увидеть своими глазами. И увидел.

С Татищевой он свиделся и простился в день, который в летописях шевченковской жизни обозначен как дата доставки его в Оренбург.

В этот же день была на его пути еще одна крепость - Чернореченская, а между ними - село Рыч-ковка, тоже места пугачевские.

Крепостные хутора, как только достигла их весть о взятии Татищевой, вышли навстречу восставшим.

Без сопротивления открыла ворота перед народным войском Чернореченская. Гарнизон и жители встретили "крестьянского царя" хлебом-солью и тотчас приняли присягу ему на верность.

Везли Шевченко в Оренбург дорогою памятной, исторической.

Как тут не упомянуть, что те же тысячи верст, и почти по тому же маршруту, проехал четырнадцатью годами раньше Пушкин. Целью задуманной (и осуществленной) им поездки был Оренбургский край, а в нем - сбор материалов о Пугачеве и его сподвижниках.

Путь А. С. Пушкина занял месяц: отправившись в дальнюю дорогу 17 августа 1833 года, он въехал в Оренбург 18 сентября.

Шевченко был на месте уже "на осьмые сутки".

8

30 мая 1847 года

№ 303

Господину командиру Отдельного Оренбургского корпуса

Государь император высочайше повелеть соизволил: бывшего художника С.-Петербургской Академии художеств Тараса Шевченко, за сочинение возмутительных стихов, определить в Отдельный Оренбургский корпус рядовым, с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.

О таковой монаршей воле сообщая вашему высокопревосходительству для надлежащего исполнения и препровождая при сем рядового Шевченко, под присмотром фельдъегеря Виддера, имею честь покорнейше просить почтить уведомлением: в который из Оренбургских линейных батальонов он будет зачислен.

Управляющий военным министерством генерал-адъютант Адлерберг
Дежурный генерал Игнатьев

Секретно

Господину управляющему военным министерством
Отдельного Оренбургского корпуса

РАПОРТ

Вашему превосходительству имею честь донести, что отправленный при отношении вашем к г-ну корпусному командиру от 30-го мая за № 303-м, под присмотром фельдъегеря Виддера, рядовой Тарас Шевченко, отданный в военную службу из художников С.-Петербургской Академии художеств за сочинение возмутительных стихов, прибыл в Оренбург 9-го июня, в 11-ть часов пополудни, и зачислен в Оренбургский линейный № 5-го батальон, с учреждением за ним строжайшего надзора.

Генерал-лейтенант Толмачев

№ 26. 11 июня 1847 года, г. Оренбург.

Оба документа связаны с Шевченко и Виддером.

Первый - фельдъегерь предъявил и вручил кому следует сразу по прибытии в Оренбург.

Второй - увез с собою как "расписку" о выполнении задания и... принятии от него "опасного преступника", ставшего отныне "нижним чином".

В Петербурге рапорт оброс всякими надписями и пометами.

"Краткий доклад" - это резолюция о том, что в таком виде сообщение генерала Толмачева надлежало доложить царю.

"№ 278 секретно"- такой номер поступившему документу присвоили в переписке военного министерства.

"№ 328 в инспекторский департамент" - содержание его следовало сообщить и в другие "заинтересованные" ведомства.

"Секретный журнал № 397" - попала бумага и в эту, особо важную, книгу.

Наконец, 20 июня 1847. В тот день, по всему судя, докладывал Виддер в Петербурге о передаче Шевченко оренбургским военным властям и своем возвращении - для выполнения дальнейших поручений.

Шевченко 20 июня был на этапе в Орскую.

Но возвратимся к девятому. Поэт въезжает в Оренбург.

"...Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдаль, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание называется здесь караван-сарай, недавно воздвигнутое по рисунку А. Брюллова. Проехавши караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие сакмар-ские ворота, в которые я и въехал в Оренбург..."

Нет, я не ошибусь, сказав, что именно таким было первое впечатление об Оренбурге не только Сокиры, но и Шевченко.

Документ уточняет час приезда: "в 11-ть часов пополудни". Строки из "Близнецов" совпадают даже в этом. 9 июня старого календаря - 22-е нового. Заход солнца, как сообщается на календарном листке одного из самых долгих дней в году, - в 21.18. Примерно в это время переправлялся фельдъегерь с осужденным через реку, чтобы, покрыв в течение следующих часа-полутора последние версты пути, сдать Шевченко "по принадлежности".

Оренбургу в то время было немногим более ста лет. Заложенный в 1735-м на месте нынешнего Орска, он пять лет спустя, в 1740-м, получил новые координаты (переселился туда, где сейчас село Красногор) и только в 1743 году упрочился на высоком берегу Урала, где прежде стояла Бердская крепость; здесь город и стал развиваться.

Город-крепость...

Даже проехав караван-сарай, Шевченко не мог считать себя "в Оренбурге", а лишь увидел его на более близком расстоянии.

Представлял тогдашний Оренбург многоугольник, окруженный валом да рвом. Высота вала равнялась 12 футам, такой же была глубина рва; что касается его ширины, то она составляла 35 футов. Протяженность вала и рва превышала пять верст. 11 полигонов, 10 бастионов, 2 полубастиона - вот что определяло главную силу укреплений города-крепости.

Для въезда и выезда в Оренбурге были ворота: Водяные, Чернореченские, Орские, Сакмарские.

Через Сакмарские он и въезжал.

Миновав мост, переброшенный через сухой ров, лошади остановились перед воротами - каменными, сводчатыми и, как всегда с вечера, запертыми. В темное время суток из города обычно не выпускали, и у приезжих проверяли документы.

Проверка бумаг важного петербургского фельдъегеря заняла, вероятно, не много времени.

Шлагбаум поднялся, ворота распахнулись.

"Жандарм привез его... прямо в ордонансгауз, где Шевченко в передней проспал ночь на голом полу..." - свидетельствовал М. М. Лазаревский, друг поэта.

За двадцать лет до Шевченко тут содержались под строгой охраной "оренбургские декабристы" Колесников, Таптиков, Старков и другие. Десятилетия спустя - уже после Шевченко - побывал в этих стенах Чернышевский.

Ордонансгауз (или канцелярия коменданта) находился на главной улице города. Если войти во двор дома по улице Советской, 3 или посмотреть на здание с переулка, то можно увидеть окна и стены бывшего комендантского управления; туда и доставил Виддер "бывшего художника".

Теперь на здании мемориальные доски и среди них - шевченковская.

"Утром его принял комендант Лифлянд..." (произошло это там же) и "...отправил в казармы 3-го Оренбургского линейного батальона".

Казармы были почти рядом. В них размещались и солдаты третьего, и те, кого определяли в пятый - выполняли они функции "пересылочных". Совсем близко находились здания Пограничной комиссии. Здесь-то первыми и узнали о доставке Шевченко его земляки-почитатели Федор Лазаревский, Сергей Левицкий и другие.

"Не давая себе отчета, я побежал в казармы и с трудом отыскал там новопривезенного арестанта",- вспоминал Ф. М. Лазаревский. Долго не утихали в тот день разговоры. Как облегчить тяжкую участь невольника? Чем ему помочь?

А Шевченко водили "по инстанциям". Хотя далеко ходить и не требовалось. Штаб Отдельного Оренбургского корпуса, где уже 10-го состоялось решение о внесении опального в списочный состав пятого линейного батальона, занимал деревянное здание в пяти минутах ходьбы. Там же размещались и штабы - дивизионный, бригадный. Так что дальнейшая судьба поэта решилась сразу.

10.

Все дни этого - первого - пребывания в Оренбурге Шевченко жил в казарме. В казарме его и в солдатскую форму облачили.

"Он до того не был знаком с жизнью, и особенно с жизнью солдата, что, не подозревая, что ему принесли платье, сшитое на счет казны, спросил унтер-офицера,

что стоит платье; тот без запинки ответил: сорок рублей... и Шевченко сейчас же заплатил деньги. Но какой-то офицер, узнавши об этом, отнял у унтер-офицера деньги и возвратил Шевченко". (Свидетельство М. М. Лазаревского).

За день или два до тягостной процедуры переоблачения Федор Лазаревский и Сергей Левицкий "отправились в казармы и выпросили его к себе на квартиру".

Тогда-то Шевченко и пришел впервые в дом М. И. и А. П. Путиных, где Лазаревский снимал квартиру. Этот дом на углу Преображенской улицы и Канонирского переуллка (ныне угол улицы 8 Марта и переуллка Шевченковского) стоит доныне; он хорошо известен и горожанам, и гостям Оренбурга. Его выделяет самая первая на весь край мемориальная доска в память Кобзаря.

"Я встретил его, как брата, как самого близкого человека... Тарас Григорьевич с обоими нами был сердечно прост, и мы сразу стали друзьями. Говорили много и оживленно..."

Рассказывает Федор Лазаревский.

"Гость остался у нас ночевать. Сняв с кроватей тюфяки, мы разложили их на полу, и все втроем улеглись на полу вповалку. Шевченко прочел нам наизусть свою поэму "Кавказ", "Сон" и др., пропел несколько любимых своих песен..."

...Летняя ночь, таким образом, пролетела незаметно. Мы не спали вовсе. Рано утром Тарас Григорьевич простился с нами, объявив, что получил уже назначение в Орскую крепость, куда он на днях должен отправиться..."

"На днях..."

В "Летописях жизни и творчества Т. Г. Шевченко" настойчиво указывается, что выезд Шевченко из Оренбурга в Орскую крепость состоялся не позднее 14 июня. Прибыл он туда, как известно из вполне достоверных документов, 22 июня. Не слишком ли долог срок - восемь дней - для преодоления на перекладных тех двухсот пятидесяти верст, которые разделяли пункт начальный и пункт конечный?

Изучая опубликованные и неопубликованные материалы, я обратил внимание: рапорт с изложением претензии Шевченко по поводу того, что "по отбытии его из г. Киева остались там собственные его вещи у господина Киевского гражданского губернатора" и с передачей просьбы "рядового" о "высылке тех вещей" (прежде всего, рисовальных принадлежностей), датирован писавшим его поручиком Поче-шевым 20 июня 1847 года и помечен Оренбургом.

Рапорт на имя командира 5-го батальона мог быть составлен либо в Оренбурге, либо в Орской крепости, но никак не в дороге: отправка его с маршрута не вызывалась никакой срочностью, да и осуществлена быть не могла.

Будь рапорт написан уже в крепости, под ним значилось бы другое географическое название, не говоря уже о другой, более поздней, дате.

Следовательно, остается и впрямь Оренбург. Поручик, которому было приказано доставить Шевченко к месту службы, писал, скорее всего, перед выездом. И 20-е - это день отправки новоявленного рядового из Оренбурга, где он, стало быть, находился не четыре-пять дней, а все десять.

Выезд 20-го утром не ставит под сомнение прибытие в Орскую 22-го к вечеру. О том же, что прибытие состоялось в позднее время, говорит издание приказа по батальону - о зачислении доставленного в третью роту - лишь на следующий день, 23-го.

11.

Современная Ленинская в Оренбурге именовалась во времена Шевченко Орской. И заканчивалась она - если ехать к востоку - Орскими крепостными воротами.

Еще в двадцатых годах нашего века стояла тут небольшая кирпичная постройка бывшего караульного дома - кордегардии. Сейчас ни от дома, ни от ворот не осталось и следа. Только по старым планам можем мы установить, что находились они где-то на стыке нынешних улиц Ленинской и Пушкинской с площадью Студенческой.

Шевченко ворота эти запомнил.

"На другой день поутру у Орских ворот ефрейтор скороговоркою спрашивал: "Позвольте узнать чин и фамилию, и куда изволите следовать". Из воротника шинели довольно грубые вылетели слова: "Лекарь Сокира. В Орскую крепость. Подвысь! Пошел!"

Разумеется, 20 июня, когда из Оренбурга выезжал не литературный герой Шевченко Савватий Сокира, а он сам, "нижний чин", к тому же "из политических", вопрос ефрейтора обращался не к нему, а к офицеру. Но солдафонски грубый окрик при выезде из города врезался в память надолго.

- Подвысь! Пошел!

"И тройка понеслася через форштадт, мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев всталил две пушки, осаждая Оренбург..."

Форштадт, через который пролежала Орская дорога, был одним из двух старейших предместий Оренбурга. Возник он вскоре после основания города - в 1745-м. А немногим более четверти века спустя, во время Пугачевского восстания, казачья слобода была сожжена по приказу оренбургского губернатора Рейнсдорпа. Это произошло 5 октября 1773 года, когда главные силы повстанческой армии вплотную подошли к городу и стали огибать его с северо-востока, выходя как раз к форштадту; удалыцы-конники, лихо подскакав к валу, воткнули сюда кол с прикрепленным к нему призывом Емельяна Пугачева о переходе солдат на его сторону.

Он, форштадт,- разрушенный и сожженный, чтобы не мог в нем обосноваться Пугачев,- был не только свидетелем, но и участником штурма, а затем долгой - полугодичной осады Оренбурга.

Церковь, о которой писал Шевченко, это Георгиевский войсковой собор в том же форштадте. Лишь она, церковь на берегу Урала, построенная в 1756 году, уцелела во время пугачевского наступления. Повстанцы овладели ею и использовали в целях военных. На паперти и на колокольне были установлены пушки. С колокольни раздавались и выстрелы ружейные.

Пугачевскими местами ехал Шевченко к Оренбургу. Привлекали они его внимание и при выезде - уже другой дорогой, в другом направлении.

..."До станицы Островной он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то, когда хотелось пить..."

Поездку лекаря Сокиры автор "Близнецов" описал в самых общих чертах. До Островной он "провез" его без остановок. Я же стараюсь восстановить маршрут детальнее. Помогают в этом старые карты и... сам Шевченко.

Между Оренбургом и Островной он встретил три более или менее крупных населенных пункта: Неженский форпост, Каменно-Озерное и Вязовский редут.

Неженский форпост находился в 17 верстах от Орских ворот. Селение это появилось почти одновременно с закладкой Оренбурга на нынешнем его месте. Начало ему положили украинцы, в прошлом солдаты Нежинского полка,- оттого и

название. Впоследствии земляки поэта отсюда ушли, а название - осталось. И не привлечь внимания Шевченко оно не могло.

Тем большим оказалось его разочарование. В произведении художественном смещения во времени допустимы. Этим, думается, и можно объяснить, что Сокира в Неженке оказывается до поездки в Ор-скую крепость - выезжает туда специально.

"Поехал он в Неженку. Это будет по Орской дороге. Что же? И там дома да ворота, только мечетей не видно. (Автор сравнивает с описанной тут же Татарской Каргалой.- Л. Б.), Зато не видно и церкви... Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный. ...Он взшел на двор и хотел было в избу зайти, но на него из дверей пахнуло такой тухлятиной, что он только нос заткнул. На дворе расположиться совершенно было негде. Велел он своему вознице раскинуть кошомку под телегою на улице и прилег помечтать о блаженстве сельской жизни, пока лошади вздохнут..."

Из последующего разговора с молодкой Сокира узнал, что рыбу сельчане не ловят, овощей не выращивают и даже лук в городе покупают. Это вызвало его на размышления: "А какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из города лук получают".

Контрасты края проявились для Шевченко уже на первых пятидесяти семи верстах пути до Островной, где, как думается, команда поручика Почешева сделала свой первый длительный привал, скорее всего с ночевкой.

Но и до этой станции, до этого удивившего его села поэт и художник, оказавшийся на дальней дороге в силу царского приговора, успел увидеть многое: и суровое степное раздолье, и непохожий на Днепр, но по-своему прекрасный Яик-Урал, и живописные его берега-окрестности. Увидеть - и задуматься: "благодатная земля" - и бедность...

Думал Сокира.

Думал Шевченко.

Лошади въезжали в Островную.

12.

"До станицы Островной он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то когда хотелось пить. Но, подъезжая к Островной, он вместо серой обнаженной станицы увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил ямщика: "Здесь тоже оренбургские казаки живут?"

- Тоже, ваше благородие, только что хохлы.

Он легонько вздрогнул.

...Подъезжая ближе к селу, ему действительно представилась малороссийская слобода: те же вербы зеленые, и те же беленькие в зелени хаты, и та же девочка в плахте и полевых цветах гонит корову. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину.

У первой хаты он велел остановиться и спросил у сидящего на призбе усахи, можно ли будет ему переночевать у них?

- Можно, чому не можна, мы добрым людям ради. ...Здесь он впервые в Оренбургском краю отвел свою душу родною беседою..."

Нет, жизнь в Островной далека от идиллии.

Чем дольше задерживается он в этой, первой же, хате, тем больше бросается ему в глаза бедность новых знакомых.

Она - в изумлении маленького Ивася, получившего "невиданный гостинец" - кусочек сахара.

Она - в стыдливом признании хозяйки, которая одалживает у соседки десяток яиц: "а то в нас, признаться, еси выйшлы".

Она - и в последних ее словах, при расставании.

"На другой день поутру... догадливая хозяйка поднесла ему в складне на дорогу пару цыплят жареных, 10 яиц и столько же свежепросольных огурцов. Принимая все это, он спросил, что он им должен за все.

- Та, признаться, нам бы ничего не треба, та думка та, що треба б дытны чобитки купить. Он подал ей полтинник.

- Господь з вами, та ему и за гривенычок Вакула пошие.

- Ну, там соби як знаешь,- сказал он и простился с своими гостеприимными земляками".

Шевченко отправился дальше. Но навсегда запомнились ему украинское село среди бескрайних оренбургских степей, долгий и сердечный разговор на родном языке.

Вот откуда те слова в поэтическом ряду, что прозвучали в его стихотворении, написанном на Арале, два с лишним года спустя.

На шхуне "Константин" услышал Шевченко как-тй ночью родную украинскую песню, и взволновала она, потрясла его до глубины души.

Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос - бшьш шчого. А серце б'ється-ожива,

Як і'х почує!.. Знать, од бога І голос той, і її слова Гдуть меж люди!..

Песню пел матрос. Он его знал - Иван Васильев, оренбургский родом. Но почему и откуда в устах матроса эта песня, будто прилетевшая сюда прямо с Украины? Все стало понятным, когда дознался, в каком селе Иван родился и вырос.

...Матрос,

Таки земляк наш з Островно!'

На вахт! стоя,

Журился сам собі чогось,

Та и засшвав...

"Земляк наш з Островной..."

13.

"- А почтовая станция здесь?

- Дальше, в Озерной.

- Там тоже хохлы живут?

- Нет-с, наши русские..."

Разговор этот у героя повести "Близнецы" состоялся задолго до Островной.

Но прежде чем Сокира - а вместе с ним Шевченко - достиг названного в диалоге пункта, пришлось проехать еще пятьдесят девять верст и остановиться в двух больших казачьих станицах.

Первой на пути из Островной оказалась Красногорская.

В истории станицы, расположившейся на высоком правом берегу Урала, самым примечательным было то, что она едва не стала (точнее стала, но на короткое время) Оренбургом.

Гирьяльский редут, или Гирьяльская, или Гирьял (последнее название закрепилось поныне) тоже стоял на самой реке. Но было в его окрестностях нечто свое, неповторимое: множество озер - больших и малых, одно на другое непохожих. Они тянулись до Верхне-Озерной, или, как именовали ее чаще, Озерной.

"Озерная крепость... построена в 1736 году статским советником Кирилловым и населена была несколькими охотниками из казаков. Она была укреплена рвом, валом и в некоторых местах палисадом, а гарнизон оной состоял из одной роты драгун, полуторы пехоты и 50 человек жалованных российских и татарских казаков. Грунт около сей крепости состоит из твердой серой земли, на которой производится хорошее хлебопашество; сенокосов, строевого и дровяного лесу также достаточно..." Некрасноречивый Иосиф Дебу охарактеризовал Озерную канцелярски сухо, но, согласитесь, достаточно определенно.

Посмотрим на современную карту.

Село Никольское - тогда Никольская станица...

Село Ильинка - некогда Ильинская крепость...

Село Подгорное - Подгорный редут...

Село Губерля - Губерлинская крепость...

Все это - вехи большого тракта, который вел к Ор-ской крепости и далее - к Троицку.

"...Переночевал он еще в Губерле (предпоследняя станция перед Орской крепостью), собственно для того, чтобы полюбоваться на другой день Губерлинскими горами..."

Можно предположить, что тут, в Губерле, и закончился второй день переезда Шевченко к месту солдатской службы.

Он, этот день,- 21 июня,- весь, от раннего утра и до позднего вечера, был проведен в дороге. На завтра, 22-го, предстояло путь закончить, дабы тотчас явиться пред грозные очи начальства:

- Рядовой Шевченко прибыл...

А пока... пока была еще одна крепость.

Снова свидетельствует И. Дебу:

"Губерлинская крепость отстоит от Орской в 45, а от Оренбурга в 206 верстах, между двух речек - Губерли и Чебаклы, которые, выходя из Уральских гор и соединяясь при самой крепости, впадают вместе неподалеку от оной в реку Урал..."

К тому времени, когда проезжал тут Шевченко, крепости как таковой уже не было. И хотя однажды автор "Близнецов" это слово - применительно к Губерле - называет, воспринимается оно как употребленное только контраста ради: пишет-то о другом.

"...До 12 часов (следующего после ночевки дня.- Л. Б.) я гулял в губерлинской роще и любовался окружающими ее горами, чистой речечкой Губерлей, прорезывающей рощу и извивающейся около самых казачьих хат..."

И эти "хаты", и окруженная горами роща, и "чистая речечка" не служат для Шевченко, разумеется, приметам бывшей военной крепости. Он видит лишь новую, непривычную его глазам красоту природы и, хоть далека она от родной украинской, не

схожа с нею ни в чем решительно,- любителю как истинный ценитель прекрасного, как поэт и художник.

"...Несколько часов подымался я извиристою дорогою на Губерлинские горы. У памятника, поставленного в горах, на дороге, на память какого-то трагического происшествия, я напился прекраснейшей родниковой воды. Поднявшись на горы, открылась плоская однообразная пустыня. А среди пустыни торчит одинокая будочка и около нее высокий шест, обернутый соломою. Это казачий пикет. Проехавши пикет, я начал спускаться по плоской наклонности к станции Подгорной. Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу леденящая пустыня..." Впечатления от дороги в Орскую крепость Шевченко восстанавливал по памяти. Этим объясняются и неточности, допущенные им по ходу рассказа.

Подгорная не могла быть за Губерлинской крепостью - находилась она (как и ныне село Подгорное) за двадцать две версты до Губерли. Автор, по всему судя, имел в виду Хабаровый форпост (теперь село Хабаровое), где действительно находилась почтовая станция и происходила смена лошадей.

В последний раз Шевченко совершал тот же путь в обратном направлении, а писал "Близнецов" несколько лет спустя, далеко от этих мест. Отсюда смещение и "козачьего пикета", который находился, если следовать в Орскую крепость, не до Хабарового форпоста, а за ним. "Одинокая будочка и около нее высокий шест, обернутый соломою" именовались Разбойным редутом; находился редут примерно там, где сейчас раскинулся промышленный Новотроицк с его известным на всю страну Орско-Халиловским металлургическим комбинатом.

Путника поразила красота Губерлинских гор. Четыреста квадратных километров, занимаемых ими,- это удивительный оазис среди бесконечных степей, дивный заповедник чародейки-природы.

Шевченко запомнил рощу - и поныне растут здесь дубы и вязы, липы и осокори, березы и калины. Врезалась в его память речка Губерля: течет она сначала по широкой, плоской равнине с севера на юг, а далее резко сворачивает на запад и уже бежит стремительно и шумно, как горный поток.

Как тогда, извилисты и круты дороги: по склонам хребтов, через скалистые горы, сквозь узкие, глубокие ущелья.

И поныне, не иссякая, бьют подземные ключи: один из них утолил жажду Кобзаря.

"Памятник, поставленный в горах" не ведом никому - его разрушило время, и даже воспоминания о нем стерло. А родники по-прежнему дарят людям "прекраснейшую" воду.

14 И вот - последний перегон.

"...Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу леденящая пустыня. Спустя минуту после тягостного впечатления я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное красно-бурою лентою.

- А вот и Орская белеет,- сказал ямщик как бы про себя.

"Так вот она, знаменитая Орская крепость" - почти проговорил я, и мне сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастье ожидало в этой крепости, а страшная пустыня, ее окружающая, казалась мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо... Подъезжая ближе к крепости,

я думал (странная дума), поют ли песни в этой крепости, и готов был бог знает что прозакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе по широкому, едва зеленому подернутому лугу, я ясно уже мог различить крепость: белое пятнышко - это была небольшая каменная церковь на горе, а красно-бурая лента - это были крыши казенных зданий, как-то: казарм, цейхгаузов и прочая.

Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях, мостику, мы очутились в крепости. Это обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом аршина в три шириною да валом с соразмерною вышиною, а с четвертой стороны - Уралом. Вот вам и крепость. Недаром ее киргизы называют Яман-кала. По-моему, это самое приличное ей название. И на месте этой Яман-калы предполагалось когда-то основать областной город! Хотя, правду сказать, и Оренбург малым чем выигрывает в отношении местности. Вот что оживляло первый план этой сонной картины: толпа клейменных колодников, исправлявших дорогу для приезда корпусного командира, а ближе к казармам на площади маршировали солдаты..." Таковы строки из "Близнецов". А дальше - из повести "Несчастный": "Крепость Орскую местные киргизы называют Яман-кала, и это название чрезвычайно верно определяет физиономию местности и самой крепости. Редко можно встретить подобную бесхарактерную местность: плоско и плоско..."

Крепость Орская как нельзя более в гармонии с окружающей ее местностью. То же однообразие и плоскость. Только и отделяется немного от общего колорита крепости это небольшая каменная церковь на горе, заметьте, на яшмовой горе. Под горою, с одной стороны, лепятся грязные татарские домишки, а с другой стороны, кроме таких же грязных домиков,- инженерный двор с казематами для каторжников. Против инженерного двора длинное низенькое бревенчатое строение с квадратными небольшими окошками,- это баталионные казармы, примыкающие одним концом к деревянному сараю, называемому экзерцисгау, а другим концом выходящие на четырехугольную площадь, украшенную новою каменною церковью и обставленную дрянными, деревянными ми домиками. "Где же самая-то крепость?" - спросите вы. Я сам два дня делал такой же самый вопрос, пока на третий день, по указанию одного старожила, не вышел в поле, по направлению к меновому двору, и не увидел едва приподнятой насыпи и за ней канала. Канал и насыпь сравнительно не больше того рва, каким у нас добрый хозяин окапывает свое поле. Вот вам и второклассная крепость!"

Ярче, законченнее этого портрета Орской крепости не нарисуешь...

Его привезли сюда к вечеру 22 июня 1847 года. Выбыл он отсюда И мая 1848-го, отправившись в составе транспорта к Аралу.

Это 325 дней.

Еще три с лишним месяца пробыл здесь Шевченко в 1850-м.

И вошла Орская крепость во все его биографии - от академических до популярнейших, от объемистых томов до статей в газетах.

"От печально известной крепости не осталось даже следа",- читаем в статьях о сегодняшнем Орске.

Совсем новый город вырос здесь.

Но мы не можем не знать, где Шевченко жил, где страдал и мечтал, писал стихи и делал зарисовки. Как же не попытаться такую "экскурсию" в прошлое устроить?

С горы, которая разделяет Новотроицк и Орск, он разглядел только "маленькое пятнышко" крепости.

Еще полтора десятка верст по унылой, однообразной степи, и вот, наконец, - "мостик на жидких сваях". Урал тогда протекал по старому руслу, донные приметному. Где-то здесь мостик и находился, тут впервые Шевченко увидел тех, с кем сводила его солдатчина.

"Ближе к казармам на площади маршировали солдаты...".

Сравнительно недавно мне посчастливилось отыскать в архиве план центральной части Орской крепости. Только благодаря этому стало возможным определить, где стояли в то время казармы, какие места занимали другие казенные здания, в каком месте находился плац.

Солдатский плац, в пыль которого втоптали столько человеческих судеб, обозначен сейчас мемориальной доской. Она установлена на здании музыкального училища, фасадом своим выходящим на площадь имени Богдана Хмельницкого. А за ним сразу тянулись батальонные казармы, экзерцисгауз и другие постройки. Теперь здесь сквер. Памятная доска (место казармы!) - на кинотеатре "Октябрь".

Между казармами батальона и яшмовой горой, возвышавшейся над крепостью, располагались и гауптвахта, и инженерный двор, и службы артиллерийского гарнизона...

Когда много лет спустя, уже возвращаясь из неволи, Шевченко увидел во сне Орскую крепость, а еще "корпусного ефрейтора" - генерала Обручева, то "от страха проснулся" и долго не мог прийти в себя от этого "возмутительного сновидения".

15.

КОПИЯ ПРИКАЗА,

отданного по линейному Оренбургскому батальону № 5 в 23 день июня 1847 года за № 93

Государь император высочайше повелеть соизволил бывшего художника С.-Петербургской Академии Тараса Шевченка, за сочинение возмутительных стихов, определить на службу в Отдельный Оренбургский корпус рядовым, с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений.

Вследствие чего господин командующий корпусом в предписании от 10 июня за № 25-м, объявляя высочайшую волю, предписывает рядового Шевченку зачислить в командуемый мною батальон. О чем по батальону даю знать, предписываю роте № 3-го по прибытии зачислить его в списочное состояние, а командира оной г. капитана Глобу прошу иметь за поведением его строгий надзор.

Подписал командующий батальоном капитан Мешков

Два дня спустя, 25 июня, на Шевченко был составлен формулярный список.

В батальонном ранжирном реестре он "обрел" свой номер - 191-й.

Его измерили, тут же обозначив, что рост у нового служилого - 2 аршина и 5 вершков.

Ну, а после этого и непосредственному начальству доложить настал черед:

"Имею честь донести его высокоблагородию господину командующему 1-ю бригадою и кавалеру, что рядовой Шевченко... в списочное состояние батальона зачислен с определением в роты здесь, в крепости, расположенные".

В том месяце переписка о Шевченко была большей, чем когда бы то ни было в его жизни. Из того горького июня до нас дошли и письмо министра народного просвещения Уварова об исключении "учителя рисования Шевченко из списка чиновников Киевского учебного округа", и секретные предписания того же министра о запрещении новых изданий "Кобзаря", и циркуляры об изъятии из продажи этой "крамольной" книги, и еще, и еще.

Приводился в исполнение приговор.

16.

Шевченко-человек был приговорен к солдатчине. Шевченко-поэта, Шевченко-художника осудили на смертную казнь.

"Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора..."

"Нет!" - приговору безжалостному сказал он уже в июне.

И поэтом, и художником Шевченко оставался на всем протяжении многотрудного пути под бесконечным, неусыпным надзором фельдъегеря Виддера, поручика Почешева и прочих стражей различных чинов-званий.

В дороге он, конечно, и не писал, и не рисовал.

Чуткое сердце поэта, острый, прицельный взгляд художника схватывали примечательное на лету, впитывали все новое и на все отзывались, рождали образы... Потом мы найдем их в прозе, в поэзии Шевченко...

По пути ОР осваивал и новые темы. Пугачев! Упоминание о нем мимолетно, но читаешь строки "Близнецов", вдумываешься в июньский маршрут, июньские впечатления Шевченко и все более утверждаешься в мысли: "грозный Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне" - это уже подступ к творчеству, желание сказать об известном свое, сокровенное.

В пути шла работа над неостывшими еще "казематными" произведениями. "Прокручивались" варианты строк и рифм...

...Із-за решотки визирали І, певне, думали: - Коли На раду тиху, на розмову, Коли ми зшдемося знову На сщ зубоженш земл!? - Ншоли, брапя, ншоли 3 Дншра укуш не п'емо! Розшдемося, рознесемо В степи, в лїси свою недолу, Повіруєм ще трохи в волю, А поїїМ жити почнемо...

Можно ли не думать, что рождалось это посвящение в дороге?

17.

Июнь 1847 года заканчивался на солдатском плацу... в казарме...

Первым среди произведений, созданных в неволе Шевченко-художником, считается нарисованный карандашом автопортрет в солдатской форме и с обозначением на околышке "3. Р." (третья рота). Автопортрет датируется условно: 23 VI-XII-1847.

В сорок седьмом он уже отправился на Украину, к А. И. Лизогубу.

Я его числю за июнем. Из того июня смотрит на меня Кобзарь - пламенный сын своего народа.

А первым среди стихотворений (после посвящения к казематному циклу) пометкой "Орская крепость" обозначено вот это, веем известное:

Думи Мо'ї, думи Мо'ї,
Ви МО'І един!,

Не кидайте хоч ви мене
При лихщ годин!.
Прил!тайте, сизокрил!
Мо'і голуб'ята,
Із-за Дншра широкого
У степ погуляти
З киргизами убогими.
Вони вже убог!,
Уже гол!... Та на вол!
Ще моляться богу.
Пршптайте ж, МОІ люб!,
Тихими речами
Прив!таю вас, як д!ток,
І заплачу з вами.

И оно для меня - июнь. Итог его июня - удивительно насыщенного, до боли горького, а все-таки счастливого: Шевченко жил, Шевченко творил.

1980

"ОГНЕМ НЕ НАЛИМЕ..."

1.

В полных собраниях произведений Тараса Шевченко поэзия занимает первые два тома: I. 1837-1847. II. 1847-1861.

"Граница" проходит через сорок седьмой, круто повернувший (и перевернувший) всю его жизнь.

Том второй я раскрываю на страницах, которые тревожат, влекут меня по-особому.

Тут напечатано первое поэтическое произведение Шевченко о казахских степях, о казахском народе.

"У бога за дверми лежала сокира..."

С самого начала невольничьей своей жизни поэт обращается к мотивам чужбины. Тяжкая солдатская доля не может не отозваться горестной строкой его поэзии, печальными образами. В стихи входят и степи без конца и края, и солнце, которое на чужбине не греет, и горы, так не похожие на виденные, и "киргизы убогие", которых впервые узнал только адесь.

Вчитываясь, однако, уже в первую тетрадку его "зауральской" поэзии, все отчетливее видишь: он пишет о себе, передает свои чувства, рассматривает личные ощущения в новой обстановке, а вот сама обстановка остается для него не более чем фоном. Фоном близким, писанным рукою талантливою, но... без особо проработанных деталей: они как бы в тумане.

Поэт обращается к думам - своим думам:

Пршптайте, сизокршн
Мо'і голуб'ята,
Із-за Дншра широкого
У степ погуляти
З киргизами убогими...

Он вглядывается в даль - и о своем снова:

Сонце заходить, гори чорншть, Пташечка тихне, поле шм!е, Радшть люде, щр одпочинуть, А я дивлюся... серцем лину В темний садочок на Украшу.

В местах неволи солнце палит нещадно, ему же холодно:

Не гріє сонце на чужиш, А дома надто вже пекло. Мені невесело було И на наших славиш Украпп...

Все пристальнее всматривается Шевченко в облик края; поэтический фон становится отчетливее, появляются детали:

І там степи, і тут степи, Та тут не такп, Руд!, руд!, аж червою, А там голуби, Зелени, мережаш Нивами, ланами, Високими могилами, Темними лугами. А тут бур'ян, теки, тали... І хоч би на см!х де могила О давши давш говорила. Неначе люди не жили.

Но "неначе" не означает вовсе, что людей он не видит, людьми степей не интересуется. В его "Сон" вплетается рассказ старого деда, немало по степям скитавшегося:

...Влукав я по свггу чимало, Носив і свиту, і жупан... Натр вже лихо за Уралом
Отим киргизам, отже и там,

бй же богу, лучче жи'ш,

Шж нам на Украйш.

А може, тим, що киргизи

Ще не християни?..

Однако это лишь процесс узнавания. Позднее - в многотрудном и длительном переходе от Орской крепости к Аральскому морю, а затем в Раиме и на Косарале, во время пребывания в составе экспедиции А. И. Бутакова, слово Шевченко о местах пребывания, о киргизах обретет уверенность и убедительность. Это стало очевидным в тот день, когда он записал во второй своей рукописной тетрадке (уже аральской) стихотворение "У бога за дверми лежала со-кира".

Да, это и впрямь первое произведение великого украинского поэта-революционера о казахах. В нем присутствуют и историзм мышления, и живое чувство времени, и глубокий лиризм - все лучшие качества Шевченко-поэта, но ни в одной строке не говорит он о себе, своей судьбе, своих мечтах - им завладели, его заполонили раздумья о прошлом, настоящем и будущем обездоленных казахов.

О времени и месте создания стихотворения-поэмы существует несколько версий.

В пятитомнике 1955 года значится: "Орская крепость, 1848".

Академическое издание 1963-го предлагает свое: "Первая половина 1848 г., по дороге из Оренбурга в Раим".

Но как та, так и другая помета достоверностью не отличается.

"Орская крепость", как место рождения произведения, исключается, ибо "святое" дерево автор увидел уже вне ее, позднее.

"Дорога из Оренбурга (явная ошибка - из Орской крепости! - Л. Б.) в Раим" может быть безоговорочно принята лишь как место встречи с необыкновенным деревом и... новым замыслом.

Замыслом, ставшим впоследствии триединым. Известно, что "святое дерево" запечатлено Шевченко и в живописи ("Джангысагач"), и в прозе ("Близнецы"), и, наконец, в поэзии, где как оно само, так и встреча с ним нашли свое высшее, философски осмысленное воплощение.

Приходится ли сомневаться: для того, чтобы такое осмысление произошло, нужно было прочувствовать всю трагедию "глиняной" пустыни, весь трагизм и всю несправедливость ее бесплодия, а значит, пожить тут более или менее продолжительное время?

Только таким путем мог он осознать горечь и величие мечты казаха - мечты, отличной от той, которую лелеял, скажем, бедняк на Украине. Певцу родного народа, ему следовало проникнуть, причем глубоко, в душу народа другого, еще недавно незнакомого.

Только после этого могли родиться взволнованные его строки:

...І кайзаки не минають
Дерева святого.
На долину зашджають.
Дивуються з його,
І моляться, і жертвами
Дерево благають,
Щрб парост! розпустило
У 'іх бщтм Краї.

Стихотворение относится к аральскому периоду творчества поэта. Возникновение первоначального замысла произошло, однако, непосредственно близ дерева. Значит, под 71-й поэтической строкой должно быть указано так: "20-21 мая 1848 г., район Кара-бутака,- 1848, о. Косарал".

Точная дата окончания работы не может быть названа даже предположительно: никаких дополнительных сведений в распоряжении исследователей нет, а единственный известный автограф наверняка не является первоначальным - ему предшествовали черновые, которые до нас не дошли.

Впрочем, образы произведения "У бога за дверми лежала сокира" пришли к Шевченко не внезапно и мгновенно, а в связи с действительно необыкновенным явлением природы - одиноким деревом среди бескрайней, кажущейся безжизненной степи. Впечатления накапливались постепенно, с того самого времени, когда фельдъегерь доставил его в пределы Оренбургской губернии, и - особенно - со дня и часа, когда "домом" его стала казарма Орской крепости.

Эта крепость сама по себе представляла поселение степное: военное, укрепленное, но - степное.

Од споконвшу і дониш Ховалась ввд людей цустина, А ми таки п найшли. Уже и твердит поробили, Затого будуть і могили, Всього наробимо колись!

Уже здесь Шевченко был подготовлен к восприятию степного безбрежья, раскрывавшегося с любой точки крепости, прозванной казахами Яман-кала (плохой, злой город).

Ямаи-кала жила не обособленно, не оторванно от "тепи и степняков. Крепость являлась значительней-шим торговым центром на сотни и сотни верст вокруг. "Гут был свой меновой двор, к которому вели многие пути. "Местоположение здесь грустное, однообразное, тощая речка Урал и Орь, обнаженные серые горы и бесконечная киргизская степь,- писал Шевченкс ,В. Н. Репниной 24 октября 1847 года.- Иногда степь Оживляется бухарскими на верблюдах караванами, окак волны моря, зыблющими вдали, и жизнью своею удваивают тоску. Я иногда выхожу за крепость, к караван-сараю или меновому двору, где обыкновенно бухарцы разбивают

свои разноцветные шатры. Какой стройный народ, какие прекрасные головы!.. Если бы мне можно рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков..."

В Орской крепости находился один из опорных пунктов Оренбургской Пограничной комиссии, в обязанность которой входило "общее управление оренбургскими киргизами".

Первыми людьми, принявшими участие в доставленном к месту ссылки Шевченко, были чиновники именно этой Комиссии - братья Лазаревские, Левицкий и другие. Эстафету заботы о поэте они передали дальше - прежде всего, попечителю прилинейных киргизов в Орской крепости Михаилу Семеновичу Александрийскому, дом которого, расположенный неподалеку от менового двора, Шевченко навещал особенно часто.

В этом доме, где, по свидетельству Ф. М. Лазаревского, поэт был принимаем "не как солдат, а как самый близкий знакомый, наравне с другими гостями", он имел возможность получить исчерпывающие сведения о степном крае и его обитателях, ответы на любые вопросы, касающиеся новых для него мест.

Между прочим, и об их флоре: Пограничная комиссия занималась этим уже давно (еще в 1841 году, обратив внимание на истребление лесов, тогдашний председатель Комиссии Г. Ф. Гене особым предписанием потребовал воздерживаться от уничтожения деревьев).

Резиденцию попечителя посещали местные начальники из казахов. Бывали и другие, не высокопоставленные, представители казахского населения. Так что первые впечатления о степных жителях складывались у поэта в Орской.

Интерес Шевченко к неизведанным местам поднялся с первыми его надеждами на включение в состав экспедиции по описи Аральского моря.

Для должности художника описной экспедиции того, что уже узнал, было мало, не сознавать этого он не мог, а коль так - стремился пробелы восполнить. Тем более, что среди обитателей Орской крепости, особенно солдат и офицеров 5-го линейного батальона, были участники первого такого похода, совершенного весной - летом 1847-го. Их рассказы несли живую и весьма ценную информацию. У Александрийского, у коменданта Орской, у навещавшего крепость подполковника Уральского казачьего войска Матвеева имелись карты предстоящего похода. Особенно первой части маршрута, освоенной лучше. Карты, безусловно, Шевченко привлекали - ведь ему предстояло заниматься и картографированием.

О подготовленности Шевченко к экспедиции можно судить уже по такому авторитетному источнику, как повесть "Близнецы". Сопоставление страниц, посвященных походу к Аралу, с книгой участника того же похода офицера Генерального штаба А. И. Макшеева "Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому краю", с картами, входящими в картографическую коллекцию Государственного архива Оренбургской области, и далее - с картами и справочниками современными дает возможность отнести те или иные строки из повести к географически-определенным местам края.

Подтвердим это первыми же страницами описания, сделанного в "Близнецах".

"Транспорт, в числе 3000 телег и 1000 верблюдов", начал свой переход от р. Ор - того ее места, где ныне располагается Орская биофабрика; именно здесь был отслужен напутственный молебен. "Первый переход (с непривычки, может быть) я ничего не мог видеть и слышать, кроме облака пыли, телее, башкир-цев, верблюдов и полуобнаженных верблюдовожатых киргизов. Словом, первый переход пройден был

быстро и незаметно". В тот день, следуя по левому берегу реки Орь, транспорт прошел 23 версты и достиг Мендыбая - небольшого ее притока.

"На другой день мы тронулись с восходом солнца. Утро было тихое, светлое, прекрасное. Я ехал с передовыми уральскими козаками впереди транспорта за полверсты и вполне мог предаваться своей тихой грусти и созерцанию окружающей меня природы. Это была ровная, без малейшей со всех сторон возвышенности, степь. И, как белой скатертью, ковылем покрытая необозримая степь. Чудная, но вместе и грустная картина. Ни кусточка, ни балки, совершенно ничего, кроме ковыла, да и тот стоит, не пошевелится, как окаменелый; ни шелесту кузнечика, ни чиликанья птички, ни даже ящерица не сверкнет перед тобою своим пестреньким грациозным хребтом - все, кроме ковыла, умерщвлено..."

Во время второго перехода, 12 мая, Шевченко впервые узнал и что такое степной мираж, и каким бывает степной пожар. 22 версты, пройденные в этот день, оставили в походном альбоме немало различных зарисовок. И не только день, но и вечер, ночь у залива Ори - в месте, облюбованном начальником транспорта для привала. "В транспорте все затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И, действительно, невиданная картина представилась моим изумленным очам. Все пространство, виденное мною днем, как бы расширилось и облилось огненными струями почти в параллельных направлениях. Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джеломей-кою..."

Глядя на прекрасную акварель "Пожар в степи", на зарисовки, сделанные 12 мая днем и ночью, читая страницы "Близнецов", приведенные лишь частично, мы имеем достаточные основания отнести их к вполне реальному месту, в данном случае - району за современным поселком Уртия.

О третьем дне перехода сказано короче: "Мы долго ехали по обгорелой степи, и теперь-то, глядя на эти черные бесконечные равнины, я убедился, что не во сне, а я вчера видел настоящий пожар. К полудню мы подошли опять к берегам Ори и расположились на ночлег".

Этот переход и ночлег связаны с местами, относящимися к селу Соколовка.

Четвертый переход закончился на землях теперешнего совхоза "Полевой", возникшего в годы освоения целины. "Следующий переход,- повествовал герой "Близнецов",- мы шли в виду Ори, и степь казалась разнообразнее: кой-где выдавались косогоры, местами даже белели обрывы берегов Ори, кой-где показывался камыш и даже кусты саксаула. Переправившись на другой берег Ори, транспорт опять раскинул свое гигантское каре".

Такая же картинность и такая же точность отличают страницы дальнейшие. Цепь географических названий, выстроенных автором в истинной их последовательности, казахские слова и выражения с переводами на русский, безупречно точная привязка впечатлений к определенному дню и месту, точность даже в фиксировании температуры, силы ветра, всем Прочем, и тут же - великолепные художественные детали, образы поразительной убедительности. Речь колоритная, эмоциональная, увлекающая читателя правдой раскрываемой жизни - ему, автору, как очевидцу и участнику событий она знакома досконально...

Подобные страницы появиться могли только при тщательной подготовке к походу. Память, даже безупречная, не смогла бы сохранить столько: шесть-семь лет жизни, тем более труднейшей, способны выветрить из головы многое (особенно названия и даты) . Были, думается, у Шевченко, наряду с предварительными, и записи

походные - своеобразный "захалавный дневник"; им и мог он пользоваться во время работы над повестью.

6

Из записей, сделанных по самым свежим впечатлениям, и родились впоследствии в повести строки, прямо относящиеся к возникновению замысла стихотворения-поэмы "У бога за дверми лежала сокира".

"По обыкновению транспорт снялся с восходом солнца, только (я) не по обыкновению остался в арьергарде. Оръ осталась вправо, степь принимала по-прежнему свой однообразный, скучный вид. В половине перехода я заметил: люди начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком. И все в одном направлении. Я спросил о причине у ехавшего около меня башкирского тюря, и он сказал мне, указывая нагайкой на темную точку. "Мана ауля агач" (здесь: святое дерево). Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж, конечно, коли оно существует, так должно быть святое. За толпою любопытных и я пустил своего воронка. Действительно, верстах в двух от дороги, в ложбине, зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную (толпу), с удивлением и даже (так мне казалось) с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева и на ветках его навешано набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма крашеных лошадиных волос, и самая богатая жертва - это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на все это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и долго еще оглядывался, как бы не веря виденному мною чуду. Я оглянулся еще раз и остановил коня, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою. А я, в забытии, как бы живому существу, проговорил: "Прощай" - и тихо поехал за скрывшимся в пыли транспортом..."

Чудо-дерево поразило воображение рассказчика, взволновало его. Питательной почвой для него стало все, услышанное им ранее о казахской степи и казахах, все, что он увидел своими глазами и узнал от спутников в походе, все звуки этой бесконечной пустыни и все песни, исходившие от проводников,- песни непонятные, непривычные, но чем-то задевавшие за живое и будоражившие душу.

Скоро транспорт остановился "на речке Карабута-ке, вблизи воздвигавшегося в то время форта". Вечер, ночь и последующие сутки представляются мне - когда думаю о кристаллизации первоначальных смутных идей поэта - особенно важными.

Здесь он познакомился со штабс-капитаном Карлом Ивановичем Герном. Более подробно о нем (и об этой встрече тоже) - в повести "По следам оренбургской зимы". Герн был одним из лучших, образованнейших знатоков степи, и в Карабуте поэт имел полную возможность проверить свои впечатления его знаниями. По всей видимости, возник разговор и о "святом дереве". Больше того, именно от Карла Ивановича мог Шевченко услышать легенду о том, как стали безлесными огромные просторы и выжило, сохранилось дерево единственное, так всех потрясающее.

Штабс-капитан много думал над озеленением степей и даже занимался этим специально. Не случайно, что ему поручили вскоре заведывание училищем земледелия и лесоводства, что он, Герн, стал инициатором первых практических дел, суть которых раскрывается перед нами в листах архивного дела "Об отправке в Раимское и Уральское укрепления для сажения кольев разных древесных скорорастущих пород и древесных семян".

Озеленение степного края русских офицеров увлекло, хотя судьба первых зеленых новоселов и оказалась трудной. Вот одно из характерных донесений, в том деле подшитых: "...Череня разных пород, в количестве 500 штук, доставлены сюда в половине апреля, а потому к посадке их приступлено было уже в начале мая, значит во время довольно сильных жаров, через что, несмотря на усиленную поливку, производимую с помощью чигирей, более 100 деревьев не принялись, остальные же довольно скоро начали пускать отростки, но от сильных жаров и ветров, бывших в июле и августе месяцах, некоторые из них, еще не совершенно укоренившиеся, засохли и, по рассмотрении нынешнею осенью, осталось годных к употреблению не более 250-ти штук, преимущественно из породы черного тополя и вербы, которые более других пород годны к дальнейшей перевозке и посадке".

Работы продолжались. Отправка саженцев шла и в последующие годы. Руководил этим по-прежнему Герн.

Итак, путь к стихотворению-поэме пролег через кибитку строителя форта, увлеченного и прошлым степи, и ее настоящим, и будущим.

Над будущим края стал думать и Шевченко.

О городах в степи:

"...Отчего никому в голову не придет на берегах этих речек поискать золота? Может быть, и в киргизской степи возник бы новый Санто-Франциско. Почем знать?.."

О деревьях, которые здесь зазеленеют:

Щоб нароет! розпустило У і'х бвдшм кра'ь

От неприглядной картины бесконечной пустыни - , к торжеству неопалимого, не подвластного смерти "еленого богатыря, к торжеству жизни.

От одинокого дерева и связанной с ним легенды - к мечте о могучих порослях этого дерева по всему необъятному краю...

С особым интересом присматривался Шевченко " коренным жителям степей. Разные источники по-аволили мне установить имена, а потом и раскрыть судьбы некоторых из них - участников перехода.

К таким, например, относился Насыр Алмакуров - унтер-офицер в отставке. "В молодости Алмакуров обыл лихим джигитом, молодцом и любил заниматься тарантою, угоном чужого скота. Однажды он вздумал побарантовать у нас на линии, но был схвачен и отдан в солдаты. Таким образом он неожиданно совершил путешествие в Архангельск, Петербург и Финляндию; по прослужении же 25 лет в Вильманstrand-ском пехотном полку получил знак отличия беспорочной службы и унтер-офицерское звание, вышел в отставку, вернулся на родину, женился, сделался снова кочующим киргизом, но больше не ходил на баранту". Алмакуров был одним из спутников Шевченко во время следования к Аральскому морю. Мы видим его на страницах "Близнецов" в безымянном башкире, от которого Сокира впервые услышал и о "святом дереве", и о других достопримечательностях (Дустанова могила, "аба... над прахом батыря Раима").

Такого же знатока края Шевченко с приходом на Аральское море увидел в Альмамбеке (Альмобете) - казахе, вожаке Чиклинского рода. Макшеев отмечал знание им морских берегов и окрестностей, заинтересованность его в открытии и освоении новых островов. Бутаков говорил о нем, как о надежном источнике достоверного изучения быта и нравов казахов. За отличия при съемке берегов Альмамбек был

награжден "суконным кафтаном, обшитым галуном". На протяжении всей экспедиции Шевченко видел его рядом - на суше и на море.

Образ казаха в стихотворении-поэме, складывался не без воздействия знакомств личных.

Поэт увидел и узнал многих представителей казахов из различных социальных слоев. Одним из новых знакомых Шевченко был султан Кичкене-Чиклин-ского рода. "По приблизительным сведениям, на правом берегу Сыра, от устья Казалы до Косарала, зимует около 1500 кибиток",- доносил губернатору в сентябре 1848 года подполковник Матвеев, исполнявший обязанности начальника Раимского укрепления. Характеризуя султана-правителя, он писал: "Алтын еще молодой человек, не лишен предприимчивости и молодечества, но жадный на взятки и хищения в высшей степени... Он и другие здешние киргизы не раз попрашивались у меня сделать набег на засырских киргиз..., что, конечно, я всегда отклонял".

Нищенское положение казахов-бедняков и, наряду с этим, жадность, пресыщенность султана с его приближенными составляли разительный контраст. В сердце, в памяти Шевченко навсегда запечатлелись нищие казахские дети - байгуши; он сочувствовал им не менее, чем обездоленным Ивасям и Катрусям. "К пристани часто приходил байгуш киргиз, оставшийся около Раима во время прибытия сюда русских и получивший за это в потомственную собственность клочок земли на берегу Сыра..." - вспоминал еще одного общего знакомого Макшеев.

И, наконец, упомяну Баксу, "або по-пашому - кобзаря". Бутаков превосходно описал встречу с ним в письме к родителям, посланном 24 ноября 1848 года, а Шевченко запечатлел его в рисунке, который, к сожалению, пока не отыскан, хотя и был окончен, а затем отослан для продажи на Украину.

...Казахи, их земля - на многих рисунках Тараса Шевченко. Единственным же сюжетом из богатейших впечатлений похода к Аральскому морю, нашедшим воплощение и в живописи, и в поэзии, и в прозе, остается тот, который был навеян, подсказан встречей со "святым деревом".

8

Началом его освоения явился, как можно предположить, эскиз, сделанный непосредственно у дерева. Зарисовка утрачена. Почти одновременно Шевченко сделал и записи для памяти - возможно, это случилось в Карабутаке. О записях свидетельствует чернильная помета на рисунке: "Джангысь-агачь", точно передающая транскрипцию услышанного в степи словосочетания.

И эскиз, и записи были перед Шевченко, когда, уже расположившись на новом месте, смог он развернуть акварельные принадлежности, чтобы взяться за воссоздание ярчайшей степной встречи в красках.

Краски всколыхнули не только художника, но и поэта. Дерево, оживая на бумаге, поднимало из глубин души чувства, испытанные им в те мгновения, когда оказался близ этого чуда.

Нет, дерево гигантом не было. Тополь оставался старым-престарым - каким и видел его Шевченко. Тем больше уважения вызывал этот заслуженный, все выдержавший ветеран - символ стойкости в любых испытаниях.

Украл казах у бога топор, отправился рубить дрова, и вот, в наказание -

Як вирветься сокира з рук -

Шшла по л!су косовиця,

Аж страх, аж жаль було дивиться.

Дуби і всяк! дерева
Великшштш, мов трава
В покоси стелеться, а з яру
Встав пожар, і диму хмара
Святее сонце покрива
І стала тьма, і од Уралу
Та до тингиза, до Аралу
Кишла в озерах вода.

Перед глазами Шевченко стояло не только одинокое дерево. Возможно, виделась ему и брюлловская "Гибель Помпеи". Так впечатляюще передавал он беду людскую.

Продолжалась "степная Помпея" семь лет.

На восьме л!то у недшю, Неначе ляля в льол! бшш, Святее сонечко з!йшло.
Пустиня циганом чоршла: Де город був або село - І головня уже не тл!ла,

І пошл ш'тром рознесло, Билини яв!ть не осталось; Тшьки одним одно хиталось Зелене дерево в степу.

Как чернеет "цыганом" пустыня, он видел во время того же перехода. Видел и степной пожар - сумел даже взять его на карандаш, а затем передать в акварели. Наблюдения оказались полезными. Только представлял теперь как полыхало все, когда было чему полыхать - были леса, города, села.

Одним едине при долин! В степу край дороги Стоить дерево високе, Покинуте богом. Покинуте сокирою, Огнем не налимє, Шепочеться з долиною О давнш годин!...

Но не обходят казахи стороною "дерева святого".

На долину заКжджають,

Дивуються з його,

І моляться, і жертвами

Дерево благають,

Щоб парост! розпустило

У їх б!дн!м Кра'і.

Молитва-мечта, молитва-ожидание...

"Поэмой надежды" назвал это произведение известный литературовед В. Г. Щурат; видел он, однако, ее основой легенду, "вышедшую из творческой комбинации поэта" и впитавшую в себя многое, глубоко его волновавшее,- в том числе, и прежде всего, разгром Кирилло-Мефодиевского братства, надежду на возрождение их дела.

В последующие годы получила распространение версия Абдильды Тажибаева, который в докладе на юбилейном Шевченковском пленуме Союза писателей СССР (1939) связал стихотворение Шевченко с одним из событий истории казахского народа: восстанием Исатая и Махамбета. Оно вспыхнуло в 1830-м и продолжалось восемь лет - до 1838-го, когда было подавлено войсками царя. "Хотя у нас не осталось документа о том, что Шевченко знал о восстании Исатая и Махамбета,- говорил А. Тажибаев,- мы не сделаем ошибки, предположив, что это событие было ему известно. Он не мог не знать об этом восстании, потому что в его подавлении принимал участие Орский пограничный отряд, в котором позднее находился Шевченко, и солдаты, участники этой карательной экспедиции, не могли не рассказать ему о ней".

Углубляя мысль казахского писателя, виднейший современный шевченковед Е. П. Кирилук заявил, что в образах стихотворения-поэмы "У бога за дверми лежала

сокира" Шевченко отобразил национально-освободительные движения казахов, их жестокое подавление и в то же время непобедимую, вечно живую силу народа.

Но и предположение В. Щурата относительно Ки-рилло-Мефодиевского братства, и заявления о связи этого произведения с восстаниями в степях (тем более одним, определенным восстанием) как "единственно убедительные" не воспринимаются.

Слов нет - и в Орской крепости, и в походе к Аралу, и на Аральском море Шевченко мог многое слышать о национально-освободительных выступлениях казахского народа, о восстаниях, которые прокатывались по степям. В оренбургских линейных батальонах служило немало ветеранов, находившихся тут по десять-пятнадцать лет. Желавший узнать побольше такую возможность имел.

И все же я никак не склонен связывать "У бога за дверми лежала сокира" с событиями национально-освободительной борьбы в степях. Гораздо более вероятной представляется мне трактовка Ю. А. Иваки-на, который, опираясь на мнения и других исследователей, считает, что нет оснований усматривать в стихотворении аллегорию, а не просто поэтическую фантазию автора, взволнованного встречей с одиноким деревом в тысячеверстой унылой пустыне.

Другое дело, что в основе всякой фантазии, в том числе поэтической, лежат реальные мотивы. Так почему не сказать, что в основе фантазии Шевченко были события всей новейшей истории, современником (и участником) которых он являлся? От революционных бурь в Западной Европе, не прекращавшихся выступлений поляков (некоторые из них оказались тут же, в Орской крепости) до восстаний на родной ему Украине и волнений в местах совсем близких - степях Казахстана? А значит, "святое дерево" - символ стойкости, неодолимой силы всего борющегося человечества?

"Брат наш, друг наш",- так сказал о Кобзаре Украины выдающийся писатель Казахстана Мухтар Ауэзов. В поэзии братских народов стихотворение-поэма "У бога за дверми лежала сокира" поднимается господствующей, далеко видимой вершиной.

ПО СЛЕДАМ ОРЕНБУРГСКОЙ ЗИМЫ

Оренбург, 1849-1850

Время, когда происходят интересующие нас события,- поздняя осень 1849 - весна 1850 года, место их - Оренбург.

Каким он был в середине прошлого века? Каким принял Шевченко?

Начну со строк из его повести "Близнецы".

"На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что-то антипатичное, но наружность иногда обманчива бывает. И я лучше сделаю, если не буду вам писать о нем, пока к нему не присмотрюсь..."

Присмотримся и мы. А в помощь себе привлечем шевченковских современников. И только "титул" Оренбурга этой поры приведу сам и сразу: уездный город, резиденция штаба Отдельного корпуса и военного начальника края, крепость второго класса.

Но пусть заговорят те, которые видели "тот Оренбург" сами. Представим себе диалог двух старожилов - Н. Залесова и П. Жакмона. На журнальных страницах они не встретились: записки первого публиковались в 1903 году в майской книге "Русской

старины", воспоминания второго - в апреле 1905-го в "Историческом вестнике". Однако и тот, и другой рассказывают об Оренбурге 1849-1850 годов. Так что диалог между ними можно представить без труда.

Ж а к м о н: "...Это был небольшой город, окруженный высоким земляным валом со рвом и четырьмя железными воротами, которые на ночь запирались на замок. У каждых ворот стоял военный караул, а у главных ворот - Сакмарских - был офицерский пост, потому что здесь же, в каменном здании, помещалось до 300 человек арестантов военно-исправительной роты. Так как ключи от ворот были у караульного начальника, то в ночное время приезжающие впускались только с его разрешения в город. После пробития вечерней зари часовые на постах перекликались протяжным "слушай", и их в шутку называли царскими петухами..."

За лесов: "...В этот год корпусной командир устроил линейным батальонам и казакам маневры: формировали переправу через Урал, атаковали уральскую рощу. Это, сколько знаю, была первая попытка в такого рода занятиях в Оренбургском корпусе... Здесь кстати заметить, что у тогдашнего нашего начальства был крайне своеобразный взгляд на образование войск, особенно офицеров, от которых, кроме изучения устава, решительно ничего не требовали и даже как будто боялись, когда у них являлось желание пополнить свои познания".

Ж а к м о н: "...Число жителей не превышало в Оренбурге, вместе с войсками, 12 тысяч человек".

З а л е с о в: "...Общественные удовольствия шли тоже по-прежнему: избранная публика веселилась в клубах, на балах у начальства и у себя на дому".

Ж а к м о н: "...В те времена Оренбург был ссыльным городом, и в нем насчитывалось несколько сотен ссыльных поляков... Все они были разжалованы в царствование императора Николая Павловича и сосланы рядовыми в оренбургские линейные батальоны и несли строевую службу наравне с прочими нижними чинами, только ночевали не в казармах, а на своих квартирах, что, впрочем, дозволялось им частным образом - с разрешения батальонных и ротных командиров, или тайным образом - за плату, с позволения фельдфебелей, наживавших от них большие деньги".

18 а л е с о в: "...Из внешних обстоятельств, интересовавших общество и несколько нарушивших его обыкновенную жизнь, я могу указать только на четыре. Во-первых, благородные спектакли. Представлений состоялось несколько, их дали после пасхи, п действующими лицами были адъютанты, офицеры Генерального штаба, инженеры и дамы высшего круга... Вообще спектакли были новинкою и принесли много удовольствия оренбургскому обществу, за что оно исключительно обязано супруге генерала Обручева, при содействии которой только и можно было устранить обыкновенные в провинции пререкания дам при раздаче ролей. Вторым был приезд зимой для наблюдения за набором местного землевладельца, флигель-адъютанта Тимашева, которого приглашали все на балы с целью посмотреть, как танцует он польку, а Обручев измучил до последней степени, возя его по всем заведениям и караулам, чтобы показать существующие у него порядки. Третьим были действия и работы на Аральском море и Сырдарье морских офицеров - капитан-лейтенанта Краббе и лейтенанта Бутакова. Молодой, образованный А. И. Бутаков много положил труда и здоровья на исследование Аральского моря и образование Аральской флотилии; Краббе же ухаживал за барынями, рыскал верхом и приезжал единственно для получения награды. И, в-четвертых, привоз в Оренбург, служившем тогда одним из главных мест ссылки, малороссийского поэта Шевченко. С последним мне удалось

познакомиться, хотя, к сожалению, ненадолго, ибо Обручев, найдя пребывание его в Оренбурге почему-то небезопасным, отправил Шевченко в заброшенный в пустыню Александровский форт, куда даже офицеров посылали в виде особого наказания".

Шевченко "в-четвертых"? Я умышленно дал выговориться почтенным оренбургским старожилам - чиновнику Жакмону и отставному генералу Залесо-ву. Включись в их спокойный диалог тот, о чьем приезде последний мемуарист сообщает после рассказа о "благородных спектаклях" и развлечениях будущего министра внутренних дел Тимашева, тон разговора сразу стал бы иным.

Но Шевченко сказал, и сказал точнее, определеннее, чем оба старожила вместе взятые.

Это его впечатления, его мысли и чувства передал в своей "Оренбургской мухе" герой "Близнецов" лекарь Сокира.

Самые безрадостные картины вызывали письма Савватия Сокиры из Оренбурга у его родителей и односельчан на Украине: "...Они видят его, как он идет по большой улице и ему встречаются эполеты да каски, каски да эполеты, казаки да солдаты, солдаты да казаки, даже бабы ходят по улице в солдатских шинелях... Или видят его, как он сидит на горе и смотрит на Урал, и на рощу за Уралом, и за рощей на меновой двор, а за двором степь и степь, хотя и не смотри, далее ничего не увидишь, а он все смотрит да о чем-то думает..." И далее: "...Наконец, дошло до того, что он открыто начал жаловаться на скуку и однообразие. "Хоть бы на гауптвахту хоть раз посадили для разнообразия,- писал он,- а то и того нет". На оренбургское общество смотрел он как-то неприязненно, а дам высшего полета называл просто безграмотными кокетками..."

"...Один вид Оренбурга наводил на него сон". Вот, либеральные мемуаристы, ваш Оренбург со стороны. Не "общественные удовольствия", а "скука и однообразие", не "оренбургское общество", а "сонное царство".

"...Думал было он просить перевода, ссылаясь на климат, но от основания Оренбурга не было еще человека, который бы жаловался на его климат. Климат отличнейший, хотя лук и прочие огородные овощи не родятся. Но это, я думаю, больше оттого, что все это добро из Уфы получают, для кого оно необходимо. А до Уфы, заметьте, не более, не менее как 500 верст..." Сколько тут горькой, разящей иронии!

Нет, зря писал автор "Близнецов" по поводу "Оренбургской мухи" Савватия Сокиры - своей "Оренбургской мухи"! - что она, мол, "ни на какую пошлость или низость людскую не нападала", а представляла собой "просто описание вседневной, прозаической жизни". Зря оговаривал, что покойного Котля-ревского "Полтавская муха" была настоящая пчела, а это было только невинное подражание в одном названии. Как согласиться с этим, читая заметки "лекаря Сокиры"? Разве только принять все в том смысле, что они, впечатления Сокирыны, передают его, шевченковские, лишь в малой, самой малой степени.

Для Шевченко Оренбург оказался городом друзей. И дружба скрасила его жизнь в далеком, глухом, ссыльном Оренбурге, наполнила ее новым, во многом неожиданным, содержанием.

ДОМ ЕГО ДРУГА

В год, когда было отмечено пятидесятилетие со дня смерти Тараса Шевченко, две почтенные организации Оренбурга вступили в оживленную переписку, дошедшую до нас архивным делом № 92 (Государственный архив Оренбургской области - ГАОО.- Ф.-96.-Оп. 1).

Начало переписке положило официальное отношение со штампом городской управы.

"Городская дума в заседании своем 21 декабря 1911 года постановила: назвать Канонирский переулок, в который выходит дом Кутина, где жил украинский поэт Т. Г. Шевченко, его именем и прибить на дом медную доску с соответствующей надписью..."

Это сообщение служило вступлением. Суть же дела излагалась далее: "Не зная точно, в каком именно году жил в Оренбурге Т. Г. Шевченко, городская управа о сообщении этих сведений покорнейше просит Ученую архивную комиссию, причем не отказать выработать и соответствующую этому случаю надпись".

Оставим на совести столоначальника с неразборчивой подписью "красоты стиля". Смысл ясен: общественность требовала увековечить память Шевченко, кое-какие указания на то, где он жил в бытность свою в Оренбурге, имелись, а вот когда поэт здесь находился, что и как написать на мемориальной доске - было неизвестно.

Отношение датировано 8-м мая 1912 года. Со времени решения думы прошло пять месяцев. Еще два е,дишним месяца спустя, 19 июля, последовало напоминание: "поспешить исполнением отношения".

Но только 11 сентября действительные члены и члены-корреспонденты комиссии собрались для обсуждения поставленного перед ними вопроса. ; Собрались - и разошлись. Вместо ответа последовал встречный вопрос: о документах, которыми располагают на сей счет сама дума и сама управа.

В следующем письме, посланном в июне - уже не 1912-го, а 1913 года,- черным по белому написано: "Городская управа имеет честь уведомить Архивную комиссию, что собственно в управе не имеется никаких сведений о проживании поэта Т. Г. Шевченко в Оренбурге, в доме Кутиных, но из книги "Галерея русских писателей" под редакцией И. Игнатова, над. С. Скирмунт, видно, что Шевченко проживал в Оренбурге с 1847 по 1857 год".- Переписка продолжалась с тем же успехом.

И вот еще одно свидетельство, теперь уже печатное. Это небольшая статья в "Оренбургской жизни" за 25 февраля 1914 года.

"Сегодня исполняется столетие со дня рождения украинского поэта,- писал автор, подписавшийся псевдонимом "Неукраинец".- По поводу этой годовщины уместно вспомнить о невеселом пребывании его в нашем городе и крае".

О самом "невеселом пребывании" сообщалось не более, чем было известно тогда из биографических статей о Шевченко. Куда интереснее для нас вторая часть статьи: "До сих пор существует дом, в котором жил ссыльный поэт. Он находится на углу Преображенской улицы и Канонирского переуллка, против католического костела.

Небольшой одноэтажный деревянный дом о семи окнах по Преображенской и пяти по Канонирскому переулку весь накренился и покосился. Два крыльца. Кому он принадлежит в настоящее время, за отсутствием домово,й дощечки, неизвестно. Недавно принадлежал семье Кутиных...

Большую древность представляет собой этот дом. Говорят, ему больше ста лет..."

И, наконец, ответ на то, чем же к тому времени закончилась похвальная затея городской думы.

"Кажется, существует постановление нашей думы о переименовании Канонирского переуллка в улицу Шевченко,- читаем далее.- Отчего же и до сих пор на доме, в котором жил поэт, прибита дощечка - Канонирский переулок?.. Не мешало бы городской управе взять на себя инициативу прибить памятную доску к дому, в котором жил Шевченко. Хотя бы этим ознаменовать столетие его рождения".

Переписка... переписка... А тем временем все меньше оставалось людей, хранивших живую память о Шевченко. Умер А. Кутин, который не раз видел поэта в доме своих родителей и мог о нем рассказать по собственным впечатлениям. Его отец - хозяин дома - с присущей таможенному чиновнику скрупулезностью вел семейную тетрадь-хронику. Листы из нее, как раз за этот период, оказались вырванными. Кем? Для чего?

Почтенные же организации продолжали обмениваться запросами-ответами, ответами-запросами. В четырнадцатом году положение оставалось на той же точке, что и в одиннадцатом.

И табличка с новым названием переуллка, и памятная доска на доме появились только после Октябрьской революции.

В "Летописи жизни и творчества Т. Г. Шевченко" В. Анисова и Е. Середы указывается: "Октябрь, 10. Шевченко, Вутаков и другие участники экспедиции отправились из укрепления Раим в Оренбург...

Ноябрь, 1. Шевченко и Бутаков прибыли в Оренбург..."

Даты здесь не точны. Архив помог установить, что экспедиция вышла из Раима 9 октября, а в Оренбург прибыла 31-го.

Утомительным трехнедельным переходом закончилась длительная - почти полугодовая - экспедиция А. И. Бутакова по составлению карты и описанию берегов неведомого Аральского моря.

Экспедиция-подвиг... И командиры, и все ее участники являлись первооткрывателями: они шли в неведомое, на каждом шагу преодолевали препятствия, рисковали жизнью. Но, как писал впоследствии Бутаков, "все удалось нам как нельзя лучше, при неутомимом, исполненном самоотвержения усердии всех наших сподвижников".

Опасности, лишения трудного похода были теперь позади. Однако работы его участникам оставалось еще много. Тем более - Шевченко.

Он был "глазами экспедиции". Множество зарисовок сделал художник, неповторимые детали запечатлел в своих путевых альбомах. По ходатайству Бутакова, Шевченко разрешили оставить при нем "для окончательной отделки живописных видов, чего в море сделать невозможно, и для перенесения гидрографических видов на карту после того, как она будет составлена".

Где он поселился?

Этот вопрос немаловажен и потому не обошел его ни один исследователь жизни поэта в ту оренбургскую зиму.

Но столько разноречивых толков!

Можно согласиться, что первым пристанищем Шевченко и в этот, второй его приезд в Оренбург стал дом Кутиных. Но лишь на день-два. В дальнейшем он нередко приходил сюда к Федору Лазаревскому. Здесь устраивались дружеские встречи с

участием их общих приятелей. Иногда оставался ночевать. Провел тут Шевченко ночь с 22 на 23 апреля - после обыска. Однако был он в кутинском доме лишь гостем.

Чтобы убедиться в этом, достаточно вчитаться в воспоминания хозяйки дома, которые в свое время записал П. Л. Юдин: "Ходил он по городу всегда в солдатской шинели и только под низом ее надевал синие шаровары и белую, вышитую на груди и по рукавам, хохлацкую рубаху. Был у него приятель офицер хохол (Ф. Лазаревский, который жил у Кутиных.- Л. Б.), Шевченко чуть не каждый день навещал его. Вдвоем они коротали зимние вечера за чайком и водочкой. Придет, бывало, он к нам, сейчас шинель долой, повесит ее в передней на гвоздик, расправит свои длинные черные усы, и первый его вопрос в шутовском тоне:

"Ой, чи живы, чи здоровы Вси роличы гарбузови?"

* Кто-кто, а хозяйка два таких различных обстоятельства: жил Шевченко в ее доме или бывал в нем гостем? - спутать не могла.

(Последующие представители семьи почему-то утверждают обратное. Могут упомянуть сообщение С. А. Рыковой (урожд. Кутиной), опубликованное в довоенном украинском сборнике "Т. Г. Шевченко в народном творчестве" и перепечатанное в книге "Народ и Шевченко". Ссылаясь на рассказ матери - тот самый, который мы прочли,- она категорически утверждает: "Шевченко жил в нашем доме", "Шев-енко квартировал у моего дедушки").

Большинство исследователей вопроса не задаваясь трудом выяснить, как звали домовладельца, безапелляционно именуют его Аполлоном Кутиным.

Между тем Аполлон, который действительно жил тут в это время, так что встречаться с поэтом мог, находился тогда в весьма юных летах. Хозяином дома являлся его отец - чиновник Михаил Иванович, хозяйкой - его мать Александра Петровна. Установить В.Ю. мне помогла беседа все с той же Софьей Аполлоновной Рыковой. Вместе с ней мы горько посетовали да поводу того, что оказалась утраченной семейная тетрадь-хроника - сначала листы 1849-1850 годов, затем и вся она целиком. Я долго искал некоего 'Иванова, местного журналиста, который брал у нее "ту памятную книжку в середине тридцатых годов.

Во смог только установить, что искать его бесполез.-во: старый газетчик В. П. Иванов-Яицкий, который занимался историей своего края, умер еще в конце тридцатых годов, архив его исчез безвозвратно...

Из дома Кутиных, где Шевченко, повторяю, обитал недолго, он перебрался к Бутакову. На этот счет имеется свидетельство М. М. Лазаревского: "...Ш. и его товарищи жили на одной квартире с Бутаковым...-По отъезде Бутакова в январе 1850 года в Петербург Шевченко переехал жить на квартиру полковника К. И. Герна..."

Переселение к Бутакову могло произойти 7-9 ноября, когда командир Отдельного Оренбургского корпуса официально разрешил прикомандировать Шевченко, вместе с Вернером и Залеским, к оренбургской группе Аральской экспедиции.

В письме к брату Григорию Ивановичу - письме, посланном из Оренбурга 4 ноября 1849 года (оно сохранилось в деле 82 фонда 4 Центрального Государственного архива Военно-Морского Флота СССР в Ленинграде),- А. И. Бутаков сообщал:

"Теперь квартира моя представляет настоящую фабрику,- в одной комнате топографы чертят напропалую на трех столах, в другой рисуют виды, в третьей разбираются геологические и ботанические образцы и, наконец, в четвертой я сам

работаю над своими отчетами или похаживаю с сигарой в зубах и с лапами в карманах от одного стола к другому - важно!"

Планировку квартиры представить себе нетрудно. А вот где она находилась?.. Скорее всего, в двухэтажном каменном доме, специально предназначенном для "господ приезжих генералов, штаб- и обер-офицеров" (сейчас в этом, надстроенном до четырех этажей, здании - педагогический институт). С ней, квартирой Бутакова, замечательного русского человека, у Шевченко было связано многое: здесь он создал и завершил десятки видов берегов Аральского моря, нарисовал многие пейзажи степей, тут жила большая Тарасова надежда на официальное дозволение рисовать и на удовлетворение ходатайства друзей о производстве его в унтер-офицеры как реальном шаге к свободе. В этом же доме пережил Шевченко и новый приговор: "Высочайшего соизволения не последовало!" Не будь рядом Бутакова, не будь настоящего дружеского окружения, он воспринял бы крушение своих надежд несравненно тяжелее.

Снова и снова падали на Шевченко палачески-жестокое удары царской десницы. Но насколько сильнее была окружавшая его дружба, если, несмотря ни на что, каждый раз после таких ударов верх в нем брали не горе и отчаяние, а оптимизм, воля к жизни, к борьбе!

..."Он... жил сначала вместе с Бутаковым и по отъезде Бутакова в Петербург перешел жить ко мне..." Это уже из воспоминаний К. И. Герна.

Хороший русский человек офицер Бутаков передал эстафету дружеской заботы о Шевченко такому же бескорыстному и сердечному русскому офицеру Герну.

Не впервые прохожу я по улице Чичерина. Не раз исхоженная из конца в конец, она, кажется, знакома мне каждым своим перекрестком, каждым домом. До нынешнего, советского, названия она именовалась Гришковской, еще ранее - Косушечной.

Косушечная меня и интересовала. По многим свидетельствам - и дореволюционным, и современным - здесь находился дом Герна. Тот самый, в котором жил, притом продолжительное время, Тарас Шевченко.

Дивизионный квартирмейстер штабс-капитан Карл Иванович Герт искренне симпатизировал опальному украинскому поэту и много сделал для того, чтобы облегчить его участь.

Во время экспедиции к Аральскому морю Герт командовал небольшим отрядом для закладки нового форта на реке Карабутак. "После долгой, самой душевной беседы мы с ним расстались уже ночью..." - писал Шевченко в "Близнецах" о встрече, которая состоялась летом 1848-го.

Уже тогда почувствовал Тарас Григорьевич, какая хорошая, щедрая душа у нового его знакомого...

...Итак, Шевченко переехал к Герну.

Что известно об этом из воспоминаний?

"...Поселился... в предместье Оренбурга в доме К. Герта..."

"...В последний свой приезд из степи я застал Шевченко там же на слободке, во флигеле дома К. И. Герта..."

Наконец, уже знакомое:

"...Он... жил сначала вместе с Бутаковым и по отъезде Бутакова в Петербург перешел жить ко мне..."

Написанные сорок лет спустя, воспоминания К. И. Герна исполнены самых искренних чувств к своему великому другу.

Следовало бы украсить дом Герна мемориальной доской: Шевченко жил здесь продолжительное время. Тут же он поселил героя повести "Близнецы" Савва-тия Сокиру ("...нанял себе маленькую, о двух комнатах, квартиру, как раз против госпиталя, в Старой Слободе").

Для того чтобы установить памятную доску, нужно совсем немного - знать адрес дома.

Бывшая Старая, по другому - Голубиная слободка... Бывшая Косушечная... Против бывшего Неплю-евского кадетского корпуса... Более точных сведений не сообщил и П. Юдин, хотя он занимался этим вопросом тогда, когда еще были живы современники Шевченко и даже прежние владельцы дома. "Сгорел во время пожара 1879 года..." Однако было ли это основанием для того, чтобы не искать?

...Снова и снова прохожу я по улице Чичерина. Улице знакомой и - загадочной.

А что, если?..

...Герн служил в 23-й пехотной дивизии. Входила она в состав Отдельного Оренбургского корпуса. Не отыщется ли в фондах корпусного штаба Оренбургского архива хоть какой-то документ, зафиксировавший - по тому или другому поводу - адрес квартирмейстера дивизии? Скажем, формулярный его список? Искать пришлось долго. Но важно другое - не безрезультатно. Дело № 42, найденное в фонде 233, ййело название: "О дозволении штабс-капитанше Софье Николаевой Герн произвести некоторые пе-рйтравки в доме ея, состоящем в Голубиной слободке..."

Переписка, собранная здесь, началась 15 мая

1846 года, за год до первого приезда Шевченко в Оренбург, а закончилась почти десять лет спустя в сентябре 1855-го, когда он отбывал ссылку в Новопетровском укреплении.

Значит, речь шла именно о том доме, поискам которого посвятил я уже не один свой день... О чем рассказывали листы?

Частный пристав третьей части, заметив, что ("А Голубиной слободке, по улице, ведущей к военному Госпиталю, на месте, принадлежащем наследникам "ершего тайного советника Генса, "производятся аэные жилые постройки без разрешения начальства", распорядился "о воспреещении производить такие далее".

Герн не стал дожидаться подтверждения запрета. Он обратился к военному губернатору Обручеву с рапортом, в котором жаловался на необоснованность такого вмешательства в права законной владелицы дома - своей жены Софьи Николаевны. Штабс-капитан просил подтвердить законность начатых работ: пристройки трех комнат к "каменному о семи окнах дому", переноса избы-флигеля и т. п.

Но желаемого подтверждения сразу не последовало. Началось "изучение" вопроса о том, позволительно ли производить в этом месте какие-либо работы вообще. В переписку были втянуты начальник инженерного отделения, городничий и многие другие. Ка-питанша стала майоршей, затем подполковницей, квартирмейстер дивизии превратился в "состоящего по особым поручениям при генерал-губернаторе", прежде чем было принято решение: "места в крепостную эспланадную линию не входят" и потому "препятствий (к перестройке)... не имеется".

Девять лет и четыре месяца потребовалось для такого определения. Не один год и не один рапорт понадобились для получения Герном плана своего дома и прилегающего к нему участка.

...Упоминание о плане встретилось мне чуть ли не в первом из подшитых к делу документов.

План... О, это даже больше чем адрес! Но есть ли он в деле?

Есть. И не один - три!

На первом и втором- часть девятого квартала Голубиной слободки. Вот усадьба Гернов. По обе стороны - соседи. Среди них люди разных сословий: рядовой инвалидной команды Куликов и купец третьей гильдии Самойлов, мещанин Шварев и отставной солдат Рукавишников. Район, как можно убедиться уже по этому перечню, отнюдь не аристократический. Тут, среди простых людей, Шевченко чувствовал себя, конечно, лучше, чем в кварталах знати.

А вот и третий. В этот последний лист я вглядываюсь с особым интересом. Подробный план участка штабс-капитана Герна... Прежде всего бросается в глаза рисунок семиоконного каменного дома с колоннами по центру фасада. В эту дверь входил Шевченко. Этим садом любовался. И хоть здесь не изобра-^кена, все же живо представляется дорожка, что вела к деревянному флигелю. Вот к этому - в глубине двора, справа, близ линии, которая разделяла владения офицера Герна и купца Самойлова. "Во флигеле дома К. И. Герна..." - всплывают в памяти слова из воспоминаний современника Шевченко. Сколько дней и ночей провел он в нем! Сколько дум передумал и стихов сочинил, сколько нарисовал!

Дело "О дозволении штабс-капитанше..." прояснило многое. Но все ли рассказал архив? Не откроет ли он каких-то важных деталей, которые облегчат и ускорят поиски?

Через два или три дня на стол легла еще одна щодщивка бумаг: 1852-1853 годов. Это было дело № 228 из того же фонда - "О неправильной разбивке нового квартала домов в Голубиной слободке напротив дома г. капитана Герна". ".Скажу сразу - ничего существенного оно не сообщало. И все-таки оказалось весьма полезным. Чем? Опять же - планами.

Если те, найденные первыми, давали представле-ЛШе лишь об одной стороне улицы, причем ограничивали его сравнительно небольшим отрезком, то эти... Вряд ли потребуются объяснения дополнительные, 4рли сказать: передо мною лежал план большей части Голубиной слободки с обозначенным на нем участком. Вот теперь архив можно было оставить без угрызений совести. Снова на улицу Чичерина, которая прежде именовалась Гришковской, а еще раньше, в далеком прошлом,- Косушечной...

Но проходит день, на исходе другой, а результатов нет. Ничего похожего. Как же так? Неужто облик этой части города изменился настолько, что не найти ни единой зацепки?

Обескураженный, зашел я в- краеведческий музей. Здесь работал старый мой знакомый Сергей Александрович Попов - историк, археолог, краевед.

- Ищу дом, где жил Шевченко...

- Да вот же...

- Не тот!

- Читал, будто...

- В Старой слободке?

- Совершенно точно...

- Не отыскивается!

Извлек я из папки фотокопии планов усадьбы Гер-на и девятого квартала Голубиной слободки, разложил их на столе и стал смотреть на... Попова. А у него

глаза зажглись. Только у краеведа, следопыта, искателя могут быть такие глаза. Острые, горящие,

живые...

- Та-а-к... Значит, поиск оказался безуспешным?

Понимаю...

- Карты бы старые, Сергей Александрович. Да поподробнее!

- Можно и карты...

Мы ползали по картам чуть ли не полдня. По старым, еще более старым и совсем старым. Мы совершали путешествия по лабиринтам улиц, улочек, переулков. Мы упирались в тупики и выбирались из них.

Взгляд - на планы, взгляд - на карты. И недоуменный обмен взглядами.

- Неужели Юдин напутал?..

По всему выходило: да, напутал. Услышал от кого-ув, что дом Герна стоял на бывшей Косушечной, яе проверил, пустил в печать - и пошло это утверждение по мемуарам да научным исследованиям.

А дом-то был на... Косой!

На Косой улице, которую позднее переименовали в Архиерейскую, а после революции - в Казаков-скую-

- Пойдем вместе, Сергей Александрович? Пойдем!

- Где-то тут...

Дома, который походил бы на тот, семиоконный, с колоннами по центру фасада, нет. Косая, как и Конечная, во время большого оренбургского пожара года была объята огнем: дом, как и утверждают оографы, действительно сгорел. |*"Но где он находился?

На планах, обнаруженных в архивном деле, сохранен масштаб. Это облегчило поиск. Стало возмож-вычислить расстояние до начала усадьбы Гер-.. до дома... до забора, который некогда отделял .подворье от хозяйства купца Самойлова... оТ улица, существовавшая и тогда. Теперь она Суворовская. Сажени не трудно перевести в мет-Мы с Сергеем Александровичем превращаемся аправских землемеров.

- Новые дома будут строить тут, да? - спраши-вездесущие мальчишки.

- Все в свое время,- отвечаем уклончиво. А сами продолжаем отмерять метр за метром.

Здесь!

Большой, полуторазтажный дом, окруженный деревьями... Смотрю на табличку: Казаковская, 43. Именно сюда будут идти оренбуржцы (да и не только оренбуржцы), чтобы почтить память великого сына Украины.

Проверить, еще и еще раз проверить... Но как?

- Рядом с Тернами жили Самойловы,- выдаю я свою мысль.

Конечно, это слишком самонадеянно - рассчитывать, что в соседнем доме нас вдруг встретят потомки прежних владельцев. И все-таки...

...- Ищите кого? Могу показать - я тут всех знаю.

- Самойловых ищем...

- Самойловых? - разочарованно переспрашивает мальчишка.- Таких у нас нету. Во всем доме нету.

В доме, что выходит окнами на улицу, живут люди, переехавшие сюда в самые последние годы. Старожилами двора, по их словам, являются только пенсионеры Семеновы, которые занимают маленький флигель.

Стучим к Семеновым. А в голове - Самойлов.

- Самойловы здесь живут? - сорвалось с языка как-то само по себе, когда дверь открыла худенькая старушка.

- Тут Семеновы,- мягко поправила она. И, не скрывая удивления, спросила: - А вы отчего мою девичью фамилию вспомнили?

Мария Васильевна Семенова оказалась внучкой того самого Самойлова, что был соседом Гернов. Лет сорок она проработала наборщицей в типографии. Так что общий язык мы нашли сразу. Собеседница вспомнила слышанные в детстве рассказы о том, как и где стояли дома на улице до пожара, кто в них жил. И, представьте себе, все сошлось...

Здесь он жил... Смотрю на дом, что передо мною (не тот - выстроенный гораздо позже), на ограду (тоже несхожую с нарисованной), на деревья (и они не столетние), а вижу особняк Герна, флигель в глубине двора, и сдается, сейчас вот откроется калитка и выйдет он, Шевченко.

Дом стоял на этом самом месте.

Карл Иванович был человеком большой культуры и прогрессивных взглядов. В его доме часто собирались хорошие люди разных национальностей. (Сестра Герна, Елизавета Ивановна, являлась женой чиновника провиантской комиссии Альфонса-Карла Адамовича Кирша, и это способствовало укреплению дружеских связей с поляками, которые обрели "свой дом" не только у Киршей, но и у Гернов). Можно представить себе, как много вопросов поднималось в беседах, какими бурными они были. Несмотря на строжайший запрет, звучали в стенах дома стихи Шевченко. И те, которые привели его в далекую Оренбургскую губернию, и новые... Среди них - широко известное "Якби ви знали, панич!...", написанное в Оренбурге, возможно в этом самом "доме".

(. "Живя у меня, он много рисовал, в особенности портреты, и сделал несколько превосходных пейзажей акварелью из привезенных с Аральского моря эскизов; начал масляными красками писать портрет

-мой и жены моей..." Это свидетельствует Герн. ^Флигель его дома на несколько месяцев стал мастерской художника Шевченко. Тут он создал галерею портретов, картину "Распятие", виды Арала и степи...

Сюда к нему приходили друзья. "В числе посетителей его довольно часто навещал Левицкий, с которым они в два голоса пели малороссийские песни,- вспоминал К. Герн в уже цитированном письме к М. Лазаревскому.- Кажется, брат ваш Федор тоже принимал иногда участие в этих импровизированных концертах; но я не слыхал ничего восхитительнее этого пения".

Сюда же нагрянули с обыском весной 1850 года... Дорожа честью своего друга, Шевченко раскрыл Герну глаза на низость прапорщика Исаева, который всячески увивался за женой штабс-капитана. Исаев затаил месть и вскоре написал донос: рядовой Шевченко, нарушая "высочайшую волю", ходит в гражданской одежде, рисует и сочиняет. Военный губернатор Обручев, опасаясь монаршего гнева, дал доносу ход.

Много опасных улик могло быть найдено во время обыска, если бы Герн не проведал о нем чуть раньше. Он разыскал Шевченко, и в печь были брошены десятки писем, рисунков, черновиков стихотворений. Стихи, написанные его другом в неволе, Карл Иванович спрятал у себя. Тех результатов, на которые рассчитывали доносчик и его покровители, обыск не дал. Тем не менее Шевченко оказался на главной гауптвахте Оренбурга.

Тут стоял тот флигель. Он тоже когда-то сгорел и тоже отстроен заново. Я встретился в нем с семьей Ананьевых. На маленькой полочке в их флигельке - шевченковский "Кобзарь". Среди стихов его - те, которые были написаны на этом самом месте.

На этом месте... Поэт томился в каземате Орской крепости, потом долгие годы находился в Новопетровском укреплении, а исписанные стихами тетрадки - всем известные ныне шевченковские "захалыв-ные книжечки" - оставались в доме Герна почти восемь лет. Тут сохранялись "до лучших времен" и важные для Тараса Григорьевича бумаги, и альбом акварельных рисунков, сделанных им в Аральской экспедиции.

Герн, его дом навсегда остались в сердце Шевченко. Любую возможность использовал он, чтобы выказать дружеские чувства милому сердцу человеку. Однажды с берегов Каспия сюда доставили рисунок песчаного смерча в пустыне Мангышлака. В другой раз из далекого форта Герн получил формы барельефов: Шевченко заинтересовался лепкой и выполнил две композиции.

Он жил этим домом и тогда, когда был от него далеко.

Дома нет. А стоял он тут. И теперь, проходя по этой улице, мы останавливаемся перед мемориальной доской. Выбиты на ней такие слова:

НА ЭТОМ МЕСТЕ НАХОДИЛСЯ
ДОМ К. И. ГЕРНА, В КОТОРОМ В 1850 ГОДУ
ЖИЛ И ТВОРИЛ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ГЕРН И ДРУГИЕ

Ну вот мы и знаем, где стоял дом штабс-капитана Гёрна,- тот самый, в котором Шевченко прожил три, а1 то и четыре месяца.

За многие часы, проведенные сначала на бывшей Косушечной, а потом на бывшей Косой, мне не "йднажды приходилось рассказывать об оренбургской &йме поэта. Люди помогали искать - я не мог не отвечать на их вопросы. Вопросов со временем становилось больше. И все чаще они ставили в тупик...

- Кем был Герн?

- Герн был другом Шевченко.

Сказал и чувствую: мало. Перебираю известное: квартирмейстер 23-й пехотной дивизии... познакомились в первые дни пребывания Шевченко в Оренбурге... встретились в Карабутке... в доме его... Мало! Между тем Шевченко испытывал к Герну самую горячую симпатию. Иначе не писал бы он Брониславу Залескому с Мангышлака: "Поцелуй Карла за меня и скажи ему, что ежели он решится побывать на Сыре, то я пойду за ним на Куань и на Аму, в Тибет и всюду, куда только он пойдет..." Иными словами: хоть на край света. За кем?

...Отправляясь на поиски дома Герна, я мечтал найти формулярный список его владельца. Но когда были обнаружены архивные дела с планами усадьбы и квартала, интерес к "списку о службе и достоинстве" на время угас.

Теперь он вспыхнул снова. И снова привел туда же - в архив.

Формулярный список оказался среди бумаг дела Оренбургского дворянского депутатского собрания "О дворянстве рода Герн", начатого в 1858-м и законченного в 1860 году (ГАОО.- Ф. 38.- Оп. 1- Д. 264). Я узнал:

...что был он, Герн, на два года моложе Шевченко; в пятьдесят восьмом ему исполнилось сорок два и, значит, первое их знакомство состоялось, когда Герну едва минуло тридцать...

...что происходил он из обедневших ("имений нет") дворян Витебской губернии; тринадцати лет от роду был записан ("вступил") в службу кондуктором, а в восемнадцать начал действительную...

...что в Оренбурге Герн служил с 1835 года: в возрасте девятнадцати лет он прибыл сюда подпоручиком инженерной команды...

Затем - курс наук в военной академии, и снова - Оренбург, Отдельный корпус, продвижение по лестнице должностей и званий.

В 1844 году Герн отличился в составлении карт Оренбургского края, а несколько месяцев спустя участвовал в походе против "мятежного султана" Куни-сары Касимова.

Следующая запись относится к весне 1847 года.

Той весне, когда Шевченко находился под арестом в каземате III отделения, а затем, приговоренный к солдатчине, был отправлен и доставлен в Оренбург.

!!!

(Восклицательные знаки я поставил здесь не случайно: эта запись в формулярном списке Герна требует устранить неточность на страницах многих биографических работ).

Итак, читаем:

"1847 г., 15 мая Герн был командирован в Киргизскую степь и находился при командире Отдельного Оренбургского корпуса, выступившем 25 мая из крепости Орской для осмотра укреплений Оренбургского и Уральского и для возведения нового укрепления при урочище Раим на Сырдарье. Во все время похода он исполнял обязанности офицера Генерального штаба и все возлагаемые на него поручения; после заложения укрепления на урочище Раим, 15 июня отправился вместе с корпусным командиром на катере вниз по течению р. Сырдарьи до устья, осмотра сей реки, 18 июня на шхуне "Николай» поплыл в Аральское море и на обратном пути ^"следовал от Уральского укрепления через Мугоджар-ские горы, по реке Эмбе и Темиру, для осмотра местности. Возвратился в Оренбург 12 августа, сделав переход с отрядом в течение 56 дней.

Для чего я подчеркнул все даты? Только для того, чтобы убедить сомневающихся и доказать документально: знакомство Шевченко с Герном - знакомство важное - произошло в 1847 году, в первый день по прибытии поэта в Оренбург, не могло.

Неточность возникла из неосторожного мемуарного утверждения самого Герна, который привел обращенные к нему слова начальника штаба Прибыткова: "Вообразите себе, Карл Иванович, какого господина к нам сегодня прислали: ему запрещено и петь, и говорить, и еще что-то такое!.."

Подчеркнутое здесь "сегодня" в данном случае воспринимается как 9 июня 1847 года, когда фельдъегерь Виддер передал доставленного им рядового Шевченко в распоряжение оренбургских военных властей.

А Герн в это время был где-то на Сырдарье!

Другие подтверждения? Пожалуйста. Датированный 11-м июня 1847 года рапорт управляющему военным министерством о том, что Шевченко "зачислен в Оренбургский линейный № 5 батальон, с учреждением за ним строжайшего надзора", подписан "за отсутствием командира Отдельного Оренбургского корпуса" (это - из самого документа) начальником 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенантом Толмачевым. Ни 9-го, ни 11-го (и добавлю - ни 20 июня, когда, на наш взгляд, Шевченко был отправлен в Орскую крепость) корпусного командира Обручева и сопровождавшего его Герна в Оренбурге не было.

Так что личное их знакомство состоялось гораздо позднее. Оно произошло либо в Орской крепости, либо уже на р. Карабутах.

Герн, как записано в его формулярном списке,- "1848 г., мая 2-го был командирован в Киргизскую степь для возведения форта между Орскою крепостью и Уральским укреплением на р. Карабутах. Поручение это исполнил с особенным усердием и точностью; возвратился в Оренбург 14 июля того же года..."

В кибитке строителя Карабутацкого форта Карла Ивановича Герна (он со своим отрядом вышел из Орской крепости и прибыл сюда на десять дней раньше основного транспорта) состоялась "долгая, самая душевная" беседа Шевченко с "единственным (по его же словам в "Близнецах".- Л. Б.) человеком во всем безлюдном Оренбургском крае".

Беседа, которая сблизила этих людей и заложила основу прочной их дружбы в оренбургскую зиму; 1849-1850 годов.

Этой дружбе оба они остались верны на долгие годы. Выслужившись впоследствии в генерал-майоры, Карл Иванович бережно, как самое дорогое, хранил шевченковские реликвии и добрую о нем память.

Среди оренбургских друзей Шевченко были люди в разных сословий, званий, национальностей, взглядов.

Не в разговорах о свободе - в борьбе за нее проявили себя поляки, которых в Оренбурге в то время собралось особенно много.

Боролись за свободу верные сыны России, также оказавшиеся в этом городе отнюдь не по своей воле.

Именно тут Шевченко познакомился с некоторыми ?! петрашевцами.

-"...Лазаревские в опале не были. Их сослуживец Сергей Левицкий - также. Но и братья, и их товарищи по службе приложили много стараний, чтобы ': йоднять, особенно поначалу, дух ссыльного Шевченко. Собственный их дух в таком общении не мог не крепнуть тоже.

Среди архивных материалов мне попала на глаза Ведомость о молодых дворянах, состоящих на службе в... Оренбургской Пограничной комиссии за вторую половину 1847 года".

Одна деталь не могла не привлечь внимания. Сразу после приезда Шевченко в Оренбургский край мнение начальства и о Лазаревских. и о Левицком начало меняться. В названной "Ведомости" поведение Федора Лазаревского сначала было отмечено как "самое лучшее". Но кто-то из власть имущих с такой оценкой не согласился, и ее заменила другая, более скромная: "хорошее". Вместо первоначального

"очень хорошо" - просто "хорошо" оказалось против фамилии Левицкого. Крохотная деталь, но... характерная.

"Он первый не устыдился моей серой шинели, и первый встретил меня по возвращении моем из Киргизской степи, и спросил, есть ли у меня что пообедать. Да, подобный привет дорог..."

Это о Федоре, из письма Шевченко.

"Я жил в Оренбурге вместе с Шевченко и был самым близким ему человеком". А это - заявление самого Ф. Лазаревского, возможно, преувеличенное, но немаловажное.

И хотя оренбургским арестом поэта Федор Матвеевич был так испуган, что даже делал попытки от "предосудительной" дружбы отмежеваться, мы не имеем оснований его упрекать. И он, и брат его Михаил сделали для Шевченко так много хорошего, дарили ему свое участие с такой щедростью, что вспоминаем мы их с искренней, сердечной признательностью.

Впрочем, о Лазаревских еще придется говорить - и о добрых их сердцах, и о заблуждениях.

Пока же о других.

...Моряки Бутаков и Пospelов... Матвеев... Екельн... Глебов... Александрийский... Цейзик... Дружба с Тарасом Шевченко для многих (и разных) людей, с которыми он общался, стала лучшей проверкой их гражданской честности, гражданского мужества.

Об Алексее Ивановиче Вутакове - члене Русского Географического общества, выдающемся географе и мореходе, о Ксенофонте Егоровиче Пospelове - первом его помощнике, прапорщике Корпуса флотских штурманов, командире шхуны "Николай" - написано уже немало. И о них самих, и об их участии в судьбе Шевченко. Непосредственные его начальники в Оренбурге, они сделали многое, чтобы поэт поменьше чувствовал тяжесть солдатской доли. Щедрых похвал заслуживает в связи с тем же видный оренбургский офицер подполковник Ефим Матвеевич Матвеев - сын простого уральского казака...

Среди тех, с кем свела поэта жизнь в ту трудную зиму, доброжелателей оказалось больше, чем недругов.

т- Вас по-прежнему интересуют друзья Шевченко? - как-то спросила меня Евгения Сергеевна Ше-етакова, заведующая читальным залом Оренбургского архива.

- Да.

- И они здесь? - указала она на кипу дел, что высилась на моем столе.

о- На каждой странице.

, Это было, конечно, шуткой. Но не столь уж я перед истиной и погрешил.

Разве не имеют отношения к тому, что меня вол-; Кует, вот эти официальные бумаги? ; "Дежурный штаб-офицер штаба Отдельного Оренбургского корпуса, свидетельствуя свое совершенное почтение... его высокоблагородию Павлу Николаеву-", имеет честь препроводить переписку о производ-

ве подполковника Матвеева в полковники..." I;,' "Правитель канцелярии г. Оренбургского и Самар-щКбго генерал-губернатора, свидетельствуя свое со-Цвршенное почтение его высокоблагородию Льву Фи-Црншовичу, имеет честь уведомить..."

Как не заинтересоваться этими казенными посланиями (ГАОО.- Ф. 6.- Оп. 12.-- Ф. 664), если и авторы писем, и упоминаемый ими Матвеев - люди, которые

принимали в судьбе Шевченко самое искреннее участие? Нам вовсе небезразлично, кем являлись Павел Николаевич (Глебов) и Лев Филиппович (Екельн). Нам просто необходимо знать и имена-отчества, и служебное положение, и многое другое, относящееся к близким и далеким спутникам опального поэта. Без этого трудно разобраться в его переписке, в мемуарных источниках, в отдельных фактах биографии. Ведь еще совсем недавно о том же Льве Филипповиче писали, что это "лицо неизвестное", что имя его "не посчастливилось расшифровать", и непонятными оставались некоторые строки шевченковских писем. А разве не интересно, что Павлу Николаевичу Глебову, тому самому правителю канцелярии, было всего двадцать пять, что к этому времени он закончил Императорское училище правоведения и уже отслужил в Петербурге и Киеве (местах тоже шевченковских) ? Нет, все это важно...

О М. С. Александрийском, как о человеке передовых взглядов, достаточно убедительно говорит его же письмо к Шевченко, отправленное 16 августа 1848 года из Орской крепости на Аральское море. "Новостей много, очень много,- делился он своими мыслями,- но так как они отнюдь не орские, а политические и вдобавок европейские, а не российские только, то излагать их со всеми подробностями я не берусь; скажу однако ж главную тему их', хочется лучшего!.. Это старая песня, современная и человеку и человечеству,- только поется на новый лад - с аккомпанементом 24-х футового калибра!" Речь шла о революции в Европе.

Ф. М. Лазаревский писал об Александрийском:

"Несмотря на свои 40 л., это был лучший представитель молодого поколения сороковых годов".

Теперь я знаю об этом человеке больше, чем прежде.

. Лазаревскому он показался старше своих лет. В 1847 году, к которому относятся его воспоминания ооо Александрийском, тому было всего тридцать семь. . Не гладким, накатанным путем шел по жизни сын священника.

: Отец прочил его на свое место. Но ученье во Вят-ркой семинарии юноша оставил. Он предпочел Казан-"о ский университет. Потребовалось распоряжение ми-и нистерства просвещения, чтобы неудавшийся семи-L- нарист был принят "на казенное содержание в отде-ьление врачебных наук". В 1833-м, пройдя полный университетский курс, Александрийский получил лекаря первого класса и назначение на службу в Оренбург. С первых лет врачебной практики он проявил себя вдумчивым, ищущим специалистом. Результатом наблюдений, сделанных во время степных походов, явилось сочинение "О действии жаров на организм пехотинца". Оно принесло автору звание штаб-лекаря.

До встречи с Шевченко Александрийский совершил "поиск в Хиву", и "поход в отряде, бывшем при ""прекращении беспорядков, возникших между государственными крестьянами Челябинского уезда"... Но ко времени их знакомства медицину он оста-: ял - перешел на службу в Пограничную комиссию. В Орской крепости находилась его резиденция "посетителя прилинейных киргизов". Как писал, ранее приведенные строки, тот же Лазарев-кий: "...наш Кобзарь был принят у него в доме не Шевченко солдат, а как самый близкий знакомый, наравне : другими гостями". Впоследствии в Оренбурге они огли встречаться и у Лазаревских, и у Гернов, и, наконец, у самого Александрийского, имевшего здесь собственный дом.

Такие подробности пришли ко мне из личного дела Михаила Семеновича Александрийского, которое хранится в фонде Войсковой врачебной управы Оренбургского казачьего войска (ГАОО.- Ф. 191,-

Оп. 1.-Д. 1).

Дело № 13761 канцелярии оренбургского генерал-губернатора (Ф. 6.- Оп. 6) "Об отправлении в Варшавский музей тигровой чучелы" привлекло мое внимание только своим необычным названием. И, признаюсь, выписал его из хранилища не более чем любопытства ради. Простое любопытство, однако, уступило вскоре место самой живой заинтересованности. Уступило, как только на глаза попалась знакомая фамилия: Цейзик.

Эту фамилию мне часто доводилось встречать в шевченковских письмах из Новопетровского. Почти в каждом из них упоминалось о "милом и добром" Михаиле Цейзике. По всему судя, он относился к числу его наиболее близких друзей. А известно нам об этом человеке совсем мало: аптекарь, фотограф-любитель и все.

Но что общего между делом "о тигровой чучеле" и знакомцем Шевченко?

Ответ содержал уже первый лист, подшитый в старой архивной папке. Он оказался докладной запиской самого Цейзика, "содержателя вольной аптеки", генерал-губернатору Безаку. Написанная в 1860 году, записка ставила вопрос о том, чтобы чучело одного из убитых "в оренбургской киргизской степи" тигров было "для пользы науки" переправлено в Варшаву, Автор обращения, объясняя свое участие в этом деле, сообщал об осмотре "Варшавского музея" в 1857 году с директором оного г. Яроцким (бывшим моим профессором), который проявил живой интерес к видам степных зверей и уполномочил Цейзика некоторые из них приобрести и переслать. Ходатайство получило поддержку. При участии Цейзика лучшее из чучел скоро было отправлено в Польшу.

Это, конечно, самый что ни есть рядовой факт русско-польских научных контактов, существующих с давних времен. Но к тому, что было мне известно об оренбургском аптекаре ранее, из собранной в деле переписки прибавились новые черточки. Образование получил в Варшаве... имел широкий круг научных интересов... не чуждался краеведения... Наконец, пользовался возможностью выезжать на родину. Как тут не возникнуть мысли о том, не через него ли поддерживали ссыльные поляки - друзья Шевченко и друзья Цейзика - связь с землей польской, с оставленными там товарищами?

(Говоря о его родине и, стало быть, национальной принадлежности, я поначалу просто обмолвился. И собирался было уже подобрать определение более "нейтральное", как в одном из выпусков Оренбургской архивной комиссии, о котором речь пойдет дальше, натолкнулся на упоминание о "коллежском секретаре Михаиле Цейзике" как "старосте римско-католической церкви". Таким образом, и на самом деле он должен быть отнесен к представителям польского населения Оренбурга).

Тут мне хочется и свое сказать слово по поводу загадки, занимающей исследователей уже давно.

В комментариях к одному из писем Тараса Шевченко, где он, как и в предыдущих, шлет искренние и горячие приветы и поцелуи "Михаилу", автор примечаний Л. Ф. Кодацкая заявляет: "Кто такой Михай-тj ла - до настоящего времени существуют различные соображения. Одни исследователи считают, что это польский ссыльный Белицкий, другие называют Билинского, также как будто польского ссыльного, фотографа-любителя, еще другие - Ходоровича и, наконец, Цейзика, сосланного поляка, аптекаря в Оренбурге. Однако из письма Б. Залесного к Шевченко от 8 июня 1856 г. выплывает еще одна загадочная фигура - Михаил Игнатьев, о котором в письме упоминается как о фотографе-любителе. На его имя Зале-ский

просил Шевченко адресовать свои письма: "Пиши ко мне на имя Михаила: Михаилу Игнатьеву". Таким образом, вопрос о том, кто такой Ми-хайла, требует еще дополнительного изучения. Вполне возможно, что в разных письмах Шевченко к Залескому и Залеского к Шевченко упоминаются разные личности с одним общим именем Михаила".

Дополнительное изучение, новые поиски и впрямь необходимы - хотя бы для того, чтобы полнее представить себе Цейзика, его прошлое, его облик. Читая и перечитывая письма Шевченко и к Шевченко, все более убеждаюсь я, во-первых, в единстве "Михаила" и, во-вторых, в том, что носил он фамилию Цейзик, а не Белицкий, Билинский, Ходорович или Игнатьев.

Подтверждений хватило бы на отдельную главу. Да хоть такое... В ноябрьском 1856 года письме к Залескому Шевченко вновь упоминает Михаила: "Пиши Михаилу и его сначала поцелуй, а потом попеняй за непростительную лень, если это лень только..." Ни в мартовском, ни в майском, ни в августовском и сентябрьском своих письмах Залеский о Ми-хайле не говорит ни слова. Но вот в письме от 5 ноября 1857 года читаем: "Михаила был в этом году в Варшаве с женою и посетил даже меня в Рачкеви-чах. Он недавно возвратился в Оренбург и верно потому ты не получил от него ответа". Ну и что же? Фамилии нет и здесь. Увы, нет... Горевать, однако, ни к чему. У нас ведь есть уже дело "о тигровой чучеле", а в нем совершенно ясно сказано, что именно в 1857 году и именно Цейзик ездил в Варшаву. Вот когда дело это пригодилось нам по-настоящему!

"Погодите-погодите,- слышу я голоса придиричивого шевченковеда.- А что скажете о Михаиле Игнатьеве? Скажу одно - Игнатьева не было, не существовало. Был тот же Цейзик. "Михаил Игнатьев" - он, и только он. "Пиши ко мне на имя Михаила: Михаилу Игнатьеву..." Шевченко ранее не переписывался с Цейзиком; отчества его мог не знать или не запомнить; Залеский, как человек предусмотрительный, старается оградить друга от неловкости.

"Значит, отчество? А чем докажете?"

Докажу документом. На сей раз это несколько строк в метрической книге Оренбургской римско-католической церкви (ГАОО.- Ф. 173.- Оп. 11.- Д. 188) - запись о том, что 9 июня 1854 года у дворянина Михаила Игнатьева Цейзика и его супруги Юлии Викентьевны скончался пятимесячный сын Игнатий-Иван.

"Загадочной фигуры" - Михаила Игнатьева -нет...

РИСУНОК С НАТУРЫ

Этот рисунок шел к нам чуть ли не целое столетие.

Созданный в один из дней конца 1849 - начала 1850 года, он впервые увидел свет в 1911-м, в Кракове, и только десятки лет спустя, уже после второй мировой войны, возвратился на свою родину.

Ничего не скажешь - путь оказался не близким.

Если же говорить о "прочтении" рисунка, то он И сейчас не "прочитан" до конца.

Наиболее подробно писали о рисунке и изображенных на нем лицах В. Дьяков, Л. Хинкулов, Л. Владич, но не только они. Дапно уже рисунок приобрел силу

документа. И приобрел настолько, что любой труд о жизни Шевченко в ссылке без него кажется не полным.

Их одиннадцать: Залеский, Ковальский, Александр Чернышев, Вернер, Середницкий, Турно, Попель, Доморацкий, Липский, Шевченко, Колесинский.

Впрочем, нет - их двенадцать. Двенадцатый - художник Алексей Чернышев.

Мы художника не видим. Но во всем здесь ощущается его пристальный взгляд, его безошибочное понимание характеров и сути разговора, сказал бы даже - живое в нем участие...

...Прежде всего: где встреча происходит? где эти люди собрались?

"Официальное" место исключается. Кроме казачьего офицера Александра Чернышева, родственника и друга художника, все на рисунке - опальные. Само собой разумеется, встречи ссыльных властями не поощрялись.

Дом Герна? В таком случае на рисунке был бы сам Герт - близкий ко многим полякам и тем более к Шевченко.

Дом Киршей? Оказался бы нарисованным и Кирш.

Дом Кутиных? Благонамеренный домовладелец не потерпел бы подобного схода, а его жилец Лазаревский, хоть и был приятелем Шевченко, к полякам относился неприязненно.

Дом Чернышевых? Это вернее всего.

Алексей Чернышев ввел Шевченко в свой дом вскоре после первого появления его в Оренбурге. Ввел на правах давнего знакомого по Академии художеств.

Семья была большой, отличалась простотой нравов и хлебосольством. Многие в судьбе Алексея, его братьев Константина, Владимира и Матвея напоминало Тарасу Григорьевичу судьбу собственную.

(В Оренбургском архиве - фонде и описи шестых - мое внимание привлекло дело № 11651 "Об исключении из батальона военных кантонистов сына унтер-цейхвартера Чернышева Алексея для поступления в Академию художеств". Потребовались самые веские доказательства непригодности его к службе "до слабости здоровья", чтобы военное министерство разрешило отчисление талантливого юноши из кантонистской службы и перед ним открылась бы возможность получения художественного образования. Братья же, тоже способные живописцы, в полной мере вкусили "прелести" жизни кантонистов; их способности не только не получили развития, а и зачахли вовсе).

Шевченко здесь были рады всегда. Он приходил сюда как в родной дом. Особенно когда приезжал Алексей Филиппович.

После 1847-го он появился в Оренбурге в 1849-м.

К тому времени в его положении случилась существенная перемена. Еще не закончив академического курса, двадцатипятилетний Чернышев был приглашен ко двору - обучать рисованию царских детей. Но в родной город он приехал прежним - простым и скромным. Неизменными остались и его симпатии. Больше и чаще всего художника видели в кругу ссыльных.

Шевченко, его друзья приходили домой к Чернышеву запросто, и допоздна не прекращалась беседа - то жаркая, с острыми столкновениями мнений и взглядов, то неторопливая, раздумчивая, как то изображено на рисунке. В эту беседу включались и "вольные" - запечатленный здесь казачий урядник Александр Чернышев и оставшийся за тесными рамками группового портрета художник Чернышев Алексей,

последователь Федотова и Венецианова, по словам Стасова - "истинный и симпатичный талант".

Да, скорее всего, рисунок сделан именно в доме Чернышевых.

...Однако пройдемся "по лицам"...

Бронислав Залеский закурил и присел на стул. Но по всему видно - разговор его интересует. Гаснет сигарета в мундштуке, светится улыбка в глазах.

Он моложе многих - ему нет еще и тридцати. А за плечами уже двенадцать лет участия в революционном движении.

За "прикосновенность к делу о тайном обществе" студента Дерптского университета Залеского еще в 1838-м выслали в Черниговскую губернию. Несколько лет спустя он был прощен и "освобожден из-под надзора с возвращением на родину". Но напрасными оказались надежды властей на то, что юноша "образумился". Едва осмотревшись, он вновь бросился в водоворот событий - включился в подготовку Познаньского восстания. Это привело его в тюрьму, а затем - в солдаты.

В Оренбург Залеского доставили в один из последних мартовских дней 1848 г.ода. Вскоре он стал видной фигурой в местном кружке политических ссыльных. Залеский был среди тех, кто всячески старался не дать товарищам погрязнуть в мелком озерце мещанских интересов, поддерживал в них воинственный, боевой запал.

Не приходится удивляться, почему впоследствии так быстро сблизились сын Украины Шевченко и польский патриот Залеский: их соединило деятельное свободолюбие.

Сближение - как, впрочем, и знакомство - произошло сразу после возвращения экспедиции А. И. Бутакова с Аральского моря. "Узнав, что во 2-м батальоне есть умеющий рисовать рядовой Бронислав Залеский,- писал командиру корпуса Бутаков,- имею честь всепокорнейше просить прикомандировать его на время ко мне, в помощь рядовому Шевченко, для отделки гидрографических видов берегов Аральского моря..." Просьба была встречена благосклонно. С этого времени началась совместная работа, а там и дружба Шевченко с Залеским.

...Юлиан Ковальский, на рисунке второй, на какое-то мгновение от разговора отвлекся. Может, насторожился... Ведь именно после одной из подобных встреч - там, у себя на родине,- и предстал он перед судом. "За участие в сборищах, имеющих целью собрать шайку и вступить вооруженными в Галицию для поддержания восстания против правительства",- так гласил приговор, по которому его сослали в солдаты. Правда - "без лишения дворянского достоинства". Теперь он, как и Залеский, являлся рядовым во втором линейном батальоне.

-. ...Задумался Александр Чернышев - единственный на листе "свободный человек". А может, принял позу, глядя, как рисует его двоюродный брат?.. Он тоже был художником, притом не без способностей. Алексей в свое время перенял от него немало. (Говорили, что когда в 1833 году Оренбург посетил Пушкин, Чернышев-старший не только видел его, но и рисо-

, вал - сделал портрет великого поэта). Но художественного образования ему получить не удалось. Он продолжал служить в казачьем войске, рисованием

: занимался как любитель и по-хорошему завидовал Алексею Филипповичу, который в то время с увлечением собирал материалы для двух больших картин.

...В центре - пятеро. В чем-то живо убеждает товарищей Попель; внимательно слушают его Вернер, Середницкий, Турно и Доморацкий.

Обращенный к Попелю острый взгляд Залесного, внимание, с которым слушают его другие, характеризуют этого человека уже сами по себе.

Среди ссыльных поляков он был ветераном: в Оренбург его сослали по делу польского революционера Шимона Конарского, и произошло это еще в 1838-м. В глазах тех, кто, как Залеский или Шевченко, приехал сюда в сорок седьмом или сорок восьмом, уже сам факт десятилетнего пребывания здесь являлся подвигом. И к голосу, к доводам Попеля они не могли не прислушиваться...

В отличие от жестикулирующего Попеля Вернер со скрещенными на груди руками может служить олицетворением спокойствия.

Томаша Вернера Шевченко звал Фомой. Их - геолога и художника - свела и подружила долгая, тяжелая походная жизнь на Аральском море. Можно согласиться с теми, кто высказал предположение, будто Вернер был одним из первых поляков, с которыми Тарас Григорьевич близко познакомился в оренбургской ссылке. Как и во время экспедиции, тут, в Оренбурге, они продолжали дружить. Не исключено, что именно Томашу Шевченко был обязан большой, искренней радостью знакомства с целой группой революционно настроенных поляков...

Середницкий чем-то похож на Шевченко. Вероятно, такими же "казацкими" усами... Евстафий был его земляком - родился на Киевщине. Но в то же время он чувствовал себя и земляком Попеля: оба поляки, оба проходили по одному делу. Небезынтересно заметить, что Середницкий, прожив в Оренбурге лет восемнадцать (до 1856 года), так и не снискал доверия властей. В разрешении на его выезд указывалось: "с учреждением надзора по новому месту жительства".

Имя Людвиг Турно (мы продолжаем знакомство с теми, кто изображен Чернышевым) много раз упоминается в шевченковской переписке. Знаком нам него облик: опять же по рисункам Шевченко.

Сын участника восстания 1830-1831 годов, он как бы принял от отца своего эстафету борьбы за свободу, равенство, братство. Но активная деятельность его была недолгой. В том же году, что и у Шевченко, ее прервали жандармы. За "намерение присоединиться к краковским мятежникам" Турно отдали ц солдаты. И не просто в солдаты, а Отдельного Оренбургского корпуса, служба в котором являлась особенно тягостной.

Глядя на рисунок, невольно думаешь: Шевченко дока знает Людвиг Турно не более чем большинство других, однако впереди много дней и ночей, которые "ш проведут вместе в горах Каратау, в экспедиции по розыску месторождений каменного угля, и потом, (новопетровском укреплении, поэт будет вспоминать о том человеке с неизменной нежностью. Т.Шевченко на рисунке - между Липским и Колешским. Он поглощен своими мыслями, он весь в раздумьи. Чуть склоненная голова... задумчивый взгляд... Так и чувствуешь: лишь ненадолго отвлекся от разговора с друзьями - и отвлекла его "святая Мария", с которой истинный поэт не расстанется не смотря ни на что. Какие строки рождались в его голове в эти мгновения?

Не одна поэтическая строка пришла к нему во время подобных встреч...

Сам художник, Шевченко, без сомнения, интересовался, что же вышло из-под карандаша его друга Чернышева. Но ни в Орскую крепость, ни в Новопетровское укрепление рисунка он взять не мог.

Только несколько лет спустя стал Тарас Григорьевич обладателем дорогого для него листа. Откуда такой вывод?

Прочтите письмо, отправленное им Брониславу Залескому с берегов Каспийского моря: "Добрый мой друже! получил я с твоим последним письмом сердцу милые портреты. Бесконечно благодарю тебя; я теперь как бы еще между вами - и слушаю тихие задумчивые ваши речи..." Кто возразит, что такие мысли могут родиться именно при виде группового портрета? Да и вряд ли Залеский мог собрать и переслать одновременно фотографии или зарисовки каждого из весьма значительного числа их общих с Шевченко оренбургских друзей...

Наконец, дополнительная деталь. "Если бы мне еще портрет Карла,- читаем в том же письме далее,- и тогда бы я имел все, что для меня дорого в Оренбурге..." Карла Ивановича Герна на рисунке Алексея Чернышева нет.

Все это и приводит к выводу, что в самые тяжкие годы рисунок русского художника согревал его душу светлыми, дорогими воспоминаниями.

Друзья оренбургские стали друзьями на всю жизнь. Так бывает лишь тогда, когда людей объединяют родство мыслей и общность целей.

Конечно, во взглядах Шевченко и его польских друзей были расхождения, притом существенные. Конфирмованные дворяне далеко не во всем могли согласиться с революционером из крепостных, как и он не всегда принимал горячие, но лишённые часто реальной почвы доводы свободолюбивых поляков.

Однако на многих фактах можно убедиться, что не было между ними непреодолимых разногласий, когда речь шла об освобождении крестьян и наделении их земель, об отмене телесных наказаний и укреплении единства славянских народов.

Напрасно националисты пытались доказать, что тесная связь гения Украины с сынами Польши была рождена какими-то "польскими происками". Не "происки", а бескорыстная дружба породила их отношения.

И до последних дней своей жизни принимал Шевченко близко к сердцу судьбы тех, с кем соединила оренбургская зима, до роковой години в шестьдесят первом рос круг его польских друзей.

Главенствующее положение в этом кругу занял со временем Зыгмунт Сераковский - человек, всего себя посвятивший борьбе против крепостничества и самодержавия, высоко ценимый Мадзини и Гарибальди, Герценом и Чернышевским.

...Их одиннадцать.

Двенадцатый - Алексей Чернышев, оставивший нам бесценный по своей достоверности рисунок-документ. Всматриваясь в него, снова и снова думаешь о прекрасном чувстве товарищества. А еще о том, что это они, Шевченко и его польские друзья, закладывали когда-то основы крепчайших уз, соединивших сегодня русский, польский, украинский и другие народы в дружную семью.

ОДИН ИЗ ОДИННАДЦАТИ

На рисунке Алексея Чернышева Колесинский не выделен никак. И закономерно: в оренбургском кружке ссыльных поляков был он рядовым участником.

Пересматривать его роль в окружении Шевченко я не собираюсь. Но рассказ об этой жизни поможет, как 'Мне кажется, лучше представить себе тех, к кому ПОэт обращался со словами "друг" и "брат".

Свет на многие события проливает дело № 13348 "Об определении уволенного из военной службы коллежского регистратора Колесинского на службу в штат генерал-губернаторской канцелярии" (ГАОО.- Ф. б.-Оп. 6).

"Валтазар Балтазаров сын Колесинский" родился в 1818 году, в дворянской семье Виленской губернии. Был он небогат: родовое имение насчитывало всего двадцать пять крестьянских душ. Учился в Виленском благородном пансионе. По окончании юношу определили писцом в комиссию по ревизии действий Гродненского дворянского депутатского собрания. С работой своей Балтазар справился и пошел "вгору". За назначением в Гродненскую казенную палату "на вакансию журналиста" последовал перевод на должность помощника контролера, а затем - контролера. Двадцати трех лет от роду Колесинский был произведен в коллежские регистраторы и переведен в Лидскую дворянскую опеку - сначала секретарем, а позднее, по выборам дворянства, "питейным депутатом". В 1846 году он стал губернским секретарем.

Но вот - 1848 год, февраль. И в послужном списке появляется нечто совершенно иное:

"По конфирмации г. главнокомандующего действующею армиею, высочайше утвержденною 12 февраля 1848 года, оказался виновным в сообществе с лекарем Ренигером и слушании злонамеренных наставлений против правительства, в покупке у него и чтении запрещенных сочинений, в знакомстве с приезжавшими из-за границы эmissарами, в принятии одного из них у себя на квартире, изъявлении желания способствовать мятежу, если бы он вспыхнул в западных губерниях,- лишен чинов и дворянского достоинства".

В этой записи сказано не все. Лишения "чинов и достоинства" властям показалось мало. Колесинский был "определен на службу в Отдельный Оренбургский корпус в батальон № 5 рядовым"...

Биографы утверждают, что знакомство Шевченко с Колесинским произошло в Орской крепости. Брать это предположение под сомнение оснований нет. Но ясно одно - их знакомство, если тогда и состоялось, было кратковременным. Оно могло произойти лишь в самые последние месяцы перед отправкой поэта в составе экспедиции на Аральское море. Только в середине февраля начался путь Балтазара на восток. В условиях зимы он потребовал не менее месяца. Так что тесная связь двух изгнанников - украинского и польского - относится уже к оренбургскому периоду их жизни. Шевченко прибыл в Оренбург в ноябре 1849 года. Колесинского перевели сюда раньше - в апреле. В одном городе они находились всю зиму.

О чем рассказывает архивное дело дальше?

Продолжая военную службу, солдат из поляков принял участие в походе на Ак-Мечеть и взятии этой крепости. Тут он проявил героизм: в числе немногих "охотников" Колесинский первым проник за крепостные стены и отвагой своей во многом предопределил успех операции. В бою его ранило - "пулей в правую бровь и камнем в грудь".

И вот долгожданная награда: "За отличие при Ак-Мечети произведен в коллежские регистраторы с "увольнением от службы". В формулярном списке эта запись датирована ноябрем 1853-го.

Но производство производством, увольнение увольнением, а оставить край своей ссылки права он не ; получил. Без средств, без работы, куда только ни - обращался! Пришлось даже писать прошение на имя царя. Только после этого (в марте

1855-го!) последовало решение о принятии его на службу "по снабже-йию степных укреплений".

Однако и дальше Балтазар Колесинский оставался на положении политически неблагонадежного. Истинное отношение к нему в полной мере проявилось летом того же, 1855 года, когда он попросил "об отпуске его на родину, в Виленскую губернию, по крайним семейным обстоятельствам".

Обстоятельства эти и в самом деле были "крайними". На протяжении многих лет Колесинский находился в разлуке с женой и дочерью. Теперь ему разрешалось жить с семьей, которую хотел как можно скорее привезти в Оренбург. Казалось, что отказа не будет. Однако в штабе корпуса рассудили иначе. "Так как при увольнении Колесинского в отставку,- гласил ответ на заявление,- не было в виду разрешения возвратиться ему на родину, то и увольнение его в просимый отпуск... зависит от высочайшего соизволения".

И началось, и закрутилось...

"...Принимая во внимание необходимость воспользоваться ему отпуском в скором времени, дабы успеть привезти сюда к осени свою жену, и что Колесинский служит в корпусном штабе и, следовательно, имеет право на некоторое доверие начальства,- запрашивали из штаба благословения Петербурга,- быть может, благоугодно будет вашему сиятельству уволить его в отпуск ныне же".

Колесинский просил отпустить на четыре месяца. Но через шесть - уже не летом, не осенью, а зимой - пришлось посылать в министерство внутренних дел напоминание. Оно "поторопило". Из министерства пошел запрос в Виленскую губернию: согласятся ли родственники принять на себя "личную за него ответственность на то время, пока он будет находиться на родине"? И только 28 апреля 1856 года прибыл ответ: царь "всемиловитейше на сие (т. е. отпуск.-- Л. В.) соизволил". Правда, с учреждением за Колесинским секретного надзора всюду, где ему придется быть...

Шевченко постоянно интересовался судьбой своих польских друзей. В письме к Брониславу Залескому, посланном в Оренбург из Новопетровского укрепления в начале 1854 года, он пишет: "Я вчера только узнал от Жостовского, что Колесинский в Оренбурге; кланяйся ему от меня..."

...Таковы некоторые штрихи к портрету одного из тех, кого нарисовал Алексей Чернышев.

Но ведь было их в Оренбурге и Оренбургском крае несравненно больше!

Юлиан Ясенчик, тоже польский ссыльный, составил список из ста двадцати имен. Бронислав Зале-ский назвал цифру: около двух тысяч.

А пока... пока не закончились даже споры: не является ли фамилия ошибочной? был ли тот или иной человек вообще?

...В указателе имен к "Летописи жизни и творчества Т. Г. Шевченко" 1959 года черным по белому значится: "Круневич (Круликевич) Павел Адамович - польский политический ссыльный в Оренбурге, врач".

Этим как бы закрепляется, что среди поляков периода пребывания Шевченко в оренбургской ссылке человека с фамилией Круликевич не было, а фамилия эта представляет собой не более чем искаженное написание другой, достоверной - Круневич.

В последнее время против этого были выставлены веские доводы. Не знаю - убедили они, нет ли. Но я готов привести еще один.

Снова архивное дело? Да. И название у него довольно длинное: "Дело канцелярии генерал-губернатора по вопросу начальника Оренбургской губернии, подлежат ли проживающие в Оренбурге польские уроженцы Валериан Станишевский, Гвидон Ходорович, Балтазар Колесинский, Павел Круневич, Михаил Ходорович, Степан Круликевич и Иван Павловский полицейскому надзору?" (ГАОО.- Ф. 6.- Оп. 6.-Д. 13456).

Круневич и Круликевич соседствуют уже в самом названии, не вызывая сомнения в существовании двух людей с различными, хотя и созвучными, фамилиями. Был Круневич и был Круликевич!

Но как решился вопрос, поставленный в заголовке? Это интерес представляет тоже. Ведь Круликевич, Круневич, а, возможно, и другие перечисленные тут люди принадлежали к числу знакомых Тараса Шевченко, который тогда, в 1856-м, еще томился на берегу Каспия.

К тому времени все они были уволены с военной службы. При увольнении к каждому подошли "индивидуально". Валериан Станишевский, бывший рядовым в пятом линейном батальоне, обязывался "поступить в службу гражданскую в месте настоящего его нахождения". Павел Круневич, тоже рядовой, тоже пятого батальона и тоже за заслуги при взятии Ак-Мечети, производился в чин коллежского регистратора "с назначением на службу по усмотрению господина генерал-губернатора". Что же касается Степана (или Станислава) Круликевича (в деле он значится как под одним, так и под другим именем), то его уволили позже других и с резолюцией куда более непримиримой: "с оставлением на жительстве в Оренбургском крае, с учреждением над ним строгого полицейского надзора".

"Станислав Круликевич,- читаем в этом докумен-те>-был отдан в службу за намерение присоединиться к краковским мятежникам и склонить к тому рекрут, находившихся в горных заводах Царства Польского".

По принятому в отношении его особенно жесткому решению можно сделать вывод, что свой неукротимый бунтарский дух Круликевич продолжал проявлять и во время солдатчины.

...Есть у Тараса Шевченко строки:

Отак-то, ляше, друже, брате! НеситП ксьондзи, магнати Нас пор!знили, розвели,
А ми б і дос! так жили. Подай же руку Козаков! І серце чистее подай! І знову іМенеМ
Христовим Ми оновим наш тихий рай.

Эти строки из стихотворения "Полякам".

Первоначальный вариант его был написан в сорок седьмом - сорок восьмом в Орской крепости, заклю-читальные строки появились двумя годами позднее в Оренбурге, последний же автограф относится к пятьдесят восьмому.

Но история стиха - не только история автографов. Это вся многолетняя дружба Шевченко с польскими единомышленниками-братьями. , ...Об этой дружбе можно рассказывать и рассказывать.

ЖИВЫМИ ГЛАЗАМИ

. ...Они познакомились в Оренбурге. Шевченко был Авдеев новичком, Зелёно - старожилом. 1^ Подобно тому, как 9 июня 1847 года "фельдъегерь Йвеудобозабываемого Тормоза" доставил сюда .' Г. Шевченко, так за четырнадцать лет

до этого привезен в далекий, захолустный город на берегу та Михаил Фадеевич (в монашестве Кандид).

Его выслали из родных мест после разгрома польского восстания 1830-1831 годов за то, что он, являясь священнослужителем, вступился за своих учеников, которые оказались под следствием по делам политическим.

Человек высоких моральных устоев, друг честных людей, патриот, Зелёно был горд разделить участь лучших сыновей Польши.

В оренбургском архиве мне удалось познакомиться с делом № 10732 (Ф. 6.- Он. 5) "О присылке на жительство в Оренбург префекта бывшей Гродненской гимназии Зелёно и об определении его католическим священником в Оренбургский корпус". Между начальной и конечной датами на архивной папке - двадцать семь лет. Более четверти века, прожитых и степном крае!..

Родился он далеко отсюда. (Прежде чем рассказать об оренбургском периоде его жизни, надо расставить хоть некоторые биографические вехи). Происходя из небогатых виленских дворян, Михаил Зелёно получил первоначальное образование в уездном училище, а затем, одновременно, прошел и высший семинарский, и университетский курсы. То было уже в годы монастырской его жизни. В монастырь он, собственно, для того и пошел, чтобы здесь, в спокойной, как ему казалось, обстановке, заняться серьезным изучением наук, углубленным постижением тайн жизни.

Однако монашеское облачение не отдалило Зелёно от людей, от народа. Особенно проявилось это после назначения его преподавателем в уездном училище, а тем более с переводом в гимназию. Ту самую Гродненскую гимназию, которая в бытность Зелёно префектом (инспектором) превратилась в один из крупных очагов свободолюбивых дел, мыслей, идей. Ту, где кипела жизнь, где молодежь спорила о будущем и готова была пойти ради него на плаху.

Хотя все ясно и без комментария. Достаточно вспомнить несколько слов на обложке архивного дела: "бывшей Гродненской гимназии". Тогда же, когда действовавшая гимназия стала "бывшей", закончилась и деятельность в Гродно иеромонаха Зелёно. Его повелели "удалить в одну из отдаленных губерний империи под строгий надзор".

И скоро начался для него длинный, трудный путь на восток. Путь, знакомый многим участникам польского освободительного движения.

Вот что предшествовало появлению этого человека в Оренбурге. Такова была предыстория.

Часть бывшего костела "вошла в производственный комплекс" обувной фабрики. В этом убеждало описание костела, найденное мною в одной из исторических заметок "Оренбургского листка" за 1889 год.

"Здание костела - каменное, четырехугольное, продолговатое и довольно высокое, с железной крышею в два ската,- давала зарисовку газета.- Алтарная часть здания полукруглая, с такою же крышею. Окна узкие и высокие. Верх здания, снаружи, украшен только колокольнею, построенной над передней частью онаго, низкою и четырехугольною, с полуплоской трехскатной крышей. Крестов на здании два, из коих один - над алтарем, а другой -- над колокольнею".

Крестов, разумеется, теперь не видно. Не оказалось и "украшения" - колокольни. Не соответствовал описанию фасад: большими и отнюдь не узкими окнами смотрит на улицу фабричный корпус. Язык не поворачивается назвать его

пристройкой. Куда вернее сказать, что к этому, новому зданию пристроилось старое. Вот оно - "четырёхугольное" и "продолговатое", вот где была алтарная часть - "полукруглая с такою же крышею". И крыша такая, и окна.

Эти стены видел Шевченко, стоя на крыльце дома Кутиных, что был (и поныне стоит) как раз напротив. В эти окна он поглядывал, чтобы увидеть знакомую фигуру ксендза-друга.

...Скоро хватились в столице: Оренбург полон ссыльных поляков и туда же отправлен еще один, причем опаснейший. Какая оплошность! Какой риск!

Но Зелёнка добрался до нового своего места жительства уже поздней осенью, к тому же больным, и, опасаясь нежелательной реакции, губернатор Перовский не решился воспользоваться данным ему дозволением переслать неблагонадежного ксендза в какую-нибудь другую губернию, подальше. Зелёнка был взят под строгий полицейский надзор, однако в Оренбурге оставлен. А два года спустя, когда ему была предоставлена возможность к родным краям приблизиться, он "не изъявил согласия", иначе говоря - отказался.

Человек еле сводил концы с концами, долгое время был официально не у дел, но чувствовал свою необходимость находиться рядом с оторванными от родины соотечественниками.

Только несколько лет спустя, в 1839-м, последовало утверждение Зелёнка ксендзом Оренбургского корпуса. К тому времени он давно уже был для многих польских изгнанников признанным "духовным отцом". Губернаторы - сначала Перовский, затем Обручев - в официальных донесениях свидетельствовали, что Зелёнка "приобрел доверенность и расположение поляков, пользуется там общим хорошим мнением".

Тем не менее, характеризуя его как "кроткого", "надежного" и "ни в чем неблагонамеренном не замеченного", начальники губернии смотрели на Зелёнка с опаской.

В двадцать восьмом выпуске трудов Оренбургской ученой архивной комиссии - книге "Бывший префект Гродненской гимназии, иеромонах Доминиканского ордена Кандид Зелёнка в Оренбурге" (1913) - ее автор Н. Модестов сделал, кажется, все для того, чтобы обойти острые углы взаимоотношений и создать видимость теснейшего союза между местным начальством и опальным ксендзом. Но и он не смог не привести один "случай", правда, с самого начала придав ему оттенок курьезности:

"Однажды оренбургскому губернатору В. А. Обручеву донесли, что в местном костеле по вечерам виден огонь и что там собираются на тайные сходки ссыльные поляки. Получив это донесение, В. А. Обручев ff в сопровождении плац-майора Халецкого и полицмейстера полковника Демостико нагрянул внезапно вечером к костелу и, заметив там свет, тотчас потребовал ксендза Зелёнка и приказал ему отворить костел. Когда вошли во внутренность его, то в нем никого не оказалось, и В. А. Обручеву пришлось извиниться перед ксендзом Зелёнка за излишнюю поспешность: не трудно было убедиться в том, что свет в костеле происходил от лучей заходящего солнца, ударявшего прямо в разноцветные стекла окон алтаря".

Конечно, в том, как эта история закончилась, элемент курьеза усмотреть не трудно, но приведенный "здесь эпизод к разряду анекдотичных, как пытался сделать Модестов, не отнесешь. В выделенных мною "нагрянул", "потребовал", "приказал", в самом факте личного участия генерал-губернатора в такой "операции", в том, что

имела она место вообще, проявилось истинное отношение к Зелёнку. Отношение, в котором сплелись желание воспользоваться влиянием духовного наставника поляков и жгучая боязнь этого влияния.

Нет, в "кротость", в "надежность" Зелёнку хозяева губернии верили слабо!..

Сходки поляков, которые так хотелось накрыть Обручеву с его приспешниками, привлекали, как вы уже знаете, внимание и Тараса Шевченко. В ту свою оренбургскую зиму он нашел среди польских изгнанников людей, созвучных ему в самом главном: ненависти к порабощению, стремлении к свободе.

К этому кругу был близок и ксендз Зелёнку, ставший одним из друзей поэта-революционера.

"НАДОБНО ЗНАТЬ..."

Воспоминания Ф. М. Лазаревского на протяжении многих десятилетий служат едва ли не главным источником наших представлений об оренбургском периоде жизни Шевченко. Их перечитывают, перепечатывают, цитируют. От них отталкиваются в поисках. На стороне Лазаревского - авторитет свидетеля и участника событий. О многом мы знаем только благодаря ему.

И все-таки шевченковеды все чаще стали приходить к выводу: обращаться с этим мемуарным источником, при всей его бесспорной ценности, надо осторожно. Политические взгляды, интересы, убеждения Шевченко и Лазаревского были разными. Чуждой мемуаристу, неприемлемой для него оказалась, например, дружба украинского поэта с сосланными в Оренбург поляками. А нужно ли теперь доказывать, что, не поняв этой дружбы, не почувствовать, не понять нам и атмосферы, в которой пребывал Кобзарь?

В этот вопрос определенная ясность уже внесена. Отношения же Шевченко с высшими сферами губернского общества иной, чем у Лазаревского, трактовки не получили. Его слово, таким образом, осталось последним. Между тем вызывает оно внутренний протест.

Чем, однако, подкрепить свое "не верю"?

Искать подтверждения сомнений в других воспоминаниях? Известные ничего об этом не говорят. Новые? Но выявлено и учтено, кажется, все. Находки, конечно, возможны, только...

А что если, выражаясь языком военной науки, применить "обходный маневр"? По возможности глубже познакомиться с теми, о ком пишет Лазаревский? Может, здесь, именно здесь отыщется разгадка того, как Шевченко пришел в дом к генерал-губернатору Обручеву, отчего так непринужденно чувствовал себя в обществе тайного советника и барона Майделя...

...Обручева Шевченко не жаловал. Отзывы о нем в дневнике и письмах самые нелестные. Немало неприятностей доставил ему "корпусной ефрейтор".

И тем не менее он бывал в губернаторском доме, писал портрет супруги главного начальника края.

Супруга Обручева... Что известно о ней?

Погрузившись в комплекты "Оренбургских губернских ведомостей", я не раз встречал сообщения о "благотворительной" деятельности высокопоставленной светской дамы Матильды Петровны. В уже упомянутой статье из газеты 1889 года, в

которой рассматривалась история католического костела в Оренбурге, проскользнуло и упоминание о дружеских отношениях бывшей губернаторши, лютеранки по вероисповеданию, с польским священником Зелёнку.

О, это важная деталь! Зелёнку, ссыльный поляк, пользовался уважением Тараса Шевченко.

Когда старые газетные комплекты были водворены на полки, мне захотелось снова заглянуть в уже знакомый выпуск трудов Оренбургской ученой архивной комиссии - сочинение о Зелёнку. Страница за страницей, и вот... "Особенно большую благотворительную деятельность проявил Зелёнку, хотя и под чужим флагом, во время управления краем Влад. А. Обручева... Всем известно, что жены главных начальников в провинции чрезвычайно любят брать на себя, хотя бы не имели ни малейшего понятия о деле, роль попечительниц бедных того края, которым управляет муж; так было и здесь. Но супруга генерала Обручева слишком высоко была поставлена для того, чтобы лазить по грязным лачужкам и удостоверяться в бедности просителя, ее нервы не выносили вида разных страданий, которым преимущественно подвергается бедное человечество; наконец, она сама не могла производить лично всех выдач и собирать деньги, не знала, как вести счета и проч., а потому на первых же порах ей понадобился человек, который сумел бы все это сделать и вместе с тем вселить в бедных городских жителей убеждение, что ангелом-хранителем их служит исключительно супруга главного начальника. Для подобных условий подходящим лицом в Оренбурге только и мог быть один Зелёнку, пользовавшийся уже и прежде... репутацией общего благодетеля, и потому выбор генеральши, конечно, остановился на нем; она и взяла его в секретари по делам бедных..."

Опасаясь утомить читателя, другие выписки приводить не стану. Скажу только, что автор книги Н. Н. Модестов, опираясь на свидетельства участников событий, сообщает немало разнообразных сведений о роли Зелёнку в осуществлении благотворительных затей генеральши Обручевой.

Зелёнку - Обручева... Зелёнку - Шевченко... Не отсюда ли приглашение в губернаторский дом? Не тут ли корни знакомства?

Солдафон Обручев не мог быть доволен тем, что в его доме нарушалась "высочайшая воля": злонамеренный солдат брал в руки кисть. Но он рисовал супругу губернатора; ей, "покровительнице обездоленных", это льстило; и генералу оставалось только терпеть. Хотя... терпение не было слишком долгим. При первой же возможности, первом поводе Шевченко оказался лишенным даже той куцей, призрачной свободы, которой пользовался, а вскоре попал на гауптвахту. Обручев, как мне представляется, отправил его туда без всяких угрызений совести, с каким-то злорадным облегчением...

Вот и вся эта "дружба".

Нет, не теми глазами смотрел на нее Лазаревский. И тщетными, пустыми оказываются его восторги как перед "равноправием" Шевченко в высших сферах, так и перед губернаторским "благородством".

Ну, а Майдель?

О Майделе помню.

"Важный туз" - называет его Лазаревский. "Надобно знать,- пишет он,- что тайный советник барон Майдель был породистый аристократ и вращался в самых высших сферах губернской знати". Но, продолжает автор воспоминаний, "я воочию убедился, что мой Тарас и там был свой человек".

Из губернаторского дома - на бал к породистому аристократу... Чем не светское времяпровождение? Что другое оставалось Лазаревскому, как сделать вывод: "Образ жизни его ничем не отличался от жизни всякого свободного человека. Он только числился солдатом, не неся никаких обязанностей службы. Его, что называется, носили на руках".

В общем, все вокруг хороши и все как нельзя лучше.

Да так ли это?

Майдель - медик. Обстоятельство немаловажное: самая гуманная профессия налагает свой отпечаток человека, который ей служит. Она делает его более открытым, демократичным, душевно щедрым.

Однако доктор, описанный Лазаревским, особой симпатии не вызывал. Не врач - барин, не служитель людям - туз. Да еще высокопоставленный. Тайный советник!

Что могло сблизить столь различных людей?

Не один день доставляли мне из хранилищ архива описи всевозможных фондов, дела и снова дела. Тысячи листов - и хоть бы одно упоминание о нем. Появилось даже сомнение в его... существовании вообще.

Но такой был, такой существовал. Сказал я это со всей определенностью, когда увидел перед собой "Формулярный список о службе и достоинстве войсковой врачебной управы Оренбургского казачьего войска младшего лекаря фон Майделя". Его архив-ная прописка оказалась такой: ГАОО.- Ф. 222.- Оп. 1.- Д. 30.

Когда список был составлен? В 1843-м. Выходит, за шесть лет до знакомства с Шевченко он служил только младшим лекарем. Да, до тайного советника тут еще далековато... Какую поддержку, какие связи надо иметь, чтобы вознестись так быстро и так высоко! Конечно, родовитому барону...

Но что это? Петр Фридрих, Астафиев сын, фон Майдель... Двадцати трех лет... Из дворян. Недвижимого имения не имеет... По окончании курса медицинских наук казенным воспитанником...

О баронском достоинстве - ни слова. На "породистость" и "аристократизм" - ни намек. Беспоместный дворянин, не имевший средств, чтобы платить за ученье... Как же далеки эти сведения от тех, которые сообщает Лазаревский!

Окончив в год составления формулярного списка курс медицинских наук Дерптского университета, фон Майдель был определен на службу в войсковую врачебную управу.

Следующая запись, тоже 1843 года, оказалась тут последней. Она сообщала, что по распоряжению военно-медицинского департамента последовал перевод молодого лекаря в штат Оренбургской Пограничной комиссии.

Шесть лет... Как узнать о них? Как получить точные сведения о Майделе 1849-1850 годов? Тех лет, к которым относится знакомство с ним Шевченко?

Новые поиски... и новый "формулярный список", уже в фонде 191 (Оп. 1,- Д. 1). На этот раз передо мною список "о службе врача Оренбургской Пограничной комиссии доктора медицины фон Майделя".

К ноябрю 1849 года, когда список был составлен, Майдель добился многого.

Заняв вакансию врача Пограничной комиссии, он взялся за серьезное изучение местных болезней. В послужном списке есть запись о длительной его поездке по степи. Собранный материал лег в основу научной работы. В двадцать восемь лет врача из далекой провинции утвердили в ученой степени доктора медицины.

В том же, сорок восьмом, Майдель совершил настоящий врачебный подвиг, показал истинную самоотверженность в борьбе с охватившей Оренбург холерой.

"В разгаре болезни докторов не было возможности дозваться, горожане положительно были брошены на волю божию и лечились одними домашними средствами, из коих главное составляла перцовка. Часть военных медиков сразу отправилась на тот свет, другие же до такой степени были обременены военными больными, что о частной практике не могли и думать; были однако же и такие, у которых своих пациентов было не много, но они все-таки к посторонним ни за что не ехали и даже сами рапортовались больными. Гражданские врачи тоже исчезли, и только единственное отрадное исключение из всего докторского персонала Оренбурга составлял молодой гражданский врач, прозванный населением "ангелом-хранителем", доктор Майдель. Он день и ночь разъезжал по больным, не отказывая в просьбе даже самого последнего бедняка, и сплошь лечил недостаточных людей на собственный счет. Истощение доходило до такой степени, что, прописав рецепт в одном месте, он тут же засыпал на несколько секунд, пока его не будили крики посыльных, следовавших за ним из дома в дом, чтобы позвать к другим страдальцам".

Это свидетельство современника, очевидца. Оно почерпнуто мною из уже цитированных воспоминаний Н. Г. Залесова, напечатанных в майской книге "Русской старины" за 1903 год.

Вот с кем познакомился Шевченко в Оренбурге - с многообещающим молодым ученым и талантливым, беззаветно преданным своему делу врачом. Вот кто был одним из добрых знакомых Тараса Григорьевича.

Нелишне заметить, что фон Майдель пользовал поэта и как медик. Об этом сообщил сам Шевченко, когда 1 июля 1850 года ему учинили допрос на гауптвахте Орской крепости.

...Да, но "важный туз", "тайный советник", "барон"... Откуда они, такие сведения?

На этот вопрос ответить пока не могу. Лазаревский писал свои воспоминания через тридцать, может, даже через сорок лет после описываемых событий. Возможно, ему изменила память...

Не исключено, что титулы пришли к Майделю в будущем...

А не объясняется ли все проще? Тем, что мемуаристу хотелось во что бы то ни стало утвердить свое, во многом необъективное, мнение.

Записки Федора Лазаревского содержат в себе много ценного. В них - живые штрихи оренбургской зимы Тараса Шевченко. Но когда автор начинает смотреть на жизнь сквозь розовые очки, мы вправе, мы должны подвергать его субъективные взгляды сомнению. И искать. И идти к правде.

ПОРТРЕТ ОТСТАВНОГО МАЙОРА

"К шевченковскому юбилею". Известный земский деятель и член 1-й Государственной думы В. А. Племянников жертвует в Третьяковскую галерею акварельный портрет отца своего - отставного майора А. В. Племянникова, писанный в 1850-1851 гг. в Оренбурге ссылкой Т. Г. Шевченко..."

Академический указатель литературы о жизни и творчестве великого украинского поэта помог мне отыскать в комплекте "Русских ведомостей" (1914, 25 февраля) эту крохотную заметку без подписи.

Что надеялся из нее узнать?

Хоть что-нибудь о Племянниково - Племяннико-ве А. В.

"Что-нибудь" - но, конечно, больше, чем вычитал...

...Царский указ, отсылавший Шевченко рядовым в Отдельный Оренбургский корпус, строго-настрого повелевал: "С запрещением писать и рисовать". Тем не менее, вопреки безжалостному приговору, он продолжал творить: и пером, и кистью.

В оренбургскую зиму 1849-1850 гг. Тарас Григорьевич плодотворно работал над окончанием видов Аральского моря, а кроме того, создал целую галерею портретов. Как портретист, он во многом утвердился именно здесь.

Не все портреты, написанные тогда, можем мы увидеть сегодня в Государственном музее Т. Г. Шевченко и других музейных собраниях. До сих пор не установлено местонахождение портрета Томаша Вернера, доброго его друга; туманом неизвестности окутана история "Портрета неизвестной в кресле" и "Автопортрета в белой фуражке". Судьба портрета Карла Герна и его жены, в доме которых Шевченко жил, загадки не представляет: незаконченная работа была брошена в огонь перед обыском.

Галерея поредела... Но для вывода об оренбургском взлете Шевченко-портретиста достаточно и тех работ, которые до нас дошли.

Например, известного "Автопортрета". Вглядываясь в шевченковские глаза, мы видим в них не только всю глубину страданий изгнанника, но и непреклонность его воли. Это человек, который уже сказал: "Караюсь, мучуся, але не каюсь".

А как выразительны лица Федора и Михаила Лазаревских! Братья отличались душевной добротой и мягкостью, безупречной человеческой честностью.

Уже с первого взгляда вызывает симпатию немолодая Елена Бларамберг и, напротив, совсем другие, противоположные чувства возникают при виде красавца офицера Исаева и вот этого, холодного, высокомерного человека, Племянникова...

О художественных особенностях каждого портрета пусть говорят специалисты-искусствоведы; любая из названных работ заслуживает всестороннего разбора.

Меня портреты его кисти интересуют прежде всего как документы. Неоспоримые документы, расширяющие представление о круге знакомств Шевченко в ту оренбургскую зиму.

Кто она, женщина, запечатленная с такой любовью?

Мы знаем о ней немного. Елена Павловна (пишут почему-то Степановна) была женой Ивана Федоровича Бларамберга.

Подполковник Бларамберг являлся квартирмейстером войск в Оренбургском крае. Знали его как неутомимого путешественника, талантливого математика, несравненного картографа. О семье - и, конечно, о ее хозяйке - мы можем судить по тому, что здесь получили первоначальное воспитание два даровитых деятеля русской культуры - известный в свое время композитор Павел Бларамберг и довольно интересная писательница Елена Бларамберг (по мужу - Апре-лева, литературный псевдоним - Е. Ардов). Елена Ивановна длительное время была корреспонденткой И. С. Тургенева, который относился к ней с большим уважением.

Портрет дает возможность сказать, что Шевченко, находясь в Оренбурге, в эту семью был вхож. Теперь очередь за красавцем офицером. Владелец портрета Николай

Исаев позднее, уже в 1862 году, находясь в Полтаве, сделал на обороте надпись: "Рисовал Тарас Шевченко в Оренбурге в феврале 1850 I года". Нет у меня сомнения, что это и есть тот самый прапорщик, по доносу которого весной пятидесятого на Тараса Григорьевича обрушились новые беды *. "Смазливенький прапорщик", "юный Адонис", "хоть и плюгавенький, да офицер" - так характеризует Исаева Федор Лазаревский. В известных нам воспо-минаниях он называет и фамилию, и звание, и при-меты этого низкого, с мелкой душонкой человечка, который, будучи уличен в любовной интриге с женою Герна, отомстил своему разоблачителю Шевченко самым гнусным образом. В феврале Исаев позировал, гордясь тем, что с него пишет портрет такой изве-| стный художник, а двумя месяцами позднее, в апреле, автор портрета стал для него не более чем "нижним чином"... Таков-то сей офицерик. А вот теперь - Племянников.

* Позднейшие поиски автора подтвердили это предположение.

Из маленькой заметки в "Русских ведомостях", найденной в комплекте 1914 года, я не узнал о нем почти ничего. "Отставной майор" - и все.

Более полный ответ был найден в фондах архива. Они же удостоверили драгоценный талант портретиста проникать в самую суть характеров.

...Еще в 1833 году канцелярией Оренбургского генерал-губернатора было заведено дело № 10684 "По прошению крестьян Петрова, Демидова и других о жестоком обращении с ними помещика Племянникова". Речь шла о Племянникове Николае Федоровиче, истязателе крепостных, растоптавшем и загубившем многие судьбы. Но именно из этого дела получил я первое, так сказать документальное, представление о том, кого изобразил Шевченко. Он оказался двоюродным братом этого самого изверга и... мало чем от него отличался. Бузулукский уездный предводитель дворянства писал, что если Андреем Васильевичем Племянниковым пока и не совершено действий, "превышающих власть, законом предоставленную помещикам", то таких "превышений" недолго ждать, а посему Племянникова А. В. следует считать "заслуживающим внушения и необходимых мер к обузданию строптивого характера".

Дело тянулось долгие годы, было исписано множество листов, но ограничились "внушением", причем не слишком строгим.

И вот новое дело: "О жестоком обращении с крестьянами майора Племянникова". (ГАОО.- Ф. 6.- Оп. 6.-Д. 13055).

"Крестьяне майора Племянникова,- читаем мы в одном из подшитых здесь документов,- вывели жестокое обращение с ними в том, что он наказывает их розгами безвинно, бьет своеручно кулаками и арапником, не позволяет распоряжаться собственностью крестьян, производит с них поборы, как-то: барана, гуся и проч., и принуждает работать на него в воскресные дни".

Свои показания крестьяне дали под присягой. Сомневаться в их правдивости не приходится. Отрицал вину только один человек - сам Племянников. Он обрушил на жалобщиков поток обвинений: и в воровстве, и в грубости, и в пьянстве, и в неповиновении. А в письме на имя губернатора Обручева выставил себя таким смиренным, таким униженным, что дальше некуда.

Прошение его - десять страниц мельчайшего почерка - было написано 18 ноября 1849 года. Я подчеркиваю эту дату не случайно. Она в определенной степени объясняет, каким образом мог встретиться бузулукский помещик Племянников с художником из крестьян Шевченко. Когда "обиженный землевладелец" приехал

"искать защиты", Тарас Григорьевич уже обосновался в Оренбурге, вел работу по оформлению морских видов, а одновременно (в одних случаях - из уважения, в других - для заработка) писал портреты. Друзья знали, что он нуждается в средствах, и старались отыскать заказчиков состоятельных. Так, скорее всего, и появился перед ним А. В. Племянников. От него самого, да и от знакомых своих из среды чиновников, Шевченко мог узнать, что собой этот человек представляет. Не жертву козней, не оскорбленную добродетель - жестокого барина (такой не убоится пустить в ход кулаки и арапник!) писал недавний крепостной.

Как в заключение не сказать, что дело решилось отнюдь не в пользу крестьян? Их самих обвинили во всех грехах и "не сочли нужным подвергнуть имения опекунскому управлению". Проще говоря, крепостник снова взял верх.

С разными людьми довелось встретиться Шевченко в Оренбурге.

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

В юбилейном справочнике "Императорской Академии художеств" за 1914 год поименно назван каждый, кто закончил ее за целых полтора века. И не только самую Академию, а и состоявшие при ней художественное училище, педагогические курсы.

Есть среди названных и Хлебниковы. Вот живописец Хлебников Анемподист... Вот другой - Александр, скульптор...

Однако это, конечно, не те: родились они много раньше.

Но, быть может, человек, который меня интересует, был вольнослушателем или по какой-то причине учение не закончил?

Такие в справочник не попали. Источник сведений о них - архивы.

..."В материалах... фонда Академии художеств... имеются сведения о Хлебникове Александре Петровиче, бывшем вольнослушателе Академии с 1885 по 1887 гг., и о Хлебникове Владимире Николаевиче, тоже вольнослушателе, поступившем в Академию в 1891 году". Снова Хлебниковы, а нужного нет и тут.

За ответом научно-библиографического архива Академии художеств СССР последовал еще один - из Центрального государственного исторического архива. Он отличался лаконизмом и категоричностью: "В фонде 789... сведений об оренбургском художнике Хлебникове не обнаружено".

Никаких следов! Ничего!

Но разве в этом обидном "ничего" не таится зерна истины?

В чем она? Да в том, что Хлебников, которого я ищу, в Академию художеств не попал и, значит, заветная его мечта не сбылась. А следовательно, не осуществилось и желание Шевченко.

Оренбургская зима... Эта, как и другие, была с буранами, с морозами, непривычными для тех, кто родился и вырос на Украине. Но после всего, о чем я уже рассказал, вы поймете: не только пронизывающими ветрами да ледящими холодами вошла она в сердце поэта, а и живым теплом дружбы. Этим - прежде всего.

И вот зима закончилась.

Закончилась доносом, обыском, гарнизонной гауптвахтой, ожиданием новой встречи с уже проклятой им Орской крепостью.

В один из этих дней - последних дней в Оренбурге - и познакомились два простых человека: прославленный народом Тарас Шевченко и безвестный юноша-самоучка Хлебников.

(Подчеркиваю это, чтобы внести поправку в широко известные, интересные и добросовестные воспоминания К. И. Герна, который отнес знакомство Шевченко с Хлебниковым к более позднему времени - дням "пред отправлением в Новопетровск". На мой взгляд, достаточно внимательного прочтения сохранившихся документов и писем друзей, чтобы убедиться: несколько месяцев спустя, когда Шевченко переводили из Орской крепости в Новопетровское укрепление, задержался он в Оренбурге лишь на какие-то часы, к тому же был весь окровавлен, так как на пути сюда, в Губерлинских горах, случилось непредвиденное: лошади понесли, пассажир оказался под возком. Встреча могла произойти, скорее всего, сразу после 12 мая 1850 года, когда поэт, после трехнедельного пребывания на гауптвахте, ожидал этапа в Орскую крепость).

.. Жил Хлебников... Но к чему здесь предположения? Не все ли равно, жил он в Голубиной слободке (что всего вероятнее) или где-то в другом месте?

Узнал о нем Шевченко... От кого - гадать бесполезно. Во всяком случае - от друга. С другом он и поделился радостью своего открытия. Об этом мы знаем по уже упомянутому свидетельству Карла Ивановича Герна; чуть раньше я его лишь уточнил.

Жаль, но Герт весьма краток. Он сообщает, что Шевченко, "сидя уже под арестом на гауптвахте, узнал о существовании в Оренбурге бедного мещанина Хлебникова с необыкновенным дарованием к живописи; добрался до него, удостоверился в действительно замечательных способностях этого молодого человека и, отъезжая, передал его на мои руки".

Под пером романиста эти несколько десятков слов могут быть развернуты в большую и яркую сцену; рассказчику они способны послужить основой для волнующей новеллы. Меня же этот простой, ничем не обрамленный факт волнует в том виде, в каком я его узнал впервые. Еще бы - преследуемый, гонимый украинский поэт-художник перед новыми страшными испытаниями в Орском каземате думает о другом человеке, тоже бедняке, тоже талантливом, и вниманием своим как бы благословляет его на творчество. Авось он будет счастливее!

Счастье оказалось призрачным.

Но об этом разговор еще пойдет.

Я искал...

И надо сказать, что Хлебниковы в архивных бумагах попадались довольно часто. Но то не совпадал возраст ("молодой человек"), то не сходилась сословная принадлежность ("мещанин"), то иным оказывался имущественный ценз ("бедный").

Первым попал на заметку "Хлебников Николай, 12 лет". Не удивляйтесь - запись была сделана в 1842 году и, значит, в 1850-м возраст его подошел к двадцати. Тут же, в "Книге по записи учеников, поступивших в Оренбургское уездное училище" (ГАОО.- Ф- 77.- Оп. 1.- Д. 1), против фамилии Хлебникова указывалось и на его мещанское звание, и на то, что курс училища им был окончен в сорок девятом.

Знакомый Тараса Шевченко стал для меня Николаем. Условно, с оговорками и сомнениями, но - Николаем.

И в это же время...

Двумя или тремя неделями раньше я написал письмо в Киев, в Музей Т. Г. Шевченко. Теперь прибыл ответ: ничего, кроме рассказанного Герном, о Хлебникове

неизвестно, однако в составе альбома Обручевых, который хранится в музее, есть работа с надписью "Рис. пор. Хлебников".

(Талантливая работа! Даже небольшая по размерам фоторепродукция позволяет в этом убедиться. Передо мною - старый бухарец с живыми, выразительными глазами. Живет, "дышит" каждая черточка его лица, каждая складка одежды. Острый взгляд, уверенная рука у автора этого единственного известного его произведения. Отыскать, увидеть бы другие! Где они?).

"Но сомнительно,- делилась мыслями заместитель директора музея Г. П. Паламарчук,- относятся ли воспоминания о дружбе Шевченко с Хлебниковым к поручику Хлебникову, так как К. И. Герн говорит не о военном, а о мещанине Хлебникове, который стал учителем рисования в Оренбургском уездном училище".

На этот счет у Герна действительно кое-что есть. "К сожалению,- писал Карл Иванович, продолжая свои воспоминания,- мы могли помочь Хлебникову только материальными средствами; он впоследствии был освобожден мещанским обществом, сделан учителем рисования в уездном училище и с горем пополам существовал, поддерживая крайне бедное свое семейство".

Да тот ли?

Перелистывая сотни формулярных списков, я не раз встречал в них записи: "дворянин", "мещанин" и т. п. А это были списки о "службе и достоинстве" людей с воинскими званиями. Значит, даже будь он поручиком, Хлебников в глазах горожан, тем более в своем городе, мог пребывать не только в военном, но и в мещанском сословии. Такова была сила традиции.

Вот над другим различием - в роде занятий - подумать следовало более. И особенно после того, как оказались просмотренными многочисленные книги из архивного фонда уездного училища, а Хлебникова в списках учителей рисования обнаружить не удалось.

В задумчивости листал я печатные справочные книги Оренбургской губернии за пятидесятые - шестидесятые годы. Не могу даже определенно сказать, что искал Хлебникова. И все-таки, когда знакомая фамилия встретилась в "Справочной книжке Оренбургской губернии на 1868 год", невольно остановил на ней внимание. Николай Петрович! Поручик!..

Николай Петрович Хлебников служил в Оренбургском губернском батальоне.

В батальоне, который не имел ничего общего с регулярным войском,- он выполнял лишь вспомогательные функции. В силу этого в нем находились люди различных специальностей. Художники - в их числе. Ведя преимущественно оседлый образ жизни, они имели возможность совмещать свои основные служебные обязанности с работой по гражданской части - например, с уроками рисования...

Но это - догадки. Что о Хлебникове знаем мы

"...Во время последней бытности моей в Оренбурге, осенью прошлого (1860) года, я видел Хлебникова и узнал от него, что он успел наконец собрать несколько деньжонок, чтобы отправиться в Петербург и там с помощью Тараса поступить в Академию художеств.

Застал ли бедный человек этот Тараса еще в живых, и что с ним делается, и как он успел себя пристроить, я не знаю, потому что не получил от него обещанного письма из Петербурга. Если он у вас не был, то отыщите его, пожалуйста. Могу вас уверить, что покойник принимал в нем самое искреннее участие; и, помогая этому

несчастному бедняку, мы исполним заветную мысль Тараса, и он нам за это с того света спасибо скажет..."

Это из тех же воспоминаний К. И. Герна. Написаны и публикуются они как письмо к Михаилу Лазаревскому.

Ни М. М. Лазаревский, ни другие авторы воспоминаний о петербургском периоде шевченковской жизни о Хлебникове не сообщают ни слова.

Добрался ли он до Петербурга? Нашел ли Шевченко? Кто знает... Известно только, что в Академии художеств, в Высшем художественном училище и на педагогических курсах при Академии такого человека не было.

С этого я свой рассказ начал, этим и закончу.

Увы, счастье оказалось призрачным, мечта осталась неосуществленной. Мечта безвестного Хлебникова и его великого друга.

ДВЕНАДЦАТЬ СТРАНИЦ

Не монографию о жизни и творчестве Тараса Шевченко пишу я сейчас - нет, иду, просто иду по следам его оренбургской зимы.

Многое, вероятно, останется незамеченным, и критикам будет в чем меня упрекнуть: "недооценил это", "упустил то".

В самом деле, кое-что недооценил (главным образом из того, что было переоценено ранее). Действительно, что-то наверняка упустил, ибо, как известно, "не объять необъятного".

Но при всем "немонографическом" характере этой моей повести не могу я "недооценить" и "упустить" того, что известен, дорог нам Шевченко прежде всего как поэт. И хотя, как вы могли заметить, автор не скрывает своего тяготения к неопубликованному или малоизвестному, здесь речь пойдет о многократно напечатанном и знакомом миллионам.

Кладу на стол "Кобзарь". О каждой из этих страниц написаны десятки и сотни других - с анализом содержания и формы, ритмики и словаря, образов и рифм.

Повторять (и повторяться) - не моя цель. Другое интересует меня.

...Вам, конечно, известен рассказ Ираклия Андроникова "Загадка Н. Ф. И." Чудесный рассказ о том, как в результате долгих, кропотливых и увлекательных поисков исследователя три десятка разрозненных, разобщенных лермонтовских стихотворений предстали перед читателем в виде цельного стихотворного дневника юношеской любви поэта. Дневника взволнованного, искреннего, страстного.

Поэтический дневник...

Его я хочу найти и в стихах Тараса Шевченко. В тех, которые написаны в Оренбурге.

Одиннадцать стихотворений и одна поэма - "Петрусь".

Не много? Действительно, меньше, чем написано, скажем, на Косарале. Но глубоко заблуждается тот, кто считает, будто оренбургская зима отмечена спадом его поэтической активности.

Нет, нет и еще раз - нет!

Какое-то время после приезда в Оренбург Шевченко новые стихи не записывает. Это объясняется, очевидно, многими причинами: напряженной, всепоглощающей работой над аральскими рисунками, переменой обстановки и

желанием больше быть на людях, наконец,- острой тревогой в связи с новыми надеждами на облегчение судьбы, возможно даже помилование.

К поэзии он возвращается в тяжкие для него дни, когда едва проглянувшие лучи свободы снова затянуло густым мраком безнадежности.

"...Мне отказано в представлении на высочайшее помилование! - писал Тарас Григорьевич княжне Репниной 1 января 1850 года,- и подтверждено запрещение писать и рисовать! Вот как я встречаю Новый год!".

В эти-то горькие дни и начинает он свою четвертую - оренбургскую - "захалавную книжечку".

Лічу в невол! дш і ноч!
І лш забуваю.
О господи, як то тяжко
Ті'ї дш минають.
А л!та пливуть меж ними,
Пливуть собі стиха,
Забирають за собою
І добро і лихо!
Забирають, не вертають
Ншоли щого!
І не благай, бо пропаде
Молитва за богом.

Если считать с 5 апреля 1847 года - дня ареста Шевченко на переправе через Днепр возле Киева - шел третий год его невольничьей жизни. Он же пишет об идущем, даже заканчивающемся, четвертом годе подневольного своего существования.

І четвертий рш минає Тихенько, повод!...

Несказанной горечи полно это стихотворение-стон, стихотворение-раздумье. В каждой строке - кровь и слезы. Но только ли сетования, только ли жалобы звучат здесь? Нет уже у изгнанника слов и слез, нет ничего - даже бога.

Жить не хочеться на свт, А сам мусиш жити.

Жить, чтобы еще, быть может, увидеть родной край, чтобы поделиться "словами-сльозами з д!брова-ми зеленими, з темними лугами".

Ну, а если дожить до этого не суждено...

А не даси, то донеси На мою крашу Мо'ї сльози; бо я, боже! Я за Не'ї гину!
Може, мен! на чужлш Лежать легше буде, Як шод! в Украш! Згадувати будуть!

Светлее становится на сердце, когда на смену острой печали приходит надежда, что, если даже придется сложить голову на чужбине, стихи его "до-летят коли-небудь на Украшу... і надуть, неначе роси над землею, На щире серце молодев". Так может ли он замолчать? Нет!

Нехай як буде, так і буде. Чи то плисти, чи то брести,

Хоч доведеться розп'ястись! А я таки мережать буду Тихенько бша листи.

Этимися словами - уже не печальными, не горестными, а исполненными жизнеутверждающей решимости - закончил поэт первое свое стихотворение, написанное в Оренбурге.

В 1858 году, уже в Петербурге, переписывая невольничьи стихи в "Бшыпу книжку", Шевченко существенно переработал - и прежде всего, значительно сократил

- это свое стихотворение. Во втором варианте оно известно гораздо больше, чем в первоначальном. Но если вести речь о поэтическом дневнике, то открывает его именно то, что написано в 1850-м. Это - развернутая запись о душевном состоянии, мыслях и чувствах, тревогах и надеждах.

Новое стихотворение - новая страница в своеобразном дневнике поэта.

...Сергей Петрович Левицкий, чиновник Пограничной комиссии, приятель Шевченко еще с первого приезда его в Оренбург, собирался в дальнюю дорогу: в Москву, а затем в Петербург. С его поездкой Тарас Григорьевич связывал новые свои надежды: Левицкий мог встретиться с друзьями поэта и передать им то, чего нельзя было доверить почте. Тем не менее разлука с одним из немногих земляков-украинцев, да к тому же близким по мыслям, по духу, весьма его удручала.

Незадолго перед тем - в конце декабря - на несколько месяцев отправился в степные укрепления Федор Лазаревский... С болью душевной, с тоской думал Шевченко о том, что предстоящей весной снова не миновать Раимского укрепления ему... Разлучались и с Пospelовым - их отношения были искренними, сердечными.

И вот - прощальная встреча, последние песни.

Ми засшвали, розшлись,

Без слъоз і без розмови,

Чи зшдемося ж знову?

Чи засшваємо коли?

А може, и те... Та де? Якими?

І засшваємо яку?

Не тут і, певне, не такими!

І засшваємо не таку!

Некоторые исследователи связывают это стихотворение с польскими друзьями поэта, пытаются даже рассматривать его в связи с рисунком Алексея Чернышева - чуть ли не как поэтическую подпись-подтекстовку.

Но если вполне подходят к этому уже приведенные строки, если нельзя дать точного адреса последующим:

І тут невесело сшвали,

Во и тут невесело було,

Та все-таки ялось жилосьь,

Принайми! вкуш сумували,-

то уже последние не оставляют сомнения, что поэт обращается, главным образом, к землякам:

Згадавши той веселый край, І Дншр той дужий, крутогорий, І молодець тее горе!..
І молодий той гршний рай!

Вот почему и связываю я это стихотворение с определенным событием: разлукой с украинскими друзьями, да еще с русским моряком Пospelовым. Событием, которое произошло в первые дни 1850 года...

..."Не молилася за мене..." - третья запись в оренбургской тетрадке - как нельзя лучше перекликается с мыслями и чувствами, выраженными поэтом в письмах к О. М. Бодянскому и В. А. Жуковскому. Первое написано 3 января, второе датируется менее точно: "около 10-го".

Тяжело переживая отказ в облегчении своей участи, он снова и снова - в разговорах с друзьями, в письмах, в стихах - возвращается к тому же: мечте о свободе, о тихом уголке на Украине, о Днепре широком.

А я так мало, небагато Влагав у бога. Тшько хату, Одну хатиночку в гаю, Та дв! топол! коло не!, Та безталанную мою, Мою Оксаночку...

Но негромкая грусть, тихая мольба-мечта вдруг взрывается гневным залпом:

Даеш ти, господи единый, Сади панам в твош раю, Даеш високи палати. Пани ж неситп, пузат! На рай твш, господи, плюють І нам дивитись не дають 3 убого! мало! хати.

Тут уже не грусть, не мольба, не только свое личное. Тут - протест, обвинение. Обвинение богу и панам.

(Не все создаваемое поэтом можно "привязать" к определенному событию и определенному месту. Это было бы профанацией поэтического труда, поэтической мысли. И мне хочется возразить авторам монографии "Тарас Григорьевич Шевченко", выпущенной Киевским государственным университетом в 1960 году, которые явно неудачно связали приведенные выше строки с имеющимися воспоминаниями о том, что с крыльца дома Кутиных поэт видел польский костел и чудесный тенистый сад при нем. Из этого делается вывод - вроде бы закономерный,- что созерцание этого сада, этого здания и натолкнуло поэта на раздумья о социальной несправедливости. Ассоциация более чем сомнительная. Особенно если помнить, что костел и сад в представлении Шевченко были неотделимы от Зеленко и множества польских свобододолюбцев, с которыми он поддерживал дружбу. Уместно также сказать, что в то время, когда слагалось стихотворение "Не молилася за мене...", Шевченко у Кутиных не жил, сидеть на крыльце не позволяли морозы, а сад был отнюдь не тенистым - стояла довольно суровая зима).

"Привязке" поддается не все. Тем более не нужна она, когда речь идет о единственной "оренбургской" поэме. Основа у нее - фольклорная. История о том, как панская дочь, ставшая генеральшей, полюбила крестьянского парня, а ненавистного мужа отравила, как чистый и честный Петрусь оказался жертвой этой любви, известна по старым народным песням. Но то, что в песнях лишь слегка очерчено, Шевченко сумел развернуть в широкое полотно большой художественной силы, глубоко-трагического звучания. Человечен образ несчастной женщины, насильно отданной замуж за богатого старого генерала. Не прихоть барской - потребностью молодого, горячего сердца является для нее любовь к недавнему подпаску. Не могут не взволновать нас ее переживания, ее борьба с собой перед тем, как она решается на отчаянный поступок - отравление постылого мужа. Петрусь в поэме - вроде бы на втором плане. Его образ нарисован более эскизно. Однако как поднимается, как вырастает юноша из народа, когда принимает на себя вину молодой вдовы, сколько благородства в нем, добровольно заковавшем себя в кандалы!

Поэма кажется неоконченной, ей не хватает заключительного авторского аккорда. Такого же сильного, ударного, как в "Наймичке", "Неофитах" и других поэмах Тараса Шевченко. С последней записанной строкой не закончились его раздумья. Дочитав до конца, продолжаешь жить в мире шевченковских образов шевченковских мыслей, и перед глазами - он сам. Со взглядом, устремленным за окно, где бушует зима - уральская, что сродни сибирской... С раскрытой тетрадкой, в которой только что заполнил несколько страничек...

...Можно ли представить себе дневник духовно богатого человека без мыслей о литературе, без впечатлений о прочитанном? В поэтическом дневнике оренбургской зимы, как и в том, который Шевченко вел в 1857-1858 годах, есть прекрасные строки о

Поэзии и Поэте. Я написал эти слова с больших букв потому, что речь идет о Лермонтове.

Не длинной оказалась опись вещей и книг, изъятых у Тараса Григорьевича во время апрельского обыска и ареста. Но среди них было два томика лермонтовских сочинений. Их прислал из Петербурга М. М. Лазаревский.

Адресовались они в Орскую крепость, но прибыли туда, скорее всего, уже после того, как поэт в составе экспедиции был отправлен на Аральское море. Может, книги нашли его там; может, были переданы позднее. Ясно одно, в Оренбурге стихи Лермонтова стали любимым чтением украинского поэта.

Первая часть стихотворения "Мет здається, я не знаю...", навеянного чтением поэзии Лермонтова, исполнена обличительной силы. Это злая, гневная сатира на богачей - властелинов жизни.

А вот и обращение к замечательному русскому поэту:

...Де ж ти?

Великомучениче снятий? Пророче божий? Ти меж нами, Ти, присносуший, всюди з нами Витаєш ангелом святим. Ти, любий друже, заговорит Тихенько-тихо... про любов Про безталанну, про горе;

Або про бога, та про море, Або про марне литу кров 3 людей великими катами. Заплачет тяжко перед нами, І ми заплачемо... Жива Душа поетова свята, Жива в святих СВОІХ речах, І ми, читая, оживаєм, І чуєм бога в небесах.

Душа поэта-пророка сродни его собственной. Много прекрасных, возвышенных чувств вызывает в нем чтение Лермонтова. И Шевченко не может не высказать свою благодарность тому, кто порадовал его в ссылке - прислал дорогие, так нужные книги:

Спасибі!, друже мш убогий! Ти, знаю, лепту роздшив Свою єдину... Перед богом Багато, брате, заробив! Ти переслав мет в неволю Поета нашого,- на волю Мет ти двер! одчинив!

Двери на волю... Не было для него слов более высоких.

..."Читательский формуляр" Шевченко до нас не дошел. Известно только, что читал он много, очень много. Книгами его снабжали знакомые в библиотеке штаба 23-й дивизии; он брал их у оренбургских друзей и получал от тех, которые были далеко.

Не все прочитанное вызывало такой восторг, как стихи Лермонтова, как "Мертвые души" Гоголя, как лучшее в "Современнике".

Многое вызывало глухое раздражение. И, прежде всего, идиллическое восхваление деревенской жизни- "деревенского рая", как представлялась эта жизнь иным сочинителям.

Рай... Знают ли они, писаки из помещичьих сынков, как тяжела доля тех, кто кормит всю свору господ? Понимают ли весь ужас, всю мерзость горького, нищенского крестьянского существования? Нет, он не может читать все это поэтическое сюсюканье! В печку, в огонь!.. Да ведь не он один прочел то, что здесь напечатано. А может, кто и поверил?

Якби ви знали, панич!, Де люде плачуть живучи, То ви б елегш не творили Та марне бога б не хвалили, На наш! сльози смшчись.

За що, не знаю, називають Хатину в гаї тихим раєм. Я в хат! мучився колись, Мо'ї там сльози пролились, Найперпп сльози. Я не знаю, Чи єсть у бога люте зло, Що б у т!й хат! не жило? А хату раєм називають!

Строка за строкой шли на бумагу. Выстраданные, горячие, разящие слова выстраивались в колонну - одно к одному, ряд к ряду. Рождался ответ на "пейзанские" стишки далеких от жизни сочинителей.

Кажется, все, что наболело, накипело за годы, нашло здесь свое выражение, получило выход к людям.

Проклятие помещикам... Проклятие несправедливости... Проклятие богу... Ему запретили писать. Но он пишет и будет писать. Будет - до последнего вздоха!

...Следующее стихотворение - и на память снова приходит тот же рисунок Чернышева: Шевченко среди друзей.

Накануне, быть может, в тесном дружеском кружке шел разговор о прошлом. Тут не обходили острых вопросов. И не раз то одному, то другому вспоминались случаи из жизни - сегодняшней и былой. Случаи ни свободолюбивым полякам, ни ему, украинцу, не радостные.

Теперь он писал об этом в стихотворении, начатом словами: "Буває, в невол! шод! згадаю..."

Будто живой, вставал перед глазами казак, который сжег и свой дом, и свою дочь, только бы отомстить нагрянувшим на хутор полякам - грабителям и насильникам.

Он сам, тот казак, погиб в бою. Но и из темной могилы слышал Шевченко его слова:

- Не знаю, як тепер ляхи живуть з своїми волящими братами? А ми браталися з ляхами! Аж поки третш Сигизмонд з проклятими його ксьондзами Не роз'єднали нас... Отак Те лихо д!ялося з нами!

Несчастье не может быть вечным. И, как в свободу, верил Шевченко в дружбу. Верил - и говорил. Как на этой, седьмой, странице своего оренбургского поэтического дневника. Как много раз до и после...

...Его сердце знало и горе, и ненависть, и любовь.

Не случайно ей посвящено так много прекрасных слов, строк, страниц шевченковской поэзии.

О "своей Оксане" он вспоминал и в Оренбурге.

Здесь, в этом городе, ему довелось еще раз испытать искреннее сердечное влечение.

І станом гнучим, і красою Пренепорочно молодою Стари оч! веселю. Дивлюся шод!, дивлюсь, І чудно, мов перед святою, Перед тобою помолюсь...

О ком эти строки? Думается, что о Забаржад.

Ее имя нам открыл Ф. М. Лазаревский. Вспоминая дружеские вечеринки, он писал, что с поэтом бывала "неизменная подруга Тараса - татарка Забаржада, замечательной красоты".

Больше мы не знаем о ней ничего. Хотя... кое-какие сведения можно почерпнуть из самого стихотворения. Сирота... Одинокая... Молодая, даже очень молодая... Шевченко, которому тогда едва исполнилось тридцать шесть, считает себя рядом с нею совсем старым. Его отношение к подруге - благоговейно-целомудренное. Любовь к Забаржад - ближе к отцовской. И по-отцовски тревожится он о ее красоте, ее судьбе.

Хто коло тебе в свт стане Святим хранителем твош? І хто заступить? хто укриє Од зла людського в час лихий?

Болью отдается в сердце поэта мысль о том, что она может быть несчастной, что и сама безвременно увянет, и дитя ее, когда станет матерью, "не в окса-митЬ> будет, что может оказаться среди "людей неприязних", "коло зачинених дверей".

Отак я inofli тобою, Тобою, серпе, молодую, СТарі'і 04і веселю.

ДИВЛЮСЯ ШОДІ, ДИВЛЮСЬ

На стан твщ гнучий, і за тебе Тихенько богу помолюсь.

Есть, значит, в оренбургском дневнике и страница любви.

...Добрые знакомые - а их становилось все больше - всячески старались скрасить тягость его жизни. Шевченко приглашали на вечера и вечеринки, он был желанным гостем во многих домах.

Не простой зарисовкой одного из таких вечеров, но тоже стихотворением-раздумьем является то, которое в первом русском переводе Николая Курочкина получило название "Бал".

Бал? А, собственно, почему - бал? Легкая фантазия переводчика?.. И не одного - многих: уже названного Курочкина, более позднего - Ф. Сологуба, современного - Н. Ушакова. Все они, как по традиции, переводят слова "музика грає" одним и тем же сочетанием "оркестр играет". А коль оркестр - значит бал...

Так или иначе, только музыка не приносит поэту веселья. "Алмазом добрим, дорогим с!яють 04і молоді; витає рад!сть і над!я в очах веселих", а ему неуютно, нерадостно: годы проходят, мечта же о счастье не сбывается.

І ви регочуться, см!ються, І вс! танцюють. Тшько я, Неначе заклятий, дивлюся І нишком плачу, плачу я. Чого ж я плачу? Мабуть, шкода, Що без пригоди, мов негода, Минула молодеть моя.

Сколько было у него таких горьких "балов"!

...Страница десятая. Одиннадцатая... Двенадцатая...

Раздумья... Непрекращающиеся раздумья...

"Вот такая моя доля мерзкая! Я, встав раненько, расположился писать вам письмо; только расположился, а тут черт несет ефрейтора (разумеется, нанятого, чтобы давал знать, ибо я живу теперь не в казармах): пожалуйста к фельдфебелю. Пришлось письмо оставить, а сегодня почта уходит. Так и этак умолив фельдфебеля, вернулся я домой и принимаюсь снова, а время уже около часа, потому извините, если не все расскажу..."

Это - из письма на Украину, давнему другу Лизо-губу. Дата на листке - 14 марта. И тут же - "Оренбург".

Даже друзьям не мог поведать Шевченко всех своих печалей, всех тревог. И только в стихах договаривал то, что оставалось невысказанным в живом разговоре. Только в стихах давал волю тому, о чем не мог написать в письмах.

Многое до нас не дошло - и из тех бесед, и из тех писем. К кому обращается Шевченко в стихотворении "Чи то недоля та неволя..."? Кто знает! Но до чего же должно было накипеть, если решился высказать упрек, да еще какой, тем, которые вложили ему в руки поэтическое перо!

Тепер іду я без дороги, Без шляху битого... а ви! Дивуетесь, що спотикаюсь, Що вас і долю проклинаю, І плачу тяжко, і як ви... Дупл убого! цураюсь, Свое! грініНо'і душП

Почта, которая отправлялась из Оренбурга два раза в неделю, увозила его письма друзьям-доброжелателям, но ничего утешительного с собой не приносила. Надежда на облегчение участи едва-едва тлела...

На батька бісового трачу І днї, і пера, і папір! А шод! то ще и заплачу, Таки аж надто. Не на мир І на дша його дивившись, А так, мов шод! упившись, Дідусь сивесенький рида - Того, бачте, що сирота.

А в следующем - уже ирония. До боли горькая ирония. Ирония над собой, над своими собственными идиллическими мечтами.

І дои сниться: тд горою, Меж вербами та над водою, Бшенька хаточка. Сидить Неначе и дос! сивий д!д Коло хатиночки і бавить Хорошее та кучеряве Свое маленькое внуца...

Так и звучит недосказанное: не ласкать ему, в неволе поседевшему, "дитя кудрявое", не слышать счастливого смеха, не думать о "доле злой", "печалях" и "врагах" как о далеком прошлом.

А все же снится. А все же думается. Он не может, не имеет права поддаться унынию!..

...Вот и вся его "захалавная книжечка".

Четвертая в неволе... Поэтический дневник той зимы...

В тетрадке есть чистые странички. Дневник остался неоконченным. Немало листков полетело в огонь, когда, предупрежденные о близком обыске, Шевченко с Лазаревским и Герном торопливо жгли все, что могло повредить дальнейшей судьбе ссыльного поэта и его друзей.

И все-таки дневник есть, существует, говорит.

Говорит живым голосом Тараса Шевченко.

Несколько строк под конец

Вот и прошли мы по следам оренбургской его зимы.

Не все, далеко не все загадки раскрыты. И не раз еще придется к ним вернуться, чтобы узнать неузнанное, дополнить неполное, прочесть непрочтенное.

Много предстоит искать, много надо найти и узнать. Но как не порадоваться уже узнанному? Как, узнав, не поделиться с друзьями?

Поделиться -

чтобы всем стало ясно, какой богатой духовной жизнью были наполнены дни приговоренного к творческой смерти Тараса Шевченко...

чтобы во всей полноте представить себе круг его верных друзей и по-настоящему ощутить, почувствовать, осознать животворную, воскрешающую и вдохновляющую силу истинной дружбы...

чтобы ярче увидеть, каким большим, прекрасным человеком, каким надежным другом был он сам...

ПОБРАТИМЫ

*Дай бог, чтобы все люди были так коротко близки между собою, как мы с ним;
тогда бы на земле было счастье.*

Т. Г. Шевченко (о Э. Желиговском)

ГЛАВА ПЕРВАЯ, или Рассказ об одном переполохе

Поездка наделала шуму.

- Как? Кто позволил? На каком основании?

- Преступное легкомыслие! Халатность! Безобразие!

Возмущению не было предела.

Оно бушевало в присутственных местах.

Оно захватило петербургский свет. о Оно довело до исступления самого императора.

А вызвал весь этот шум, этот переполох и гнев небольшой, незначительный, на первый взгляд, повод - пересылка в Оренбург двух опальных лиц. , Лицами теми были русский князь Сергей Трубецкой и польский поэт Эдвард Желиговский.

Повесть моя - о Желиговском... Желиговском Шевченко... Но здесь упомянут Трубецкой и, хотя Лалыше речи о нем почти не будет, начинать придется

Жизнь родовитого князя была достаточно подвер-!вна штормам.

Сын одного из приближенных Александра I, влия-~~~.ного царского генерал-адъютанта, он с самого своего рождения принадлежал к высшему кругу российской знати. На восемнадцатом году жизни юный камер-паж стал корнетом-кавалергардом. И сразу его увлек, захватил бурный водоворот жизни "золотой молодежи". Ее похождения не всегда были безобидными. Однажды в день рождения нелюбимого полкового командира кавалергарды устроили его "похороны" - с факелами, с пением и всеми прочими атрибутами этой церемонии. Трубецкой оказался одним из зачинщиков и был наказан переводом в гусары. Впрочем, не надолго. Сильные заступники помогли ему вернуться в свой кавалергардский. Однако сдержаннее, осторожнее юноша не стал. Каскад шумных историй, венцом которых явился скандальный роман с фрейлиной двора Мусиной-Пушкиной, закончился в конце концов отправкой его на Кавказ.

Несколькими годами ранее Трубецкой невольно оказался свидетелем интриг против Пушкина; брат был другом Дантеса, в доме плелись сети клеветы, и он, чуждый этим грязным прои́скам, но бессильный им препятствовать, не мог не видеть того, что какое-то время спустя привело к гибели гения русской поэзии.

И вот на Кавказе Трубецкой стал сослуживцем, приятелем Лермонтова. Он видел, как травили другого великого поэта земли русской. На его глазах произошла ссора Лермонтова с Мартыновым. Мало того, Трубецкому довелось быть одним из секундантов на дуэли у Машука.

На следствии участие его в дуэли удалось скрыть. Тем не менее год спустя он был переведен в другой кавказский полк, а еще через год вышел в отставку.

Это произошло в сорок третьем. А восемь лет спустя...

...6 мая 1851 года генерал-лейтенант Дубельт доложил царю о том, что накануне вечером у сына коммерции советника Жадимировского была похищена жена и что похитителем является князь Сергей Трубецкой. Поиски развернулись немедленно. Отряды погони отправились в сторону Одессы, в направлении Тифлиса. На границе были выставлены усиленные наряды. Губернаторы, полицмейстеры, жандармские чины сбились с ног. Еще бы - за "операцией" следил самодержец!

Отыскивали беглецов месяц спустя на Кавказе. Распоряжение царя было категоричным: "Его прямо сюда в крепость, а ее в Царское Село, где и сдать мужу".

Из Алексеевского равелина Петропавловской крепости бывший штабс-капитан вышел лишенным "званий и достоинств" семь с лишним месяцев спустя. Вышел, чтобы быть отправленным в Петрозаводск - "под строжайший надзор, на ответственность батальонного командира".

На севере рядовой Трубецкой дослужился до унтер-офицера. Но производство это - оно давало известную свободу-было оговорено условием: его переводили в один из оренбургских линейных батальонов. "Туда, где есть случай к делу" - собственноручно начертал Николай, мастак по части каверзных резолюций *.

...Трубецкой снова отправился в путь, теперь уже на восток.

В Отдельный Оренбургский корпус, который постоянно находился в состоянии повышенной готовности и - систематически - в боях...

* О С. В. Трубецком более подробно рассказано в книге П. Е. Щеголева "Алексеевский равелин" (глава "Любовь в равелине"), М., 1929, и в книге Эммы Герштейн "Судьба Лермонтова" (главы "О кружке "шестнадцати" и "Дуэль и смерть").-М., 1964.

На восток, в Оренбург, был определен и рядовой Желиговский - человек иного характера "преступлений".

На год моложе Трубецкого (родился в шестнадцатом), Желиговский не имел на семейном своем гербе ни княжеской, ни другой пышной короны. Семья его принадлежала к тем, которых обошло и богатство. Фольварк Марьянполь, где будущий поэт родился и провел детство, являлся одним из небольших поместий на Виленщине.

Девятнадцати лет Эдвард стал студентом. В Дерпт-ском университете он не только познакомился с учением Гегеля и Фейербаха, но и впервые почувствовал себя годным для больших дел. Вместе с земляками - Залеским, Подберезским - молодой человек вошел в состав тайной студенческой организации. И - начал писать. Рождался поэт Антоний Сова...

Но известность пришла к нему с "Иорданом". Драматическая фантазия, одноименная с главным ее героем - эмиссаром "Молодой Польши", разошлась быстро, и вскоре потребовалось ее повторное издание. К тому времени Желиговский написал и вознамерился издать вторую часть поэмы. Тут-то власти и всполошились.

"Сочинение это, написанное звучными и хорошими стихами,- доносил в декабре 1850 года виленский генерал-губернатор,- исполнено разных темных намеков и рассуждений, доказывающих неблагонамеренный образ мыслей автора, давно уже возбуждившего на себя подозрение и состоящего под надзором полиции. По дошедшим до меня сведениям, означенное сочинение произвело сильное впечатление на молодежь как в здешних губерниях, так и в Варшаве..." Почти одновременно стал известен ряд "неблагонамеренных" сочинений Р. Подберезского, В. Полубин-ского, де-Штрунг, и это послужило основанием для вывода о существовании "тайного литературного общества с политической целью".

На "Иордана" и другие крамольные произведения был наложен строжайший запрет. На Желиговского (как и на трех других, названных выше, сочинителей) посыпались неприятности.

Под конвоем жандармов Желиговский был доставлен в Петрозаводск. Вместе с ним прибыли предписания: "под надзор полиции... без указания срока..."

Срок петрозаводской его жизни растянулся почти на два с половиной года. Без службы, без средств к существованию, он пребывал в самой настоящей нужде. "Политически неблагонадежный" - и перед ним закрывались двери всех мест, где могли бы пригодиться его знания.

Справедливости ради надо сказать: когда Желиговский обратился с ходатайством об отправке в Оренбург, где он мог бы поступить на службу и лечиться

кумысом, решительных возражений не последовало. Оренбург и Петрозаводск, Оренбургская и Олонецкая губернии, как места ссылки, расценивались одинаково.

У него самого, однако, взгляд на сей счет был иным...

И, конечно, он никак не предполагал, что уже сама яездка наделает столько шуму, а планам его повре-дит основательно.

Не могли предвидеть, какую бурю вызовет : "неосмотрительный" их поступок, и сами олонецкие власти.

Соединяя Желиговского и Трубецкого на время I переезда с берегов Онежского озера к берегам Урала, они руководствовались, пожалуй, одним-единственным соображением: экономии на прогонных.

Но отчего загорелся сыр-бор?

Оказалось ущемленным недостаточно знатным соседством княжеское достоинство Трубецкого? Чтобы отказаться от такого предположения, достаточно сказать, что спутник князя происходил из семьи дворянской, был человеком образованным, а к тому же даровитым поэтом.

Поэтом... Польским поэтом... Поэтом революционно-демократических устремлений... Не здесь ли нужно искать разгадку причин возникшего в верхах переполоха?

Царская десница Николая I не дрожала, подписывая приговоры поэтам-вольнолюбцам. Это он усугубил страдания автора "Кобзаря", собственноручно начертав: "под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать". На Николае, на его монаршей совести была кровь Пушкина и кровь Лермонтова.

Как же можно было царю не встревожиться, узнав, что человек, знакомый со всей подноготной травли русских гениев, секунданта Лермонтова (для кого-кого, а для него это тайной быть не могло), много дней находится наедине с автором возмущившей власти поэмы, да еще из этих... бунтарей-поляков? В пути - "по подорожной и без провожатого" - они, конечно, не молчали. Значит - разговоры на запрещенные темы, значит - возможность огласки сведений, явно опасных.

Дело Трубецкого было, как говорится, "шито белыми нитками". И впрямь, каждый ли поверил, что монарх взял на себя личное руководство преследованием беглецов, а затем решение их участи только во имя поддержания "семейной морали"? Угас ли - всячески и настойчиво подавляемый - шепоток о том, что, дескать, он, Николай, ополчился против князя, оскорбленный глубоко личным - тем, что красавица Жадимировская его высочайшему вниманию предпочла любовь подданного? И вот все то, что тщательно скрывалось, вытравливалось, могло лишиться покрова тайны, получить распространение, попасть на перо неблагонамеренного, политически опасного сочинителя. Чего уж более?!

Желиговский приехал в Оренбург 24 июля 1853 года. И сразу же оказался в центре крутого бумажного водоворота.

ГЛАВА ВТОРАЯ, содержащая десять листов переписки и десять строк комментария

Секретно

2 сентября 1853 года

Господину исправляющему должность Оренбургского и Самарского генерал-губернатора.

Дошло до высочайшего сведения, что с разжалованным в 1851 г. из отставных штабс-капитанов в рядовые Петрозаводского гарнизонного батальона и переведенным в мае сего года, по производстве в унтер-офицеры, в Отдельный Оренбургский корпус Трубецким, 24 минувшего июля прибыл в Оренбург из Петрозаводска какой-то сосланный польский уроженец, занимающийся литературою и находящийся с Трубецким в дружеских отношениях.

По всеподданнейшему докладу, что этот польский уроженец должен быть дворянин Эдвард Желиговский, которого в мае же нынешнего года разрешено было перевести на жительство из Петрозаводска в Оренбургскую губернию, государь император между прочим высочайше повелеть соизволил: Желиговско-го перевести в другое место, а не в самый Оренбург; с допустивших беспорядок строго взыскать.

Сообщив начальнику Олонецкой губернии о взыскании с допустивших беспорядок в отношении Жели-говского, я покорнейше прошу Ваше превосходительство, во исполнение означенного высочайшего повеления, сделать распоряжение об отправлении Жели-говского на жительство в Вятскую губернию, начальнику коей вместе с сим сообщено об учреждении за ним полицейского надзора.

Министр внутренних дел генерал-адъютант Бибилов

Копия

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Прибывший в г. Оренбург из Олонца польский уроженец Эдвард Желиговский поступил в конце августа сего года в мое пользование с явлениями холеры довольно сильными; кроме того, даже с первого взгляда нельзя было не заметить на лице его какого-то особенного отпечатка давнего и глубокого страдания организма. Припадки холеры хотя не были допущены до полного ее развития, но в той мере, как прекратились все прежние припадки, показались новые и не менее важные, указывающие уже на сильно развивающийся тиф, которым он, Эдвард Желиговский, и по настоящее время одержим... Даже теперь еще силы больного и болезнь в таком состоянии, что не могу признать его вне опасности - ровно и время, когда можно надеяться на его выздоровление, определить с точностью еще трудно, но с вероятностью полагаю, что достаточно не более одного месяца, ежели новых осложнений в его болезни не будет... В чем по долгу службы и чистой совести удостоверяю. Г. Оренбург, 17 сентября 1853 г. Подписал Оренбургского батальона военных кантонистов старший лекарь надворный советник Геппен.

сентября 1853 г.

Секретно

Господину министру внутренних дел.

...Ваше высокопревосходительство изволили от 2-го сентября за № 134 объявить исправляющему должность Оренбургского и Самарского генерал-губернатора высочайшую государя императора волю: Желиговского перевести в другое место, а не в самый Оренбург...

Немедленно по сему исполнению не могло быть сделано по случаю тяжелой болезни, в коей находится в настоящее время Желиговский, как Ваше высокопревосходительство изволите усмотреть об этом из прилагаемого свидетельства медика о состоянии его здоровья, а потому я вынужденным нашел оставить Желиговского в Оренбурге впредь до выздоровления.

Долгом считая сообщить о сем Вашему высокопревосходительству, имею честь присовокупить, что, принимая во внимание удостоверение врачей о том, что употребление кумыса было бы весьма полезно для поправления здоровья Желиговского, чем между тем не может он воспользоваться с переводом его из Оренбургской губернии, что высочайшая воля последовала в той только силе, чтобы не оставлять Желиговского в самом г. Оренбурге, полагал бы возможным перевести его на жительство в г. Уфу.

Но как Ваше высокопревосходительство изволили уже сделать распоряжение об отправлении Желиговского в Вятскую губернию, то предварительно имею честь сообщить о предположении моем на Ваше усмотрение и покорнейше прошу почтить меня уведомлением...

Генерал-адъютант Перовский

29 сентября 1853 г. Секретно

Господину исправляющему должность Олонецкого гражданского губернатора.

В последствие отношения ко мне Вашего превосходительства за №№ 8293 и 4435, имею честь уведомить Вас, милостивый государь, что переведенный из Петрозаводска в здешнюю губернию дворянин Эдвард Желиговский по прибытии в г. Оренбург в конце прошлого года июля месяца подвергнут мною полицейскому надзору.

Подписал генерал-майор Балкашин и скрепил управляющий канцеляриею Попов.

Секретно

17 октября 1853 г.

Господину Оренбургскому и Самарскому генерал-губернатору

Вследствие отношения Вашего высокопревосходительства от 26 минувшего сентября, имею честь уведомить Вас, милостивый государь, что я не встречаю препятствия дозволить назначенному к высылке в Вятскую губернию дворянину Эдварду Желиговскому остаться на жительстве в Оренбургской губернии, с переводом его только, согласно последовавшему о нем высочайшему повелению, из самого Оренбурга в Уфу, или другой какой-либо город по Вашему избранию.

Министр внутренних дел генерал-адъютант Бибииков

6 ноября 1853 г.

6

Секретно

РАПОРТ

Находящийся в г. Оренбурге под надзором полиции дворянин Эдвард Желиговский при требовании с него пригонных денег, выданных ему из казны на проезд от Петрозаводска до Оренбурга, в количестве 97 р. 81½ к. серебром, отозвался, что, по случаю большого расстояния от имения его, сношения с ним продолжаются почти два месяца, а поэтому он находится теперь в невозможности уплатить требуемых с него денег...

Городничий (подпись)

16 ноября 1853 г.

Его благородию господину частному приставу 2-й части

Вследствие распоряжения его превосходительства господина исполняющего должность Оренбургского и Самарского генерал-губернатора от 12 ноября за № 128, объявленного мне при надписи господина Оренбургского городничего от 14 ноября за № 3182 о немедленном выезде моем из г. Оренбурга в г. Уфу, если состояние здоровья мне это позволяет, честь имею дать сию подписку в том, что хоть и чувствую облегчение в болезни моей, но еще, по случаю расстроенного здоровья, дороги в Уфу в настоящее время совершить вовсе не могу; как только же, по совету медиков, мне возможно будет предпринять такую дорогу, я немедленно об этом извещу Оренбургскую градскую полицию. При сем прилагаю свидетельство пользующего меня медика.

Эдвард Желиговский

Секретно

21 января 1854 г.

...РАПОРТ

Находящийся в Оренбурге по высочайшему повелению под надзором дворянин Эдвард Желиговский, получив ныне от болезни облегчение, предполагает выехать в город Уфу-Городничий (подпись) 162

Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что, получив подорожную из Оренбурга в Уфу, немедленно явлюсь за моим прибытием к тамошнему местному начальству.

Эдвард Желиговский 21 января 1854 г.

10

Секретно

4 февраля 1854 г.

Господину исправляющему
должность Оренбургского и Самарского
генерал-губернатора.

...Имею честь донести, что дворянин Эдвард Желиговский прибыл из Оренбурга в город Уфу 28 истекшего генваря.

Гражданский губернатор (подпись).

оДесять листов из дела "О переводе в Оренбургскую губернию на жительство состоящего в г. Петрозаводске под надзором полиции дворянина Жели-говского"...

Я отыскал его в Государственном архиве Оренбургской области (фонд 6, опись 18, дело 253) и сразу окунулся в атмосферу той мрачной поры. Отыскал - и открыл для себя страницу жизни вольнолюбивого поэта Польши.

Того, кого другом и братом называл сам Шевченко.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, начинающаяся с письма Тараса Шевченко

"Мне давно хочется завести переписку с Совой, но не знаю, как и начать. По-польски я писать не умею, а по-русски как-то неловко, но на всякий случай сообщу мне его подробный адрес. Будешь писать ему, кланяйся и целуй его за меня..."

Первое из дошедших до нас шевченковских писем с упоминанием Совы - Желиговского в собраниях сочинений датируется приблизительно: 1853-й, сентябрь - ноябрь.

Шевченко писал Залескому.

Брониславу Залескому, ссыльному поляку, верному своему оренбургскому другу.

Писал с Мангышлака.

К пятьдесят третьему, к июлю (Желиговский, напомним, приехал в Оренбург именно в июле), Тарасу Григорьевичу пришлось уже изведать и бесконечную муштру в Орской крепости, и долю рядового на суровом Арале, и гауптвахту "степной столицы" - Оренбурга, снова Орскую, только теперь ее каземат, и, наконец, Мангышлак - это богом и людьми проклятое место.

(Мне довелось перебрать в Оренбургском архиве горы дел, и сейчас вспоминается одно: с перепиской о просьбе государственных крестьян Самарской губернии Захара Севастьянова и Егора Гриднева позволить им переселиться на Мангышлакский полуостров. Из канцелярии генерал-губернатора просителям ответили, что их желание удовлетворено быть не может, так как "тамошняя местность решительно неспособна ни к хлебопашеству, ни к скотоводству и вообще, кроме рыбного промысла и торговли, не представляет поселенцу других способов существования и то лишь при довольно значительных первоначальных с его стороны денежных пожертвованиях").

Вот здесь, на этом диком полуострове, уже третий год тянулись безрадостно-унылые дни поэта. Сюда с одной из "оказий" и доползла-доплелась до него весть о приезде в Оренбург Эдварда Желиговского.

Желиговского среди друзей Шевченко я выделил по разным причинам.

Во-первых, среди польских соизгнанников Шевченко он был единственным поэтом - товарищем по музе.

Во-вторых, у их дружбы сложилась судьба необычная. Многие годы они знали друг о друге, прислушивались к рассказам общих знакомых, заинтересованно следили за делами литературными, но... встретиться не могли.

Перебирать возможные места или даты несостоявшихся встреч этих двух людей, думаю, мне, ни к чему. Мало ли что могло быть, но не случилось! Давно уже опровергнуто мнение, будто личное их знакомство произошло в конце 1849 года в Оренбурге; и хоть к этой версии (несмотря на полное ее неправдоподобие) нет-нет да и возвращаются - вытаскивать ее "на свет божий" явно ни к чему.

Встреч личных у них не было ни до сорок девятого, ни до пятьдесят третьего. Были более важные: у Желиговского - с "Кобзарем", у Шевченко - с "Иорданом".

Где он впервые услышал эту поэму? От кого? Когда? На Украине или уже в ссылке - в Оренбурге, в Орской? От Николая Гулака - приятеля украинского? От Бронислава Залеского или Отто Фишера - первых польских знакомых на берегах Урала?

Из всех этих вопросов - где? от кого? когда? - наиболее определенно можно ответить только на последний. Когда? Не раньше 1846-го - только тогда "Иордан" вышел первым изданием. Скорее же всего, в 1847-м - тогда-то "драматическая фантазия" получила особенно широкое хождение.

Над Желиговским начинали собираться первые тучки - предвестницы будущих бед. Над ним же, Шевченко, уже разразилась гроза, и открыл собой сорок седьмой печальный счет годам его невольничьим.

Но вернемся к письму, с которого глава началась.

"Мне давно хочется завести переписку с Совой..."

Слово "давно" выделил я сам. И впрямь - понятие это весьма растяжимое: десять лет... пять... три... просто месяцы...

В моем представлении возникновение такого желания связывается с долгими душевными беседами Тараса Шевченко с Брониславом Залеским во время геологической экспедиции летом 1851 года.

Залеский был давним и добрым приятелем Желиговского: вместе они учились в Дерпте, вместе участвовали в тайном обществе студентов, вместе мечтали о будущем.

В начале 1851-го Желиговский оказался в Петрозаводске - "царской милостью" он угодил в ссылку. За "Иордана". За участие в прогрессивной печати. За желание издавать новый демократический журнал. Иными словами - за вольнолюбие.

Один из деятельных участников оренбургской политической колонии поляков, Залеский такого рода новости узнавал быстро. Несмотря на все препятствия, между ссыльными осуществлялась постоянная переписка. И, живя все лето в одной палатке с Брониславом, Шевченко, само собой разумеется, не мог не быть в курсе событий, о которых знал его друг. В том числе такого, как преследование поэта Польши.

Вполне естественным представляется мне побудительное желание ссыльного-ветерана, каким стал к тому времени Тарас Григорьевич, написать ссыльному-новичку, чтобы выказать ему свое участие, свою дружбу.

Письмо, однако, написано не было. Теперь, по прошествии времени, узнав от того же Залеского о переводе Желиговского в Оренбург, Шевченко о неначатой тогда переписке думает с сожалением. Но и нынче он колеблется, раздумывает: написать? подождать, пока напишет Желиговский сам?

"...На всякий случай сообщи мне его подробный адрес... Будешь писать ему, кланяйся и целуй его за йеня..." О, это "будешь писать" говорит о многом. Шевченко успел узнать, что в Оренбурге польский изгнанник не оставлен, что его перевели дальше, в Уфу!

Письмо министра иностранных дел Бибикова с решением по этому вопросу имеет дату: 17 октября. В канцелярию Оренбургского генерал-губернатора оно прибыло к 25-му. На берег Каспийского моря весть дошла неделю или даже две спустя, так что Шевченко мог написать свое письмо не ранее ноября.

Выходит, дата его - "сентябрь - ноябрь" - уточняется.

Но надо думать... думать...

Не ранее ноября... Это если отталкиваться от распоряжения Бибикова. "Будешь писать ему, кланяйся..." Шевченко знает, что Желиговский уже в Уфе. Значит, он отвечает на неизвестное нам письмо Залеского, написанное после того, как новый изгнанник проследовал во "второй город" губернии.

Вспомним, когда это произошло.

Выехал из Оренбурга 21-го, прибыл в Уфу - 28-го.

Не в ноябре и не в декабре - в январе.

Не в пятьдесят третьем - в следующем, 1854-м.

Вот оно как... Почему же письмо отнесено к переписке 1853 года?

"В оригинале даты нет,- читаю в примечаниях к юбилейному изданию шевченковских писем 1964 года.- Датируется на том основании, что переписка Шевченко с Бр. Залеским началась в 1853 г. после совместного участия в Каратауской экспедиции на полуостров Мангышлак, а также на основании содержания письма и, в частности, просьбы Шевченко написать письмо Аркадию Венгжиновскому. В письме, датированном, "1854. Генваря", Шевченко уже благодарит за письма Венгжиновскому, стало быть, данное письмо написано в 1853 г. Сентябрь - ноябрь обозначается на основе слов Шевченко: "Благодатное лето прошло..."

Ежели бы не было других примет, могли послужить и эти. Но разве о лете вспоминают только осенью и забывают зимою? Разве, поблагодарив "за письма к Аркадию", нельзя попросить друга написать ему снова?

Не очень убедительно.

Более веским кажется мне другое: "Я вчера только узнал от Мостовского, что Колесинский в Оренбурге..." Веским оттого, что Балтазар Колесинский (один из тех, напомним, кто изображен на известном рисунке А. Чернышева) мог прибыть в Оренбург - после отлучия при Ак-Мечети - лишь в самом конце 1853 года. А Шевченко откровенно сожалеет, что узнал о перемене в жизни друга с опозданием.

Ну, и вывод? Письмо написано в начале 1854 года - не в январе даже, а в феврале (5 февраля, как обозначил его дату... сам Шевченко, сделав это в своем июньском обращении к Залескому).

Из переписки 1853-го его пора исключить. Зато эпистолярное наследие следующего, пятьдесят четвертого, окажется богаче.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, или Спор о "трех людях"

Литература о Желиговском чрезвычайно скудна. Несколько названий на польском, русском и белорусском языках исчерпывают весь список. Наиболее заметные статьи появились в связи со 150-летием со дня рождения Т. Г. Шевченко. Имею в виду прежде всего статью Э. Мартыновой и А. Мальдзис "Шевченко и Желиговский" в минском сборнике "Тарас Шевченко и белорусская литература" (1964), а также статью Н. Мещерского "Тарас Шевченко и Эдвард Желиговский" в журнале "На рубеже" (Петрозаводск.-1964.-№ 2).

-о Бесспорно, исследователи из Белоруссии подняли большие пласты материала. Они выезжали в Польшу и там, в Кракове, разбирали личный архив Желиговского. Они прочли в оригинале произведения польского поэта - прочли и проанализировали. Им удалось раскрыть перед нами весь путь этого большого человека. Подробнее о нем не писал пока еще никто.

Н. Мещерский столь широкой задачи перед собой не ставил. Но новое сказал и он. Как не заинтересоваться упоминанием о деле Желиговского в Государственном архиве Карельской АССР, касающемся жизни его в Петрозаводске? Или историей "битого" олонецкого губернатора Писарева, с которой автор статьи связывает возникновение замысла шевченковской поэмы "Сатрап и Дервиш"? К сожалению, взаимоотношения Шевченко и Желиговского раскрываются тут лишь на основе цитат из уже известных писем, без всякой попытки пересмотреть традиционный взгляд на содержание переписки,

А пересматривать надо.

Первое из опубликованных писем к Залескому, как оказалось при более тщательном его прочтении, написано было не в сентябре - ноябре пятьдесят третьего, а только в феврале пятьдесят четвертого. И, выходит, оно - не первое! Первое это то, которое Шевченко сам пометил январем 1854 года. Значит, первые из известных нам слов Тараса Григорьевича о Желиговском: "Иордана" и Сову я знаю, как твое сердце..."

Что касается строк, продолжающих эти, то толкование их занимало (и занимает) многих.

"Иордана" и Сову я знаю, как твое сердце, и, спасибо трем людям, теперь уже не в Петрозаводске, которые знали меня лично и не забыли меня, а тому, что остался один из трех, посылаю сердечный поцелуй, а тем, которые знают меня не лично и вспоминают обо мне,- тысячу кровосердечных поцелуев и братскую любовь!".

Эти строки пытался прояснить сам Бронислав Залеский. Комментируя их много лет спустя, он в какой-то мере передал содержание им же посланного на Мангышлак сообщения о жизни польского поэта в Оренбурге. "Желиговский, приехавший из Петрозаводска на Онеге,- читаем мы в комментариях-воспоминаниях Залеского,- рассказал, что трое старых знакомых Шевченко много ему (Желиговскому.- Л. Б.) говорили о нем с большой любовью. Это доставило большую радость несчастному пустыннонику".

Но и здесь лишь намек - и ничего определенного. Н. Мещерский старается его расшифровать, думает над ним, ищет разгадку; и я понимаю, каких трудов стоит каждый шаг, скольких усилий он требует.

Не все предположения, однако, можно принять даже для начала. Называются, например, высланные в Петрозаводск Липпоман и Макаров ("...эти лица, без сомнения, могли рассказывать Желиговскому об украинском поэте"). Могли, не спорю. Но Шевченко пишет о тех, которые уже знали его лично, а и с Липпоманом, и с Макаровым знакомство состоялось много позже. И даже то, что в Петрозаводске Липпоман был соседом Андрузского - на самом деле с поэтом знакомого - положения не меняет.

А вот с мыслью об Андрузском, как одном из тех трех в Петрозаводске, которые Шевченко знали и не забыли, не согласиться нельзя.

Георгий Львович Андрузский был членом Кирилло-Мефодиевского общества. Его знакомство с Шевченко произошло в 1846-м, во время учения в Киевском университете. Под влиянием революционной лирики Кобзаря и сам он начал писать стихи - горячие, бунтарские.

"- Достаточно прочесть написанное еще перед арестом его стихотворение, обращенное к Шевченко, чтобы стало ясно: уважение к своему великому знакомцу, преклонение перед ним поселились в сердце этого человека навсегда.

Дальнейшая биография Андрузского известна в самых общих чертах. Важно то, что в начале пятьдесят четвертого он был уже не в Петрозаводске. Стало быть, есть еще одно подтверждение: речь в письме идет о нем.

Другого - который бы, как Андрузский, знал Шевченко лично и, как он же, из Петрозаводска к тому времени выехал - назвать пока не удастся. Искать его, уверен, надо в архивах олонекских властей, в делах полицейских дел. За "подопечными" своими и за "Их связями полицейско-жандармское око следило нусыпно.

Н есть еще одно имя, которое называет Н. Мещерский и называет первым: Василия Михайловича Бе-лозерского, тоже кирилломефодиевца. Соглашаясь с таким утверждением, все же хочется внести уточнение: Белозерский - это тот, кто "остался одним из трех" и кому Шевченко посылает в письме свой "сердечный поцелуй". Из чего это вытекает? Да из того, что еще из Уфы продолжали идти к Белозер-скому в Петрозаводск письма от Желиговского. Обстоятельство, на мой взгляд, достаточно убедительное.

В 1964 году вышла в свет книга В. А. Дьякова "Тарас Шевченко и его польские друзья". Внимательно следя за работами этого исследователя, давно убедился: они скрупулезны и вдумчивы. Но что это? Приведя "ребус, над решением которого шевченко-веды долгие годы бьются безуспешно" (так он характеризует все то же место из письма Т. Г. Шевченко), автор вдруг отказывается от всяких аргументов и сразу переходит к выводам: "Назвать точно этих лиц пока нельзя, но можно предполагать, во-первых, что речь шла преимущественно, а может быть и исключительно, о поляках, во-вторых, что в их число должен быть включен Ромуальд Подберезский... Подбе-резский дружил с Желиговским и, высланный в Архангельскую губернию по одному с ним делу, в 1854 г. еще оставался там".

Почему только "о поляках"? На каком основании - Подберезский? Конечно, было бы удачей заполнить недостающую клеточку этой фамилией (кстати, Подберезского называют и белорусские исследователи). Если говорить отвлеченно, его "кандидатура" вполне подходит: и личное знакомство с Шевченко, и личная дружба с Желиговским.

О чем мне хотелось бы, в связи с этим же письмом, сказать еще? О последних строках того же "ребуса".

О строках, которые ооходят почему-то все: "...а тем, которые знают меня не лично и вспоминают обо мне,- тысячу кровосердечных поцелуев и братскую любовь!".

Кто они? Кому посылает "любовь и поцелуи" Шевченко? Для меня это, прежде всего, сам Желигов-ский. Для меня это и его друзья, в том числе не знакомые с Тарасом Григорьевичем лично, но, бесспорно, о нем наслышанные,- князь Сергей Трубецкой и поэт Александр Жемчужников.

Трубецкой и Жемчужников снимали в Оренбурге одну квартиру. Желиговский, как приятель Трубецкого, был вхож к обоим. Судьба высланного на берега Каспия певца Украины не могла быть безразличной ни тому, ни другому. Впоследствии братья Жем-чужниковы станут его искренними друзьями.

...Мы часто ссылаемся на письма Шевченко и его друзей, извлекаем цитаты (чаще всего одни и те же), толкуем их (слишком доверяясь традиции), но редко, очень редко даем себе труд прочесть известное как бы заново, отказаться от прежнего толкования, поспорить с предшественниками и с самим собою, сказать свое.

ГЛАВА ПЯТАЯ, с некоторыми подробностями и предположениями о днях оренбургских

В январе 1854 года закончилось кратковременное пребывание Желиговского в Оренбурге.

Сотни ссыльных, проезжая через Оренбург или оседая в нем на годы, отовсюду приносили с собой неостывший накал идейных споров, отсветы подавленных восстаний и отнюдь не развенчанные мечты о свободе, о борьбе за нее - борьбе до победы.

Участники студенческих обществ... Те, кто вел пропаганду в армии... Петрашевцы...

Но особенно много было поляков. Русский город Оренбург стал одним из центров бурлящей Польши. Парадокс? Истина! Настолько большая сложилась тут польская колония.

Смело можно сказать: Желиговский стремился сюда не ради кумыса. В этом случае его не могла бы опечалить перспектива службы не в Оренбурге, а в Уфе: кумысом был богат и север губернии.

Его привлекала возможность быть в большом кругу друзей - людей общих с ним устремлений, общей судьбы.

Он знал об их жизни многое: между Петрозаводском и Оренбургом издавна установилась живейшая переписка. Да и без писем каналов взаимной информации существовало немало.

Уральск... Оренбург... Жизнь провела его через суровые испытания, но не растоптала, не согнула.

С давнего времени вошли в историю "великомолочные вечера" у Сераковского. За недостаточностью средств гостеприимный хозяин, вместо вин и закусок, ставил на стол кувшин молока. Но какая разница, что стоит на столе, если горят сердца и о многом надо подумать, высказаться, посоветоваться, поспорить? Сколь бы остры они ни были, споры не только не отдаляли изгнанников, но, напротив, все крепче их соединяли. Эти люди стали силой, которой вынуждены были опасаться даже высшие губернские власти.

Никаких документов у меня на сей счет нет, однако я утверждаю: Желиговский на "великомолочных вечерах" бывал.

Не быть он просто не мог.

Зыгмунт Сераковский... Ян Станевич... Людвиг Турно... Юлиан Ковальский-За каждым из этих (да и только ли этих?) имен была не очень к тому времени долгая, но насыщенная делами жизнь патриотов.

А проявить им себя судилось еще больше - особенно пламенному Зыгмунту.

Он, которому предстояло стать одним из вождей национально-освободительного движения, признанным и прославленным героем восстания 1863 года, в Оренбурге являлся душой кружка единомышленников, душой всей колонии политических ссыльных.

К приезду Желиговского за плечами Сераковского было уже пять лет службы в оренбургских батальонах. Пять лет тяжелой, изнурительной службы - сначала солдатом, затем унтер-офицером. Мангышлак...

Не мог!

"...Везде в духе религиозной таинственности проявляются намеки на возрождение Польши и авторы... стараются возбудить надежду на какую-то предстоящую этому краю лучшую будущность, осуждают упадок духа и недостаток сочувствия к общему делу в своих соотечественниках и гласом пророческим требуют от них терпения, усилий и деятельности... Сочинители проповедуют о необходимости исправления нравов, о просвещении крестьян и сближении с ними помещиков,

отклоняют от вступления в государственную службу и во многих местах излагают мысли и понятия настоящего коммунизма".

О Относится это к "великомолочным вечерам", к разговорам, которые там велись? Да! Выражает суть споров, потрясавших небольшую квартиру Сераковского? Конечно!

Цитата извлечена из уже известного нам донесения виленского генерал-губернатора в связи с делом о "неблагонамеренных сочинениях", изданных Эдвардом Желиговским, Ромуальдом Подберезским и Владиславом Полубинским. "Иордане" - прежде всего. "Иордане" - как основе обвинений.

Так возможно ли, чтобы автор нашумевшей поэмы, человек, в прогрессивных кругах известный, вдруг оказался в стороне от поборников польского национально-освободительного движения?

Это было бы необъяснимым.

...Ежели б удалось каким-то чудом найти дом, где жил Сераковский и стало возможным прикрепить к его стене памятную доску, настоял бы я на том, чтобы в мраморе высеки не только имя Зыгмунта, но и имена других участников "великомолочных вечеров".

В их числе - непременно - Желиговского.

Многих памятных мест мы не знаем.

Где, например, жил в Оренбурге русский поэт Александр Жемчужников - один из создателей знаменитого Козьмы Пруtkова?

Вопрос не отвлеченный. Его имя уже упоминалось в предыдущей главе. Хочу вернуться к нему еще раз. К нему и - Трубецкому.

Вот отрывок из воспоминаний старожила - "Записок генерал-майора Ивана Васильевича Чернова" (Оренбург, 1907):

"При В. А. Перовском находились художник и карикатурист Грановский, член географического общества Небольсин, составивший подробное историко-географическое исследование Оренбургского края, полковник Генерального штаба И. Ф. Бларамберг, составивший для военно-топографического отдела самую подробную карту Оренбургского края и принадлежащей к ней части Киргизской степи. Но душою общества был родной племянник В. А. Перовского - Александр Михайлович Жемчужников. Ни одно празднество и ни одна холостая пирушка не обходились без него и без сосланного в Оренбург князя Трубецкого..."

Другая выписка - из местной газеты конца прошлого века:

"Во время пребывания своего в Оренбурге А. М. Жемчужников постоянно нуждался в деньгах, несмотря на то, что получал их от отца и от дяди - графа Перовского. Нередко случалось, что у него и его сожителя князя Сергея Трубецкого, сосланного в Оренбург рядовым за увоз жены петербургского сахарозаводчика Жадимировского, по несколько дней не было ни дров, ни свечей, ни денег". ("Тургайская иллюстрированная газета", 1896, 3 марта).

Для меня это достаточные засвидетельствования факта дружбы поэта Жемчужникова и секунданта Лермонтова.

Дружеские отношения Трубецкого и Желиговского, отмеченные и олонеким губернатором, и самим министром внутренних дел, не могли оборваться с приездом в Оренбург. Двери квартиры Жемчужникова и Трубецкого наверняка не раз открывались навстречу Желиговскому.

Это примечательно само по себе. Это вдвойне примечательно тем, что в далеком степном городе сошлись двое завтрашних друзей Шевченко и тот, кого дарил своей симпатией Лермонтов. А если вспомнить 'нежную и верную шевченковскую любовь к русскому гению... Весьма примечательно!

Оренбург дарил Желиговскому встречи, знакомства, друзей.

Он приехал сюда в дни, когда русские войска вплотную подошли к Ак-Мечети и вскоре стал свидетелем общего ликования в связи с тем, что "неприступная" кокандская крепость оказалась поверженной.

В штурме ее участвовали многие из ссыльных. Под пули их брали охотно. Да и сами они, надо сказать, на горячие дела шли без колебаний. Опальные дворяне за отличия в боях могли заслужить хотя бы низший, но офицерский чин, а это открывало перспективу выхода в отставку и отъезда на родину. Ради такого права, считал каждый, стоило подвергать себя опасности. Для чего жить, если насильственно отторгнут от родных краев, от близких людей, от настоящих дел?

Из Ак-Мечети вернулся Бронислав Залеский. Он рассказывал много интересного - и о экзотике мест, в которых довелось побывать, и о трудностях похода, и о героизме участников штурма. Неплохой рисовальщик, Залеский открывал свои альбомы, и его живые зарисовки впечатление от рассказа усиливали.

Бронислав - однокашник в Дерптском университете, товарищ по тайной студенческой организации Ш. Конарского и Ф. Савича - стал для Желиговского - самым близким другом. Другом, а во взаимоотношениях с Шевченко - безукоризненно-надежным связным.

Сколько будем писать о дружбе поэтов Украины и Польши, столько раз помянем мы добрым словом Залеского - верного спутника их обоих.

Друзья помогли Желиговскому побороть тяжелую болезнь.

"В 1853 г. Оренбург посетила азиатская гостья - холера... Люди умирали..."

Это свидетельство того же старожила Чернова. ("Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова" многое дают для характеристики города и края в те годы; к сожалению, книга эта шевченковедами не используется).

Холера свела бы в могилу и Желиговского. Но друзья в Оренбурге смогли быстро организовать медицинскую помощь, и жизнь его удалось спасти. Не одну неделю находился он на волоске от смерти, не одну неделю затем шло трудное выздоровление, и не будь моральной и материальной поддержки, дружной и заботливой семьи ссыльных, - исход был бы роковым.

В стихотворении "Больной", рожденном в Оренбурге, Желиговский писал: "Все мне помощь несут без меры".

, "В сожженные губы вливают надежду, и я воскреснуть должен", - вспоминал он долгие, тягостные дни своей болезни и тут же называл имена некоторых из jreх, кто своей заботой вырвал его у смерти: аптекаря Цейзика, хорошо известного нам по письмам Шевченко, врача Геппена, польского ссыльного (тоже медика) Ярошевича.

",. Друзья спасли его. Друзья сделали все, чтобы Желиговский остался среди них, в их семье. ; В этой семье часто и хорошо говорили о Шевченко.

Вестей с Мангышлака ждали с особым нетерпением, письма читали вслух, новости переживали вместе. Он был здесь своим, дорогим и близким человеком.

И все ближе становился Шевченко Желиговскому.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой продолжается публикация документов и выделены два подлинных письма Эдварда Желиговского из Уфы

1

Генерал-адъютанту В. А. Перовскому, Оренбургскому и Самарскому генерал-губернатору

Ваше высокопревосходительство!

По причинам, хорошо понятным каждому человеку, которому известно Ваше имя, я осмеливаюсь обратиться к Вашему высокопревосходительству.

Изгнанный из родных мест за свои произведения, до этого одобренные цензурой, я в течение четырех лет перенес всевозможные бедствия, которые и сейчас преследуют меня, как ссыльного. В довершение моих несчастий, в прошлом году я потерял отца и с ним вся моя семья лишилась своего главы. Нашего маленького состояния, полностью разоренного, едва хватает, чтобы содержать старую несчастную мать.

В течение четырех лет моей ссылки, несмотря на высочайшее разрешение и некоторые привилегии, которые мне даются как имеющему диплом кандидата политических наук, я не мог нигде добиться места и поэтому был приговорен к физической и гражданской смерти. Несчастье усугубилось тем, что я потерял свое здоровье. В Уфе я также не сумел получить места.

Находясь в крае, где Ваше высокопревосходительство является главой, я решил обратиться к Вам. Позвольте сказать Вам слово искреннее, которое исторгается из глубин моей души. Создавшееся положение является для меня плачевным и морально убивает. Трудно представить себе, что я пережил и переживаю после того, как всю жизнь старался чему-нибудь научиться, привык к жизни интеллектуальной, в лучшем обществе, а теперь, когда чувствую т^есе'бе силы быть полезным для добрых дел, не имею никаких возможностей для этого и провожу свои дни ""болезненным застоем, обрекающем меня на гибель. "До причинам, которые уже высказаны, я осмели-раюсь просить Ваше высокопревосходительство предоставить мне возможность встретиться с Вами, чтобы Вы стали моим судьей. Если я могу рассчитывать ял сочувствие в несчастье, которое переживаю, если достоин чести, которой у Вас испрашиваю и заслуживаю Вашего доверия, то именем провидения прошу (^сказанном.

честь пребывать в глубоком уважении

Вашего высокопревосходительства скромный слуга Эдвард Желиговский
сентября 1854 г.

(Перевод с французского)

Письмо по назначению дошло - в противном слу-его не было бы в уже знакомом нам деле губер-|ваторской канцелярии. I^tНо... аудиенции не последовало. О ней в последую-

бумагах ни слова, ни полслова. "Доверием" генерал-губернатор не удостоил. Отвер-- тоже.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

В январе месяце 1851 года я был выслан из г. Вильно в Петрозаводск, под надзор полиции, за сочинение мое на польском языке под названием "Иордан. Драматическая фантазия", вышедшее сперва в 1846 г., а потом, вторым изданием, в 1847 году, оба раза с дозволения Виленского цензурного комитета; потом разрешено

мне было жить в Оренбурге, и, наконец, местом жительства моего назначен был г. Уфа.

Отзывы местных начальств г.г. Петрозаводска, Оренбурга и Уфы о моем поведении и образе жизни, по убеждению моей совести, не могут быть для меня невыгодны; прежде моей ссылки я вел себя, сколько могу судить, также безукоризненно, в чем ссылаюсь на самое начальство, признавшее необходимым удаление мое из родины.

Все это, а равно и то, что поводом к наказанию моему было сочинение, в котором сама цензура, при двукратном рассмотрении, не нашла ничего предосудительного, дает мне смелость, после 4½ лет ссылки, испрашивать облегчения моей участи и

в 1-х - избавить меня от тягостного для меня официального полицейского надзора,

во 2-х, так как я не желаю жить на родине, откуда был сослан и где вновь, будучи раз заподозрен, могу, без всякой вины, навлечь на себя подозрение, позволить мне пребывать в Москве, Петербурге или, наконец, в Варшаве; посвятивши себя литературе и занятиям наукою, я испрашиваю дозволения жить в одной из столиц, где для занятий моих предоставится более способов, чем в других местах, и где, с другой стороны, правительство будет более иметь средств, чем где-либо, следить за моим поведением и образом мыслей. Пребывание в Петербурге я предпочел бы возможности жить в Москве или Варшаве как потому, что Совершенно расстроенное мое здоровье требует помощи искусных врачей, так и потому, что в министер-стве государственных имуществ производится дело % следующих мне и братьям моим деньгах, которое ""требовало бы личного моего пребывания в Петербурге. Во всяком случае, где бы мне ни дозволено будет жить, я испрашиваю как особенной милости дозволения заехать на родину, чтобы увидеться и проститься с престарелою моею матерью и с моим семейством.

Клежский секретарь Эдвард Желиговский
июня 8 дня.

По поводу докладной записки, посланной в тот же рвдрес, что и письмо, только восемь с половиной меся-ев спустя, генерал-губернатор "входил в сношение к г. Главнoначальствующим над 8-м Отделением Соб-венной Его Императорского Величества Канцелярия. Ответ, увы, обрадовать не мог. Граф Орлов, начальник пресловутого III отделения, на запрос из ренбурга отозвался, что он "находит неудобным ходитьствовать в настоящее время по означенному предмету". Правда, граф пообещал "иметь в виду". ' легче ли стало от такого обещания? Много ли радости? Радости жизнь не дарила.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, в которой оспаривается последнее утверждение предыдущей

И в пятьдесят четвертом, и в пятьдесят пятом Же-лиговский жил в Уфе.

В пятьдесят шестом, пятьдесят седьмом, наконец пятьдесят восьмом он оставался там же.

Как жил? Представление об этом дают его деловые письма. В каких материальных условиях? Из переписки канцелярий двух губерний по поводу взыскания с Желиговского прогонных за переезд из Петрозаводска в Оренбург

явствует: взыскивать было не из чего "по бедному его состоянию". Только через четыре года по приезде в Оренбург смог рассчитаться он с олонекскими властями.

Жизнь в неволе, в нужде...- какие уж тут, скажите на милость, радости?

"По скату высокой и довольно крутой горы, разделенной большим оврагом, в глубине которого струится быстрая небольшая речка Уфа (здесь неточность, нужно: Сутолока.- Л. Б.), небрежно разбросано множество домов и церквей разнообразной архитектуры. Там под железною крашеною крышею возвышается огромное каменное здание с каланчею, по всем признакам принадлежащее казне, тут видите и одноэтажный с обширным двором и садом барский дом; здесь с золотыми главами величественно возвышающийся древний соборный храм, неподалеку тянутся каменные и деревянные ряды гостинного двора... Между всеми этими предметами рассеяны без порядка дома зажиточных обывателей и хижины бедных ремесленников. Но главный предмет, обративший наше внимание, ...огромное каменное здание с четырьмя башнями, это губернский тюремный замок".

Приведенная мною зарисовка Уфы сделана в нача-' ле второй четверти прошлого столетия участником 5 Оренбургского тайного общества В. П. Колосниковым. Но к пятидесятым годам город изменился не настолько, чтобы непременно требовалось искать описания иные.

Он, как и Оренбург, по-прежнему оставался местом ссылки; вслед мятежным семеновцам, греческим героям, разжалованным офицерам-декабристам, участникам польского восстания 1830 года отправлялись сюда другие борцы за свободу.

Второй город Оренбуржья постепенно становился 1 первым по численности населения: в 1850-м в Оренбурге жило 9882 человека, а в Уфе - 12900. Здесь и находилась резиденция гражданского губернатора - гражданская власть губернии. Здесь, наконец, был культурный центр весьма обширного края. С гимназией, духовной семинарией, институтом благородных девиц и другими учебными заведениями. С театром, который уже показывал гоголевского "Ревизора". С единственной на всю губернию газетой. "Оренбургские губернские ведомости" имели две части: "официальную" и "неофициальную". Среди материалов неофициальных все чаще печатались заметки о прошлом края, о его этнографии. Интерес к этому возрастал. И не только в кругах местной интеллигенции. Именно в это время, точнее - весной 1856 года...

Весной пятьдесят шестого в Уфу приехал Михайлов.

Тот, чье имя упоминается в датированном сентябрем этого же года письме Бронислава Залеского к Тарасу Шевченко:

"Варнак", приготовленный к печати, то есть переписан, остался у Совы, вместе с принадлежащим ему экземпляром - он этого желал, потому что хотел передать его Михайлову, одному из теперешних писателей, с которым он очень хорош, и который пишет во многих журналах. Когда я был в Уфе, его там не было и потому "Варнак" остался на попечении Совы; ему там будет хорошо, поверь, друже мой,- и он, верно, не забудет и не затеряет его". (Это и все последующие письма Бр. Залеского цитируются по книге "Листи до Т. Г. Шевченка").

К письму Залеского и, вообще, к переписке о повести "Варнак" (в переписке той имя Желиговского упоминается часто) мы с вами еще вернемся. Эти же строки приведены мною исключительно того ради, чтобы обратить внимание на дружбу, которая родилась в Уфе,- поэта польского и поэта русского.

Для Михаила Ларионовича Михайлова - поэта, романиста, переводчика и критика, сотрудника "Отечественных записок" и "Современника" - этот город был почти родным. Тут, после смерти отца и матери, он жил у родственников, учился в гимназии.

И когда в середине пятидесятых годов в морском министерстве родилась идея литературно-этнографической экспедиции ("Подыскать между молодыми даровитыми литераторами лиц, которых мы могли бы командировать на время в Архангельск, Астрахань, Оренбург, на Волгу и главные озера наши для исследования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством, и составления статей в "Морской сборник") Михайлов охотно согласился поехать по Оренбургскому краю.

Первым пунктом длинного маршрута стала Уфа. Вряд ли располагал он адресом Желиговского ра-(иное дело - если бы перед тем заезжал в Орен-г). Но отыскивали друг друга очень скоро.

Михайлова издавна выработалось тонкое чутье ; таких людей, как его новый знакомый. Еще в дет-в, в Илецкой Защите, подружился он с политиче-ссылными - поляками прежде всего. На пер-же лекции в Петербургском университете судьба их со студентом Чернышевским, и между ними зникла тесная связь. К своим двадцати семи (день ведения был отмечен незадолго до отъезда в Уфу) одой литератор уже сделал выбор, уже определил экую в своей жизни: служить народу, отстаивать права. Как революционный демократ он еще не ормировался, однако процесс этот шел быстро не приходится сомневаться, что Желиговский и айлов общий язык нашли без всяких затруднений.

И тот, и другой (первый - работая в губернской елярии, второй - путешествуя по краю) своими ами видели, сколь тяжки страдания трудового К угнетению, к бесправию прибавлялись !шные последствия неурожая: голод и эпидемии. тики спасались бегством, оставляя подневоль-крестьян на произвол судьбы. "Гадостей нет",- с гневом, с болью говорил Михайлов; это несомненно, мнением и самого Желиговского. исключено, что какое-то время они могли ездить. Прямых подтверждений в моем распоряжении косвенным же сдается упоминание в июньском 6 года) письме Залеского к Шевченко о том, что общего друга "послали производить какие-то следствия в губернии и по новости и неприятности этого занятия для него он, верно, и минуты свободной и хорошей не имеет". Тогда как раз, прожив некоторое время в Уфе, отправился по Белой, Уфе и Деме Михайлов.

Но если даже поездка была раздельной, параллельное изучение жизни губернии в одно и то же время не могло не способствовать более тесному сближению литераторов-свободолюбцев. Они увидели все зло, всю несправедливость окружающей жизни и смогли убедиться, насколько близки, родственны их взгляды.

Михайлов (это тоже сомнений не вызывает) расширил круг знакомых Желиговского, "передав" ему некоторых своих уфимских друзей. Одновременно он как бы ввел польского поэта - ввел пока заочно - в те литературные и общественные круги Петербурга, с которыми ему, опять же не без посредства Михайлова, предстояло сблизиться после возвращения из ссылки.

Отсюда - вполне определенный вывод Залеского об отношениях Желиговского и Михайлова, об их дружбе.

На обороте одного из шевченковских автопортретов - того, что сделан карандашом на цветной бумаге и изображает Шевченко с бородой, с лысиной, в рубахе с большим воротом,- можно прочесть:

"Портрет этот передан мне в пятидесятых годах прошедшего столетия сосланными в Оренбургский край поляками, по поручению Т. Г. Шевченко, нарисован им самим в то время, когда томился в изгнании в пустынях Каспия с запрещением не только писать, но и рисовать. Этот дорогой мне подарок передаю, достигши 86 лет. Обществу, основанному в память о Шевченко. Октябрь 1906 года. Бывший оренбургский губернатор Е. И. Барановский".

Егор Иванович Барановский 8 июня 1853 года был назначен вице-губернатором, но и до назначения своего губернатором (в начале 1859-го) часто исполнял эту должность, причем подолгу. Например, с 16 февраля 1855 по 14 июня 1856 года. (Обо всем этом нам сообщает его аттестат о службе).

Закономерно предположить, что автопортрет Шев-яенко Барановскому передали именно в Уфе - постоянной резиденции Оренбургского гражданского губернатора.

Сведения, сообщенные в надписи, указывают на два первостепенных обстоятельства. Первое - произошло это в годы, когда среди подчиненных ему по службе чиновников находился Желиговский. Второе - Барановский поддерживал приятельские связи с сосланными поляками и пользовался их доверием *. Он, безусловно, знал о царском приговоре Тарасу Шевченко. Тем не менее портрет, сделанный вопреки монаршему запрету, был принят. И не просто из нежелания "обидеть". Слова "дорогой мне подарок" ..говорят сами за себя.

Можно предположить, что карандашный автопортрет, выполненный, скорее всего, во время экспедиции в Каратау, был привезен в Уфу Брониславом Зале-ским. Не исключено, что к известному нам владельцу он попал не сразу, а первоначально был передан Желиговскому и уж им - Барановскому.

В Уфу Залеский приезжал не раз. Но, вновь и вновь раздумывая над высказанной версией, я связываю. Небезынтересно заметить, что жил тогда в Уфе и добрый знакомый Т. Г. Шевченко Людвиг Турно (его имя упоминается в "Оренбургских губернских ведомостях" за 11 мая 1857 года). На знакомство Турно с Желиговским указывается в одном из шевченковских писем.

Связываю передачу автопортрета с его поездкой 1855 года, о которой Шевченко упоминает в сентябрьском своем письме к другу. В том же письме он искренне, сердечно благодарит за пересланный Брониславом портрет Желиговского, и это наталкивает на мысль о произведенном, с помощью общего оренбургского знакомого, обмене портретами. Именно обмене. И один из них - тот, который позднее оказался у Барановского.

Е. И. Барановский был человеком широких взглядов.

В его личном архиве хранятся (к сожалению, не привлекая внимания исследователей) двенадцать писем от Михаила Васильевича Авдеева, популярного в то время писателя, произведения которого - особенно "Тамарин" и "Подводный камень" - пользовались в пятидесятые - шестидесятые годы довольно большой известностью.

По характеру сведений, которые сообщал Авдеев, можно судить об интересах и его адресата.

"...Что поразительно для русских (которых везде пропасть), это количество и влияние герценовских изданий,- писал Авдеев из Швейцарии в 1857 году.- Их расходится так много, что выходит 2-е издание". О Герцене в том же письме есть еще

несколько строк. Авдеев пишет, что "...все новое доходит до него и им обсуживается", с удовлетворением отмечает выход, наряду с "Полярной звездой", также и "Колокола".

С болью, с горечью думает Михаил Васильевич о родине. "Когда подумаешь, что вся подлость у нас в ходу и что это стало каким-то логическим порядком, так бы и хотелось плюнуть презрением..." - говорит он. "Скажите, пожалуйста,- спрашивает Авдеев Барановского,- что поделявается и затевается нового в нашей доброй Оренбургии? Дождалась ли она, наконец, что ее разбудят из усыпления и дадут хоть какой-нибудь ход ее развитию?..."

Нет, не зря сделал я все эти выписки из дела № 5 (фонд 171, опись 1). Писем Барановского - второй '}. части переписки - в оренбургском архиве нет. Но в высказываниях Авдеева (либеральная деятельность) в Присутствии по крестьянским делам восстановила против него многих помещиков Оренбургской губернии и вызвала преследования со стороны властей) У мне слышатся мысли и уфимского адресата - человека, следящего за событиями, за развитием общественной мысли.

К Желиговскому он отнесся весьма участливо.

Любопытен такой факт. В штат канцелярии гражданского губернатора его зачислили еще 20 марта 1854 года - едва ли не сразу по приезде. Но переписка об устройстве Желиговского и о том, что "все старания приискать службу " на месте жительства бесполезны по сосредоточию лишь мест губернского управления", а, стало быть, он должен быть возвращен в Оренбург, где бы "применить свои знания" - продолжалась полгода, даже больше. Эта "хитрость", совершен-очевидно, была устроена друзьями-доброжелателя-не без участия Барановского. Уж он-то знал, что Желиговский состоит в его штате! Но знал, понимал другое: в Оренбурге с его большой колонией поли-ческих ссыльных среда для поэта куда более благоприятная.

И впоследствии, когда Желиговский в Уфе уже 'вердился, Егор Иванович не раз испрашивал у Невского "милостивого ходатайства... об облегчении участи".

Не без участия Барановского коллежский секретарь получил возможность выезжать в ко-ндировки по губернии, а это не только обогащало его представления о жизни, но и позволяло встречаться с земляками.

Частым гостем бывал поэт в доме Барановского. Искренним его другом стала супруга вице-губернатора Екатерина Карловна - человек образованный, музыкальный. "О женщина-ангел!" - обращался Желиговский в одном из своих стихотворений, ей посвященных. Таких стихов несколько, и они позволяют сделать вывод: этот дом был для изгнанника домом поистине добрым.

"В свите Перовского приехал статский советник Василий Васильевич Григорьев, как отличный стилист в писании разного рода бумаг..."

Отставной генерал-майор Чернов, на любопытные записки которого я уже ссылался, достоинства Григорьева приуменьшил явно: он был не только "стилистом", а и знатоком языков и стран, поэзии и философии, был географом, археологом, нумизматом. К тому времени за ним уже прочно утвердилась слава крупного ученого. Как талантливый ориенталист и умелый организатор, Григорьев в начале 1854-го получил назначение на пост председателя Оренбургской Пограничной комиссии. Под его начало и хотели определить Желиговского друга.

"В Оренбурге составилс я Григорьева,- писал его биограф Н. Веселовский,- свой круг знакомых, с которыми вскоре сошелся он весьма близко, беседовал по душе. Это были: правитель канцелярии Перовского П. Н. Глебов, "идеал гражданина и

человека", один из ссыльных, "душа чрезвычайно чистая и теплая", - Зал-ий (Залеский.- Л. В.); чиновники особых поручений Герн и Короваев...

И Глебов, и Герн, и, конечно, Залеский известны нам по их дружескому расположению к Шевченко, по тем симпатиям, которые питали к Тарасу Григорьевичу они.

Эти люди хлопотали и за Желиговского.

За такой перевод был сам Григорьев.

В моем распоряжении нет сколько-нибудь подробных сведений об их встречах, но личное их знакомство и личное участие Григорьева в судьбе поэта Польши подтверждаются его письмом к В. А. Перовскому, которое я нашел в уже известном читателю архивном деле № 253.

Письмо передо мною.

"Вашему высокопревосходительству известно, что в числе поляков, сосланных в Оренбургский край с правами на государственную службу, находится даровитый писатель Эдвард Желиговский. Не получая в настоящее время никаких пособий из дому, не имеет он и никакой надежды на определение в Уфе к должности, которая бы хотя в некоторой мере обеспечивала его существование. Такое положение может привести в отчаяние человека, которому, по образованию его и существующим общественным условиям, невозможно снискивать насущный хлеб работою поденщика. Зная Желиговского, по слуху, за поляка, по образу мыслей его безвредного для России, а по способностям и характеру за человека, который бы мог быть употреблен с пользою для службы, я бы охотно предложил ему место помощника столоначальника в Пограничной комиссии, которое, уверен, принял бы он с благодарностью; но как Желиговский состоит под надзором полиции и неизвестно мне, имеет он право служить во всем Оренбургском крае или только в одной Уфе, и как прежде всего должен я знать, угодно ли было бы Вашему высокопревосходительству, чтобы подобное лицо находилось в Оренбурге, то предварительно сообщения Желиговскому о предложении моем и официально представления об определении его на службу по Комиссии, принимаю смелость доложить Вам обо всем этом частным образом. Распространяться более о жалком положении Желиговского с целью возбудить участие к нему значило бы не понимать глубокой нежности души Вашей, для которой видеть несчастье и облегчить его - одно и то же.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, начинающаяся с раздумий над еще одним шевченковским письмом

3 октября 1854 г.

В. Григорьев"

Образ мыслей Желиговского известен Григорьеву (как осторожно заявил сам) "по слуху". "Способности", "характер" его, судя по всему, Григорьев знает лично. Несомненно - лично. Знакомство могло произойти в Оренбурге, когда тот еще не занимал своего высокого поста. Могло и в Уфе: председатель Пограничной комиссии был там вскоре после назначения.

Вот почему, говоря о тех, с кем изгнанник встречался в уфимские свои годы, я не могу не назвать и видного русского ученого Василия Васильевича Григорьева.

Увы, его хлопоты также успеха не возымели...

Да, жизнь в неволе, в нужде не несет с собой радостей. Тем дороже здесь дружба. Она не позволяет пасть духом.

"Переводы Соны так прекрасны, как и его оригинальная поэзия, и я не из скромности авторской, а говорю, как понимаю вещь. "Катерина" моя не так хороша, а главное-не так цела, чтобы ее переводить, и переводить Сове, а впрочем, он, может быть, это лучше меня знает".

.. Письмо Шевченко к Залескому, над которым я раз-думываю, датировано 9-м октября 1854 года. Перед ним - кроме тех двух, которые уже рассматривались,- есть еще одно: июньское. ; И в июньском, и в октябрьском - в той части, где речь идет о Желиговском - говорится о его произведениях: оригинальных и переводах. Рассматривать их тоже целесообразно вместе.

Оба - ответы на письма, написанные не из Оренбурга.

Вскоре после отправки Желиговского в Уфу, с наступлением весны, Залеского командировали на уральские заводы. В Екатеринбург, на заводы Пермской губернии, тогда добраться можно было лишь на лошадях, по тракту, который вел через Уфу...

Здесь и состоялась новая встреча друзей. Встреча, во время которой Залеский передал теплые, сердечные приветы от Шевченко и, заодно, его поэзии (среди них - "Катерину"), а Желиговский, в свою очередь, также отдал стихи - ранее известными и новыми, рожденными в неволе. Прошло какое-то время, и стихи эти оказались в руках Тараса Григорьевича.

(Обмен сочинениями "запрещенных авторов", да еще в условиях строгого надзора, был, конечно, актом смелым, даже опасным).

За "возмутительные стихи" оказался в долгой и далекой ссылке Эдвард Желиговский, поэт Польши...

"Катерина" вошла в "Кобзарь" и, вместе с другими произведениями, навлекла кару на Шевченко...

В Уфе, в Государственном архиве Башкирии, среди бумаг канцелярии Оренбургского гражданского губернатора я нашел выразительный документ:

"Слушали: циркулярное предписание г. министра внутренних дел от 19-го минувшего июня (1847 года.- Л. Б.) за № 426, последовавшее на имя г. состоящего в должности гражданского губернатора, в коем объясняет, что государь император высочайше повелеть соизволил: напечатанные сочинения: Шев-ченки - "Кобзарь", Кулеша - "Повесть об украинском народе", "Украина" и "Михайло Чернышенко", Костомарова - "Украинские баллады" и "Ветка" - запретить и изъять из продажи.

Приказал и..."

Приказали принять распоряжение свыше "к надлежащему исполнению", о чем "предписать циркуляр-но всем, всем в губернии градским и земским полициям и сообщить в главную контору Златоустовских заводов и Войсковое правление Оренбургского войска".

Такой была расправа над ненавистной царю книгой. Ее автор на десять лет стал солдатом.

Но "Кобзарь" жил, переходил из дома в дом, будоражил по-прежнему.

"Поэтический подарок" Шевченко получил откуда-то с Урала.

О произведениях Желиговского он пишет другу Брониславу в том же письме, в котором приветствует его "на лоне девственной, торжественно прекрасной природы". С болью говоря о своей несбыточной мечте хоть недолго порисовать "дремучий сосновый лес" и раскидистую ель - "грустную и величественную царицу лесов туманного севера", он в следующую минуту гонит от себя "безнадежность... эту жестокою отраву" и несколькими строками ниже пишет:

"Благодарю я тебя и за прекрасные песни Совы: мне особенно понравилось из них "Два слова" и "Экспромт": если ты с ним 'в переписке, то в каждом твоём письме целуй его за меня всею полнотою моего сердца".

Совершенно очевидно: стихотворений Желиговского прибыло на Мангышлак не два - больше. Вместе с прежде прочитанным (или услышанным) "Иорданом" они позволили Тарасу Григорьевичу расширить представление о польском поэте, брате по мыслям, делам и судьбе.

Желиговского Шевченко читал в подлиннике. За-леский свидетельствует, что он "говорил хорошо по-польски", "ряд произведений (польских поэтов Адама Мицкевича, Богдана Залеского и других.- Л. Б.) ...знал наизусть". Бронислав писал украинскому другу "всегда по-польски". Стало быть - чтение на этом языке не было для Шевченко делом слишком затруднительным.

Следующее письмо Бронислава,- судя по ответу, написанное где-то в районе Златоуста - вновь принесло с собой поэзию.

Шевченко благодарен за "милого Богдана" - том Богдана Залеского, за год или за два до того изданный в Петербурге ("...теперь с ним не разлучаюсь; многие наизусть уже читаю, одно иногда сердце тяготит - некому слушать, некому передавать той прелести, которую заключает в себе поэзия...").

Прислал друг и еще несколько стихотворений Же-лиговского - на этот раз переводов.

"Переводы Совы так прекрасны, как и его оригинальная поэзия..." - пишет о них Тарас Григорьевич.

"Какие именно поэзии Шевченко перевел Э. Жели-говский,- неизвестно" - читаем мы в комментариях к письму от 9 октября 1854 года.

Но из чего вытекает, что речь идет о переводах шевченковских стихотворений? Для такого толкования оснований нет никаких. Желиговский переводит с русского, с французского, с других языков и только собирается взяться за "Катерину".

Шевченко чувствует себя польщенным. Иноязычные переводы собственной поэзии ему неизвестны.

Намерение Желиговского волнует, но тут же Шевченко выражает сомнение: а достойна ли его "Катерина" зазвучать на другом языке? так ли хороша, чтобы трудиться -над ее переводом?

"Катерина" упоминается уже в самом первом, январском письме к Брониславу Залескому. Речь о ней идет сразу же за абзацем, начинающимся со слов: "Иордана" и Сову я знаю, как твое сердце..." Думается, что стык этот не случаен, и потому хочется обратить на него внимание. Шевченко пишет:

"Ты говоришь мне о Белозерском и о моей бедной "Катерине", как будто ты их лично знаешь; а коли знаешь, то напиши мне о Белозерском и о "Катерине". Мы с тобою поговорим, когда увидимся, и тогда я тебя с ею познакомлю..."

Упоминание о Белозерском тотчас после "глухого" намек на человека, который "остался один из трех", лично знакомых с Шевченко в Петрозаводске, кажет-ся мне

дополнительным подтверждением, что человеком тем был ни кто иной, как Белозерский.

Это первое.

Второе, в данном случае, еще важнее: упоминание проливает свет на путь "Катерины". Путь, думается, быя таким: Белозерский еще на Онеге прочел поэму ЯСелиговскому, тот рассказал о ней Залескому в быт-ность их обоих в Оренбурге, Бронислав написал Шев-чвнко обо всем этом и тут же выразил желание получить список. Шевченко ответил: "поговорим, когда увидимся, и тогда я тебя с ею познакомлю", но вскоре, потеряв надежду на скорую встречу, отправляет поэму с какой-то очередной оказией. Наконец, Зале-екий привез ее Желиговскому и он настолько увлекся ждеей перевода "Катерины" на польский, что Бронислав не преминул написать об этом автору.

Задуманный перевод смущает Шевченко и еще не высказанным здесь, обстоятельством: получится ли "Катерина" на польском? Передаст ли перевод идею и вообще весь строй его поэмы? ""Сомнение это слышится в строках о присланном Зйлеским (кем же еще?) переводе одного из стихотворений самого Желиговского:

"Два слова" - эта идея так возвышенно прекрасна и так просто высказана у Совы, что Плещеева перевод, хотя и передает идею верно, но хотелось бы изящнее стиха, хотелось бы, чтобы стих легче и глубже ложился в сердце, как это делается у "Совы".

Л. Перевод Плещеева опубликован в его "Полном собрании стихотворений" (1964).

л: Знакомый со стихотворением "Два слова" в подлиннике, Шевченко испытал неудовлетворенность переводом; он высказал ее деликатно, но - определенно. "Ф основе оценки этого, плещеевского, перевода - и высокая требовательность гениального поэта Украины к художественным переводам вообще, и уважение к таланту Желигсжского.

...Перевод "Катерины", затеянный тогда Желигоп ским, нам не известен. Кое-кто утверждает, что осуществлен он не был. Свидетельством этому служит только отсутствие... свидетельств: ни в последующих письмах, ни в источниках мемуарных речи о переводе более нет. И все-таки хочется сказать о нем: "пока не известен". Еще не заговорил - и в главной своей части даже не разыскан - личный архив поэта. Не хранит ли первую польскую "Катерину" он?

Пока это вопрос без ответа.

Закончил бы главу им, но непреодолимо желание привести слова Шевченко, которые, думается, относятся и к Залескому, и к Желиговскому. Слова из того же письма от 9 октября 1854 года:

"Великая вещь - сочувствие ко всему благородному и прекрасному в природе, и если это сочувствие разделяется с кем бы то ни было, тогда человек не может быть несчастлив".

Да, они относятся и к Желиговскому, Шевченко продолжает раздумье - и в том же абзаце, буквально вслед за приведенными словами о сочувствии, идут другие: "Если будешь писать Сове, то целуй его за меня и пожелай ему много-много возвышенных мыс-елей и стихов".

Это не случайно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, продолжающая наши поиски в старых письмах

1

Сколько шевченковских писем до нас не дошло... И какое счастье, что сохранились, дожили обращенные к Залескому... Низкий поклон ему за это.

Писем шестнадцать. Только в четырех из них не упомянут Желиговский. В ноябрьском пятьдесят четвертого (написанном в спешке, под поторапливание почтаря), да еще в трех последних, датированных февралем, маем и августом пятьдесят седьмого и отправленных в Рачкевичи - на новое место жительства "прощенного" Залеского.

Сам Шевченко сумел сберечь, сохранить одиннадцать писем верного своего Бронислава. Эти письма - с датами последних лет (начиная со середины пятьдесят шестого). Желиговский фигурирует в четырех; но если учесть, что большинство из них происхождения не оренбургского, то все, вероятно, закономерно.

Переписка друзей - главный источник наших сведений о дружбе Шевченко с Желиговским.

Год 1855-й. Залеский только-только вернулся о Урала. Он - в Оренбурге.

10 февраля.

"...Мне отрадно думать, что ты ко мне хоть не совсем близко, а все-таки приблизился на несколько десятков миль и теперь (завидую тебе, друже мой единый) любишься добрыми и сердцу милыми лицами Карла и Михаила, и мне самому грустно думать, что для полной твоей радости недостает тебе вдохновенного Совы..."

Шевченко спешит поделиться своими переживаниями. Горькими, тяжкими - "мне иногда кажется, что я и кости свои здесь положу". Светлыми - "какое чудное, дивное создание непорочная женщина!" Новые, необычные для последних лет переживания Порождены встречей с Агатой Усковой, женой коменданта Новопетровского укрепления. "Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благодарной "Моею душою". С удовольствием говорит Тарас Григорьевич о живописи, дает советы неопытному еще художнику Залесному, описывает для Герна способ смазывания форм перед отливкой скульптур. Его интересует жизнь друзей - всех вместе и каждого в отдельности.

И снова о Желиговском:

"А если увидишь Сову или будешь писать ему, то расцелуй его за меня за его прекрасные сердечные стихи. Мне грустно, что я не могу ничего переслать ему своего произведения. Он должен быть в высшей степени симпатический человек. Как бы я был счастлив, если бы мне удалось когда-нибудь обнять и поцеловать его!"

Желиговский-Сова продолжает писать, творить, а написанное, с помощью друзей, пересылает украинскому собрату по музе.

"Прекрасные сердечные стихи..."

Строки из февральского, пятьдесят пятого года, письма Тараса Шевченко я отношу к стихотворению Эдварда Желиговского "К народному поэту".

Сын народа - вождь народный, Мученик, твой путь прекрасен, Лавр славы благородный, Как и песни, скорбен, ясен. Два венца обрел сплетенных, Оба дивны, но кровавы,- Ты трудился не для славы, А для братьев угнетенных...

(Перевод Г. Вержбицкого)

Стихотворение известно нам под названием "Брату Тарасу Шевченко"; именно так вписал в шевченковский дневник сам Желиговский, когда им, наконец, посчастливилось встретиться в Петербурге. Но стихотворение создано явно ранее того дня (13 мая 1858 года), под которым записано в дневнике, потому что в том самом, пятьдесят восьмом, оно появилось в печатном виде в петербургском сборнике "Поэзии Антония Совы". Да и шевченковский комментарий таков, что непосредственным откликом быть не может. "Вечером был у Желяковского, и он мне записал свое прекрасное стихотворение". Вот и все. "Записал" дорогое, близкое, но... известное гораздо ранее. С Мангышлака? С пятьдесят пятого? Я - за это и только за это.

Тот же 1855-й, но уже весна.

н. Еще одна надежда на облегчение участи развеялась как дым, как мираж. Перовский не принял представления о производстве Шевченко в унтер-офицеры, а оно хоть как-то могло приоткрыть двери свободы. "Настоящее горе так страшно потрясло меня, что я цЦва владел собою..." Наступило и разочарование шуой, которую он считал своей нравственной опорой: ^гата... вдруг сделалась пустой и безжизненной: картежница, ничего больше!" Обо всем этом - в письме, отправленном 10 апреля.

О Желиговском есть и тут: "Когда будешь писать Сове, кланяйся ему, а мне Об нем напиши подробнее, потому что я знаю его как , и ничего больше". Не удивиться нельзя. В первом письме к Залескому , Шевченко писал: "Иордана" и Сову, я знаю, как твое сердце..." Это было почти полтора года тому назад. О Желиговском сообщал ему в каждом своем письме Бронислав.

После всего этого: "ничего больше"... Что же еще? Для чего - "подробнее"?

Шевченко получает обращенное к нему стихотворение. Он растроган, взволнован. Хочется ответить как поэт поэту. Возникает желание написать о Желиговском и для Желиговского. Вот для этого-то нужно знать о нем больше, нужно представлять себе его лучше. Ведь он его никогда не видел... Таков, на мой взгляд, смысл этой просьбы.

О чем сообщал Залеский в письме своем, которое Шевченко получил 10 июня?

Оно, как и многие другие, до нас не дошло. О сути его приходится догадываться по содержанию самого ответа из Новопетровского.

О Желиговском в том, июньском, письме Шевченко всего несколько слов: "...целуй от меня Сову".

Зато в следующем... Письмом, датированным 25 сентября 1855 года, он отвечает разом на два. На первое - с опозданием, на второе - не медля ни часа.

Трехмесячный перерыв в переписке кажется ему очень большим. Он раздумывает над тем, почему так получилось, но находит успокоительный довод: "...письмо мое все равно дождало бы тебя на почте, пока ты возвратился из Уфы".

(После пятьдесят четвертого это вторая поездка Бронислава. Добрым связным был Залеский между членами оренбургского кружка и уфимским их единомышленником, между Шевченко и Желиговским. Связным не только в переписке...)

Уфа для Шевченко это, прежде всего, Желигов-ский. И просьба, высказанная весной, повторяется: "Напиши мне подробнее, добрый мой друже, о бедном нашем Сове: как и чем он живет и что он делает? Напиши мне: меня глубоко трогает этот страдалец".

Сколько нежности, участия, тревоги! И это исходит от человека, которого загнали в пустыню, обрекли на творческую и физическую гибель...

Но долгожданное письмо Залеского уже в пути, на подходе к Мангышлаку. С ответом и на давний, и на вновь повторенный вопрос. И не только ответом словесным.

..."Вчера не дали мне кончить письмо, а сегодня, вопреки ожиданию, пришла почта и привезла твое второе письмо с драгоценным для меня подарком, с портретом Совы. Я не знаю, как тебя и благодарить, друже мой, за этот подарок. Что-то близкое, родное я вижу в этом добром, задумчивом лице; мне так любо, так отрадno смотреть на это изображение, что я нахожу в нем самого искреннего, самого душевного собеседника! О, с каким бы наслаждением я прочитал бы теперь его "Иордана"! Но это желание несбыточное. Благодарю тебя, тысячу раз благодарю за этот сердечный подарок.

Ты пишешь, что желал бы сблизить меня с ним покороче. Дай бог, чтобы все люди были так коротко близки между собою, как мы с ним; тогда бы на земле было счастье! Пиши ему и целуй его за меня, как моего родного брата..."

Перед подарком Бронислава отступило на второй йлан даже то, что заботило Шевченко всего более; я лишь в самом конце он приписывает: "Не знаю, имел ли какое влияние на судьбу мою всемилостивейший манифест. Если узнаешь, то сообщи мне". ' "Всемилоствейший манифест" - это манифест 19 февраля 1855 года. Николай I умер; на престол вступил Александр II. Поэт надеялся на амнистию... " ...Желиговский на портрете стал для Шевченко "самым душевным собеседником". Немало дум передумал он, вглядываясь в это "доброе, задумчивое" лицо. Немало перед ним прочел, а может, и сложил стихов. Было ли среди них то, которое так хотелось посвятить заочному знакомому и искреннему другу? Ответить на этот вопрос, пожалуй, невозможно. Но мне не кажется случайным, что посвящение "Эдварду Сове" появилось над стихотворением, которое, как установлено современными исследователями, является перепевом поэзии польского поэта Чечета. Яна Чечета - близкого друга Мицкевича, сосланного в Оренбургский край почти за четверть века до Шевченко, до Желиговского и некогда отбывавшего наказание в... Уфе. Там, где и Желиговский... в его родные Рачкевичи, Шевченко в одном из писем к другу (8 ноября 1856 года) просит: "Пиши Сове и его целуй"?

Вообще же каких-либо указаний на возникновение переписки с Желиговским в письмах к Залесному нет. Нет их и в письмах Бронислава. Начиная с того, которое было ответом на его апрельское. Шевченко письма от друга хранил. И сохранил почти все.

То одно, то другое возникало на пути Шевченко, когда он задумывал написать в Уфу.

Так получилось и на этот раз.

...Год 1856-й, апрель. Несколько дней тому назад, после долгого зимнего перерыва, возобновилось водное сообщение между "большой землей" и далеким, пустынным полуостровом. Первая весенняя оказия принесла письма, но не принесла желанного: прощенья, свободы. Как жить дальше? На что рассчитывать теперь?

"С следующей почтой, если буду в силах, напишу Сове, а в настоящее время я так встревожен, 'так нравственно убит, что не могу простой мысли связать в голове моей бедной, а не то, чтобы написать что-нибудь похожее на дело. Пиши ему, целуй его за меня, желай ему, как я ему желаю, полного здоровья и всякого счастья".

Приводя эти строки, исследователи высказывают предположение: в пятьдесят шестом, наконец, переписка между поэтами началась. Правда, всякий раз добавляют: "возможно".

Но не отрицает ли установление такой, личной, переписки хотя бы то, что, после отъезда Залеского.

На одно я уже ссылался. Первое из тех, что до нас дошли: "Сова твой подарок принял со слезами - так мне писал..."

Речь в этом письме - о повести "Варнак". Тарас Григорьевич написал ее в Новопетровском. В каком из тяжелых своих годов, установить не удастся. Известно только, что до апреля 1856-го упомина-ний о повести ни в письмах ее автора, ни в письмах к нему самому обнаружить не удалось. Но друзья в Оренбурге о повести знали раньше. "Еще посылаю тебе "Варнака" и "Княгиню",- писал Шевченко Залескому без всяких пояснений, как о хорошо известном,- прочитай их и поправь, где нужно, отдай переписать и пошли..."

Послать он просил в Петербург, художнику Осипо-гву, для последующей передачи в один из столичных журналов.

Однако месяц спустя, когда трудоемкая переписка рукописей еще не могла быть окончена, Шевченко спешно решает распорядиться ими по-другому. Чем это вызвано?

... Ранее посланный в "Отечественные записки" и там затерянный первоначальный экземпляр "Княгини" теперь отыскался. Повесть в редакции не понравилась, и Осипов, сочтя такую оценку неправильной, передал произведение в "Современник".

Следовательно, посылать "Княгиню" вторично необходимости не было. Отправить в Петербург он наказывает только "Варнака". Что касается подлинников, оригиналов, то их Шевченко дарит друзьям: "Княгиню" - Залескому, "Варнака" - Желигов-скому.

"На "Варнаке" напиши "Желяковскому", или оставь так..." Это - не только о подарке, а и о посвящении.

На мой взгляд, налицо прямое указание на то, кому хотел посвятить свою повесть автор.

Но окончательное решение он предоставляет Залескому: "Как найдешь нужным, так и сделай".

Желиговский - опальный, ссыльный поэт, политический изгнанник. Его имя в начале повести неведомого "К. Дармограя" может привести к излишней настороженности в отношении произведения и к неприятным последствиям для человека, который без того натерпелся достаточно.

"Как найдешь нужным..." Нужным этот шаг друзья не сочли. "Официальное" посвящение не состоялось.

Подарок же, как сообщал в начале июня Залеский, был принят "со слезами".

Желиговский хотел написать Шевченко сам ("верно, получишь от него об этом послание..."). Но дела службы заставили его срочно выехать по губернии и - письма такого мы не знаем.

Зато известно, что в дальнейшей судьбе повести участие он принял деятельное.

Упомянутое письмо на Мангышлак еще не было отправлено, когда Залеский получил "полное увольнение" и долгожданное право возвратиться на родину. Это

случилось 8-9 июня. Три недели спустя, 4 июля, оформив все необходимые документы, он выехал в направлении Москвы. Выехал вместе с Зыг-мунтом Сераковским, который следовал в Петербург: "...с ним благословил я на дорогу и твоего "Варнака". (Приведенные здесь даты позволяют более точно пометить письмо к Бр. Залескому, которое в академическом шеститомнике напечатано под номером 84-м. Шевченковское письмо не могло быть написано ни в сентябре, ни в августе, ни даже в июле. Поэт отвечает на письмо от 8-9 июня и старается, чтобы ответ -застал друзей в Оренбурге. Датировать, следовательно, нужно второй половиной июня. А то, что до Залеского он дошел лишь в сентябре, объясняется трудностями пересылки. Тот, кто переотправлял письмо, должен был ожидать подтверждения о приезде Залеского в Рачкевичи, добрался же Бронислав на родину не сразу).

Дорога друзей пролегла через Уфу. Там, в один из июльских дней, и состоялась встреча оренбургских соизгнанников - Сераковского, Залеского, Желиговского.

"Варнак", приготовленный к печати, то есть переписан, остался у Совы, вместе с принадлежащим ему экземпляром - он этого желал, потому что хотел передать его Михайлову, одному из теперешних писателей, с которым он очень хорош и который пишет во многих журналах. Когда я был в Уфе, его там не было, и потому "Варнак" остался на попечении Совы; ему там будет хорошо, поверь, друже мой,- и он, верно, не забудет и не затеряет его".

То, что я вторично привел уже цитированные однажды мною слова, вызвано необходимостью.

Эти строки из письма Бронислава Залеского - отголосок уфимской встречи.

На ней незримо присутствовал и Шевченко.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, о "Сатрапе и Дервише"

Во избежание неточностей начну с цитаты.

"Вероятно, что через Желиговского и других ссыльных поляков,- пишет Н. Мещерский в уже цитированной статье своей в журнале "На рубеже",- до Шевченко мог дойти и рассказ о "битом" губернаторе Писареве, которого он хорошо знал еще по Киеву..."

Таким образом, исследователь утверждает самую прямую причастность польского поэта к возникновению у Шевченко замысла поэмы "Сатрап и Дервиш". Но при всей яркости (и потому, скажу честно, "выгодности") факта для характеристики отношений Шевченко и Желиговского, пора уже внести ясность и в это.

...Том Тараса Шевченко, который лежит передо мною, раскрыт на страницах, где публикуется "Юро-дивий".

Во дт фельдфебеля-царя Капрал Гаврилович Безрукий Та унтер п'яний Долгорукий Украину правили. Добра Таки нимало натворили, Чимало люду оголили Ощ сатрапи-увдора. А надто стрижений Гаврилич 3 свош ефрейтором малим, Та жвавим, на лихо лихим, До того люд домуштрували, Що сам фельдфебель дивувались І маршировкою, і вмм, І "благосклонш пребивали Всегда к ефрейторам СВОІМ".

Найшовсь-таки якийсь проява, Якийсь дурний оригшал, Що в морду затопив капрала, Та ще и у церкв!, і пропало, Як на собаш.

А ви - юродив! - тим часом, Поки нездужає капрал, Ви огласили юродивим Святого лицаря! а бивий Фельдфебель ваш, Сарданапал, Послав на каторгу святого; А до побитого старого Сатрапа "навсегда оставсь Препоблагосклонним"...

Читаешь, перечитываешь и думаешь: какой же нестигаемой силой духа надо было обладать, чтобы после десяти лет мучений найти такие разящие, на-довал бьющие слова против царя и его приспешников...

"Юродивый" - всего лишь часть так и не написанной большой поэмы. Скорее всего - вступление к ней, ее запев, за которым должна была последовать новая великая песня поэта-цареборца, поэта-яородолюбца. О муках людских, о "безбожных делах" царских, о боге, которому безразличны народные "Страдания, и о них - истинных "поборниках священной воли"...

А я полипу на Сиб!р,
Аж за Байкал; загляну в гори,
В вертепи темни і в пори
Без дна глибокп, і вас -
Споборники свято!' вол! -
Із тьми, Із смрада, і з невол!
Царям і людям на показ
На св!т вас виведу надал!
Рядами довгими в кайданах...

Таков его замысел. А родился, произрос он из небольшого зернышка, из одного - правда, небезынтересного - эпизода. Того самого, на который ссылайся Н. Мещерский и который не вызывает сомнений ни у одного из шевченковедов.

Да и может ли вызывать, если он засвидетельствован самим Шевченко?!

Дневник, 19 июля 1857 года...

..."Морфей исполнил мою молитву, только по совсем. Он перенес меня в какой-то восточный город, утыканный, как иглами, высокими минаретами. В тесной улице этого восточного города встречаю я будто ренегата Николая Эврестовича Писарева в зеленой чалме и с длинною бородою. А безрукий Бибииков и рядом с ним Софья Гавриловна Писарева сидят на балконе и тоже в турецком костюме. Они что-то говорили о Киевском пашалыке. Но мне на лицо вскочила холодная лягушка, и я проснулся. Перенеся одр свой в беседку, я снова было скорчился под шинелью, но при всем моем старании заснуть не мог. У меня все вертелся перед глазами ренегат Писарев со своим всемогущим покровителем и со своею бездушной красавицей супругой. Где он? И что теперь с этим гениальным взяточником и с его целомудренной помощницей? Я слышал здесь уже, что он из Киева переведен был в Вологду гражданским губернатором и что в Вологде какой-то подчиненный ему чиновник публично в церкви во время обедни дал ему пощечину. И после этой истинно торжественной сцены неизвестно куда скрылся так громогласно уличенный взяточник.

В ожидании утра я на этом полновесном фундаменте построил каркас поэмы вроде "Анджело" Пушкина, перенеся место действия на Восток. И назвал ее "Сатрап и Дервиш". При лучших обстоятельствах я непременно исполню этот удачно проектированный план. Жаль, что я плохо владею русским стихом, а эту оригинальную поэму нужно непременно написать по-русски.

Есть еще у меня в запасе один план, основанный на происшествии в Оренбургской сатрапии. Не присоединить ли его как яркий эпизод к "Сатрапу и Дервишу"?.."

Итак, рождение замысла произошло июльской ночью за две недели до отъезда из Новопетровского, в мучительно-тяжелые часы ожидания официального уведомления о свободе.

Тогда же, в эти именно дни, Шевченко, как представляется мне, и начал писать свою поэму. Но сумел он создать лишь запев- "Юродивого". Запев, в котором звучит глубокая ненависть к царю и царским приспешникам.

Они продолжали мучить его даже теперь, когда, скрепя сердце, приняли решение об освобождении. Принять-то приняли, а выпускать не спешили. И Шевченко все больше думал о сатрапах - больших и малых, главных и подчиненных. О тех, чьи дела он видел на Украине... О тех, кто вертел его судьбой все эти десять долгих лет... Перед его глазами их образы соединялись, сливались воедино, и, думая об "унтере пьяном Долгоруком" - губернаторе харьковском, полтавском и черниговском, он тут же представлял себе Перовского - всемогущего правителя оренбургского.

Далеко и зловеще протягивалась единственная рука "Капрала Гавриловича Безрукого" - известного ему еще по Киеву Бибикова; по-прежнему творил свои бесчинства бибиковский ставленник Писарев, пощечина которому гулко прокатилась по всей России. А сколько таких бибиковых и таких Писаревых в краю его ссылки!..

О случае, который должен был послужить фактической основой будущего произведения, Шевченко узнал, конечно, задолго до той душной ночи в пятьдесят седьмом.

Н. Мещерский этот случай описывает не первым, но более обстоятельно, чем предшественники. Хотя изложение и коротко (хочется знать все обстоятельства, все детали дела,- ведь и Шевченко эти подробности интересовали живейше), тем не менее картина вырисовывается достаточно четко.

Позволю себе повторить самое главное.

22 июля 1850 года, когда в Петрозаводском кафедральном соборе шел молебен по случаю первой годовщины коронавания Николая I, чиновник девятого класса Михаил Матвеев при всем народе дал пощечину гражданскому губернатору Олонецкой губернии Писареву.

Матвеева, конечно, схватили. Первым побуждением властей было - объявить его невменяемым, умалишенным. Это могло хоть как-то ослабить впечатление от дерзкого акта. Чиновник, однако, оказался вполне нормальным. Перед военным трибуналом (на рассмотрение дела Николай дал двадцать четыре часа) он держал себя вызывающе-независимо и повторил слова, которые до этого написал углем на стене тюремной камеры: "В России нет царя, а управляет царством сатана".

Приговор был безжалостным: вечная каторга. В тяжелых кандалах осужденного отправили в Тобольск.

Что же касается того, кто пощечину получил, то оставлять его далее в Петрозаводске оказалось невозможным. Наступил 1851-й, и битый олонецкий губернатор получил увольнение, точнее - перевод. Но слава "битого" следовала за ним неотступно...

Таков этот подлинный случай. ...

I драму

Глухими темными задами

На см!тник винесли...

Шевченко решил вернуть обреченную на забвение драму людям, оживить ее своим волнением, своей мыслью, а вместе с дерзким одиночкой вывести "из тьмы, 13 смрада, 13 неволи" всех тех, кто боролся с царизмом, кто погиб или попал на каторгу - тысячи и тысячи "поборников святой воли..."

Запись в дневнике, нами уже прочитанная, свидетельствует, что Тарас Григорьевич с историей Матвеева и Писарева был знаком достаточно подробно.

Но узнал ее Шевченко не от Желиговского, который кстати говоря, прибыл в Петрозаводск много позже происшедшего.

"Я слышал здесь уже..."

Шевченко говорит определенно: и о том, что история с пощечиной стала ему известна на Мангышлаке (или подступах к нему), и о другом - что он ее услышал, именно услышал.

От кого?

В начале октября 1850-го, направляясь к пустынному берегу Каспия, поэт виделся-беседовал с друзьями в Оренбурге и Уральске; к тому времени петрозаводский случай, безусловно, этих мест уже достиг. О нем могли рассказать и Ян Станевич, и Максимилиан Ятовт, многие новые и давние знакомые. Нема-' ловажно заметить, что в Уральске, незадолго до приезда туда Шевченко, находился Зыгмунт Сераковский. Как позднее в Оренбурге, тут вокруг него группировалось немало людей, так что вести, которые узнавал он, сразу становились достоянием других. Группа ссыльных поляков встретила "новичка" и в Новопетровском укреплении; эта группа впоследствии пополнилась (из письма 1854 года: "...нынешнее лето прибыло сюда несколько человек конфирмованных...").

Но особенно хотелось бы подчеркнуть тот общеизвестный факт, что во время экспедиции в Каратау, которая была предпринята из Новопетровского, в течение нескольких летних месяцев 1851 года Шевченко жил в одной палатке с Брониславом Залеским и Людвигом Турно. Люди широко информированные, связанные со множеством других - и в Оренбургском крае, и за его пределами,- они не могли не знать о пощечине в Петрозаводском соборе, о судьбе гордого смельчака, а зная все это, не рассказать о том Тарасу Григорьевичу.

Желиговский прибыл в Оренбургскую губернию лишь через три года после происшествия в городе на берегу холодной Онеги.

В нашем распоряжении нет никаких сведений о том, что кто-то из встречавшихся с ним в Уфе оказался затем в противоположном конце края и мог передать рассказы далекого соизгнанника.

Да, Шевченко узнал все это раньше. Подлинный эпизод жил в нем долгое время (годы!), пока не возник и утвердился замысел будущей поэмы.

Только удаленностью первоначального рассказа от возникновения первых строк "Юродивого", от дневниковой записи о "Сатрапе и Дервише" можно объяснить, очевидно, смещение места происшествия: из Петрозаводска - в Вологду.

(Впрочем, Вологда тоже была городом ссылки. Напомню, что в то же время, когда Желиговского отправили в Петрозаводск, а Подберезского в Архангельск, проходивший с ними по одному делу Полу-бинский оказался в Вологде...)

...Вот и все, что мне хотелось написать по поводу "причастности" Желиговского к возникновению замысла "Сатрапа и Дервиша".

Выходит, непричастен? И, стало быть, история эта к характеристике взаимоотношений двух поэтов ничего нового не добавляет?

Но то, что относилось к Шевченко, всегда интересовало Желиговского, и, напротив, польский поэт не оставлял без внимания ни одно известие об украинском - его делах и днях, его планах и свершениях.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, или Рассказ о встречах

1

Они познакомились в ссылке, в ссылке стали друзьями. Друзьями, хотя никогда не встречались...

Десять лет и тридцать восемь дней продолжалась солдатская служба рядового Тараса Шевченко. Долго ждал он освобождения, но лишь 27 марта 1858 года, претерпев множество мытарств в пути, смог добраться до Петербурга.

У Желиговского подневольная его жизнь была немногим короче. Изгнанником он стал в первые дни 1850-го, а выехал из Уфы в пятьдесят седьмом, в конце зимы.

"В архивном деле, которое я сейчас закрываю, есть документ о том, что он уехал в Петербург в положен-'ный ему, как чиновнику, отпуск и - не вернулся. Только много позже неявка была признана законной: болезнь Желиговского удостоверил главный врач петербургской полиции и скрепил своей подписью ответственный полицейский чиновник.

Когда Тарас Шевченко приехал, наконец, в столицу, Эдвард Желиговский был уже там.

Пришло время встретиться.

Шевченко написал об этой встрече немногословно.

"...Вечер провели мы у В. М. Белозерского, моего союзника и соседа по каземату в 1847 году. У него встретил я моих соизгнанников оренбургских - Сера-ковского, Станевича и Желяковского (Сову). Радостная, веселая встреча. После сердечных речей и милых родных песен мы расстались".

Над страничкой дневника стоит дата: 28 марта. Втррой день по приезде Шевченко в Петербург... Ах, как коротко, как скупно записал он о том вечере!

Кроме тебя, никого у нас не будет, чтобы мы свободно и просто могли себя чувствовать. Твой брат сердцем и мыслями Эдвард Желиговский

Им было о чем вспомнить. Им было что порассказать. И встречи происходили часто, очень часто.

В дневнике отмечена, конечно, не каждая. Но всякий раз, когда упоминается, например, Белозерский, может быть назван и Желиговский, который жил с ним в одной квартире.

Встречались они у врача Круневича, тоже в прошлом одного из оренбургских ссыльных, наверняка у Сераковского и - вероятно - во многих других местах. Даты тут не обязательны. Куда важнее очертить круг участников встреч, подумать над поводами, которые собирали их вместе.

И прежде всего хочется поразмыслить над той встречей, что состоялась 11 апреля 1858 года.

"...Вечером у Белозерского слушал новую драму Желяковского (Совы)..."

Так записано в дневнике. К этому же событию относится одно-единственное известное нам письмо Желиговского к Шевченко; оно и датировано на основе приведенной здесь записи.

"Брат Тарас!

Я сегодня был у князя Щербатова и на встрече этой выяснилось, что одну мою поэму нужно как можно быстрее отдать в цензуру. Перед отдачей хотел бы прочитать тебе и с тобой посоветоваться.

Прошу тебя, любимый брат Тарас, придти к нам сегодня вечером на чай, может быть, моя поэма не будет для тебя безынтесной, ибо предмет ее чисто народный, а мне и Василию доставишь этим большое удовольствие.

Итак, во второй четверг апреля друзья собрались, обы слушать поэзию. Их было не трое, а четверо; имо автора, присутствовали Шевченко, Белозер-й и Сераковский.

Антоний Сова читал своего "Зорского". Поэму, про-ржавшую "Иордана". Ту, которая была написана еще до ареста и всполошила власти.

- "Первая часть этой фантазии напечатана в Вильне ^дозволения бывшего здешнего цензора Фока (умер-тего в 1848 году),- доносил в декабре пятидесятого б "Иордане" виленский генерал-губернатор,- а вто-ую (т. е. "Зорского".- Л. Б.), как я осведомился частным образом, автор намерен издать в Варшаве или в Кракове, если не успеет исполнить сего в Вильне. Сочинение это, написанное звучными и хорошими нхами, исполнено разных темных намеков и рас-ждений, доказывающих неблагонадежный образ лелей автора, давно уже возбудившего на себя по-озрение..."

Так звучала первая "рецензия". "Арест, ссылка - так "вознаградили" автора.

Но и в ссылке Желиговский не расставался со сво-им детищем. Он не только восстановил конфискованную поэму, а и дописал ее. И вот после долгих лет неволи - новая попытка ее опубликовать.

Уже одно это говорит о высоком гражданском мужестве поэта - сурово наказанного, но не сломленного.

Можно представить себе, с каким вниманием и воодушевлением слушал Шевченко поэму "Зорский".

Автор ее, Желиговский, сердцем своим был с вооруженными крестьянами Галиции, со всеми, кто боролся за лучшую жизнь, за свободу. Он не скрывал неверия в "патриотизм" магнатов-шляхтичей: "Не ищите в них любви к ближнему или нации, не собирайтесь их перевоспитывать, потому что такой труд - напрасный труд". Главный герой поэмы уже не только призывал к борьбе, но и показывал личный пример в освобождении крестьян от угнетения. Он не во всем и не до конца был последователен, любимый герой Желиговского-Совы. Он еще верил в возможность коренных перемен без народной революции. Но это уже борец за свободу, готовый ради святой своей цели пожертвовать всем, даже жизнью.

...Да, то был большой, чудесный вечер.

Вряд ли, конечно, Шевченко мог поверить в скорое опубликование поэмы друга. Кто-кто, а он-то знал, как расправляются власти со стихами "возмутительного содержания"...

И на самом деле - судьба "Зорского" оказалась трагической. Сквозь рогатки цензуры поэма не прошла. Рукопись ее застряла в каком-то из сейфов.

Еще одна запись, над которой стоит поразмыслить. Она сделана 11 мая. В том же, пятьдесят восьмом.

"...Обедал с Желяковским у Белозерского, и за успех будущего польского журнала "Слово" выпили бутылку шампанского..."

Друзья по изгнанию не только знакомили Шевченко с новыми людьми, но и раскрывали перед ним свои сокровенные планы.

Передо мною фотография. Подпись гласит, что на ней запечатлена редакция демократической газеты "Слово". В центре большой группы - Желиговский. Рядом - Зыгмунт Сераковский, Ян Станевич, Иоса-фат Огрызко, Балтазар Калиновский. Многих из этих двенадцати - большинство! - мы встречаем в списках активных участников польского национально-освободительного восстания 1863 года. Можно твер-;до сказать, что страницы нового издания к тому вос-; станию как раз и подготавливали. .г Ко дню, когда Шевченко, вместе с Желиговским и другими участниками встречи, поднял бокал "за успех будущего польского журнала", его издание только-только затевалось. До выхода первого номера ыло почти восемь месяцев. Но газета уже жила в его замыслах, в мечтах создателей; идеям, целям ее Тарас Григорьевич не мог не сочувствовать. Главной цели прежде всего: говорить с народом о жизни, будить в нем активность.

...Издание имело большой успех. Оно всколыхнуло честные, по-настоящему патриотические силы польского общества. Оно всерьез напугало реакционеров (один из них заявил, что, пока "Слово" выходит, "за спокойствие в Варшаве ручаться невозможно"). И по этим именно причинам просуществовала новая газета недолго. Ее закрыли после пятнадцатого номе-фа. И. Огрызко, издатель, был арестован. Мрачные нависли над другими сотрудниками. "Слово" заглушили...

Вечером 13 мая 1858 года Желиговский занес в дневник Шевченко "свое прекрасное стихотворение". Мнение об истории этого стихотворения уже изложено в одной из предыдущих глав (девятой), так что повторяться надобности нет. Я только приведу его полностью - с первых, уже цитированных, и до последних строк.

Сын народа - вождь народный, Мученик, твой путь прекрасен, Лавр славы благородный, Как и песни, скорбен, ясен. Два венца обрел сплетенных, Оба дивны, но кровавы,- Ты трудился не для славы, А для братьев угнетенных. Им сдавили стоны муки - Ах! и стоны - преступленье, Громким эхом во мгновенье Повторил ты эти звуки. Каждый стих - предел страданья. Жгучей болью наносимый, Ты оплакал до созданья, Духом свыше осененный. Скорбный! видишь чудо слова? Как никто не спрячет снова Солнца .днем,- так не посмеет Слово смять рука тиранов; Слово - божье и имеет Бардов вместо капелланов; Мрак и холод зимней ночи Гонит солнечный восход, И к свободе путь короче, Если дал вождя народ!

Содержание стихотворения, записанного в дневник под названием "Брату Тарасу Шевченко", чувства, выраженные в нем Желиговским, в комментариях не нуждаются.

Встречи... встречи...

Вот и еще два свидетельства их дружбы. "У меня были... назначены вторники, на которых неизменными посетителями были в то время: Чернышевский, Кавелин, Калиновский, Желиговский, Сераковский, Белозерский, Шевченко и другие. Вечера были очень оживленные, что отчасти объясняется тем напряженным состоянием, в каком находилось все петербургское общество; встречались люди и наговориться не могли. Все казалось ново, все занимало. Каких только вопросов ни касались, спорили, горячились..."

Это воспоминание давнего знакомого Тараса Шевченко Николая Ивановича Костомарова. Следующее - тоже его.

Желиговский, "пробывши в Петербурге... около трех лет, часто виделся со мною у Белозер., с которым был дружен и неоднократно вместе с ним посещали меня. Он читал свои польские стихотворения, олько помнится, драматической формы, и при этом чтении не раз присутствовал Шевченко". 15¹ Заметки относятся к 1859 году. Не по времени их написания - по событиям.

- 1859... 19 ноября...

Эта дата значится под стихотворением "Подража-ше", посвященным "Едуарду Сов!".

Ни призывов к борьбе, ни возвышенных слов вообще в стихотворении нет. "Земная", "тихая" мечта о простом человеческом счастье и только.

Посажу коло хатини
На вспомин дружин!
І яблуньку і грушеньку,
На вспомин единш!
Бог дасть, виростуть. Дружина
Шд древами тими
Сяде соб! в холодочку
Дитками малими.

А я буду груш! рвати,
Діткам подавати...
Дружиною единою
Тихо розмовлятп.
Тойд!, серце, як бралися,
Сі дерева садив я...
Щасливий я! - І я, друже, тобою щаслива!

Для Шевченко, лучшие годы которого прошли в ссылке, эта мечта уже не осуществима. И в простом лирическом стихотворении звучат ноты скорбные, ноты трагедийные.

А ведь так же звучали они в "Зорском"!

У Желиговского? Что, автор забыл, о чем писал раньше? Или переменял взгляд? Он же сам называл Чечета...

Ян Чечет под сомнение не берется. Именно им - вероятно, на основе народной песни - написано стихотворение, использованное впоследствии Тарасом Шевченко.

Спорить об этом с другими исследователями не приходится: их утверждение вполне доказательно.

Замысел "Подражаша" мог возникнуть при первом знакомстве поэта Украины со сборником Яна Чечета, который вышел в свет еще в 1846-м и стал известен ему, скорее всего, в ссылке.

Но Желиговского я называю не случайно. И о "нотах скорбных, нотах трагедийных" говорю не зря. Дело в том, что Желиговский вложил это стихотворение-песню в уста героев своего "Зорского"; они поют ее, правда, в измененном виде, по ходу действия.

Шевченко слушал "Зорского" в чтении автора. Песня сватов Зубчинского и Ходкевича, прозвучав в драматической поэме о горе и борьбе народа, не могла не приобрести новых оттенков, новых нот. Она стала еще ближе, еще созвучнее его сердцу.

Так что если Шевченко и "подражал" Яну Чече-ту, то непосредственным "виновником" рождения стихотворения являлся не кто другой, как Желиговский.

И посвящение "Эдуарду Сове" закономерно...

Это стихотворение было переписано на память Эдварду Желиговскому где-то перед расставанием. В начале шестидесятого Желиговский уехал в Вильно и больше они не встречались. Шевченко умер без него.

Но до самого последнего вздоха Тарас Григорьевич ни на день не расставался со своим польским другом.

Среди немногих книг, которые постоянно находились у него под рукой, был и подаренный Желиговским том его поэзии. Он стоял рядом с томами Белинского и Шекспира, Гоголя и Шиллера, Огарева и Полежаева.

Он стоял рядом с "Кобзарем".

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, которая не должна остаться последней

1

Не должна!

Уверен в этом, хочу этого и буду счастлив, если в таком же мнении утвердитесь вы. . Какие использованы мною источники о жизни Желиговского в Оренбурге и Уфе, о дружбе его с Шевченко?

Дела архивные - преимущественно оренбургские. !здания краеведческие - в том числе шевченковедческие не использованные. Опубликованная переписка ЩГараса Шевченко и Бронислава Залеского. Записи - оJjfoJKe опубликованные - в шевченковском дневнике !1857-1858 годов. Старые и новые труды о русско-польских, украинско-польских связях, о национально-освободительном движении народа Польши и его активных деятелях. Наконец, старые и новые статьи о Желиговском (специально или в числе других) - от небольшой заметки в изданной сто с лишним лет тому назад книге "Поэзия славян" и довольно развернутого примечания к выпущенному в 1919 году одиннадцатому тому собрания сочинений Герцена до работ наших современников Е. Кирилюка, В. Дьякова, Б. Чайковского, С. Александрова, Н. Мещерского, Э. Мартыновой и А. Мальдзис, М. Гаско.

Но есть источники не раскрытые. Они подобны родникам, которые еще не забили.

Главным источником, конечно, является личный архив Эдварда Желиговского.

Следы его отыскиались в Кракове. Но, как утверждают минчане Мартынова и Мальдзис, в библиотеке Чарторижских им удалось увидеть и прочесть не много бумаг. К сожалению, период ссылки не представлен среди них почти никак, да и последующий тоже. А это пора зрелости Желиговского - как поэта, гражданина, общественного деятеля.

Где же остальное?

Предположение исследователей о том, что и остальное может быть цело, но только еще не раскрыто, глубоко волнует, будоражит воображение. Шевченкове-дов прежде всего.

Среди неразысканных - рукопись "Варнака", подаренная Желиговскому, стихи, в оригиналах или копиях, которые он с помощью друзей получал с Мангышлака. Могут быть и неопубликованные...

Никому не известны письма Залеского и других корреспондентов польского поэта - а сколько там может быть подробностей о жизни Шевченко в Новопетровском...

Нельзя до конца исключить существование писем Кобзаря, адресованных в Уфу, посланных туда рисунков... А разве не важны для нас дневниковые и другие личные записи, стихи и иные произведения самого Желиговского?

Их надо искать. Их нужно найти. Где? Как?

Жил в Вильно Леонард Совинский.

Сын поляка-шляхтича и украинки-крепостной, он в те годы, когда Шевченко и Желиговский находились в далекой ссылке, учился в Киеве, в университете.

Историк, филолог, медик, Леонард с юных лет почувствовал в поэзии Шевченко душу самого народа.

' Именно ему суждено было стать одним из первых - и самых значительных - переводчиков шев-чвнковских стихов и поэм на родной польский, одним из активных - и понимающих - пропагандистов его творчества в польском народе.

""Нельзя не обратить внимания, что разгар этой работы падает как раз на то время, когда рядом с Со-винским появился Желиговский.

В Вильно, где Совинский жил после университета в куда Желиговский вернулся в шестидесятом, они стали по-настоящему близкими, самыми близкими друзьями.

Кому же, как не ему, мог доверить Желиговский наиболее важное из своего архива, когда некоторое время спустя, уже в 1861-м, решил отправиться за фаницу? Его гнала туда не только болезнь - хотя бна и докучала все больше. Остаться - значило обречь себя на новые преследования. Поэт постоянно пребывал под подозрением; и "Зорский", и "Слово" укрепили его славу человека неблагонадежного.

Нет, не зря тот отъезд иной раз называют эмиграцией. Так оно и было... Однако, покидая родину, Же-лиговский не мог показать и вида, что уезжает навсегда или хотя бы надолго. Ему самому, наверняка, тоже не хотелось допускать такой мысли.

Это к тому, что архив должен был остаться в Вильно. У кого? У Совинского. Со временем бумаги могли смешаться, архивы соединиться, составив один, общий.

...Нельзя допускать и мысли, что он исчез.

Многие, очень многие факты убеждают: шевченковской наукой еще далеко не освоены архивы Вильнюса и других городов Прибалтики, архивы Варшавы, Кракова, других центров Польши. (Сравнительно недавняя находка оригиналов писем Шевченко в Кракове - тому подтверждение!)

Но в этом случае начать предпочтительнее со старого Вильно - нынешнего Вильнюса.

С его государственных архивов. С его музеев, библиотек. И с объявления в газете: "Дорогие земляки, не храните ли вы у себя старые бумаги Леонарда Совинского? Кто хоть что-то знает об их судьбе - откликнитесь".

В счастье бесценных находок - верю!

Это, безусловно, не единственная из возможных версий.

Есть другая, параллельная.

...Желиговский, как я уже сказал, оставил родину в шестьдесят первом. Жил в Италии, в Швейцарии. И всюду, куда ни забрасывала его судьба, он всечасно интересовался событиями, которые бушевали в России, в Польше. Как огромное личное горе перенес он подавление восстания 1863 года, гибель самых близких своих друзей - и среди них Зыгмунта. Будь Желиговский не так далеко от места революционной бури, стал бы рядом с Сераковским, с другими товарищами по общему делу.

Его жизнь оборвала не пуля и не петля - болезнь, поселившаяся в Желиговском еще со времен ареста, а затем ссылки.

Уже после его смерти в одном из прогрессивных эмигрантских изданий вышла статья, в которой поэт и патриот возвысил свой голос против тех, кто старался извратить суть и значение национально-освободительной борьбы польского народа.

Он умер 28 декабря 1864 года в Женеве.

...Я не пишу биографию - ни Шевченко, ни Желиговского. Но мне хотелось бы проследить (и проследить до деталей) весь путь польского поэта в последние, зарубежные годы его жизни. В каких городах жил? С кем встречался и дружил? Кто был с ним рядом в последний день, когда навсегда остановилось его сердце?

Все это тоже нити поиска материалов, которые могли быть с Желиговским.

И, наконец, еще одно.

Тут уж речь о кладе почти фантастическом.

Среди польских поэтов, творчество которых Шевченко знал и любил, одним из первых должен быть назван Юзеф-Богдан Залеский. Его произведения согревали душу Тараса Григорьевича в самые мрачные годы ссылки.

Надо сказать, что их уважение, их любовь были взаимными. Находясь в тысячах верст от берегов Каспия, Богдан Залеский следил за жизнью, творчеством Шевченко и не из страсти коллекционера, а просто из человеческой симпатии просил у своего родственника Бронислава, а затем хранил долгие-долгие годы автографы Кобзаря - его рисунки и письма. Они дошли до нас и хорошо теперь известны.

Но есть одна загадка - и какая загадка!

"От Бронислава и от уважаемого господина Эдварда Желиговского мы получили несколько тетрадей поэм и песен Шевченко, нигде, как видно, не опубликованных".

Это свидетельство самого поэта, данное им в примечании к стихотворению "Могила Тараса" и цитируемое во многих работах, здесь упомянутых.

Несколько тетрадей... Поэм и песен... Не опубликованных! Кто скажет, что это не клад? Где, куда замуровало его время?

Неужто навеки?

В предвкушении новых поисков и новых находок заканчиваю я свое повествование.

Не хочу я, чтобы эта глава оставалась последней.

Искать, искать - и тогда родятся новые страницы о большой и прекрасной дружбе двух замечательных поэтов.

1964-1965

ТОТ САМЫЙ БАРХВИЦ

Коротая время в утомительном ожидании свободы, Шевченко в Новопетровском укреплении все чаще и дольше засиживался над дневником. Он сам говорил, что в те тяжелые дни дневник стал ему так необходим, как "страждущему врач". Поскольку свежими событиями жизнь в Новопетровском не баловала, то почти каждая запись превращалась в странички воспоминаний, в раздумья о прошлом.

Второго июля - речь идет о пятидесяти седьмом - Тарас Григорьевич задумался о дружбе. Дружбе бескорыстной и эгоистичной, истинной и мнимой.

-Друзья сопутствовали ему всегда. Без них бы не выжить, не выстоять в десятилетнюю ночь ссылки. Русские Бутаков и Матвеев, Александрийский и Ус-ков, поляки Залеский и Желиговский, Вернер и Цей-зий, украинцы Лазаревские, обрусевшие немцы и Аранцузы Герн, Бларамберг - сколько добрых, славных людей встретилось поэту на пути тернистом...

"И чем более нужда, тем дружба искреннее, про-Чдняющая эту голодную ведьму. Я был так счастлив в своей, можно сказать, коловратной жизни, что неоднократно вкушал от плода этого райского дерева. И в настоящее, мне кажется, самое критическое, время, я получаю 75 рублей за что? За какое одолжение? Мы с ним виделись всего два раза. Первый раз в Ор-ской крепости, второй раз в Оренбурге. Пошли, господа, всем людям такую дружбу и такого друга, как Лазаревский".

Деньги - с письмом-известием о свободе - пришли из Петербурга за три недели до того дня Михаил Лазаревский. И не раз в эти тревожные дни обращал Шевченко свои мысли к нему, к друзьям далеким - друзьям близким.

«Вера без дел мертва. Так и дружба без существенных доказательств - пустое, лукавое слово. Блаженны, стократ блаженны друзья, которых жизнь была Осенена радужным сиянием улыбающегося счастья, и голодная нужда своим железным посохом испытания ни разу не постучала в дверь их бескорыстной дружбы. Блаженны, они и в могилу сойдут, благословляя друг друга".

Это звучит как возвышенный хорал, как торжественный гимн.

Но тут же, в записи того же дня, читаем мы и совсем иное: "Искорени, друзей, подобных Афанасьеву, Бархвицу и Апрелеву..."

"Плевелами", возросшими "на ниве благороднейшего чувства", именует Шевченко сих людей. А двух первых метит и еще более хлестко: "дрянь", "мелочь". С ними у Шевченко связаны неприятные воспоминания: как-то весь великий пост распивал "чай" на его счет в Чернигове Афанасьев-Чужбинский, а на просьбу рассчитаться даже не соизволил ответить, как, в другой раз, уже в Петербурге, кавалергард Апрелев, лицо в столице видное, не один день позировал художнику (и заодно обедал его), когда же тот отправился за мздой, - не был даже принят.

Ну, а Бархвиц? Более подробно об отношениях его с Шевченко мы узнаем из комментария. Оказывается, в первую зиму своей ссылки, когда Тарас Григорьевич, как никогда, нуждался в дружеском участии, он завязал добрые отношения с офицером пятого линей-ного батальона Бархвицем, а вскоре поделился с ним последним - одолжил 68 рублей. Долг возвращен не был. Шевченко оказался вынужденным подать жалобу. Но история закончилась неожиданно: Бархвиц не только от долга отперся, а и потребовал "поступить с рядовым Шевченко по всей строгости законов за ложное предъявление претензии".

Обо всем этом в свое время рассказывалось в "Киевской старине". Оттуда и стало известно. Известно - и принято как единственно возможное объяснение шевченковских слов. Знаков вопроса против этой фамилии не ставил и не ставит с тех пор никто.

Но только ли деньгами, этим "дружбомером" меряет заклеянных им людей Тарас Григорьевич?

Еще и еще раз перечитаем запись, сделанную 2 июля, и мы убедимся, что непорядочность денежная для него только одна из черт в их характеристике.

Апрелев изображал из себя либерала - не только в отношениях с бывшим крепостным, а в образе мыслей. Однако весь либерализм иссяк, испарился, как только этот человек постучал в дверь его парадного.

Афанасьев после тех черниговских "чаев" напомнил о себе Шевченко "бесконечным малороссийским стихотворением", которое прозвучало для него как "отвратительная и подлая лесть русскому оружию". О)- восклицает поэт,- "так ты, мой милый, жив и здоров, да еще и подличать научился".

Бархвиц...

Нет, о Бархвице в дневнике не сказано больше ничего.

"Дрянь, мелочь..."

Но и к нему, чуется сердце, неприязнь у Шевченко глубже, чем просто к бесчестному должнику.

Какими обстоятельствами она могла быть вызвана?

В делах канцелярии военного губернатора, в фондах оренбургских линейных батальонов, в каких-то других могут оказаться сведения и о Бархвице. Пока они не попадались.

Я ищу, конечно, не только Бархвица.

Меня занимает поиск новых сведений о первом годе ссылки Тараса Шевченко и особенно тех его месяцев, которые протекли в Орской крепости.

...Тому, кто интересовался жизнью поэта-революционера в Орской крепости, и тем более изучал ее специально, знакома, конечно, фамилия Исаева, коменданта.

Если проследить, то в монографии - дореволюционные и советские - она вошла через мемуары М. М. Лазаревского.

Обратимся к ним:

"...Через неделю (после прибытия в Оренбург летом 1847 года.- Л. Б.) Шевченка назначили в линейный Оренбургский № 5 батальон и отправили в Орскую крепость, где комендантом был тогда генерал-майор Исаев, человек старый и довольно добрый..."

"...В Орской Ш. скоро познакомился с сосланными туда поляками, и один из них, Фишер, бывший учителем детей Исаева, сошелся ближе других с Ш. Через него Ш. был принят в доме Исаева и получил позволение жить в наемной квартире. Через месяц после приезда Ш. я был в Орской и провел несколько дней с ним. Жизнь его, при участии Исаева, была довольно сносная..."

"...В 1847 году умер Исаев, и тогда-то наступило для Шевченка тяжелое время..."

Ранее в Оренбургском архиве мне уже удалось отыскать некоторые сведения, касающиеся Исаева. Оказалось, что в Орской он служил еще с тридцатых годов. Был этот человек комендантом хозяйственным, рачительным. Убедившись, например, что

старый деревянный мост через Урал пришел "в крайнюю степень ветхости", Исаев, тогда еще подполковник, решил не дожидаться ассигнований и предпринял строительство "из своей собственности" - то есть на личные средства. "Построен прочно",- признали корпусные специалисты-инженеры. Что же касается затраченной суммы, то по этому вопросу переписка продолжалась около трех лет. С большим трудом удалось коменданту получить из казны свои 1891 рубль 60 копеек.

И вот еще одна находка. Дело, начатое по прошению Александры Исаевой, вдовы генерал-майора, ввело меня в то время, которое непосредственно предшествовало доставке Шевченко в крепость.

Для Исаева это было дурное время. 1 марта 1847 года на его дом, известный в крепости всем и каждому, "наложили запрещение". Это значило, что владелец лишался права им распоряжаться. Ни продать, мь передать, ни предпринять какие-либо переделки. За что? За долги. 1400 рублей требовалось взыскать дй "удовлетворения" бывшего командира четвертого линейного батальона подполковника Иванова. Вдушительную сумму растратил сын - чиновник Оренбургской провиантской комиссии. К этому прибавилась недостача казенных денег - она обнаружилась при сдаче Исаевым комендантской должности своему преемнику при сдаче?! Лазаревский, а вслед за ним другие, не говорят ни слова; речь идет о смерти Исаева, после которой и "наступило для Шевченка тяжелое время". Между тем документы настойчиво назы-вают коменданта уволенным от службы. А докумен давал, конечно, веры больше.

Итак - Шевченко прибыл в Орскую, когда долго-дерний ее комендант находился в ожидании отставки. Участь его была предрешена: человек, лишенный права распоряжаться собственным домом, не мог оставаться и во главе крепости.

Сам в горе, Исаев отнесся к опальному поэту весьма сердечно. Но скоро - куда скорее, чем свидетель-мемуарист, - Шевченко остался без важного Для него покровительства. Не в конце года, а через цесяц-полтора после начала его службы в пятом лилейном батальоне, в крепости появился новый комендант.

Когда Исаев умер - точно неизвестно, где - тоже. -'Какое-то время после увольнения он мог жить в крепости. Это был человек без недостатка, утративший под конец жизни почти все, что нажил. Не исключено, что здесь бывший комендант и скончался.

Впоследствии дом коменданта был продан в казну. Но даже в 1858 году - десять лет спустя! - имущественные вопросы оставались не решенными. Семидесятилетняя вдова отставного военного ("старуха, доступная милосердию", как писала о себе Исаева) требовала выслать к ней в Уфу "всех крепостных людей, находящихся в крепости Орской... на предмет продажи их". Требовала она и денежного возмещения за то время, когда комендантский дом занимался войсковым старшиной Мальхановым и... подпоручиком Бархвицем.

Так вот где довелось повстречать эту фамилию вновь! И в связи с чем? Оказывается, квартиранты-то - и один, и другой - за жилище свое платить считали излишним. Обращаясь к генерал-губернатору, Исаева рассчитывала, что он заставит должников рассчитаться. Но и жалоба, и просьба остались без последствий. Повторилось то же, что произошло и с долгом Бархвица поэту-солдату. Ни подпоручик, ни его тесть платить не стали, а когда Исаева обратилась к губернатору - наскоро оформили свое здесь проживание, как... военный постой. Владелица выразила возмущение самоуправством квартирантов, которые затеяли в доме всевозможные

переделки, уничтожили часть мебели и вообще вели себя более чем развязно. Факты были бесспорными, однако и тут тесть с зятем стали отпираться: "не было...", "не делали...", "наговор..."

..."Дрянь, мелочь..." Да, характеристика подтверждается. А коль так - надо ли искать дальше?

Нелегко расстается архив со своими тайнами. Только ухватишься за ниточку, а она обрывается. Новую нащупаешь не сразу. Единиц хранения - десятки и сотни тысяч. Где нужное? Какое - твое?

...Бархвиц! Вновь встреченная в описи, фамилия эта заставила меня насторожиться. "Бархвиц Татьяна..." Но рядом со знакомой фамилией и незнакомым име-ьем стояли слова: "жена подпоручика"; далее же а вовсе становилось ясным, что речь в деле шла не о ней, а о нем.

Впрочем, раскроем это дело вместе.

..."Ваше Высокопревосходительство Василий Алексеевич!

Для Могущества Власти, дарованной Особе Вашей Монархом, не существует пределов там, где идет дело О благоденствии обитателей Оренбургского Края. Многочисленные примеры добродетелей Ваших подтверждают ату истину, одушевившую меня решимостью повергнуть к милосердию Вашего Высокопревосходительства ходатайство, основанное на священных чувствах Любви к Родителям и Супругу..."

(Пишет - вы это уже поняли - жена Бархвица. И каков стиль, сколько лести...)

"Муж мой, подпоручик Бархвиц, служащий в настоящее время в Оренбургском линейном № 5 батальоне, по совершении со мною брачного союза в 1848 году, имел намерение перейти в казачье войско для совместного служения со своим тестем, а моим родителем, есаулом (что ныне войсковой старшина) Мальхановым, который в то время и ныне имеет честь командовать № 4 казачьим полком. Но имея в виду положение собственных его родителей, имеющих местопребыванием своим Царство Польское и приближающихся к преклонной старости, долженствующей когда-нибудь, по правилам природы, потребовать от него сыновней подпоры, он, то есть муж мой, подпоручик Бархвиц, на этом основании в поданном по команде на высочайшее имя прошении, ходатайствовал о перемещении его в казачью службу на таких правах, чтобы зачисление его в нее не было всегдашнее, а до неопределенного времени, пока семейственные обстоятельства его родителей будут иметь необходимость в личном его присутствии..."

(Тут уже какие-то новые, ранее неизвестные нам сведения о Бархвице: откуда родом? где и когда вступил в брак? что за планы вынашивал? И разве не интересно узнать, что был он, тот подпоручик, земляком польских друзей Шевченко, что время службы поэта-солдата в Орской крепости для сего офицера являлось временем жениховства и связанных с ним эгоистичных надежд, что... Но узнали мы пока мало, и потому вернемся к прошению преданной супруги: дальше, авось, принесет оно что-то большее). "Предместник Вашего Высокопревосходительства не соблаговолил изъяснить удовлетворительного разрешения на такое ходатайство моего мужа..."

("Предместник"-генерал от инфантерии Обручев. Одновременно, как из того же письма явствует, отказал в приеме на новую службу наказной атаман Оренбургского казачьего войска. Не помогло тогда и обращение на имя царя. Но от своего намерения Бархвицы не отказались).

"Я по чувству Любви к Супругу осмелилась повторить прежнее свое прошение пред Особой Вашего Превосходительства как Ангелом-хранителем Оренбургского Края и всепокорнейше просить могущественного Вашего где следует предстоятельства..." Под прошением значится: 28 октября 1851 года.

Последующие листы имеют даты и пятьдесят второго.

Запрашивали переписку трехлетней давности, выясняли - что, почему, каким образом, и выяснили... Офицер этот "в отношении политических правил благонадежен, в предосудительных же поступках неоднократно обнаруживался..."

"О, грехов за ним много! Оскорбление бывшего "вмандира четвертого казачьего полка Ковалевского щ "самоуправное наказание" розгами крестьянской девушки, вкупе с десятилетним мальчиком, неповиновение батальонному командиру подполковнику Иванову и нанесение живущей у него крестьянке Настасье Морозовой "удара рукою по лицу" - характеристика, что и говорить, примечательная. В сентябре сорок седьмого (заметим: Шевченко жил тогда в пятом линейном) Бархвиц был посажен на Орскую гауптвахту.

(Трехнедельное отсутствие офицера не осталось, увечно, незамеченным. Но непосредственным поводом к его наказанию послужило неподчинение при-?"зу командира батальона, а это в глазах Шевченко и других вольнолюбцев могло выглядеть не иначе, как поступок достойный). к. Истинный облик Бархвица раскрывался перед Тарасом Григорьевичем не сразу. Тем более, что старожилы крепости не могли не рассказывать и о более "Отдаленном прошлом подпоручика.»

О каком, спросите, особом прошлом?

Прочтем, что сказано об этом в "Докладе по канцелярии Оренбургского и Самарского генерал-губернатора" - последнем из существенных документов архивного дела, начатого "по прошению жены подпоручика".

Так вот (мы подходим к обстоятельству важнейшему) - "из формулярного списка Бархвица видно, что по служению его в Ревельском егерском полку, был (этот самый Бархвиц.- Л. Б.) судим в полевом аудиториате действующей армии за имение знакомства с подпоручиком Кузьминым-Караваевым, изобличенным в сношениях с политическими преступниками написание ему "предостерегательной записки", и после изобличения - "по конфирмации главнокомандующего армиею, последовавшей 6-го генваря 1840 г., был разжалован в рядовые, но по благости всемилостивейшего манифеста 16-го апреля 1841 г. прощен и переведен на службу в Оренбургские линейные батальоны".

Бархвиц - подсудимый по делу политическому?.. Бархвиц - участник группы Кузьмина-Караваева?..

О подвиге русского офицера Аглая Николаевича Кузьмина-Караваева написано мало. Что поделаешь - еще многие подвиги раскрыты в литературе не так полно и ярко, как они того заслуживают.

А Кузьминым-Караваевым восхищался Герцен, пишут о нем историки революционного движения в России и Польше.

Да, в Польше тоже. Ведь имя Кузьмина-Караваева стоит рядом с именем Шимона Конарского, которого так героически пытался спасти этот славный русский офицер.

Среди материалов о польских друзьях Тараса Шевченко мне часто приходилось встречать упоминания о Конарском, чьими соратниками или последователями были те, с кем свела поэта судьба в Оренбургском крае.

В семнадцать лет (это было в 1825-м) рядовым егерского полка начал Конарский военную службу. Но настоящей проверкой его сил и его духа стали годы восстания 1830-1831 годов. Не раз довелось этому мужественному человеку участвовать в боях.

В конце тридцать первого он, уже в чине капитана, вынужден был уйти со своим отрядом повстанцев за границу. Там на его долю выпала огромная работа до созданию патриотических организаций "Молодая гЦольша" и "Содружество польского народа". Делом 4еей жизни стала для него борьба против самодержавия, за освобождение крестьян, за независимую Польшу.

В Россию Конарский вернулся в конце 1835-го. Вернулся, как скоро стало ясно, для того, чтобы развернуть революционную деятельность в западных губерниях. Ему удалось организовать тайные общества на Волыни, в Киеве, в Подолии, установить контакты с представителями демократических слоев русского вбщества, связаться с прогрессивными русскими офицерами и солдатами.

Кипучая деятельность Шимона Конарского не могла не вызвать беспокойства властей. Два с половиной года спустя, в разгар тайной его работы, неугомон-вый бунтарь был арестован и заточен в тюрьму. На-Чюяись долгие, мучительные пытки. Но ни голод, ни избиения, ни кандалы и одиночки (а истязания продолжались полтора года) не могли побороть мужества патриота. Конарский никого не выдал и ни от чего не отрекся.

Группа русских офицеров решила устроить его. Не исключено, что поручик Новоингерманланд-пехотного полка Кузьмин-Караваев знал его до ареста.

Находясь в карауле Базилианского монастыря, где находились арестованные поляки, он думал, кажется, ко об их освобождении. И оно могло осуществить не окажись среди заключенных труса. Трус этот, однако, разрушил все планы. Кузьмин-Караваев яался перед судом особой военной комиссии и, есмотря на отсутствие прямых улик, был признан виновным "в измене долгу, чести, порядку службы и обязанностям караульного офицера" с беспощадным приговором: "четвертовать".

Приговор, однако, в исполнение не привели. Кузьмин-Караваев никого не выдал, военные же власти не могли отказаться от мысли о соучастниках. Дело передали на доследование. Но даже лицом к лицу со смертью он думал не о себе. Ему по-прежнему не давала покоя мысль о побеге Конарского. И даже тогда, когда тот был расстрелян, не перестал этот человек действовать, готовя - теперь руками единомышленников - побег его, Конарского, соратников. Находясь на гауптвахте, Кузьмин-Караваев стал руководителем революционной пропаганды в Вильно.

Среди тех, кто ему помогал (список этот находится в судебном деле), был и прапорщик Ревельского егерского полка Бархвиц. В ходе следствия обвиняемые были разделены на шесть групп, шесть разрядов. Бархвица отнесли к третьему.

...Передо мной - страницы тогдашней переписки, любезно присланные мне, в виде микрофильма, Центральным Государственным историческим архивом Литовской ССР. Архивные дела, хранящиеся в советском Вильнюсе, рассказывают о том, что творилось в старом Вильно.

Встревоженные "ненадежностью" своих войск, следователи и судьи были беспощадны. Приговор, вынесенный в сентябре 1839 года, определял Кузьмину-Караваеву и его ближайшему соратнику - прапорщику де Люсине высшую меру наказания: смертную казнь, других же обвиняемых обрекал на тюрьму, каторгу, ссылку. Только два с половиной года спустя (два с половиной года мучительных

ожиданий!) смертную казнь вожакам заменили вечной каторгой, а каторжные работы другим - ссылкой на поселение в Сибирь.

Прапорщик же Ревельского егерского полка Бархвиц, который, как сказано в судебном деле, несколько раз бывал у подсудимого Караваева на арсенальной гауптвахте и, в знак расположения своего, писал альбом Караваева стихи", тот самый Бархвиц, который "по арестовании прапорщика де Люсине, будучи в госпитале, ...писал оттоль записку к караульному на арсенальной гауптвахте... о предостережении Караваева, чтобы уничтожил свои бумаги, кои могут обнаружить тайные его связи", был переведен в прежнем звании в Отдельный Оренбургский корпус, вскоре стал прапорщиком 5-го линейного батальона, несомненно, полным прощением не было. Но гинная в отношении Бархвица мера наказания говорит отнюдь не о добром сердце судейских. Скорее он то, в отличие от Кузьмина-Караваева и многих МК), соратников, данный участник группы от былых их идей и принципов отступился. Отступился "кое в чем" помог следствию: уж слишком часто отмечается по ходу дела его раскаяние. Да и довольно скорое присвоение "опальному" звания подпоручика - тоже акт не из обыкновенных.

Такова-то история, вскользь упомянутая в оренбургском архивном деле.

История, которая началась в Вильно и непосредственно предшествовала появлению Бархвица в крепости Орской.

Караваев прибыл в эту крепость за шесть лет до Шевченко в уже потому в глазах изгнанника-поэта, для коего каждый день пребывания здесь казался месяцем, каждый месяц годом, выглядел человеком особым, необычайным.

(Шесть лет... И подумать тогда не мог Шевченко что ему самому в таких крепостях, да не офицером, а рядовым, к тому же всех прав лишенным, суждено провести долгих десять!..)

О подвиге Кузьмина-Караваева, как и о геройских делах Шимона Конарского, знал Шевченко немало. Не мог не знать, потому что до своего ареста сам активно участвовал в освободительном движении а в прогрессивных кругах и кружках об этом говорили много. У всех на устах были "великий поляк Ко-нарский, принесший свою грудь палачам из-за границы для того, чтоб проповедывать свободу в польско-русских губерниях, и неизвестный русский офицер Караваев, погибнувший, желая спасти Конарского, осужденного на смерть". (Я цитирую Герцена. Ему же принадлежит и вывод: "Вот прообраз того соединения, о котором идет речь". Иными словами, объединения русского и польского народов в борьбе против деспотизма, за свободу).

Еще больше о том мог узнать Шевченко в ссылке, где судьба свела его со многими участниками движения Конарского. Были они и в Орской крепости, в пятом линейном батальоне. Это к ним, после долгих и откровенных бесед, обращал Тарас Григорьевич слова своего, в неволе рожденного, стихотворения: "Поддай же руку Козаков! і сердце чистее поддай!"

Как должен был смотреть он на человека, который не только знал легендарного русского офицера, но и шел с ним рядом!

Представьте себе это, и вы согласитесь: в глазах Шевченко Бархвица поначалу окружал ореол мужества, и относиться к нему без симпатии он не мог.

Прошло какое-то время, и познакомились они ближе. Есть подтверждения? Да, косвенные. Для того, чтобы взять или дать займы, знакомство требуется более или менее короткое. Тем более тогда, когда сам кредитор находится в стесненных обстоятельствах и отдает чуть ли не последнее.

Шевченко выручал соратника Кузьмина-Караваева.

Только позднее - и не сразу, постепенно - стал проступать, вырисовываться истинный облик Станислава Бархвица.

В таком небольшом поселении, каким была Орская крепость, личные "досье" составлялись довольно полно.

Порка крестьянской девушки и розги десятилетнему мальчишке, избиение служанки и оскорбление офицера - было тут над чем задуматься, было... С представлением о вольнолюбце это, во всяком случае, не вязалось.

Заставляло сомневаться - чем дальше, тем больше - и лицо его политическое. Шевченко все больше узнавал о Бархвице и его настоящей роли в группе Кузьмина-Караваева,- узнавал в самой Орской, потом в Аральской экспедиции, в Оренбурге и Новопетровском, где среди его знакомых в разные годы оказывались единомышленники и соучастники Шимона Канарского: Килькевич, Середницкий, Попель и другие. Полученные от них сведения были явно не в пользу Бархвица - человека, легко отказавшегося от своих убеждений, морально опустившегося, ничтожного. Обыкновенного политического отступника, способного на любую подлость... Не обошлось без него, например, когда возникло в конце 1850-го громкое дело о приятельских связях между рядовыми из политических и некоторыми офицерами пятого линейного батальона. Дело началось с рапорта - доноса командира батальона Мешкова, Бархвиц же принадлежал к его подпевалам.

Так что история о возвращении Бархвицем денежного долга, закончившаяся новыми огорчениями для Шевченко где-то в середине 1849 года, явилась всего лишь одним из поводов для уничтожающей той оценки, которую дал поэт.

Заканчивая этюд о нескольких строчках дневниковой записи Шевченко от 2 июля 1857 года, мне остается только предложить свой вариант комментария к упоминанию о Бархвице:

"Бархвиц Станислав Августович, будучи прапорщиком Ревельского егерского полка, принадлежал в 1838-1839 гг. к группе русских офицеров, созданной подпоручиком А. Н. Кузьминым-Караваевым с целью организации побега одного из руководителей польского революционного движения тридцатых годов Шимона Канарского. Отказавшись после ареста от своих политических взглядов и оказав следствию помощь, был оставлен на военной службе в прежнем чине, но с переводом в пятый линейный батальон Отдельного Оренбургского корпуса. В Орской крепости, где проходил службу с 1841 года, старался зарекомендовать себя ревностным и политически благонадежным службистом, результатом чего явилось производство его в чин подпоручика. Моральная опустошенность этого человека сказалась в его отношении к своим слугам и товарищам по службе. Известен случай, когда Бархвиц, одолжив зимой 1847-1848 гг. у Шевченко 68 рублей, от возврата долга в дальнейшем отказался, мало того - потребовал привлечь рядового к ответственности будто бы за "ложное предъявление претензии". Шевченковская оценка Бархвица - свидетельство его отношения к политическим отступникам - людям безнравственным".

Больше, мне кажется, сказать о нем нечего.

1966

"КАК СЛОВО БРАТА"

Каждую строчку, каждое слово вашего письма я принимал, как слово брата, как слово искреннего друга.

Т. Шевченко-А. Н. Плещееву,
1855

В двадцатых числах декабря 1849 года в петербургских официозах появилось довольно пространное сообщение правительства. Оно гласило:

"Пагубные учения социалистов, породившие смуты .ов мятежи по всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве.

...По произведенному исследованию обнаружено, ;что служивший в министерстве иностранных дел титулярный советник Буташевич-Петрашевский первый возымел замысел на ниспровержение нашего государственного устройства с тем, чтобы основать оное на Началах социализма и коммунизма... Для распространения своих преступных намерений он собирал у себя назначенные дни молодых людей разных сословий.

Богохуление, дерзкие слова против священной особы государя императора, представление действий правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц - вот те орудия, которые употреблял Петрашевский для возбуждения своих посетителей. В конце 1848 г. он приступил к образованию, незавидно от своих собраний, тайного общества... ..Генерал-аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного военно-судною комиссиею, признал, что подсудимый, в большей или меньшей степени, но виновны в умысле н и с п р о в е р ж е н и е существующих отечественных законов и государственного порядка, а потому и определил: подвергнуть их смертной казни расстрелянием...

...Его величество, по прочтении всеподданнейшего доклада генерал-аудиториата, изволил обратить всемилостивейшее внимание на те обстоятельства, которые могут в некоторой степени служить смягчением наказания, и вследствие того высочайше повелел: прочитать подсудимым приговор суда при сборе войск и, по свершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, объявить, что государь император дарует им жизнь, и затем, вместо смертной казни, подвергнуть их следующим наказаниям..."

Наказания были суровыми.

Помню я Петрашевского дело, Нас оно поразило, как гром, Даже старцы ходили несмело, Говорили негромко о нем. Молодежь оно сильно пугнуло, Поседели иные с тех пор, И декабрьским террором пахнуло На людей, переживших террор...

Так писал о тех днях Н. А. Некрасов, закономерно поставив рядом движения петрашевцев и декабристов, потрясшие Россию.

К Тарасу Шевченко весть о процессе могла прийти лишь в самом начале января 1850-го. В Оренбург газеты прибывали исправно, но уж никак не раньше того, на что была способна тогдашняя почтовая связь.

Впрочем, и узнав о новом царском приговоре, никаких письменных откликов на него поэт-изгнанник не оставил. Да и где они, такие отклики, могли проскользнуть! В письмах? Но переписка находилась под контролем. В стихотворениях? Всегда нужно было помнить, что малейшее подозрение и-не миновать еще больших бед. В беседах с друзьями? В беседах, конечно, эта тема не только затрагивалась, но и обсуждалась. Осторожности, однако, не теряли. Помнили: "бдительное око" глядит за каждым.

Шевченко было горько, и как еще горько. Одна за другой развеивались его собственные надежды на домилование. Теперь же такая точно участь обрушилась на других - людей честных, мужественных. .Ближих, хотя и незнакомых...

Незнакомых?

"" . Нет, кое-кто из названных в правительственном ^сообщении был поэту известен. Г Момбелли, например.

"В настоящее время в Петербурге все шепчутся, «говорят по секрету, с видом таинственности, об открытом и схваченном правительством обществе..." - ГНисал Момбелли весной, отмечая, что "говорят чрезвычайно различно" и "невозможно отгадать, чей рассказ справедливее", но все рассказы сходятся в одном: "несколько человек - умных, истинно благородных, образованных и ученых - привезено в Петербург и брошено в тайные темницы, ни для кого не доступные". Среди этих людей - на первом для него плане - Шевченко. Талант в живописи, еще более ---в литературе...

А вот и впечатления от их встреч:

"Года два тому назад я встречал Шевченко у Гребенки. Шевченко всегда высказывал сильную привязанность к своей родине - Малороссии... Все малороссийское его веселило и приводило в восторг. Мотив или песня малороссийская вызывали слезу из глаз патриота".

Момбелли набрасывает живой портрет поэта-художника. Он рассуждает о планах кирилломефо-диевцев, о намерениях Шевченко, о различных слухах на сей счет.

"Приверженцы деспотизма, то есть настоящего (существующего - Л. Б.) порядка в России, и все проникнутые страхом-так называемые осторожные, или, иначе, благоразумные,- величают замысел этот глупым безрассудством, бессмысленным малодушием". Но безрассудны ли планы "малороссийских патриотов" на деле? Автор записок так не считает. "С восстанием... Малороссии зашевелился бы и Дон, давно уже недовольный мерами правительства. Поляки тоже воспользовались бы случаем. Следовательно, весь юг и запад России взялся бы за оружие..."

Шевченко находился в петербургском каземате. Бесконечные допросы, томительная неопределенность были спутниками этих его дней. А еще стихи - родники животворные.

Мне однаково, чи буду
Я жить в Украш!, чи щ.
Чи хто згадав, чи забуде
Мене в сїїгу на чужин! —
Однаков!сшько мои!
В невол! вирш меж чужими,
І, неоплаканий свошв,
В невол! плачучи, умру,
І все з собою заберу,
Малого сл!ду не покину На нашш славши Украш!,
На наш!й - не свош земл!.
І не пом'яне бзтько з синок, Не скаже синов!:-
Молись, Молися, сину: за Вкрашу
Його замучили колись.-
Мен! однаково, чи буде
Той син молитися, чи Ні...

Та не однаково мен!, Як Украшу зли люде
Присплять, лукав!, і в огні!
За окрадену, збудять... Ох, не однаково мет.

"...Малороссия считала его в числе своих любимых <этов, которых так немного..."

"...Я малороссийского языка не знаю или знаю шком мало, а поэтому судить не могу; малороссия-е же говорят, что Шевченко - истинный поэт, поэт с чувством, поэт с воодушевлением..." Это снова Момбелли.

"Военный суд находит подсудимого поручика Мом-и виновным в том, что он, приглашая к себе сентября 1846 г., один раз в неделю, своих знако-и сослуживцев, под предлогом желания сообщить свои литературные сочинения и переводы, читал, между прочим, возмутительные и в высшей степени (рзкие рассуждения против правительства и в осо-внности против священной особы вашего импера-ого величества. В некоторых из этих рассужде-Момбелли делал даже воззвания к восстанию к уничтожению императорского достоинства. Впо-едствии, именно в феврале месяце 1847 года, пре-:ратив бывшие у него, Момбелли, вечера, принял " ютие в собраниях подсудимого Петрашевского и продолжал высказывать преступные мысли, выражая, как сам показывает, сочувствие республиканскому правлению..."

...А потому военный суд приговорил его, Момбелли, за произнесение дерзких слов против священной особы вашего императорского величества, за злоумышление к уничтожению императорского достоинства, за распространение сочинений против правительства и за покушение составить тайное общество с целью преобразовать гражданский быт в России,- лишить... всех прав сословия и подвергнуть смертной казни расстрелянием".

Он уже стоял в ожидании казни на площади, когда "расстреляние" было заменено каторгой. Под строгим конвоем осужденных увезли в дали дальние.

"...Возмутительные и в высшей степени дерзкие..."

Такая же формулировка была и в приговоре Тарасу Шевченко...

- Когда... я был освобожден из каторжных работ, с переименованием меня в рядовые без выслуги,- рассказывал Момбелли впоследствии,- то мне пришлось странствовать, совершая передвижение по этапу из одной части войск в другую, так как куда меня ни пересылали, везде я оказывался как бы лишним. Из укрепления Орского меня перевели в Оренбург, в 1857 году, по ходатайству моих родных, мне удалось попасть на Кавказ, рядовым в Апшеронский пехотный полк...

Петрашевец служил в том же Отдельном Оренбургском корпусе, что и Шевченко, причем в тех же местах, через которые прошел и он, революционный поэт.

Встретиться здесь они не могли. Но интерес их друг к другу не ослабевал по век жизни.

Знал он, конечно, и о местах ссылки автора "Кобзаря", и о том, как ему там живется. В пользу такой осведомленности говорят, например, знакомство (и, вероятно, переписка) доброго приятеля обоих Сергея Левицкого со связанным с Момбелли магистром математики Николаем Головко.

Давно и хорошо зная современный Орск, из конца в конец исходив в нем район, где прежде была Ор-екая крепость, я думаю: нет, это вовсе не случайно, что соседствуют тут улицы с близкими людям названиями - имени Шевченко и имени Петрашевцев...

Сокращения в общем-то понять не трудно. Но откуда эта выписка и, главное, к чему она тут? Откуда? Из "Списка лиц, привлекавшихся к допросу следственной комиссией, но не подвергшихся»

К чему? Штрандмана знал Шевченко. Еще один петрашевец из круга давних знакомых поэта...

"Необыкновенные вещи, просто чудеса на свете! Вообрази, Тарас Григорьевич, носятся слухи, что я еду в Петербург, а сам я о том сведущ столько, как и Вы, бачуть (бають?) даже, что еду не далее, как в субботу... Впрочем, вероятно, в Ковалевке будут говорить о том обстоятельнее и внятнее. Приезжай, бога ради, в Яготин хоть на денек, как-то больно расстаться, не простясь, притом кто знает, когда свидимся?

Хотелось бы много, много побеседовать с Вами - удачный поэт, добрый дружище, остатний из казаков. Но время спешное, да и переписываться из Яготина в Ковалевку как-то негоже. Право, приезжайте в Яготин!

Не поминай лихом Романа Штрандмана.

Если разбогател, так пришли грошей рублив 30, бо жутко приходится.

На обороте адрес:

"Тарасу Григорьевичу Шевченко от Штрандмана". ...От того, который в списке под номером 49.

Письмо было переслано с нарочным 14 декабря 1843 года (публикуя, датировали 1845-м, но это ошибка). А нашли его в архиве III отделения, среди других шевченковских бумаг, отобранных при аресте весной 1847-го.

- Кто такой Штрандман? - спрашивали Шевчеи-ко на следствии.- Почему он в письме своем называл вас "остатним из Козаков"? Не участвовал ли в замыслах славянистов?

- С Штрандманом я познакомился в Яготине у князя Репнина; он был там домашним учителем, а теперь не знаю, где он. Почему он называет меня "остатним из Козаков", не знаю.

Ответ, что и говорить, уклончивый. Вдаваться в подробности Шевченко не пожелал.

А подробности важны.

К сожалению, на сей счет воспоминаний не оставил ни один, ни другой.

Единственно правильным путем отправился отыскивать истину неутомимый шевченковед Петр Владимирович Жур, работавший тогда над книгой "Літо перше" - как раз об этом периоде жизни поэта. Он стал искать в архивах дела с биографическими сведениями о Штрандмане. И нужные материалы нашлись.

Роман Штрандман оказался сыном инспектора Петербургского почтамта. Учился он дома, потом поступил в горный институт, но через короткое время перевелся в училище правоведения. Тут студент пробыл того меньше - из списков его исключили по причине расшатанного здоровья". Год спустя Штранд-поступает в университет: сначала на факультет математики, далее - правоведения, однако и на этот раз в студентах ходит недолго. Уже в девятнадцать он оставляет и университет объявляя, будто делает о ради того, чтобы определиться на военную службу. Определяется не в армию - переписчиком в гу-щское правление. А несколько месяцев спустя просит об отпуске и отправляется на Украину, в имение князя Репнина: учить его внуков. В Яготине и состоялось знакомство Шевченко со Штрандманом. Сам тон письма дает понять, что они ужились. Много времени оба проводили вместе - беседах,

и в развлечениях. Объединяла их не толь-молодость (Шевченко было 29, Штрэндману - (..), но и близость взглядов. Как тут не вспомнить, домашний учитель Репниных в бытность свою университете входил в студенческий кружок Заблоцкого-Десятовского и других известных будущем литераторов?

В Петербург он отправился в декабре - вместе мучениками своими и их родителями. Это было и от-азом ему от службы учительской, и возвращением "родные пенаты". По приезде в столицу Штрэндман устраивается в канцелярию университета и восстанавливает прерванные было связи с единомышленниками, многие из которых стали потом петрашевцами. Петрашевцем был и он - следователям просто-на просто не удалось установить всю меру "вины" этого "привлеченного". Мы же теперь знаем, что Штрэндман находился в числе составителей нашумевшего "Карманного словаря иностранных слов". Название вроде бы безобидное, а это один из ярких образцов противоправительственной пропаганды. От начала и до конца словарь пронизывали идеи утопического социализма, мысли о нетерпимости самодержавия и крепостничества.

Петербургские встречи со Штрэндманом биографами поэта не зафиксированы. Но и без того ясно: не встречаться они не могли. Петр Жур прав: Шевченко "мог знать о деятельности некоторых петрашевцев уже на первой стадии их движения".

К следствию по делу М. В. Буташевича-Петрашев-ского привлекалось свыше 100 человек. Подозревалось в причастности к этому сообществу много больше - до 280.

Среди них - Макшеев.

Жизнь Алексея Ивановича, едва перешагнувшего тогда, в 1848-м, за двадцать шесть, шла в общем-то гладко.

В двадцать он окончил Новгородский кадетский корпус и получил производство в прапорщики лейб-гвардии, два года спустя его приняли в Академию Генерального штаба, по выпуску из военной академии молодого офицера командировали в избранный им для службы (и карьеры) Отдельный Оренбургский корпус, тут, через месяц после прибытия, он стал поручиком, а вскоре и штабс-капитаном Генштаба.

Сорок восьмой выделен в начале этой справки по двум причинам. Первая: в том году Макшеева назначили представителем военного министерства в Аральской экспедиции А. И. Бутакова. Вторая: именно с экспедицией на Арал связано знакомство с ним Шевченко, их довольно длительное общение.

"Я предложил несчастному художнику и поэту пристанище на время похода в своей джуламейке, и он принял мое предложение..." Это из книги Макшеева "Путешествие по киргизским степям и Туркестанскому краю", вышедшей в свет в 1896 году, уже после того как автора, заслуженного профессора и генерал-лейтенанта, не стало.

Тогда, в походе, они делили и хлеб, и кров. "...Весь поход Шевченко сделал пешком, отдельно от роты, в штатском плохоньком пальто, так как в степи ни от кого, и от него в особенности, не требовалось соблюдения формы. Он был весел и, по-видимому, очень доволен раздольем степи и переменой своего положения. Походная обстановка его нисколько не тяготила..."

Разговаривали много и о многом. Хотя Макшеев подчеркивал, что Шевченко о событиях "крупных политических никогда не говорил ни слова", можно представить

себе, сколько точек соприкосновения нашлось у них, сколько общих знакомых было упомянуто.

Тот же Николай Момбелли, например. Макшеев ; с ним дружил, а когда отправился в Оренбург - писал ему сам и получал от него письма. Учась *"
Петербурге, Алексей Иванович сблизился с целой группой петрашевцев (его имя довольно часто называется в материалах следствия). Но, как и в случае Що Штрэндманом, вины офицера установлено не было, наказания он не понес.

Общение продолжалось в Раиме. "В кибитке жил ч мною Т. Г. Шевченко. По утрам он рисовал с меня портрет акварелью... Я дорожу им как прекрасною картинкою и как памятью о Шевченко..."

Вместе были они и в плавании: "На шхуне находилось двадцать семь человек, в том числе четыре офицера, но в маленькой офицерской каюте помещалось семь человек..." Среди семи - опять же - Шевченко.

Страницы книги Макшеева, относящиеся к Тарасу Григорьевичу непосредственно,- это едва ли не главное из свидетельств современников о его пребывании в долгом и тяжелом походе. Не менее, пожалуй, важны макшеевские научно-литературные зарисовки похода вообще, жизни в Раимском укреплении и плавании по Аральскому морю. Они помогают узнать и оживить многое.

В конце октября - начале ноября того же 1848 года Макшеев возвратился в Оренбург.

Экспедиция осталась на Арале еще на год. Оставался и Шевченко.

Писем штабс-капитану он не писал. Но однажды, в марте 1849 года, увидев, как пишет ему раимский врач Арсентий Лавров, взял листок и приписал: "В воспоминании Вашем о плавании по морю бурному Аральскому оставьте уголок для незабывающего вас Т. Шевченко".

...Еще на Арале до него, скорее всего, и дошло известие об арестах петрашевцев.

В Оренбурге он узнал об этом не только из газет.

Ссылные поддерживали связь и друг с другом и с "волей". Каждое письмо, несмотря на строгость цензуры, несло в себе информацию. Пусть крупную информацию, но дорожили и малостью.

В первые же январские дни...

- Шапошников. Из Москвы.

_ Головинский. Тоже из того кружка.

- Беликович.

Отдельный Оренбургский корпус получил "попол-нение": некоторых петрашевцев определили рядовыми в линейные батальоны именно этого дальнего военного формирования.

Головинского Василия Андреевича, приговоренного поначалу к расстрелу, не задерживая в Оренбурге, отправили в Троицк.

Беликовичу Михаилу Ивановичу местом службы Назначили пятый батальон, а это в Орской крепости.

Шапошникова Петра Григорьевича препроводили в 54-ю военно-рабочую арестантскую роту (она дислоцировалась здесь же - в "военной столице" губернии).

В Москве Шапошников содержал табачную лавку. Однако известен он стал как агитатор "против религии и правительства", за утверждение в России правления

республиканского. Схватили его 23 апреля. Ориговор военно-судной комиссии гласил: расстрел. Царь "помиловал", заменив казнь... гибелью медленной: в арестантских - по сути своей каторжных - ротах. Такой была и эта, пятьдесят четвертая. В ней вреди офицеров и "нижних чинов" у Шевченко были знакомые. Они-то становились связными между опальным украинским поэтом и осужденным московским вольнодумцем.

к Документальных свидетельств о встречах нет. Но в вводном городе они провели несколько месяцев, один в другом знали, так что и контакты личные представляются вполне реальными.

В родной свой город Шапошников вернулся чуть ранее, чем приехал в Москву Шевченко.

Жил тут Шапошников под строгим сократным надзором. Еще в Оренбурге его предупредили, "чтобы он вел себя в Москве как можно осторожнее и не входил в сношения с лицами, не пользующимися доверием правительства и что в противном случае он подвергнет себя самой строгой ответственности".

Шевченко предупреждали о том же.

А с Беликовичем его дороги сошлись в Орской - когда после оренбургского ареста в пятидесятом оказался поэт на гауптвахте той самой, уже знакомой ему крепости.

Там он мог узнать, что воспитанник Школы правоведения в Петербурге был привлечен к ответственности вместе с другими причастными к кружку Петрашевского, что в кружке Беликович утверждал преимущества республики и выражал стремление бороться за свободу.

(В своем дневнике этот человек писал: "Будем осторожны... В то же время нет смысла сидеть со сложенными руками: пускай каждый запасается оружием...")

В крепости у них оказались общие знакомые.

Еще в первые месяцы солдатчины Шевченко подружился с писарем Павлом Лаврентьевым. Жена его впоследствии рассказывала о муже так: "Это был человек, не получивший никакого образования, но своим развитием всецело обязанный самому себе. Он любил литературу, видимо увлекался ею и каждый день уделял книге частицу свободного времени. Не мудрено поэтому, что лишь только Шевченко появился в крепости, как между ним и Лаврентьевым завязались добрые отношения..." По словам Агафьи Лаврентьевой, поэт с ее мужем "вместе читали, спорили и гуляли по крепости", отправлялись в степь, где он отдавался своему наболевшему чувству разлуки с Украиной".

Теперь к Лаврентьевым ходил как друг и Михаил Иванович Беликович.

Откуда это известно?

В метрической книге церкви Орской крепости есть запись о крещении младенца П. С. и А. О. Лаврентьевых. Беликович значится среди восприемников.

Гостеприимный дом своих орских приятелей Шевченко не забывал и в эти, труднейшие для него, месяцы.

Долго потом хранились здесь и карандашные наброски, исполненные им, и стихи, написанные в неволе.

6

Я набрасываю только штрихи к портретам возможных героев широкого, многопланового повествования о Шевченко и петрашевцах.

Думаю о Ханыкове.

...Родился он в год восстания декабристов. Восточный факультет Петербургского университета и достаточно громкая дворянская фамилия открывали ему путь к карьере - государственной, дипломатической, любой другой. Но на третьем году учения Александра из университета отчислили. "За неблагонадежное поведение..."

Тогда, в апреле 1847 года, он был уже давним участником кружка петрашевцев. Выписываю строки из доклада генерал-аудиториата.

"Ханыков посещал собрания Петрашевского с 1846 года и слышал происходившие там преступные рассуждения о религии и правительстве, участвовал с Петрашевским в выписывании запрещенных сот. альных книг и, увлекшись либеральными идеями, особенно учением Фурье, стремился распространять оное в России через перевод сочинений его на русский язык. На обеде 7 апреля произнес в высшей степени преступную речь, клонившуюся к ниспровержению существующего порядка.

В этой речи Ханыков, между прочим, выражал, что отечество наше в цепях и рабстве, что религия и невежество - спутники деспотизма - затемнили и заглушили натуральные его влечения, вспоминал о былой народной вольнице новгородской и увещевал слушателей стремиться к преобразованию всего общественного быта. Вместе с тем он, отвергая семейственность и религию, называл семейный быт безнравственностью и развратом, церковь - гнездом хищных злодеев, бога - притеснителем и алчным злодеем, распинающим своего сына.

Во всем этом Ханыков сам сознался..."

Сознался - значит повторил во весь голос. Повторил - следовательно, не отрекся: ни от слов, ни от мыслей.

Вместе с М. В. Буташевичем-Петрашевским и его соратниками Александр Ханыков был приговорен к расстрелу, но и его в последнее мгновение перед казнью "помиловали" - определили рядовым в Отдельный Оренбургский корпус.

5 января 1850 года он числился уже в списочном составе пятого батальона. Препроводительная, полученная в Орской крепости, предписывала, чтобы Ханыков "находился постоянно под строжайшим надзором и был употреблен на службу без малейшего послабления; облегчение же участи его в будущем времени будет зависеть от его поведения и монаршего милосердия, но отнюдь не от снисхождения к нему ближайшего начальства".

Бесконечная муштра, тяжелые походы, придирки по малейшему поводу и без всякого повода изматывали и тело его, и душу.

Но даже в этих условиях он от своих взглядов не отступал. Ханыков установил связи с такими же, как сам, рядовыми из "политических преступников". Его товарищами стали польские ссыльные Ипполит Завадский, Владислав Докальский и другие. Возник кружок, в котором читали и обсуждали запрещенные книги, обменивались мнениями по широкому кругу волновавших каждого вопросов. Сблизился петрашвец с молодыми офицерами Порфирием Гурьевым и Павлом Невельским. В июне - сентябре пятидесятого отыскал Ханыкова и его друзей пригнанный в Ор-скую крепость снова Тарас Шевченко. Они познакомились, сблизились, общались.

Русско-польско-украинский кружок вошел в биографию революционного поэта.

О разгроме этого орского кружка Шевченко мог узнать уже на Мангышлаке - туда, "на край света", загнали прапорщика Невельского, там он, еще недавно полный сил, умер.

Рассказывал Невельский и о Ханыкове.

Его обвинили не только во вредном образе мыслей, но и во всяких преступлениях против воинской дисциплины: (самовольном уходе из казарм,слушании против рядового Егорова, который требовал, чтобы он из квартиры прапорщика Гурьева шел в казармы", "произношении бранных и дерзких слов, в присутствии ротного командира и троих нижних чинов, против батальонного его командира".

Грозили Ханыкову арестантские, то бишь каторжные, роты. И ничто бы ему не помогло, не вмешайся Перовский - оренбургский генерал-губернатор. Он послал в Петербург ходатайство. Нет, не сочувствия исполненное, но жестокости и цинизма. Перовский писал, и письмо его сохранилось в архиве: "Родные сочтут милостью, если он будет сослан в какой-нибудь гарнизон, где люди скоро умирают от болезни, или даже заключен в дом умалишенных; это будет для них легче, чем видеть его в арестантских ротах и каждый день страшиться нового позора".

"Просьбу" уважили: Ханыков был переведен в первый линейный батальон. Штаб находился в Уральске, а батальон нес службу в местах глухих - вспомним Новопетровское укрепление. Не миновать бы этих, "шевченковских", мест и ему, но... смерть расправилась с ним раньше.

"Где люди скоро умирают от болезни..." Как в воду глядел граф Перовский!

Из Уральска получил в своей "незапертой тюрьме" близ Каспия последний привет от Ханыкова Тарас Шевченко.

Никаких сомнений не вызывает факт, который сообщил в своих воспоминаниях Никита Савичев, офицер казачьего войска: "Знакомцы Шевченко, узнав, что я еду... в Новопетровск, надавали мне писем и разных словесных поручений к Тарасу Григорьевичу. Это были трое молодых поляков... и четвертый А. В. Ханыков, облеченный в "сермяжную броню" по делу Петрашевского".

...От мыслей о Ханыкове и Шевченко - их судьбах, их дружбе и том, последнем, привете - уйти трудно...

"У всякого своя доля і свш шлях широкий..." Своя доля, свой путь были у Данилевского Николая Яковлевича - тоже из тех, кого вокруг себя собрал умный, решительный, непримиримый Петрашевский.

Данилевский изучал границы черноземья, когда тут, за Тулой, его неожиданно-негаданно схватили и спешно увезли в Петербург - прямо в Петропавловскую крепость. Лишь там он узнал, что в каземат брошен за причастность к политическому кружку.

Этот кружок студент-естественник, а потом и будущий магистр ботаники (экзамен уже сдал, оставалось защитить диссертацию) посещал в течение нескольких лет. Особенно увлекали его обсуждения системы Шарля Фурье. Мудрый француз не только мечтал о строе "гармонии", в котором могли бы в полной мере развернуться все человеческие способности, но и предлагал пути утверждения жизни на новых началах - пути мирные, через пропаганду социалистических идей. Данилевского увлекали мысли Фурье о труде как потребности и наслаждении, об уничтожении противоположности между трудом умственным и физическим. В лучах идей знаменитого философа все яснее представлялась порочность строя в России.

Сто дней просидел Николай Яковлевич в крепости. Из камеры его вывели для того, чтобы тут же отправить в Вологду - как ссыльного, притом "с учреждением над ним строгого секретного надзора".

На севере он пробыл чуть менее двух лет. Амнистии не последовало, но когда из Оренбурга в Петербург пришла бумага о перемещении Данилевского в эту дальнюю губернию, министерство внутренних дел перечить не стало.

Перевод был официально объяснен "особой склонностью и способностями к занятиям по части статистической" и возможностью, следовательно, использовать его "с большею пользою и в служебном, и в ученом отношении". Так же официально во "всемиловитейшем соизволении" предписывалось, чтобы "Данилевский и в новом месте пребывания находился под строгим полицейским надзором".

Бесконечно огромный и вовсе не изученный тогда край пришелся ученому-энтузиасту по душе. Особенно увлекло его исследование состояния рыболовства на Каспии. Экспедицию возглавлял академик Карл Бэр, работала она несколько лет, не раз бывала и в Новопетровском укреплении.

В Новопетровском и свели знакомство поэт с ученым - автор "Кобзаря" с соратником Петрашевского.

Из писем Т. Шевченко к Б. Залескому: год 1854-й

9 октября

"Почти вместе с твоим письмом прибыла к нам и экспедиция Бэра, а в этой экспедиции (как я тебе и прошлый год писал) находится и твой знакомый Н. Данилевский (который помнит и кланяется тебе), а такое явление, как Данилевский, в нашей пустыне может скружить и не мою голову. В продолжение его пребывания здесь я почти с ним не разлучался. Он своим присутствием оживил во мне, одином, давно прожитые прекрасные дни... Вообрази меня несколько дней сряду счастливым, и ты, как мой самый искренний друг, простишь меня... Данилевский уехал теперь на короткое время в устье Эмбы, и я, пользуясь его отсутствием, пишу панегирик прекрасному уму и сердцу Н. Данилевского, а впрочем, все, что мне бы хотелось написать тебе о нем, то это не уместилось бы и на двух десятках бумаги, а не то что на одном листе, а потому и ограничусь, сказав тебе, что он во всех отношениях прекрасный человек; жаль только, что он ученый, а то был бы настоящий поэт..."

8 ноября "...Писал я тебе о Данилевском, что он прогостил у нас около двух месяцев; в продолжение этого времени я с ним сблизился до самой искренней дружбы. Он недавно уехал в Астрахань, а я, проводивши его, чуть не одурел. В первый раз в жизни моей я испытую такое страшное чувство... Ты говоришь, что ты сроднился в своем углу с безотрадным одиночеством; я сам то же думал, пока не показался в моей тюрьме широкой человек! Человек умный и благородный, в широком смысле этого слова; и показался для того только, чтобы встревожить мою дремавшую бедную душу. Все же я ему благодарен, и благодарен глубоко..."

Потом он вспоминал Данилевского и на страницах своего дневника: "...Мне здесь года два тому назад говорил Н. Данилевский, человек, стоящий веры, что будто бы комедия Островского "Свои люди - сочтемся" запрещена на сцене по просьбе московского купечества. Если это правда, то сатира, как нельзя более, достигла своей цели. Но я не могу понять, что за расчет правительства покровительствовать невежество и мошенничество. Странная мера!"

Отголоски их разговоров - и в дневниковых записях, и в повестях, и в поэзии последующих лет. Не научные проблемы рыболовства занимали Шевченко во время бескончаемых встреч-бесед - вопросы жизни, литературы, политики. Идеи, которые волновали его, идеи, будоражившие собеседника. Многие их роднило, многое разводило, но оба пеклись об одном - лучшем будущем человека и человечества.

И кого только они не вспоминали в бескончаемых своих разговорах! Данилевский знал некоторых из кирилломефодиевцев. Шевченко дорожил знакомством с петрашевцами. Момбелли... Штрэндман... Макшеев... Беликович... Ханыков... теперь - вот этот человек, с умом и сердцем...

8

От Плещеева приходили письма. Редко, но приходили.

Его стихотворение "Вперед, без страха и упрека" не случайно называли "Марсельезой" сороковых годов. И так же не случайно автор - исполненный демократических настроений, устремленный к свободе - оказался в кругу петрашевцев. Вместе с главными участниками кружка он был лишен "всех прав состояния".

- Солдатская служба! Отдельный Оренбургский корпус! - гласил приговор.

Встретиться они могли только осенью 1850-го, когда Шевченко в спешном порядке препровождали на Мангышлак. Время торопило - навигация на Каспии заканчивалась. Задерживаться возможности не было. Познакомились и - расстались, поговорив совсем недолго. Письма же были такими, будто знали друг друга всю жизнь.

Плещеев сумел сберечь только одно. Оно пришло от Шевченко после года молчания.

"...Вы пишете, что, может быть, в письме вашем встретилось мне что-нибудь не по сердцу, и потому я вам не отвечал. Как вам пришло в голову такое предположение!.. Каждую строчку, каждое слово вашего письма я принимал как слово брата, как слово искреннего друга..."

Именно как брату, как другу рассказывал он о наболевшем.

Долго надеялся на производство в унтер-офицеры - это открывало надежду на освобождение. "Я существовал этой бедной надеждою..." Но пришел приказ командира батальона майора Львова: взять Шевченко "в руки", чтобы к его, Львова, прибытию в укрепление сделать из поэта "образцового фрунто-вика". Как крик, исторгает он из глубины души горькое-прегорькое: "Праздник прошел, и из меня, теперь пятидесятилетнего старика, тянут жилы по осьми часов в сутки!"

Шевченко сдерживает себя: "...рассказывать вам о своих страданиях - значит заставлять вас самих страдать". Он знает: "...у вас и своего горя не мало..." И переключается на другое - вводит Плещеева в литературные свои заботы: просит посмотреть в "Отечественных записках", нет ли там его повести "Княгиня", подписанной им псевдонимом "К. Дармограй". Поэт, которому "высочайше" запрещено писать, поверяет адресату и псевдоним, и право - через друзей в Петербурге - распорядиться рукописью по своему усмотрению: "что найдете лучшим, то с нею и сделайте".

"Прощайте, мой добрый, мой незабвенный друже! С следующей почтою буду вам писать больше. III".

...Наверное, и писал. До нас дошло лишь то, частично цитированное, частично пересказанное,- из мангышлакского апреля в 1855-м. Нелегко сохранять письма в условиях кочевых, походных!

У Шевченко писем от Плещеева не осталось и вовсе.

Переписка могла возникнуть сразу после мимолетной встречи в Уральске, а могла и позднее - годом, двумя, тремя. Уже в январско-февральском письме 1854-го, обращенном к другу поляку Брониславу За-лескому, вспоминает он "Алексея". Вот так, по имени, просто - как приятеля их обоих. (Плещеев, отличившись при взятии Ак-Мечети, стал унтер-офицером и зиму 1853-1854 гг. жил в Оренбурге). Позже Плещеев появляется в письмах к Залесному как по:>т - переводчик стихов Эдварда Желиговского, их общего товарища, единомышленника. А в следующем вопрос: "не имеешь ли каких известий о А. П.?" Знать о нем, знать всегда, было для него потребностью.

"Что касается до нас лично, то поэзия Шевченко производила на нас всегда глубокое впечатление, мы всегда останавливались в изумлении перед этим богатством поэтических образов..." Так писал Алексей Плещеев, откликаясь на "Кобзарь" 1860 года.

Всегда и - "глубокое". Всегда т - "в изумлении". Приходится ли удивляться, что именно он стал одним из первых переводчиков произведений Шевченко на русский язык? Эта работа началась в ссылке и продолжалась годы. В плещеевской Шевченкиане - "Сон", "Наймичка", "Ще як були ми козаками". Не в том ли и состоит самый важный итог их дружбы?

9

И, наконец,- Ивашинцев, капитан-лейтенант флота.

После двадцати лет службы на Балтийском море он в 1853 году был командирован в распоряжение Оренбургского генерал-губернатора и, как Плещеев, участвовал в боях за Ак-Мечеть. Когда поход этот окончился, Николай Алексеевич отправился на Каспий. В 1856-1857 гг. Ивашинцев являлся начальником экспедиции "для новой съемки и промера" Каспийского моря. Результаты ее - ив многочисленных статьях, и в солидной монографии, и... в памяти потомков.

Но позвольте, скажет дотошный знаток биографии и наследия Шевченко, такого имени - Ивашинцев -нет ил в дневнике, ни в переписке, ни в воспоминаниях. Так откуда оно тут?

Об Ивашинцеве я пишу на основе шевченковской дневниковой записи, сделанной 18 июля 1857 года и касающейся прибытия в Новопетровское укрепление "таинственных путешественников".

"В числе гостей,- занес он в дневник,- не было главного двигателя всей этой суматохи, именно астронома, который остался на пароходе и делал вычисления. Звездочет сей прислан гидрографическим департаментом проверить астрономические пункты на берегах Каспийского моря..."

"Главным двигателем" экспедиции был не кто иной, как Ивашинцев.

Шевченко не мог не слышать это имя от спутников по Аральской экспедиции - прежде всего, двух Алексеев Ивановичей: Бутакова и Макшеева; оба они ученого-морехода ценили.

От Бутакова знал обстоятельства ссылки Шевченко Ивашинцев. С "аральским адмиралом" он дружил; именно ему и поручил друг-коллега прочесть на общем

собрании членов Русского Географического Общества (а потом отдать в журнал) свой доклад о результатах описи Арала.

И вот этот человек оказывается в том же месте, где седьмой год томится поэт-изгнанник...

На страницы дневника попадало не все. Что-то не записывал из конспирации, что-то и без особых видимых причин.

Запись того июльского дня Шевченко закончил вздохом:

"Кончится ли, наконец, это гнусное существование, это однообразное записывание однообразнейших, бесконечных дней?"

А уже в следующей, 19 июля, рассказал он о "вдруг" возникшем замысле "Сатрапа и Дервиша" - поэмы высокого политического, идейного накала.

Замысел ее возник вскоре после того, как пароход с Ивашинцевым вышел из гавани и направился дальше.

Не скоро, наверное, Шевченко узнал, что в шторм, прокатившийся по Каспию, бросило пароход на скалы. Пучина похоронила многих моряков, которых он только что видел живыми, веселыми.

Ивашинцев этой участи избежал чудом.

...Он тоже был причастен к кружку петрашевцев - Николай Алексеевич Ивашинцев, российский моряк.

1980

ЕХАЛ ПОЭТ ИЗ ССЫЛКИ

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПОИСК НОВОГО

Между августовским вечером в 1857-м, когда "на самой утлой рыбацьей ладье" Шевченко покинул Новопетровское укрепление, и вечерним часом в конце марта 1858-го, когда "громогласный локомотив свистнул и остановился в Петербурге", пролегло почти восемь месяцев.

После десяти с лишним лет неволи он стремился к жизни активной и деятельной, рвался в гуцу литературных, художественных, общественных дел. "Весело, друже мой единый, невыразимо весело, когда наши волшебные воздушные замки начинают быть осязательными",- читаем мы в первом же его письме, написанном на свободе.

Свобода оказалась урезанной. "Тепер я в Нижшм Новгороде, на воле,- на таки вол!, як собака на привязи!..." - делился он с другом Щепкиным из своего нового, нижегородского, плена.

Двести тридцать восемь дней продолжался путь Шевченко от форта на Каспии до "Северной Пальмиры". Но глубоко неправы те, которые в этих месяцах склонны видеть лишь затянувшийся эпизод его богатой событиями биографии.

Не эпизодом - началом нового этапа жизни и творчества стали для великого сына и певца народа астраханские, волжские, нижегородские, московские дни пятьдесят седьмого - пятьдесят восьмого, ознаменовавшие приобщение долголетнего изгнанника к событиям и интересам времени, к горестям и надеждам, чаяниям и устремлениям людей пятидесятых годов, возвращение его к борьбе.

АСТРАХАНСКАЯ ТЕТРАДЬ

Я свободен, я уже в Астрахани... Т. Шевченко

В Астрахани Шевченко пробыл с 5 до 22 августа 1857 года.

Из биографии

1

Верхоглядства Шевченко не терпел. Всегда старался докопаться до сути. Ее, суть, он искал в собственных впечатлениях, в рассказах сведущих людей. И, конечно, в книгах. Прежде всего тех, которые сейчас принято называть краеведческими.

Одна из таких книг на астраханских страницах его дневника фигурирует особенно часто.

9 августа: "По слухам знаю о существовании книги под названием "Описание города Астрахани". Но о приобретении ее здесь, на месте, и помышлять нечего. Город, не имеющий книжной лавки, значит и читателей не имеет. А как бы кстати иметь теперь в руках эту книгу. Там, верно, помещены документальные сведения о времени построения Кремля и собора, как главного украшения города. Кто же мне заменит эту дорогую книгу?"

12 августа: "...я благоговейно поднялся во второй этаж и вступил в единственную залу библиотеки. Библиотекарь... сказал мне, что книги Рыбушкина "Описание города Астрахани" в настоящее время в библиотеке не имеется, а что она находится у бухгалтера общественного призрения Васильева... Делать нечего, отправился я к упомянутому бухгалтеру Васильеву. И от сего почтенного старичка получил надежду прочитать книгу Рыбушкина завтра в 9 часов утра".

13 августа: "В ожидании "Описания і ородн Астрахани" Рыбушкина я спросил каталог Публичной астраханской библиотеки... О манускриптах, касающихся истории города и края, я, не знаю отчего, совестился спросить".

14 августа: "И что мне этот Рыбушкин так завяз в зубах. Интереснейшее в Астрахани и без его указаний я видел (соборную ризницу), а об остальном стоит ли хлопотать? Не стоит".

Дождался Шевченко интересовавшей его книги или не дождался, никаких упоминаний о ней на последующих страницах нет. Если и получил, то уже в конце двухнедельного пребывания в этом городе. От своих астраханских друзей-земляков... От Сапож-никова, контора которого некогда выписала десять экземпляров...

Сведения о "подписавшихся особах" я почерпнул из приложения к той самой книге, которую так искал Тарас Григорьевич. Вот она, передо мною: "Записки об Астрахани. Собрал директор Астраханских училищ М. Рыбушкин". На титульном листке, кроме того, значится, что вышел сей труд в Москве, в 1841-м, отпечатан в типографии С. Селивановского, и сделано это с дозволения цензора М. Каченовского.

Увидеть эту книгу мне хочется как бы глазами Шевченко. Люди ученые, как было, например, во время экспедиции академика Бэра. В составе экспедиции приезжал учитель словесности Вейдеман. В Астраханской гимназии он служил не один год; уж он-то и город свой, и литературу о нем знал.

Как раз тогда, в бытность солдатом форта на берегу Каспия, и написал Шевченко об Астрахани в своей русской повести "Близнецы". Там, в Астрахани, Шевченко на время поселил одного из героев этой повести - Зосима Сокиру, где офицерик сей и "развернулся" во всю силу своего характера.

Впрочем, образ Сокиры разбирать я не стану. Сейчас меня куда больше интересует образ Астрахани. Автор удивительно точен не только в целом, но и в деталях.

"Прибывши в Астрахань, он спрятал свою Якилыну вместе с сыном в грязном переулке на Свистуне..."

"По воскресеньям и по праздникам начал он прилежно посещать армянскую церковь и загородные армянские гульбища..."

"Прекрасная армяночка позволила себя похитить и обвенчаться на ней тайно в Черном Яру..."

Согласитесь, что такие детали (а их в повести больше) могли появиться в результате определенного интереса к городу, о котором Шевченко - до поры, до времени - знал только от других - или, как писал сам, "по слухам"...

Но раньше остановлюсь на словах из первой приведенной тут записи: "По слухам знаю..."

По слухам он знал не только о книге, а и о самой Астрахани. Знал еще в Новопетровском укреплении, куда из Астрахани, пусть не часто, приходили пароходы, баржи, лодки, изредка приплывали купцы и торговцы из тамошних жителей.

От книги Рыбушкина он хотел получить ответы на вопросы исторического характера.

Сначала - о времени создания Кремля и собора в Кремле. Потом - об истории канала и набережной, о других достопримечательностях города, о его заселении.

Насколько глубоким был его интерес к истории Астрахани, мы можем судить по такой хотя бы дневниковой записи, сделанной после того, как Шевченко, не найдя искомой книги, обратился с вопросами к ключарю собора:

"После поздней обедни в соборе, обязательный отец Гавриил показал мне ризницу собора... Первое, что он мне показал, это плащаница, шитая шелками и золотом, времен Ивана Грозного и, по преданию, отбитая у Марины Мнишек. 2. Печатное, плохо сохранившееся евангелие 1606 года. 3. Сакос, шелками и золотом шитый епископа Иосифа, убиенного Разиным. 4. Фелон, шелками и золотом шитый, того же епископа. 5. Архиерейский посох удивительно тонкой работы, дар царя Бориса Годунова. 6. Серебряный ковш искусной работы, дар царя Петра Первого 1701 года. Огромный потир венецианской работы 1705 года. Время заложения собора - 1698 года, и освящения - 1710 года 14 августа. На вопрос мой, кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора, отец Гавриил отвечал - простой русский мужичок. Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка. Я, разумеется, не противоречил и спросил его о времени построения Кремля. Он отвечал: "Борисом Годуновым". А малый Троицкий собор построен царем Иваном Грозным вскоре после взятия у татар Астрахани",- прибавил он, замыкая ризницу. И на том спасибо".

Гид был сведущ, и узнал от него Шевченко немало. Но куда меньше, чем узнать хотелось. "И на том спасибо..." Конечно же, из книги он мог почерпнуть больше.

Рыбушкин изучил достаточно много "манускриптов, касающихся истории города и края",- тех самых, которые поэт позднее "совестился спросить" в библиотеке,- и в труде его, как писал в предисловии сам, было много "такого, что до сего времени укрывалось от взоров исторического любознания".

Автор "Записок об Астрахани" вел повествование от самого начала заселения мест, где за триста лет до приезда Шевченко возник сей град, имевший важное стратегическое, торговое и культурное значение.

"Начало построения кремля Астраханского, имеющего некоторое сходство с Московским, относят к 1582 году, когда по указанию царя Феодора Иоан-новича велено было поставить восемь башен, в опасных местах большие, а в прочих малые, с тремя, на каждой из них, бойницами... Материалы для кладки стен привозимы были из развалин прежней татарской столицы Сарая... Кремль достопримечателен историческими воспоминаниями... В 1614 году кремль сделался добычею Марины Мнишек и Заруцкого, а воевода князь Хворостинин лишен жизни... В 1667 году... Разин овладел кремлем, Астраханью и даже всем краем..."

Если бы Шевченко прочел эту главу ("Укрепление Астрахани"), ответ на свой вопрос "О времени построения Кремля" он получил бы сразу. А из глав последующих - и на другие.

Отец Гавриил не мог назвать имени творца "колоссального и прекрасного собора" - ограничился тем, что сказал: "простой русский мужичок". Рыбушкин писал вполне определенно: "Достойно замечания, что зодчим этого великолепного здания был крестьянин Дорофей Макишев. По договорной цене ему заплатили за сей труд 100 рублей" ("Учреждение епархии").

"Канал сам по себе дрянь. Но как дело частного лица, это произведение гигантское, капитальное. Я не мог добиться времени его построения, узнал только, что он построен на кошт некоего богатого грека Вар-вараца. Честь и слава покойному эллину..." Это опять из дневника. Рыбушкин же о Варвациевом канале рассказывал подробно - и о том, когда строился, и о вложенных в дело шестистах тысячах рублей, и о полезности канала для города ("Начало канала"). Вглядываясь в Астрахань, рисуя ее (из зарисовок нам известна одна - та, которой открывается заключительный том живописно-графического наследия Шевченко), Тарас Григорьевич думал о бурях, прокатывавшихся по этим местам, о людях, вошедших в историю астраханскую, о тех, чьими стараниями и чьим искусством складывался своеобразный облик града российского. В книге Рыбушкина виделся ему верный путеводитель. Оттого называл ее "дорогой", оттого искал.

"Интереснейшее в Астрахани" поэт, однако, увидел и без этого путеводителя. Да еще как увидел! Куда острее и зорче признанного историографа...

М. Р ы б у ш к и н. "...Расположенная на холмистых местах или буграх: Заячьем, Голодном, Ильинском и Киселевой, усеянных множеством церквей, мечетей, зданий и башен, с нагорной стороны реки Волги, опоясывающей ее с северо-востока, она (Астрахань.- Л. Б.) представляется любопытному взору путешественника городом обширным и красивым, окруженным пространными виноградными и фруктовыми садами с их ветряными поливальными мельницами, а обширная пристань от устья Кутума до реки Царевки, с необъятным количеством морских и речных судов, говорит ясно о ее изобилии и важности в торговом и промышленном отношении... При въезде в Астрахань два величественные предмета поражают зрение... Это огромный колоссальный собор во имя Успения Божьей Матери, символ православия в бывшей стране магометанства и язычества, виднеющийся еще за тридцать верст по большой Московской дороге, и Кремль, хотя ветхий, но русскому сердцу напоминающий, что в недрах ныне полуразрушенных стен его жители Астрахани находили убежище в несчастные годы Заруцкого и Разина..."

Т. Шевченко. "Астрахань - это остров, омываемый одним из протоков Волги, перерезанный рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутум. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма неживописными деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены Кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17-го столетия..."

Только две выписки. Но как много дает их сопоставление... Уже первые впечатления Шевченко свидетельствовали не об "изобилии" города - о бедности его обитателей. Не такие слова, как "обширное", "красивое", "величественное", "необъятное", бросал он на страницы дневника - другие: "нищета", "грязь". И спрашивал самого себя (кого другого мог еще спросить?): "Где же причина этой нищеты (наружной) и отвратительной грязи (тоже наружной) и, вероятно, внутренней? Где эта причина? В армяно-татаро-калмыцком народонаселении или в другой какой политическо-экономической пружине? Последнее вероятнее".

Книга Рыбушкина на главный вопрос Шевченко ответа дать не могла.

Рассматриваю карандашный рисунок, сделанный в один из августовских дней 1857 года, и вижу Астрахань такой, какой запомнил ее он, возвращавшийся после долголетней неволи. Да, и без путеводителя нашел великий Тарас "точки", с которых город просматривался полностью, - весь, насквозь, до самой его сути...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ДНЕВНИКА "СПАСИБО БУРЦЕВУ..."

На третий день пребывания в Астрахани Шевченко вознес хвалу новопетровскому своему знакомому Бурцеву: "...Если, бы не приехал сюда по делам службы, двумя месяцами прежде меня Новопетровского укрепления плац-адъютант Бурцев, то мне пришлось бы ночевать если не на улице, так в калмыцкой кибитке..."

Таким образом, единственным надежным астраханским адресом, который имел, оставляя форт на Каспии, Шевченко, был адрес одного из ближайших помощников коменданта Ускова. Предусмотрительно записанный при отъезде, он пригодился. По меньшей мере неделю только что освобожденный от службы "рядовой" пользовался гостеприимством молодого офицера, приехавшего в Астрахань еще в июне.

Что его сюда привело?

Ответ на этот не столь существенный, но все же заинтересовавший меня вопрос пришел в ходе чтения "Журнала исходящих бумаг управления кriegс-комис-сара Астраханского порта за 1857 год" Архивный адрес источника: Центральный Государственный архив Военно-Морского Флота СССР (ЦГАВМФ.- Ф. 256.-Оп. 4.-Д. 12.-Лл. 171 -172об, 203об, 205об.

На одной из его июньских страниц оказалась запись о том, что главный командир порта согласился поставить "для продовольствия" гарнизона Новопетровского укрепления 2500 четвертей муки, 490 четвертей круп и 1900 пудов гороха. Принять это добро поручалось прапорщику Бурцеву.

Приемка продолжалась и в июле, и в августе. Дел у представителя закаспийского укрепления оказалось много. Бывало, что о мука, которую отпускали для укрепления на Мангышлаке, оказывалась недоброкачественной - нужно было добиваться ее замены. Поставщики норовили обмануть - требовался глаз да глаз.

Да особой поспешности в делах плац-адъютант и не проявлял. По сравнению с глухим, заброшенным на "край света" Новопетровским укреплением, Астрахань казалась чуть ли не столицей. Молодой офицер присмотрел себе даже невесту и, как узнал Шевченко через несколько дней после приезда, на 17 августа была назначена свадьба.

Однако первую неделю своей свободы поэт провел вместе с ним. "Спасибо Бурцеву, он приютил и накормил меня в этом негостеприимном улусе..."

"ДИВЯСЯ БЫВШЕМУ..."

19 июня 1838 года "со всею пышностью и приличием" - как сказано о том в уже известной нам книге М. Рыбушкина - в Астрахани была открыта публичная библиотека. Явился этот акт "делом патриотического усердия и просвещенной ревности" купцов, которые книги купили и "особого служителя" наняли.

Шевченко открыл для себя библиотеку на двадцатом году ее существования. Открыл, напомню, в поисках все той же книги Рыбугакина...

"...Против губернаторского сквера прочитал я на бледно-голубой вывеске: "Публичная библиотека для чтения". "Браво,- подумал я,- в Астрахани публичная библиотека. Стало быть, и чтецы имеются". Замарашка мальчуган указал мне вход в это святилище, и я благоговейно поднялся во второй этаж и вступил в единственную залу библиотеки..."

Нужная книга оказалась на руках, и на следующий день он явился сюда снова. В этот раз, узнав от "библиотекаря с красным воротником и гренадерскими усами" о том, что "Описание Астрахани" еще не возвращено, Шевченко так скоро не ушел. Он "увидел на полках запыленный "Вестник Европы", длинную фалангу "Московского телеграфа", в нескольких экземплярах графа Хвостова, Державина, Карамзина, "Дух законов" и свод законов с прибавлением, а остальные полки завалены творениями Дюма и Сю не в подлиннике..." Но "всего интереснее" показался ему "Русский вестник" - "журнал уже несколько лет издаваемый, а я его сегодня в первый раз вижу". И далее, вся запись,- о вычитанном и узнанном из журнала.

Направился Шевченко туда же и на третий день. "Но сия Публичная библиотека, вероятно, по случаю дождя и грязи, была заперта. И я, поклонившись дверям сего недоступного таинственного святилища, ушел восвояси с миром, дивясь бывшему..."

...Характеристика, данная библиотеке в дневнике, достаточно выразительна. И все же следует ее прокомментировать. Прокомментировать сообщением управляющего библиотекой в "Астраханских губернских ведомостях" (1857, 20 сентября). Фамилии его нет - но по голосу я узнаю того человека "с гренадерскими усами", которого поэт поначалу "принял за полицейского чиновника".

Он совершенно официален. "Подписка на чтение книг, журналов и газет происходить будет только по третям года: январской, майской и сентябрьской. На месяц и на год совершенно прекращается. Состоящие в государственной службе вносят I процент с оклада жалованья впредь за каждую треть. Частные лица за каждую треть года вносят 1 1/2 р. с залогом 5 или 10 рублей, смотря по тому 2 или 4 книги они пожелают брать на дом из библиотеки..."

Библиотекарь перечисляет получаемое и то, что получать намерены: от "Современника", "Отечественных записок", "Русского вестника" до "Журнала для акционеров" и "Библиотеки для дач, пароходов и железных дорог". "Вскоре,- обещает он, отвечая и на совсем недавний вопрос Шевченко,- появится в печати каталог всех книг Астраханской общественной библиотеки, и тогда увидят, что напрасны те упреки, которые сыпались на библиотеку, обладающую столь скудными материальными средствами..."

О скудности средств сказано как о факте непреложном, всем известном. Но этому ли удивлялся ("дивясь бывшему") Тарас Шевченко? Не оттого ли в его заметках о библиотеке явственно слышится ирония - невеселая, даже горькая?..

"ВСМАТРИВАЯСЬ ПРИСТАЛЬНЕЕ..."

Дневник Шевченко "населен" густо. Гораздо гуще, чем кажется при наиполнейшем учете всех, кого поэт называет поименно. Многие вошли сюда безымянными. Десятки, даже сотни их - на каких-то двенадцати или тринадцати страницах, заполненных в Астрахани. Безымянных, но не безликих!

"...Флотские и вообще официальные физиономии...", "запачканный вертлявый половой...", "усатый кавалер в сером пальто-сак и с серебряным Георгием...", "...добродушная круглая физиономия немца...", "крас-нобородый кызылбаш...", "замарашка мальчуган...", "библиотекарь с красным воротником и гренадерскими усами...", "какой-то сытый бородач...", "машину накрутил... молодец в солдатской шинели..."

Шевченко, "прозябавшего... семь лет в нагой пустыне", тянуло к людям. Он ходил, смотрел, видел, слушал...

"...Спросил себе пару чая и уселся в компании татар и армян..."

"...Публика рыночная, как и везде, перекупки, повара и кухарки, изредка попадаетея заплывшая жиром купчиха-гастрономка да такого же содержания особа духовного чина, сугубо рачащая о плоти греховной..."

"...Женщины здешние ненатурально белы и преимущественно чахоточны. Мужчины вообще в белых фуражках с кокардою, не исключая и мужчин гражданского ведомства. Непонятная любовь к ливрее. Нередко попадаются львы и львицы, эти повсеместные плотоядные не климатизируются, они и здесь такой же шерсти, как и в Архангельске, как и везде..."

"...Всматриваясь пристальнее в господствующую здесь узкоглазую физиономию калмыка, я нахожу в ней прямодушное, кроткое выражение... Мне понравились эти родоначальники монгольского племени..."

Разнообразие этнических типов, социальных групп, профессий, нравов. Пусть выделен один (всего один!) штрих, а перед глазами возникают портрет, жанровая картина, острый шарж, все наполняется жизнью, расцветает красками, становится представимым, осязаемым, близким. Такова она, сила шевченковского слова!

...Безымянных в дневнике много. Безликих - нет.

Но пора уж начать рассказ о тех, чьи имена известны.

ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПРАЗДНИКОМ. СЛОВО О КЛАРКЕ

Низкий поклон вам, Василий Кларк!

Еще тогда, когда третья книга журнала "Русская старина" за 1896 год со статьей "Тарас Григорьевич Шевченко в Астрахани" попала мне на глаза впервые, запомнил я ваше имя и задумался: кто он, тот человек, что в девяностых годах не прошел мимо старого отставного учителя Клопотовского, не только выслушал, но и записал его рассказ, не только записал, но и позаботился о его обнародовании? И дал нам тем самым единственное мемуарное свидетельство о первых после десятилетней солдатской каторги поэта днях на свободе.

Судьба Шевченко заинтересовала Кларка не случайно.

Родом он был из Златоуста; отец - отставной подпоручик - служил долгое время лесничим. Курс гимназии Василий закончил в Уфе. Тогда же, в 1881-м, поступил в Казанский университет - сначала на медицинский факультет, потом перевелся на физико-математический. Но прошло не так уж много времени, и Кларка из университета исключили. Причиной тому послужило его участие в студенческих "беспорядках". Однако через год, со справкой, подтверждающей его "благонадежность", юноша в неласковый к нему храм науки вернулся. На этот раз учиться он стал уже на третьем - юридическом - факультете.

В 1885 году на образовании пришлось поставить крест: нечем оказалось платить за обучение. Переехал в Нижний, поступил конторщиком на пароход "Бенардаки" и сразу же связался с прогрессивно настроенной молодежью. Квартирка, в которой Василий Иванович жил вместе с Эммой Алкиной, дочерью богача-татарина, порвавшей ради него с семьей, скоро стала центром революционной работы. После выхода из тюрьмы, зимой 1889-1890 гг., здесь жил Алексей Пешков - будущий Максим Горький. Ранее, до ареста, они встречались на конспиративных собраниях в булочной Деренкова. Много лет спустя, в 1932 году, писатель вспоминал о Кларке и Алкиной в письме к А. И. Лебедеву, одному из историков Нижнего Новгорода.

В 1891-м Кларк уехал в Астрахань. Утвердилось мнение, будто с отъездом из Нижнего он чуть ли не совершенно отошел от деятельности революционной. Но разве то, что именно Кларк в мае 1892 года записал и именно он четыре года спустя опубликовал воспоминания И. П. Клопотовского о Шевченко, не говорит о его взглядах и его интересах того периода иное, противоположное?

"КАК ОТЦА, КАК БРАТА..."

На астраханских страницах дневника несколько записей сделано рукою не Шевченко.

Первая из них подписана Клопотовским.

"Перед отъездом из Астрахани Шевченко просил И. П. Клопотовского и других астраханских друзей написать на память в его записной книжке по несколько строк, что охотно было исполнено..." - писал в своей статье В. Кларк.

Запись учителя выглядит так:

"В день успения пресвятой богородицы встретил я в Астрахани старого моего бывшего профессора Киевского университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта, и встретил я его с величайшею радостью в такой далекой стороне, которого я

встретил, как отца, как брата, как величайшего друга, и имел счастье прожить с ним несколько дней почти вместе.

Воспитанник Киевского университета Иван Клопотовский"

"Как отца, как брата, как величайшего друга..." О, уже это характеризует Клопотовского вполне достаточно!

Из официальных источников ("Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве. 1858-1859".- Ч. I.- С. 187) мы узнаем, что был он в то время учителем географии в Астраханской гимназии и имел гражданский чин титулярного советника.

Все остальное выражено им самим. В рассказе, переданном Кларком...

Укоренилось мнение, будто Шевченко, утвержденный министром просвещения Уваровым на должность преподавателя рисования Киевского университета 21 февраля 1847 года, так и не успел приступить к работе - помешал арест. Автор этих строк склонен отдать предпочтение мнению тех исследователей, которые придерживаются иного взгляда, о том, что Шевченко мог заниматься со студентами еще до официального своего утверждения в этой должности. Подтверждением тому служат слова Клопотовского, характеризующие Тараса Григорьевича, прежде всего, как его, Клопотовского, "бывшего профессора Киевского университета".

Выходит, были они знакомы еще в Киеве.

"В 1850 году,- сообщал Кларк,- И. П. поселился в Астрахани, где получил место учителя истории и географии в гимназии; кроме того, он был еще преподавателем в женском институте и в школе канцелярских служителей..." Служил, вероятно, до восьмидесятых годов, после чего оставался в том же городе, но уже отставным - на покос. Отставка последовала после того, как Клопотовский был обвинен в "недозволенных связях" с участниками польского восстания 1863 года.

О пребывании Шевченко в Новопетровском укреплении учитель, надо полагать, знал. Вместе с экспедицией К. М. Бэра на Мангышлак, как я уже писал, выезжал Карл Иванович Вейдеман, старший учитель Астраханской гимназии. Они встречались, беседовали. Тогда-то, думается, ссыльный поэт и услышал о многих своих земляках в Астрахани. А по возвращении Вейдемана из форта на Каспии, узнали о томлящемся там Кобзаре Клопотовский и другие киевляне.

Да, я убежден: Шевченко о Клопотовском, а равно Клопотовский о пребывании Шевченко в Новопетровском, узнали именно при посредстве Вейдемана.

Но о прибытии поэта в Астрахань сообщил не он (Вейдеман находился в это время вне Астрахани - в Баку).

Снова обратимся к статье Кларка: "Летом 1857 года служивший в Астрахани, а ныне уже покойный доктор Моравский сообщил Ивану Петровичу, что в одном с ним, Моравским, доме, "на чердаке" (мезонине) поселился возвратившийся из ссылки Шевченко... И. П. поспешил к Шевченко и первый из астраханской интеллигенции поздравил его с возвращением из многолетней ссылки..." Первым? А сам Моравский?

МОРАВСКИЙ-МУРАВСКИЙ

Муравский (правильно так) был для Шевченко не просто "случайным соседом" по дому на Варвациев-ском канале.

Он, этот астраханский врач, являлся земляком и поэта, только что избавившегося от неволи, и Кло-потовского, которому поспешил о том сообщить.

Шевченко не упоминает Муравского ни разу - ни в дневнике, ни в письмах. Потом-у, наверное, исследователи им и не заинтересовались.

Когда же я отыскал в одном из фондов Центрального Государственного архива Военно-Морского Флота СССР формулярный список "о службе и достоинстве" этого человека (Ф. 406.- Оп. 6.- Д. 212.- № 152), вывод пришел сразу: ни знакомство Шевченко с Муравским, ни дальнейшие действия сего "соседа" случайными не были.

Игнатию Францевичу Муравскому шел тогда тридцать третий. Служил он младшим врачом 45-го флотского экипажа. Поляк и католик, рода вовсе не знатного - "из мещан", он рос на Украине, на Украине и учился. Где именно? Да в том же "Императорском университете св. Владимира"!

Да, мир определенно тесен, если уже в первые или вторые сутки жительства "в новой квартире... вернее, в чулане" мог Шевченко встретить человека, который был в Киеве "совсем недавно" - во всяком случае, гораздо позднее его самого: закончил Муравский курс в самом начале 1854-го.

Не мог не заинтересовать тот поэта и тем, что служба его началась не где-либо, а в Севастополе.

Сначала он попал в ординаторы морского госпиталя. Но по мере того как военные действия обострялись, молодой лекарь оказывался то на бриге "Эней", то в стрелковом батальоне, то в походном лазарете, то на перевязочном пункте Северного укрепления, то на транспорте, перевозившем раненых в Николаев.

Муравский знал о Севастопольской обороне не понаслышке. Ему довелось видеть ее своими глазами. Он был ее участником - и не день или неделю.

Так можно ли даже подумать, что Шевченко не воспользовался возможностью узнать о тех событиях из "первых уст"?

"Но он не обмолвился об этом и словом",- слышу я возражения моих коллег-исследователей, не раз внимательно перечитавших дневник.

Рассказы Муравского (как и других "севастополь-цев") отражения в ежедневных записях поэта действительно не нашли. О каких, однако, ежедневных записях может идти речь, если с 15 по 22 августа вел их не он - владели его заветной тетрадью новые друзья-знакомые? Не лучше ли в этой связи вспомнить шевченковского "Матроса" ("Прогулку с удовольствием и не без морали"), где севастопольское звучит на многих страницах?

СЕВАСТОПОЛЬЦЫ

Ведущий неторопливое повествование увидел в корчме "Морской сборник".

"Перелистывая машинально книгу, я начал было дремать и поднял уже руку за щипцами, чтобы погасить свечу и заснуть, а случилось не так. Я нечаянно взглянул на реестр увечных, выздоровевших, но неспособных продолжать службу нижних чинов; я стал читать, и что же я прочитал? Прочитал я то, чего не прочитывал ни в одной печатной книге, а я их так немало прочитал.

Дело вот в чем. В присутствии комитета раненых были спрошены эти увечные бедняки, какую кто из них пожелает себе награду за верную службу престолу и

отечеству. Бедняки сначала отказались от всякой награды, только чтобы их отпустили на родину. Комитет настаивал, чтобы они, кроме этого, требовали себе всякий, что ему нужно. Иные попросили денежной награды, другие - чтобы освободить детей их из кантонистов. А последний из них, молодой матрос, со слезами на глазах просил, чтобы освободили сестру его родную от крепостного звания. Великодушная просьба этого простого человека меня поразила, я дальше не мог читать, закрыл книгу и погасил свечу.

Мне однако ж не спалось. Матрос расшевелил мое воображение... Он отдал все сестре, а себе ничего не оставил, кроме сумы и костыля. Как хотите, а подвиг не совсем обыкновенный. "Что, если бы,- подумал я,- удалось мне этот простой сюжет облачить в форму героической поэмы или... Но нет, никакая другая форма поэзии, кроме поэмы, нейдет этому сюжету. Поэма или ничего". И я начал сочинять поэму..."

Местом действия поэмы рассказчик избрал "страшный четвертый бастион в Севастополе, еще страшнее лазарет там же..."

"Еще страшнее лазарет..." Над повестью он продолжал работать и в Нижнем Новгороде - после встреч с Муравским и другими медиками, кои участвовали в обороне Севастополя. Не этим ли объясняется выбор места действия поэмы? И только ли единичная просьба раненного молодого матроса разбредила поэтическое воображение?

...В том же Архиве Флота я прочел более ста дел, которые начинались с одних и тех же слов: "О просьбе раненного в Севастополе..." (Ф. 283.- Оп. 3.- Т. 2.- Дела 6274, 6275, 6276, 6277, 6279, 6280 и другие).

Матрос Луценко Григорий просил о выкупе из крепостного состояния сына.

Матрос Василий Пташка молил об освобождении от неволи всего своего семейства.

Бабенко Никон ходатайствовал за дочь.

Афанасьев Григорий - за брата.

Об отцах, сыновьях, братьях, сестрах просили эти люди, эти герои: Авакум Курынин и Василий Соло-матенко, Степан Филиппов и Прокофий Клименко, Василий Перепачко и Константин Рычагин...

Более ста дел подряд, и в каждом людское горе.

...Матрос Луценко поступил на службу, из крестьян помещика Бржозовского Каменеcko-Подольской губернии, Голопольского уезда, дер. Крик-ливец, где оставил во дворе у помещика родного сына, прижитого до поступления на службу. Он обратился к его императорскому высочеству с просьбою о выкупе на волю 18-летнего сына его Ивана... Переписка продолжалась год. Помещик согласился. Сын матроса, тяжело раненого на Корниловском редуте в Севастополе, получил в конце концов вольную, но - для "одного лично, без земли, как усадебной, так пахотной и сенокосной" (д. 6274).

...Раненый в Севастополе матрос 38-го флотского экипажа Василий Пташка молил об одном: поместить его в богадельню, а семейство избавить от крепостного состояния. Безрукий герой сражения указывал точный адрес, где он оставил отца, мать, двух братьев и двух сестер: Херсонская губерния, Ананьевский уезд, поместье Поплавского. Три года курсировали по России письма, пока помещик не ответил: "родни у Пташки нет вовсе" (д. 6275).

Горе полной мерою...

"Дорога... меня мало беспокоила, я ее почти не замечал. Меня, если можно так выразиться, поглотила моя поэма; я все устанавливал подробности действия и так увлекся этими подробностями, что начал уже стихи импровизировать..."

Подробности он не "выдумывал" - знал. И знал не только из "Морского сборника", но также из источников живых - от самих участников событий.

Но пора вернуться к Муравскому. Впрочем, к тому, что о нем уже сказано, я, наверное, не добавлю ничего. Разве то, что за Севастополь он получил орден святого Станислава третьей степени с мечами. Но это - не самое важное.

Куда важнее для нас, что именно от него потянулась череда интересных астраханских встреч Шевченко.

Имя, нам известное...

"В тот же день и я был осчастливлен встречей с любимым и уважаемым мною поэтом Тарасом Григорьевичем Шевченко, с которым я провожу эти дни, что оставит во мне глубокое воспоминание навсегда.

Воспитанник того же университета Степан Незабытовский"

Новая запись - новое имя. "В тот же день..." - без сомнения, 15 августа. "Эти дни" - 15-е и 16-е. Незабытовский, значит, оставил в дневнике свой автограф именно шестнадцатого. Что касается встреч, то они продолжались и дальше, все более укрепляя знакомство, возникшее в праздник "успения пресвятой богородицы".

Свел их - опять же - Муравский.

Говоря об этом, я опираюсь на убедительный, с моей точки зрения, факт: Незабытовский служил в том самом 45-м флотском экипаже, что и Муравский, причем занимали они одинаковые должности - младших врачей.

Но попытаемся проследить путь этого человека с начала.

Был он "из приказнослужительских детей". В 1854-м, на двадцать пятом году жизни, Степан Незабытовский окончил Императорский университет святого Владимира в Киеве (где учился "на казенном содержании") и удостоился звания лекаря.

С Муравским он был однокашником. Закончили в один год и в один месяц и направления получили одинаковые: в охваченный войной Севастополь.

Еще один участник Севастопольской обороны!

Молодому лекарю привелось служить в Севастопольском морском госпитале, совершать рейды на корабле "Париж", оказывать помощь раненым в Северном укреплении, быть рядом с артиллеристами Константиновской батареи. Он видел доблесть и героизм русских воинов. Он помогал тем, которые пролили кровь за отечество. Он слышал их рассказы-исповеди - иногда последние, предсмертные. Сколько судеб прошло перед его глазами!..

За "отличное и деятельное выполнение своей обязанности во время обороны Севастополя" он получил орден святого Станислава 3-й степени с мечами.

В Астрахань Степан Андреевич вернулся 21 июня 1857 года младшим врачом 45-го флотского экипажа. А немногим менее двух месяцев спустя состоялось его знакомство с Тарасом Шевченко...

...Они подружились. Среди обстоятельств, которые их сблизили, немаловажным представляется то, что Незабытовский знал и любил поэзию, знал и любил творчество Шевченко. А ему, поэту, лишенному на долгое время возможности не только свободно творить, но и читать на родном языке написанное, дорога была любая возможность раскрыть душу перед человеком, способным и услышать, и понять.

В рукописном отделе Института литературы имени Т. Г. Шевченко хранится тетрадь С. Незабытовского, подтверждающая любовь ее владельца к поэзии. Рукою Незабытовского в тетради (Ф. 1.- Д. 75) переписаны шевченковские произведения "Чернец" и "А. О. Козачковському". А сразу же за ними - автограф стихотворения "Ще як були ми козаками". Автограф с посвящением: "Степанов! Незабытовському, на пам'ять 20 августа 1857".

Стихотворение публикуется под названием "Полякам". Но обращался в нем Шевченко не только к польским своим друзьям, а и к землякам-украинцам. Разве не показательно, что именно его переписал он на память Незабытовскому, который не являлся ни поляком, ни католиком - был украинцем и православным? Переписал, правда, без заключительных восьми строк, непосредственно обращенных к другу поляку...

...Как сложилась дальнейшая судьба этого астраханского знакомого Тараса Шевченко? Мне удалось проследить его биографию до начала восьмидесятых годов. (Все документальные сведения о Незабытовском были отысканы в ЦГАВМФ.- Ф. 406.- Оп. 3.- Д. 777.-№ 27; Д. 832.-№ 89). Все это время он продолжал лекарскую службу на флоте: ходил на пароходах, курсировавших по Каспийскому морю (в 1859-м побывал и на Мангышлаке, в Новопетровском), пользовал больных моряков в Астрабаде, в Баку. Однажды, в 1861-м, оказался в Харькове - выезжал туда с научной целью. Но попыток вернуться на Украину не делал.

Жил Незабытовский холостяком. Женился уже к пятидесяти. Он взял себе в жены вдову погибшего на пароходе "Красноводск" капитан-лейтенанта Борисова, одновременно усыновив малолетних ее детей Николая и Виктора...

От Кларка, из записанных им воспоминаний Кло-потовского, нам известно, что в 1892 году Степан Андреевич проживал в Баку. Умер он в 1902-м. Стихотворения Шевченко хранились им долгие годы и были сбережены для потомков.

Мы помним и вспоминаем его признательным словом.

ГОРЬКАЯ СКРИПКА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Но с Незабытовским пока еще не прощаемся. И вот по какой причине.

Принадлежность его к рабочему экипажу в период Крымской войны заставила меня обратить особое внимание на одно из архивных дел - то, которое касалось мастерового этого экипажа Ефрема Загребельного.

Прямых оснований провести параллель между этой судьбой и множеством судеб, раскрытых в произведениях Шевченко, нет. А все же поделиться узанным хочется. И предположение высказать - о том, что Тарас Григорьевич мог знать о Загребельном, причем именно от Незабытовского. Мастеровой был их земляком.

Происходил он из крестьян Уманского уезда Киевской губернии, от роду имел сорок лет, был неграмотным. Горькая доля крепостного подтолкнула его искать хоть какую-то видимость свободы. Но уже на Херсонщине крестьянина схватили. И сразу - в арестантские роты.

После нескольких лет мучений в этих ротах определили его в "нижние чины". И продолжал Загребельный тянуть свою тяжкую лямку. Тянуть без всякой надежды на то, что когда-нибудь придет ей конец.

Появилась, правда, такая надежда во время Крымской войны. И он, и его товарищи держались стойко, дрались геройски. Но потом увидели, поняли: надежды были напрасными.

Командир экипажа, давая в процессе следствия свои пояснения, не мог не признать, что "все нижние чины... находясь в г. Севастополе в составе гарнизона в продолжение одиннадцатимесячного бомбардирования неприятелем, доведены были до совершенной крайности в одежде, а при внезапном выступлении из города войск все имущество их, как частное, так и казенное, предано пламени". А дальше? "В таком положении люди шли в Николаев, а оттоль, по снабжении их необходимою для пути теплою одеждою, были отправлены в г. Астрахань. Постоянный пятимесячный путь в зимнее ненастное время был... причиною того, что и вновь выданная людям одежда также пришла в ветхость. Когда же он (экипаж.- Л. Б.) прибыл в Астрахань, то хотя и требовал (командир.- Л. Б.) следуемые им годовые на 1856 год материалы, но по неимению таковых при порте не было отпущено, и он (опять же командир экипажа и автор пояснения.- Л. Б.), видя крайность людей в одежде, просил разрешения капитана над Астраханским портом, чтобы позволено было людям, остающихся от нарядов налицо, увольнять на вольные работы для поправления одежды..."

Стал получать такие увольнения и Ефрем Загребельный. Деньги, им заработанные, исправно записывались "на приход". Сам же мастеровой чувствовал себя с каждым днем хуже: его засасывала тоска. Однажды, возвращаясь с "вольной работы", он зашел в питейный дом и попросил водки. В экипаже рядового ждало за это наказание. Тогда Загребельный решил не возвращаться. Тайком пробравшись в казарму, он взял скрипку, с которой не расставался, и ушел. Играл людям, изливая горечь своей души. Люди его кормили-поили. Ночевал где попало. Однако утешение было не долгим. Через неделю, не в силах более скрываться, он вернулся с повинной. И попал под арест.

А несколько дней спустя, прогнанный через строй шпицрутенгов, Загребельный отправился в арестантские роты - "для зачисления в разряд всегдашних арестантов с содержанием в оковах".

"Всегдашних" - значит, бессрочных.

И ушел он из Астрахани, неся оковы и... скрипку.

Это было как раз в те дни, когда Шевченко встречался с Незабытовским. Горькое оно, это дело Ефрема Загребельного, Незабытовский знал еще по Севастополю.

КОММЕНТАРИЙ К "ОДИНЦЕВУ"

"Я запишу в своем дневнике, что 16 августа я провел день с поэтом Малороссии Шевченко.

Евгений Одинцев"

Дневник Одинцева неизвестен. Более того, неизвестно, был он или не был. А об авторе записи хочется знать гораздо больше.

И снова поиск в том же богатейшем Архиве Военно-Морского Флота.

Евгений Одинцев (так именовал он себя сам) значится в документах (Ф. 406.- Оп. 6.- Д. 231.- Формулярный список № 191) Евтихием Ивановичем Одинцовым.

Правда, в одном из формулярных списков проскользнуло "Евгений", но это произошло, скорее, по недосмотру письмоводителя.

Медицинское образование Одинцов - "из обер-офицерских детей" - получил в Казанском университете. Земляком Шевченко он не был. На Каспийский флот его прислали весной 1855-го. В Астрахани служил младшим врачом 46-го флотского экипажа. В 1857 году Евтихию-Евгению исполнилось двадцать пять.

Пятнадцать лет спустя (это уже из другой подшивки бумаг - Д. 772.- № 34), он оставался по-прежнему "младшим". Правда, теперь младшим запасным судовым врачом Каспийского экипажа. К полученной в начале его деятельности бронзовой медали в память войны 1853-1856 гг. наград не прибавилось. В течение ближайших за тем лет повышений и перемещений не последовало.

Тогда же, когда Незабытовский и Одинцов, сделал запись в дневнике еще один новый знакомый Шевченко.

Однако на этом месте свой рассказ о знакомствах тех дней я пока прерву. Вернусь к нему чуть дальше...

ПОИСК ПРЕКРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ

Из Астрахани Шевченко отправил несколько писем.

Первое - Брониславу Залескому, другу поляку, соизгнаннику оренбургскому.

"Пишу тебе менее, нежели мало, но пишу из Астрахани, на пути в Петербург, и, следовательно, это миниатюрное письмо родит в твоём благородном сердце огромную, роскошную библиотеку. В один день с твоим письмом от 30 мая получил я и официальное известие о моей свободе. Добрый Ираклий дал мне от себя пропуск прямо в Петербург, минуя Уральск и Оренбург, а следовательно, и 1000 верст лишнего и дорогого пути... 15 августа понесет меня пароход из Астрахани до Нижнего Новгорода, а оттуда дилижанс в Москву, а из Москвы паровоз в Петербург. Весело, друже мой единый, невыразимо весело, когда наши волшебные воздушные замки начинают быть осязательными..."

Так это письмо начиналось - первое после освобождения из неволи. В дневнике упоминаний о нем нет.

Что касается трех других писем, отправленных из Астрахани, то они на дневниковых страницах перечислены.

10 августа: "...по случаю духоты и пыли на улице, я пробыл весь день в комнате, написал радостные письма друзьям моим Лазаревскому и Герну". И тут же, сразу: "Кухаренку напишу завтра. Ожидаю от него ответа на "Москалеву и не знаю, что значит его молчание?"

13 августа: "После чаю написал Кухаренку письмо, нарочито небольшое..."

14 августа: "...отнес на почту письмо..."

Это письмо - "нарочито небольшое" - известно и печатается. Доступно прочтению также письмо к М. М. Лазаревскому.

Не обнаружено - и потому не публикуется - астраханское послание поэта к Герну.

Найди мы его - яснее стали бы многие вопросы, в частности о шевченковских материалах, долгое время хранившихся в Оренбурге, в доме этого искреннего друга Шевченко.

Но... письма не видел ни один из исследователей его биографии. Как не видел и других писем поэта к этому адресату.

Такие пробелы не могут не волновать. И потому уже здесь хочу говорить о поисках, которые необходимы.

Однако раньше - о датах писем. Тех, о которых здесь сказано. Отысканных - и ненайденного.

Почему этот вопрос возник?

Если мы сопоставим записи в дневнике и числа, указанные в самих письмах, то сразу обнаружим определенные несоответствия.

Письмо Б. Залескому, датированное и автором, и публикаторами 10-м августа, не упомянуто, как уже сказал, ни в одной из астраханских записей, в том числе и за десятое, в которой прямо отмечается факт написания "радостных писем", но... среди адресатов их называются Лазаревский и Герн, о Залесском же не говорится ни слова.

Итак, письмо Лазаревскому значителся тут как написанное 10-го. А под ним самим - 14-е...

Разнобой в датах служит существенной помехой при составлении летописи жизни и творчества поэта-революционера.

Как быть? Полагаю, что слепо доверяться датам, указанным в письмах, хотя и проставлены они рукою самого Шевченко, нельзя. В необычайной суете первых "вольных" дней не исключены ошибки и опiski. В отдельных случаях Шевченко мог нарочно проставлять более дальние числа, чтобы избежать необходимости писать адресатам вторично, уведомляя о дне отплытия.

Дневник наверняка точнее. И, руководствуясь им, сличая записи с перепиской, можно сказать, что письмо к Залескому было отослано 10 августа - то есть в тот же день, которым помечено, письма к Лазаревскому и Герну написаны 10-го, но попозже и отправлены через день-два после написания, а Кухаренко, написав 13-го, поэт отослал 14-го. Значит, встреча с Христофором Моисеевичем Еленевым, смотрителем астраханского госпиталя, произошла 12-го или ранее. И ряд других дней представляется по-другому.

Все это как будто не столь уж важно. Но есть ли, может ли быть несущественное, когда речь идет о Шевченко?

Писать о Герне мне уже доводилось. В связи с недошедшим до нас астраханским письмом к нему Шевченко обращаюсь сейчас к этой личности вновь. Прежде всего для того, чтобы поделиться мыслями о больших возможностях отыскания материалов о людях, к поэту близких, а в их архивах, среди их бумаг - его, шевченковских, автографов и художественных работ.

В Оренбурге, его обширнейшем архиве мне посчастливилось найти немало материалов о квартирмейстере 23-й пехотной дивизии - человеке, который в годы ссылки Шевченко был для него искренним и надежным другом. О них (и о нем) я уже писал, здесь же только напомним, что особенно тесной их дружба стала "оренбургской зимой" 1849- 1850 годов, когда Герн предоставил Шевченко квартиру в своем доме, что тут поэт встречался с друзьями, писал стихи, а флигель дома служил мастерской художника, в которой он создал серию портретов и автопортретов, многие виды Арала и степи. По доносу прапорщика Исаева о том, что Шевченко нарушает "высочайшую волю", сюда в ночь на 23 апреля нагрянули с обыском. Герн сумел предупредить своего друга, и часть бумаг была уничтожена. В дальнейшем, все годы ссылки поэта,

он продолжал оказывать другу немало добрых услуг. Это благодаря ему сохранились шевченковские "захалявные книжки" и альбом акварельных рисунков.

Но не все реликвии, бывшие в доме Гернов, ныне известны. Достаточно вспомнить астраханское письмо, чтобы убедиться: нет, не все. Несомненно оставались в семье рисунки Шевченко, им подаренные, какие-то работы портретного жанра.

Однажды пришла ко мне мысль: а не живут ли сейчас в Оренбурге или области люди с фамилией Герн? И нет ли среди них потомков штабс-капитана?

Оказалось, что есть.

Ксения Васильевна Герн откликнулась тотчас. Из ее письма я узнал, что покойный муж женщины был внучатым племянником Карла Ивановича. До войны они жили в Харьковской области. В их доме хранилось несколько старых альбомов с семейными фотографиями, на стенах висели "красивые рисунки". Все это сгорело в огне, после бомбежки Ксении Васильевне удалось спастись самой и уберечь дочь. Теперь она медицинский работник в Бузулуке.

Моя корреспондентка, между прочим, сообщила, что ее муж переписывался со своим дядей, профессором физики в Смоленске. Имени-отчества дяди она не помнила, но я уже знал (по указателю "Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР"), что там действительно долгие годы служил Богдан Адольфович Герн, профессор педагогического института, и бумаги его сохраняются в Архиве Академии наук СССР.

Фонд № 322 этого архива не давал мне покоя. Тем более, что и Адольфа Герна Шевченко упоминал в одном из своих писем периода начала ссылки, а значит, он, младший брат штабс-капитана, также относился к числу знакомых поэта.

При первой возможности, как только удалось поехать в Ленинград, отправился я в здешнее отделение архива Академии.

Едва ли не ценнейшим в деле 2-м фонда оказались рукописные "Воспоминания о пережитом". В описи они значатся, как труд самого Богдана Адольфовича, но при внимательном чтении выяснилось, что это недоразумение. Мемуаристом был его брат Петр, тоже племянник Карла Ивановича.

Наиболее интересное для меня обнаружилось в первой же части. Автор записок вспоминал давно ушедшее детство, проведенное в деревне Морево Ду-ховщинского уезда Смоленской губернии. Имение было куплено Адольфом Ивановичем у 3. П. Повало-Швейковского в 1858 году.

Вот описание кабинета в моревском доме:

"Стены были увешаны различными портретами и картинами небольших размеров, работы его брата, казацкого генерала Карла Ивановича Герна... Затем в кабинете висели фотографические изображения папиных профессоров и карикатурные изображения, не знаю, чьей работы. Это все погибло..."

Нужно ли говорить, что тут важно все? Но особенно, конечно, свидетельство о портретах, картинах и карикатурных изображениях - в одном случае "работы К. И. Герна", а в другом "не знаю, чьей работы". Никаких - решительно никаких - свидетельств о том, что Карл Иванович рисовал, писал акварелью или маслом мне не встречалось. Ни слова об этом нет и в воспоминаниях Герна о Шевченко, хотя в них, разумеется, был удобный повод сказать (или хотя бы упомянуть) о такой общности друзей, как увлечение обоим одним и тем же искусством. Вот почему, читая о "работах К. И. Герна", невольно думаешь о том, что они, действительно присланные в Морево Карлом Ивановичем, могли быть выполнены другом их семьи Шевченко. И

"аллегорические кар-рикатурные изображения" тоже. О каррикатах, или дружеских шаржах, сделанных им, мы знаем из источников мемуарных - от Ф. Лазаревского, Э. Нуда-това и других современников; сами же по себе эти работы в большинстве своем утрачены.

В воспоминаниях П. А. Герна тепло упоминается "тетушка" Мария Ивановна Герт (которая знала Шевченко в 1849-1850 годах, общаясь с ним и в доме брата, и в доме сестры Елизаветы, бывшей замужем за Альфонсом Киршей), а затем в течение долгих лет жила то под Смоленском и в самом Смоленске, то в станице Боргустанской близ Ессентуков, у Киршей, ставших известными в России сыроварами. Это также, между прочим, имена, которые являют собою пусть тоненькую, а все же нить к поискам неизвестного шевченковского материала, который таким образом может оказаться и на Смоленщине, и в Ставрополье. Мог быть он в семьях Таугер, Лукомских и др. с Тернами теснейшими родственными узами.

...В воспоминаниях Карл Иванович Герт назван "казацким генералом", а далее и "помощником у Обручева". Он действительно дослужился до весьма высоких постов и в отставку ушел генерал-майором. К тому времени Герт, судя по сведениям Государственного архива Оренбургской области (Ф. 38.- Он. I.- Д. 7), уже являлся владельцем небольшого поместья в Белебейском уезде Оренбургской губернии - хутора близ деревни Кургазы.

На этом хуторе он многие годы хранил присланные ему из Новопетровского укрепления формы барельефов: "один изображал внутренность киргизской кибитки с двумя сидящими фигурами, мужчиной и женщиной, другой - молящегося спасителя". В своем письме к М. М. Лазаревскому о Шевченко, посланном в девяностых годах, Герт по поводу форм писал: "К сожалению, я их не взял с собою в Орду, а оставил у себя на хуторе; а то бы можно было на память друзьям отлить этих барельефов сколько угодно. Впрочем, время на это еще не ушло; когда-нибудь бог даст мне вернуться домой..."

А может, не бесполезно искать и теперь? Что-то могло "осесть" на месте, остаться если не на хуторе, то в Кургазах или окрестных селах?

Найти скульптурные работы Шевченко заманчиво.

Заманчиво отыскать и другие реликвии, хранившиеся у Герта, в том числе, конечно, письма. Посланное из Астрахани, а вместе с ним и иные... Отыскились же сравнительно недавно в Кракове автографы писем поэта к Брониславу Залесному!

Сколько ценнейших шевченковских материалов ждет еще обнаружения и обнародования...

ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПРАЗДНИКОМ

(Продолжение)

ДВАЖДЫ ЗЕМЛЯК

Возвратимся к рассказу об астраханских знакомствах-встречах, о днях, которые стали для поэта праздником.

Одновременно с Незабытовским и Одинцовым сделал запись в дневнике еще один новый знакомый Шевченко.

"С душевным восторгом я встретил и провел несколько часов с моим милым батюшкой, старым казаком Тарасом Григорьевичем Шевченко, за что очень благодарен богу, что он довел меня быть вместе с ним.

Федор Чельцов"

Эти строки записаны тогда же, шестнадцатого августа.

А на следующий день, 17-го, в дневнике оказалась заметка довольно "странного" содержания. Чельцов вписал в заветную тетрадь притчу о черте, который попал в солдаты.

Вот она - запись, о которой идет речь:

"Иван Рогожин из дружбы к Перфилю поступил за него на полгода в солдаты; но как не хитер и не изворотлив был бес, но никак не мог примениться к порядку, и его, бедного, драли, як Сидорову козу, так что, когда прошло уже полгода, ему стыдно было показаться к своему набольшему. Бедный бес не рассчитал, что как наденет ранцы, то выходит крест, и так ему поистине пришлось несть крест господень, а Перфил, когда услышал от него рассказ о службе, сказал ему: "в чужие сани не садись". С тех пор ни один бес уже не хотел служить в солдатах; Офицеры, як по-чулы от Перфила о том, что Рогожин за него пробыл полгода, выразили свой восторг словами: "Знатно, и бес побывал в наших руках".

Скрепил Иван Рогожин. Фельдфебель Перфил"

Шевченко запомнил "Рогожина". Немногим более полутора месяцев спустя он писал о нем - имея в виду Чельцова - в своем нижегородском послании И. П. Клопотовскому. Дважды появилось имя беса в надписях на подаренном все тому же Чельцову сначала автографе отрывка из поэмы "Царѣ" - "Федору Чельцову (И. Рогожину), на память 16 августа 1857", а позднее на экземпляре только что вышедшего "Кобзаря" - "Федорови Чельцову (он же и Иван Рогожин) от автора 12 лютого 1860 року".

В том, что Чельцов и "Рогожин" соединились в представлении поэта в одно лицо, сомнений нет и быть не может. Встречая в литературном наследии Шевченко упоминание об Иване Рогожине, мы знаем и помним: здесь намек на Федора Чельцова и рассказанное им тогда, в Астрахани. Но откуда почерпнул этот народный, солдатский рассказ Чельцов? Где услышал его? Что за человек сам?

Комментаторы сообщают, что был он врачом - питомцем Киевского университета и закончил его в 1853-м; значит, еще один земляк Тараса Шевченко. Но этого ведь мало...

...Чельцов Федор Иванович!

Послужной список (Ф. 406.- Оп. 6.- Д. 231.- № 229) был составлен 1 сентября 1857 года - через две недели после того, как состоялось знакомство Шевченко с Чельцовым. О, мне повезло - он здесь такой, каким представлялся начальству как раз тогда, когда познакомился с ним поэт.

Служил Чельцов врачом в Астраханской строены ластовой роте... Тридцать лет от роду... Из вольноотпущенных - иными словами, из бывших крепостных... Холост...

Курс медицинских наук он действительно постиг в Императорском университете св. Владимира; степени лекаря его удостоили там же, в Киеве, в 1853-м.

Но главное было далее.

Стать военным лекарем, по всему судя, Чельцов не собирался и уж никак к этому не стремился. Вскоре по окончании курса Чельцов сдал в университете экзамен

на звание уездного лекаря и служил бы себе спокойно где-нибудь в Чигирине или Золотоноше - пользовал пациентов, обзавелся домом, развел сад, растил детей.

Тихий, спокойный уезд обернулся для него... Севастополем.

Его определили младшим врачом в 34-й флотский экипаж, для начала прикомандировали к севастопольскому госпиталю - наверное, ради получения первоначальной практики, а затем... затем начались боевые будни на судах, в строю. Он плавал на двенадцати-пушечном бриге "Язон" и шестнадцатипушечном "Энее"; в составе эскадры Нахимова участвовал во взятии турецкого парохода "Мецери Теджерид"; оказывал раненым помощь на полевых пунктах морских стрелковых батальонов; включался в абордажные батальоны и делил вместе с ними все опасности смелых рейдов; ходил на кораблях "Императрица Мария", "Париж", "Чесма"; дежурил, когда было особенно трудно, в операционных и палатах военно-сухопутного, а затем морского госпиталя все того же Севастополя...

На четвертом бастионе осколок снаряда ранил и контузил лекаря, когда тот перевязывал солдата. Но меньше всего думал Федор Иванович о себе. Перестало воспринимать звуки правое ухо? Не смертельно! Можно ли думать о таких пустяках, если вокруг столько крови и - такое геройство?!

Раненых нужно было вывозить. Чельцова отправили с транспортом, который следовал в Николаев. Увез, доставил - и возвратился снова. Так происходило не раз.

После этого оказался он в тихой Астрахани и спокойном ее военно-сухопутном госпитале. А в августе 1856-го получил назначение на должность врача управления и портовых рот в этом же городе, к которому за несколько месяцев привык. Непосредственным попечением медика Чельцова препоручили строевую роту, сформированную в значительной части из тех, кто, как и он, дрался в Севастополе. Серебряную медаль "За защиту Севастополя", вместе с орденом св. Анны третьей степени, ему вручили уже здесь...

...Снова и снова обращаюсь к сделанной Чельцовым записи о чёрте Рогожине.

"Фольклорные источники этого пересказа (внесение которого в шевченковский дневник навеяно недавней солдатчиной поэта) не установлены..." - говорится в комментарии.

Тот, кто занес народный анекдот в памятную тетрадь Шевченко, о солдатской его службе помнил хорошо. (Прочтем хотя бы вот это место: "С тех пор ни один бес уже не хотел служить в солдатах; а ты ж то, батьку, десять лит пробув в них..."). Но можем, должны ли мы сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что тяготы солдатской службы, к тому же в годину войны, полной мерой познал сам Чельцов? Будет ли преувеличением, если предположим, что анекдот о черте, попавшем на военную службу и хлебнувшем ее досыта, относился к тем, которые являлись популярными именно среди севастопольцев?

Преувеличения здесь, думается, нет.

Конечно, хочется знать, как складывалась судьба Ф. И. Чельцова в дальнейшем. В том самом фонде Архива Флота в делах 771, 212, 997 отыскиваю еще несколько послужных его списков - вплоть до второй половины восьмидесятых годов. Узнаю, что с 1858-го плавал он на судах по Каспийскому морю, служил в госпитале Астрабадского залива, был старшим врачом промерной экспедиции в Баку, возвращался на какое-то время в Астрахань и снова ходил по морю, женился только в сорок шесть, и лишь в 1875-м родился его первенец - Вячеслав. Старший судовой врач

Каспийского экипажа - такую должность занимал Чельцов согласно последнему из отысканных его формуляров за 1886-й.

Дальнейшее неизвестно. Но разве можно забыть его записи в шевченковском дневнике? И благодарные слова поэта о "благородных, бескорыстных друзьях", которые обласкали его в Астрахани? И то, наконец, что Чельцову-"дважды земляку": по Киеву и по Астрахани - подарил он полученное при выезде из Новопетровского свидетельство об отсутствии на Мангышлаке "эпидемической болезни" с переписанным на обороте отрывком из "Цар!в"?

"СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ"

18 августа в компании появилось еще одно лицо.

"В. Кишкин, встреча со старым знакомым",- тогда же записал он, Кишкин, в дневнике Шевченко.

Потом, во время путешествия по Волге, Тарас Григорьевич будет упоминать его часто.

Знакомство могло произойти еще в Петербурге. Ничего фантастического в таком варианте нет: Владимир Васильевич Кишкин происходил из Луги - городка столичной губернии, восьмилетним был определен в Александровский кадетский корпус, три года спустя переведен в Морской кадетский корпус, в 1842-м стал гардемаринном, в 1844-м - мичманом, и все это в Петербурге, ни разу, если судить по формулярным спискам (ЦГАВМФ.- Ф. 406.- Оп. 3.- Д. 349.- № 221; Д. 386.- № 29), надолго город не оставляя. Службу на море девятнадцатилетний мичман начал там же, курсируя между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. На Балтике ему довелось служить много лет; только последние годы военно-морской своей службы провел он на Каспийском, Черном (Севастополь!) и снова Каспийском морях. "Последние" - с 1853-го или 1854-го - в чине лейтенанта.

Шевченко и Кишкин могли познакомиться в Петербурге - исключить такое оснований нет. Однако более вероятным кажется все же предположение о встрече (или встречах) будущих друзей в Новопетровском укреплении. Военные моряки Каспийского экипажа заходили и в Тюк-Караганский залив, посещали форт, бывали гостями коменданта. Среди множества знакомств поэта могло случиться и это.

Ко времени астраханской их встречи В. В. Кишкин военным моряком уже не являлся. Опытные морские офицеры были нужны и для службы на коммерческих судах. Существовал порядок: желавшие перейти в "высочайше утвержденную частную компанию" подавали рапорты и "на основании высочайшего указа, данного адмиралтейств-коллегий в 9-й день апреля 1802 года" могли быть уволены "с зачислением по флоту, на половинном по чину жалованьи и с оставлением при них денщиков" (так значится в "Памятной книжке Морского ведомства на 1856", с. 287). Воспользовался таким правом и лейтенант Кишкин: с 5 марта 1857 года он, согласно аналогичной Книжке на пятьдесят седьмой (с. 261), значился на службе в паровой компании "Меркурий".

В Астрахани Владимир Васильевич появился 12 августа: в этот день "пришел сверху пароход "Князь Пожарский". В первые дни дел у капитана было много, но приглашение отметить возвращение Шевченко он принял и в гости пришел.

Благодаря Сапожникову (добавлю - и Кишкину) поэт получил возможность плыть до Нижнего Новгорода бесплатно. "Пятирублевый билет, взятый мною, я возвратил в контору пароходной компании "Меркурий" с тем, чтобы он был отдан первому бедняку безденежно. Капитан парохода "Князь Пожарский" Владимир Васильевич Кишкин распорядился так, что вместо одного бедняка поместил на барже пять бедняков, не могших заплатить за место до Нижнего даже по целковому. Черта практически благородная". Так записал Шевченко накануне отплытия.

С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ...

"19 (августа).

Lekarz Karol Nowicki

Pawel Radziejowski

Tytus Szalewicz".

В эти дни шевченковский дневник лежал, наверное, на самом видном месте. Всяк приходивший оставлял в нем то несколько строк, то просто роспись.

Девятнадцатого в гостях побывали Кароль Новицкий, Павел Радзейовский и Титус Шалевич.

Ни о Радзейовском, ни о Шалевиче мне пока узнать ничего не удалось. Во всяком случае, к военно-морскому или военно-медицинскому ведомству отношения они не имели, да и воспитанниками Киевского университета не были.

Среди тех, кто приходил приветствовать Шевченко, Новицкий был едва ли не самым старшим. И по возрасту, и по званию... В пятьдесят седьмом ему исполнилось сорок три года; коллежский советник, он являлся главным врачом 44-го флотского экипажа.

Карл Иосифович Новицкий (так в документе официальном) происходил из беспоместных дворян и учился в "бывшей" Виленской императорской медико-хирургической академии. Окончив курс наук в 1842-м, он, удостоенный звания лекаря первого отделения, благополучно продвигался по служебной лестнице.

Единственным большим событием, нашедшим отражение в его послужных списках, стало участие в обороне Севастополя (новая фамилия - и еще один севастополец!).

С ноября 1853 года Новицкий находился на корабле "Великий князь Константин" под началом вице-адмирала Нахимова. Синопское сражение между русской эскадрой Черноморского флота (6 линейных кораблей, 2 фрегата) и турецкой эскадрой под командованием Османа-паши (7 фрегатов, 2 парохода-фрегата, 3 корвета, 2 транспорта, 2 торговых брига) было ярчайшим воспоминанием для каждого, кто в нем участвовал - и для Новицкого в их числе. Тогда, в самом начале Крымской войны, он стал очевидцем блистательной победы российского оружия. Лекарю Новицкому довелось оказывать первую помощь пролившим свою кровь в Синопской бухте.

В следующем году он принял непосредственное участие в обороне Севастополя от вооруженных сил Франции, Англии, Турции и Сардинии. Новицкий был здесь с первого дня обороны - 13 сентября, в течение всего октября, ноября, декабря - до 10 января следующего, 1855 года. При нем получил смертельную рану вице-адмирал

Корнилов. При нем возглавил оборону главной базы русского Черноморского флота хорошо ему и всем известный по Синопу П. С. Нахимов.

После того как военные грозы отшумели, оставил в памяти многочисленные примеры героизма матросов, солдат, офицеров, а на сердце тяжелый камень проигранной (несмотря ни на что, проигранной) войны, Новицкий был занят своей привычной, мирной работой, да еще новыми, необычными для него обязанностями молодого семьянина и отца.

На Каспийском, а затем Черном море (в Николаеве) он служил до старости и в отставку ушел где-то после того, как ему исполнилось семьдесят.

Каждое из приведенных сведений имеет под собою основательный фундамент достоверных источников (ЦГАВМФ.-Ф. 406.-Оп. 6.-Д. 212.-№ 18; Д. 231.- № 16; Оп. 3.- Д. 887.- № 24).

ТОМАШ ЗБРОЖЕК

И снова обращаюсь к дневнику. Под датой "20 августа" - еще одна запись, сделанная не рукою Шевченко. Как и предыдущая, она на польском. Вот ее перевод:

"Красноречие немногим досталось в удел; мне же, лишенному этого божественного дара, остается только молча удивляться и благословлять творческую твою мощь, святой народный пророк-мученик Малороссии. Нынешнее твое пребывание среди нас делает меня совершенно счастливым, и минуты общения никогда не изгладятся из моей памяти. О, стократ, стократ благословляю тот драгоценный день, в который небо позволило мне близко познакомиться с тобою, ревностный и смелый глашатай слова правды. Пусть же эти несколько слов напоминают тебе, поэту-художнику, глубокое почитание уважающего тебя Т о м а ш а З б р о ж к а".

Уже из самой записи можно узнать: и поэзия, и деятельность "смелого глашатай слова правды" были Зброжеку известны, сейчас же состоялось близкое - или личное - знакомство, принесшее ему ощущение "совершенного счастья".

Ну вот теперь пришло время рассказать и о Зброжеке.

Источник моих сведений о нем - тот же, что и в случаях предыдущих: Центральный Государственный архив Военно-Морского Флота СССР, его обширнейшая коллекция послужных списков.

...Значит - Фома Иванович, или Томаш Зброжек. Что послужные листы расскажут о нем?

"Воспитывался в Императорском университете св. Владимира на казенном иждивении и по окончании курса наук удостоился степени лекаря..." Когда удостоился? "1850, апрель..."

Как и некоторых других "казеннокоштных", назначили молодого медика младшим врачом флотского экипажа. Правда, в отличие от тех, о которых речь уже шла, в Севастополь он попал еще до начала Крымской войны. А когда война началась...

"Был на корабле "Чесьма" в сражении при истреблении турецкой эскадры на Синопском рейде 18 ноября 1853 года.

Во все время осады г. Севастополя англо-французскими войсками, т. е. с 13 сентября 1854 г. по 28 августа 1855 г., находился в составе гарнизона Севастополя, состоя безотлучно на главных перевязочных пунктах его, под выстрелами неприятеля.

Находился на военных действиях в минувшую войну 1853-1856 годов и именно: на Черном море и в Крыму с 20 октября 1853 по 13 сентября 1854 года и с 28 августа по 16 сентября 1855 года и в Николаеве с 16 сентября по 22 октября 1855 года".

Сражение при Синопе... 349 дней Севастопольской обороны... Другие операции Крымской войны... Он действовал геройски, и за Синоп получил св. Анну третьей степени вместе с годовым окладом, за оборо--ну Севастополя - св. Анну второй степени, си. Станислава с мечами и бриллиантовый перстень, а в память о всей кампании - серебряную медаль на георгиевской ленте.

В Астрахань Зброжек прибыл летом 1856-го. Уже здесь, вскоре по приезде, его назначили старшим врачом в 17-й рабочий экипаж. В этой должности (и в чине коллежского асессора) состоял он тогда, когда получил возможность увидеть Шевченко, пожать его руку, нежно, по-дружески обнять, а затем написать те взволнованные строки, которые прочли вы раньше.

...Жизнь Зброжека проследить удалось не до конца - до семидесятых годов. Я узнал, что он ходил на судах по Каспийскому морю, потом служил в Кронштадте и... потерял его, когда морской медик начал службу в качестве старшего судового врача 3-го флотского экипажа. (ЦГАВМФ.- Ф. 406.- Оп. 3.-Д. 691.-№ 42).

Когда и где он умер? Детей у него не было - это мне известно. Но у кого-то ведь должны были остаться бумаги, письма, фотографии. Подаренное Чельцову известно. А не было ли дорогих нам реликвий у Фомы Ивановича - тоже земляка-киевлянина и тоже поэту милого?..

ДОМ ЗА КУТУМОМ

Очутившись как-то за Кутумом, остановился Шевченко перед необычным с виду домом. Он вызвал в нем поначалу мысль о "загородном трактире средней руки", потом вопрос, "не дворянское ли это астраханское собрание", а на самом деле оказался, как гласила табличка над воротами, домом Сапожникова.

Прочитанному поэт не удивился.

"...Не будь Александр Александрович Сапожников бриллиантовою звездой астраханского горизонта и безмездным астраханским метрботелем, я зашел бы к нему, как старому знакомому, но эти великолепные его недостатки меня остановили..."

Остановили и заставили повернуть "налево кругом": к "грязным живописным закоулкам", которые он увидел "за домом и садом Сапожникова".

К миллионеру Шевченко предпочел тогда не заходить.

Не зашел бы, наверное, и в последующие свои астраханские дни, не прояви тот инициативы самолично.

15 августа, через неделю после описанной "встречи с домом", Зброжек сообщил Сапожниковым о том, что Шевченко в Астрахани. "И 16 августа я возобновил старое знакомство с Александром Александровичем. Это уже был не шалун-школьник в детской курточке, которого я видел в последний раз в 1842 году. Это уже был мужчина, муж и, наконец, отец прекрасного дитяти. А сверх всего этого, я встретил в нем простого, высокоблагороднейшего, доброго человека. Черта, характеризующая

семейство Сапожниковых. Он, не знаю как надолго, оставляет Астрахань, и до Нижнего Новгорода предложил мне каюту на абонированном им пароходе "Князь Пожарский"...

Запись, сделанную Шевченко, дополнил - и частично расшифровал - учитель И. П. Клопотовский.

"...Сапожников был хорошо образованный человек и пользовался в Астрахани большим авторитетом. В бытность в Петербурге в молодых годах он познакомился с Шевченко и чуть ли не брал у него уроки живописи.

Узнав от И. П. о приезде Шевченко и где находится его квартира, Александр Александрович послал за ним свой фаэтон. Встреча этих двух знакомых... была трогательна и поучительна. Сапожников обласкал Шевченко и не выпустил его из своего дома вплоть до отъезда поэта в Нижний Новгород. Семейство А. А-ча также приголубило поэта, несколько одичавшего в ссылке, и старалось развлечь его различными удовольствиями. Незадолго до отъезда Тараса Григорьевича Ал. Ал. Сапожников устроил в честь его катанье по Волге на своем пароходе. Для участия в этой прогулке были приглашены несколько человек из местной интеллигенции и молодежи именитого купечества. Этою прогулкою А. А. Сапожников очень тактично воспользовался, чтобы снабдить Тараса Григорьевича деньгами на дорогу до Петербурга... Ал. Ал. уговорил его разыграть в лотерею картины... Картины достались А. А. Сапожникову. Однако счастливцев не взял их себе, а под разными благовидными предложениями оставил их у поэта..."

Но перервем цитирование... Поставим вопросы, вытекающие из прочитанного в дневнике, из воспоминаний, записанных Кларком. Главные среди этих вопросов: о характере старого, давнего знакомства в Петербурге, а равно почему, увидев имя Сапожникова над воротами дома в Астрахани, поэт несколько не усомнился в том, что носитель распространенной русской фамилии это именно Александр Александрович. Он, а не кто иной...

Для меня было неожиданностью, когда вдруг я выяснил, что А. А. Сапожникову в 1857-м едва исполнилось двадцать три года.

Совсем молодой человек приветил Шевченко в Астрахани, и хоть был он миллионером, главное в его отношении к недавнему солдату шло не от "щедрости" капиталиста, а от эмоций бурлящей через край молодости.

Они не виделись с сорок второго... Тогда, выходит, Сапожникову было восемь. Заметки ленинградского краеведа И. Пиккиева помогли мне найти в городе на Неве, на прежней Английской набережной, небольшой ампирный особняк с балконом, где жил со своей семьей в сороковые годы первогильдейный купец и кавалер, коммерции советник Александр Петрович Сапожников. Не было у купца ни пышного герба, ни дворянской родовитости, но обладал он деловой предприимчивостью да капиталами, причем большими, и именно это дало ему возможность поселиться в одном из самых фешенебельных районов столицы, бок о бок с князьями и графами. Экипаж Сапожниковых, ежедневно выезжавший и въезжавший через ворота на Галерной (сейчас Красной) улице, куда выходил задний фасад богатого особняка, не уступал самым лучшим петербургским выездам.

Александр Петрович слыл не только предпринимателем, но и меценатом. "Общество поощрения художников" получало от него значительные денежные взносы. Знали коммерции советника и в Академии художеств, которая находилась на противоположном берегу Невы, как раз напротив его дома.

В этом доме бывали живописцы, графики, скульпторы. А когда подросток Саша Сапожников и отец задумал учить его рисованию, кто-то порекомендовал в учителя слушателя Академии Тараса Шевченко.

От тех посещений остался в семье его, шевченковской, работы портрет Н. А. и П. И. Сапожниковых. А еще - память о молодом художнике из крепостных.

Со временем сын купца первой гильдии стал наследником огромного состояния. Компания "Братья Сапожниковы", которая возникла еще в 1819 году, к середине XIX века владела 42 тысячами десятин земли, 12 крупными рыбными промыслами, 8 пароходами, 12 баржами и многим, многим другим. Годовой оборот ее составлял 9 миллионов рублей. Работали тут свыше 11 тысяч человек. Это только постоянных рабочих; с сезонными их насчитывалось гораздо больше. Владения Сапожниковых были по всей Волге, по всему Каспию. Предприниматели брали самые различные подряды. Когда, например, создавалось Новопетровское укрепление, компания зарекомендовала себя "усердным содействием с значительною для казны выгодой в приобретении разных материалов и открытии между Гурьевым-городком и означенным укреплением сообщения". Кроме того, ею же были "доставлены такелаж и разные принадлежности к судам и лодкам, находящимся... в возведенном на р. Сырдарье укреплении". Посланец Сапожниковых Петр Гулимов, находясь в Оренбурге, "сделал первое мореходное с палубой для Аральского моря судно с двумя лодками". (Об этом - в фонде 120 Отдела рукописей Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина: Д. 2588.-Лл. 24-25).

Шевченко ходил на этом судне по неизведанному Аралу, а в форте над Каспием находился, как известно, семь лет.

Там, в Новопетровском укреплении, мог он узнать и о Александре Сапожникове. Помните, в первой же записи, ему посвященной, Сапожников назван "безмездным астраханским метрдотелем"? "Безмездным" - значит, даровым, ничем не вознаграждаемым. Откуда эта характеристика? Оттуда же, откуда и уверенность, что владелец дома - тот самый "старый знакомый". Наиболее вероятный канал для получения таких сведений - либо К. М. Бэр, либо другие участники его экспедиции. В доме Сапожниковых длительное время находилась "штаб-квартира" экспедиции. Она располагалась здесь именно "безмездно" (если, конечно, не учитывать глубокой экономической заинтересованности хозяев в результатах работы экспедиции...). Щедрейшие угощения, которые устраивались для академика и его помощников, нашли отражение даже в дневниковых записях Бэра. На страницах этого дневника, опубликованного в первом томе его научного наследия (1948), Сапожниковы упоминаются часто.

Сведений о каком-либо непосредственном общении Шевченко и Сапожникова - хотя бы посредством переписки - мы не имеем. Таких связей, скорее всего, не было. Но, плывя в Астрахань, поэт о Сапожникове знал. Опасаясь, однако, что может быть принят в качестве "просителя", он предпочел обойти дом богача стороной. Встреча, как мы знаем, состоялась лишь тогда, когда Шевченко был разыскан самим миллионером.

Потомственный почетный гражданин, купец и промышленник, он в Астрахани являлся личностью видной. Читая "Астраханские губернские ведомости" хотя бы за тот же 1857-й год, мы встречаем его имя и среди участников "благородных спектаклей", и в числе "особ, пожертвовавших в пользу бедных". Сапожниковы были попечителями "сиротовоспитательного дома".

"Он отличался большою начитанностью и порядочными знаниями в области разных наук..." Это уже не из воспоминаний Клопотовского, а из источника официального: заметки в "Календаре "Волжского вестника" на 1888 год". Помещенная вскоре после смерти Александра Александровича, последовавшей в июне 1887 года, она характеризовала его как видного общественного деятеля Астраханского края, прославившегося не только широкой благотворительностью, но и большой организаторской работой. В 1867-м Сапожников избрали городским головою и вскоре после того - как говорилось в заметке-некрологе - "только благодаря ему город был спасен от потопления".

Но это - из будущего. Тогда же, в пятьдесят седьмом, Шевченко встретил знакомого ему "шалуна-школьника" преуспевающим, но, повторяю, еще совсем молодым коммерсантом-промышленником, только-только ставшим на путь самостоятельной деятельности. То, что он был начитанным и читающим, с увлечением декламировал Барбье, интересовался живописью и знал языки, усиливало в поэте симпатию к этому человеку, олицетворявшему в его глазах все новое, что рождалось в России, вызывая надежды. Сапожников продолжал начатое отцом коллекционирование художественных полотен. (В его коллекции в свое время находилась знаменитая "Мадонна с цветком" Леонардо да Винчи - та самая, которая сейчас под названием "Мадонна Бенуа" украшает Эрмитаж). Мог ли владелец такого исключительного богатства не приоткрыть его художнику Шевченко? "То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя..." Молодой Сапожников был к этому "дитяти" ближе многих других.

Потом, в Петербурге, Шевченко отойдет от двери особняка близ Невы, сконфуженный тем, что "сопут-ник... от Астрахани до Нижнего" его "не принял по случаю скорого обеда"...

Но здесь, в Астрахани, он увидел в Сапожникове "простого, высокоблагороднейшего, доброго человека", а впереди был почти месяц ежедневного их приятельского общения на пароходе "Князь Пожарский". "Пятнадцать лет не изменили нас, Я прежний Сашка все, ты также все Тарас. Александр Сапожников" Это записано на одной из страниц дневника.

Опьяненный первыми глотками свободы, Шевченко склонен был согласиться, что двустороннее, сочиненное его спутником на пароходе, - не только "грациозное", но и "братски искреннее".

"Пятнадцать лет не изменили нас..."

Изменили, конечно. Только ясно это стало не сразу.

НА ТВОРЧЕСТВО!

Двадцать третьего - того же августа - Шевченко как бы подытожил впечатления своей астраханской жизни:

"С 15 по 22-е августа был у меня в грязной и пыльной Астрахани такой светлый, прекрасный праздник, какого еще не было в моей жизни. Земляки мои, большею частию кияне, так искренно, радостно, братски приветствовали мою свободу и до того распростерли свое гостеприимство, что лишили меня свободы самому вести свой журнал и взяли эту обязанность на себя. Благодарю вас, благородные, бескорыстные друзья мои. Вы подарили меня такую радостью, таким полным

счастьем, которое едва вмещаю я в моем благодарном сердце. И память об этих счастливых днях я вношу не в прозаический журнал мой. Я внесу в сокровищницу моего сердца".

Записи в дневнике оставили не все его новые знакомцы. Не всех назвал и сам Шевченко. Но что с того, что не находим на этих страницах ни автографа, ни даже имени Игнатия Муравского? Мы ведь убедились: поэт узнал его чуть ли не в первый же день по приезде своем в Астрахань.

Встреч было больше.

За год до того А. Ф. Писемский писал Тарасу Григорьевичу из Астрахани: "...я видел на одном вечере человек двадцать Ваших земляков, которые, читая Ваши стихотворения, плакали от восторга и произносили Ваше имя с благоговением..."

"Человек двадцать"? И - "земляков"? Сейчас об этих людях можно высказать только предположения. (Основываются они на формулярных списках из дел в том же ЦГАВМФ). Вместе с Муравским и Незабытовским служили, например, в 45-м флотском экипаже, притом тоже по медицинской части, лекарский помощник Бойко и коллежский регистратор Макагон. В строевой роте, вместе с Чельцовым, лечил матросов Александр Наливайко. Надо полагать, что о прибытии Шевченко они знали, думается - с ним встречались, но...предположить - это еще не доказать.

...Где встречи происходили?

Воспоминания Клопотовского - источник поистине бесценный.

"...При содействии Ивана Петровича,- излагал рассказ Клопотовского Кларк,- Шевченко прежде всего экипировался и мог, не стесняясь костюмом, посещать астраханских приятелей. Тарас Григорьевич посещал семейство Клопотовского, где собирался небольшой кружок почитателей поэта. Здесь были выставлены привезенные поэтом из Новопетровского укрепления пейзажи и картины этнографического содержания... В гостеприимном доме г. Клопотовского Т. Г. Шевченко читал стихотворения, написанные им контрабандой, так как поэту по высочайшему повелению было запрещено писать и рисовать в ссылке. Тетрадь стихов была сделана из папиросной бумаги, на которой поэт нанизывал свои вирши до такой степени плотно, что никто, кроме его самого, не в силах был разобрать его почерка..."

Следовательно, встречи - не все, но, во всяком случае, главные - происходили не у Сапожникова, а именно у Клопотовского. Подтверждает это, думается, и тот факт, что письмо из Нижнего Новгорода, обращенное ко всем приятелям, Шевченко адресовал: "Его благородию Ивану Петровичу Клопотовскому. В собственном доме".

От знакомых в Астрахани протянулась эстафета дружеских связей к Нижнему - к Вобрицкому, к Шрейдерсу, к некоторым (или даже многим) другим. Разве не о том свидетельствует первая нижегородская запись: "Зашел в гимназию к Бобржицкому, бывшему студенту Киевского университета..."? Шевченко знал, что живет такой в городе, знал, где служит и где квартирует. От кого? Конечно, от земляков астраханских.

Кстати, первую квартиру ему, поэту, предоставил в Нижнем Новгороде архитектор П. А. Овсянников, которого в письме к М. М. Лазаревскому Шевченко характеризовал не только как "благородного, доброго и умного человека", но и как "земляка нашего коно-топского". Не от брата ли - Николая Абрамовича Овсянникова, делопроизводителя конторы Астраханского порта - получил он нижегородский адрес?

В таком случае, Н. А. Овсянникова можно причислить и к тем землякам, о которых шла речь раньше...

"Друзи мои, искренние мои, сущие в Астрахани, мир и любовь с вами вовики" - так обращался он, через Клопотовского, к астраханским своим знакомым в письме от 6 ноября 1857 года. В этом письме - горьком и веселом одновременно - поэт вспоминал и Незабытовского, и Кишкина, и... Ивана Рогожина, вспоминал город, где провел первые недели после освобождения, где так много увидел, узнал, услышал и понял.

Прежде всего - о Крымской войне.

На Мангышлаке дошли до Шевченко первые рассказы очевидцев и участников ее из числа моряков, которые время от времени приплывали к форту на Каспии. Там, в глухом углу России, явилось к нему желание на эти события откликнуться.

Теперь, после встреч в Астрахани, он знал о недавней войне гораздо больше. И уже в Нижнем родились под пером его новые страницы "Матроса", и яснее, четче выкристаллизировался замысел будущей поэмы. О бедолаге матросе, который попросил в награду за геройство и увечье одно-единственное: освобождение от "крепостного звания" своей родной сестры.

...Астрахань не просто встречала его после неволи.

Она напутствовала поэта на Творчество.

Напутствовала с верою в "творческую мощь" Шевченко.

Напомню, что слова эти принадлежат Томашу

Зброжеку...

ВОЛЖСКАЯ ТЕТРАДЬ - I

...поплыву вверх по матушке по Волге аж до Нижнего...

Т. Шевченко с 22 августа по 20 сентября плыл он из Астрахани в Нижний Новгород на пароходе "Князь Пожарский".

Из биографии

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

Когда в начале девяностых годов Василий Кларк записывал воспоминания астраханского учителя Кло-потовского, одно из обстоятельств вызвало у него большие сомнения.

"По словам И. П. Клопотовского,- передавал услышанное Кларк,- Шевченко выехал из Астрахани в Нижний на пароходе Сапожникова. Показание это не сходится с официальным сведением, приводимым биографом поэта Родзевичем из архивных дел Новопетровского укрепления. По этому сведению Шевченко выехал из Астрахани 22 августа 1857 года на пароходе "Пожарский", при надлежащем, если не ошибаюсь, только что возникшему тогда обществу ((Кавказ и Меркурий". Как видно также из официальных фактов того же биографа,- в Нижний Новгород поэт прибыл 20 сентября; следовательно, от Астрахани до Нижнего он ехал 29 дней. Разумеется, и при тогдашних условиях плавания по Волге на весьма тихо, в сравнении с нынешними, ходящих пассажирских пароходах Шевченко не мог целый месяц путешествовать до Нижнего. Поэтому следует предположить: или поэт заезжал в какой-нибудь попутный город (кажется, Казань), или заявил свое прибытие в Нижний тамошним властям позже, чем было на самом деле. Что же касается показания И. П. Клопотовского об отъезде из Астрахани на пароходе Сапожникова, то, по всей вероятности, владелец сопровождал на нем поэта, до какой-нибудь пристани, выше Астрахани, т. е., так

сказать, конвоировал пароход "Пожарский", и поэт мог плыть до этой пристани на пароходе Сапожникова, а затем пересесть на "Пожарского" для дальнейшего следования".

Даже через три с половиной десятилетия после событий, которых воспоминания касались,- невозможно было представить, что Шевченко находился в пути более четырех недель.

У нас этот факт сомнений не вызывает. Как раз в те дни, когда "Князь Пожарский" плыл вверх по Волге, в конторе "Меркурия" (до объединения с "Кавказом" оставалось еще более года) составляли проект, казавшийся чуть ли не фантастическим:

"Расстояние между Нижним и Астраханью, 2072 версты, при среднем плавании по 16-ти часов в сутки, может быть пройдено: пароходом, имеющим скорость 12 верст в час - в 11 суток, а пароходом, имеющим скорость 16 верст в час - в 8 суток.

Если положить для простоя в Нижнем и Астрахани и на могущее потребоваться исправление четыре дня, то рейс из Нижнего в Астрахань и обратно может быть совершен: первым пароходом - в 26 дней, а вторым - в 20 дней".

Но это, повторяю, было всего-навсего проектом - причем таким, в который верили не многие. Я познакомился с ним в Центральном Государственном Историческом архиве (ЦГИА) СССР в Ленинграде, в деле 683 фонда 101; более обстоятельно об этом фонде говорить еще придется.

Пароходы плыли по Волге без всяких расписаний, преодолевая двухтысячеверстный путь как кому удавалось.

Свидетельствует "П.Н." - автор статьи в петербургской газете "Русский дневник" за 21 января

1859 года:

"На тридцать третьи сутки по выезде из Астрахани мы были под Нижним Новгородом. Оставалось проехать всего верст двенадцать. Но это коротенькое пространство стоило любого долгого переезда: надо было пройти две мели - "Телячий брод" и "Подновье".

"Телячий брод" занимает почти всю ширину Волги, длиною же он не более как сажень девять-десять. Проходы для больших судов здесь чрезвычайно узки. Мель "Подновье" в трех верстах отсюда.

Мы здесь пробились почти целые сутки. Двенадцать раз мы на одном и том же месте садились на мель..."

Внимательный читатель шевченковского дневника сразу, конечно, вспомнит и лоцмана "Князя Пожарского" - собеседника поэта, и вынужденную остановку парохода близ Нижнего Новгорода: "Собачий брод кое-как переполз, а Телячий неумоготу стало".

Тут же ответ на вопрос, заданный "П.Н." под конец своей статьи: "Улучшились ли в течение восьми лет путешествия по Волге?"

- Нет, не улучшились,- убеждает своими волжскими записями 1857 года Тарас Шевченко,- все осталось без перемен, как в самом начале пятидесятых годов, когда совершал поездку автор статьи в "Русском дневнике". Разница невелика: тот путешествовал тридцать три дня, а ему "повезло", и плавание продолжалось "всего" двадцать девять. Двадцать девять - такова реальность.

"По Волге, в настоящее время (1856 год), ходит до полутора десятка пароходов всех величин, принадлежащих нескольким частным компаниям и отдельным лицам.

Большая часть этих пароходов заняты перевозкою разной клади, которая обыкновенно помещается на баржах, идущих на буксире; впрочем, принимаются и пассажиры как на пароходы, так и на баржи. Рейсы таких пароходов зависят от обстоятельств торговли, и вообще не могут быть правильны; только пароходы товарищества "Самолет" содержат правильное и постоянное сообщение между Тверью и Нижним Новгородом и ходят вообще без барж, следовательно скорее прочих...

...Что же касается... пути из Астрахани, то на переезд оттуда до Нижнего обыкновенно употребляют от 25 до 35 дней, а часто и более..."

Это - еще одно - свидетельство знающего человека (оно извлечено из отчета капитан-лейтенанта Ива-шинцева в деле 216 фонда 256 ЦГАВМФ) также перекликается с записями Тараса Шевченко: и о движении "множества частных пароходов", и о баржах "Князя Пожарского", и, естественно, о длительности всего плавания.

"Из множества частных пароходов теперь ни одного нет в Астрахани по причине Макарьевской ярман-ки. Пароход "Меркурий" возвратится в Астрахань не прежде 15 августа, а к 20 августа нагружится и пойдет в Рыбинск и меня довезет до Нижнего...." - строил планы вырвавшийся из неволи поэт.

Тем же рейсом интересовались и лица официальные.

"Сейчас я получил письмо Ваше от 2 июля, в коем Вы спрашиваете, будут ли отправляться какие-нибудь пароходы из Нижнего в Астрахань между 10 и 20 июля,- отвечал одному из директоров компании "Меркурий" Е. В. Гаспарину Николай Александрович Брылкин, руководитель Нижегородской конторы. (Его ответ - в деле 2 фонда 101 ЦГИА).- Из наших пароходов будет отправлен из Нижнего в Астрахань "Князь Пожарский" (который теперь с грузами идет в Нижний) около 12-го июля; после этого парохода раньше половины августа в Астрахань наши пароходы не пойдут..."

Когда он отправился из Нижнего Новгорода - неизвестно (и не суть важно). Прибыл же пароход в Астрахань только 12 августа. "В 7 часов утра пришел сверху пароход ("Князь Пожарский"), принадлежащий компании "Меркурия",- записал в свой дневник Шевченко.- Я пошел в контору справиться о его обратном рейсе. Определительно в конторе мне ничего не сказали..."

Не сказали потому, наверное, что это зависело не столько от конторы, сколько от "абонировавшего" пароход рыбопромышленника А. А. Сапожникова. Пароходовладельцем он был и сам. Но размах торговли, который становился все шире, заставлял прибегать к услугам "Меркурия". Как сказано в одном из документов, "в навигацию прошлого 1856 г. была взята Обществом, по контракту от гг. братьев Сапожниковых, перевозка из Астрахани до Саратова 85 т. пуд., с обязанностию доставить эти товары в Саратов по зимнему пути, если бы они не успели дойти туда водою до закрытия навигации..." (ЦГИА.- Ф. 101.- Оп. 1.- Д. 683.- Лл. 111-112). Теперь Сапожников купил весь рейс от Астрахани до Нижнего: он отправлялся туда (а затем в Москву и Петербург) с семьей, с близкими, в трюмах же парохода и на баржах находились ему принадлежащие товары. Ни о каких "конвоирских" функциях богатея купца, ни о каких пересадках Шевченко, как о том писал Василий Кларк, говорить не приходится.

В наши дни никто об этом уже и не говорит. Не берется под сомнение и то, двадцать девять ли дней находился поэт на Волге. Да, именно столько - день в день.

"ИЗ ЗАВЕТНОЙ ПОРТФЕЛИ..."

"...Я от избытка восторга не знаю, что с собою делать, и, разумеется, только бегаю взад и вперед по палубе, как школьник, вырвавшийся из школы..."

...О как бы я желал продлить это сладкое состояние, это чувство животворного, очаровательного бездействия..."

Но бездействия и не было. Ни сердце его, ни мозг покоя не знали. Не знали днем, не знали ночью. Наяву и во сне...

Так много думал он о своей жизни, о своем прошлом - далеком и недавнем, что воспоминания не оставляли его даже в сновидениях. Только однажды это было светлое воспоминание о юношеской любви: "Во сне видел церковь святых Анны в Вильне и в этой церкви молящуюся милую Дуню, чернобровую Гусиковскую..." Все другие сны, попавшие затем на бумагу, вызывались кошмаром пережитых им страшных лет неволи: "Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева. Я так испугался этого гнусного ефрейтора, что от страха проснулся и долго не мог прийти в себя от этого возмутительного сновидения".

"Это на диво долгое спание заключилось отвратительным сновидением. Будто бы Дубельт... меня тщетно навращал на путь истинный, грозил пыткой, и в заключение плюнул и назвал меня извергом рода человеческого. Едва успел он произнести этот милый эпитет, как явился в полном мундире капитан Косарев и сделал мне почти палочный выговор за то, что я опоздал на ученье..."

Он признавался: "Теперь только я сознаю отвратительное влияние десятилетнего унижения. Теперь только я вполне чувствую, как глубоко во мне засела казарма со всеми ее унижительными подробностями".

Это "унижение", эти "подробности" не давали ему покоя. Они как бы сами просились на бумагу: в стихи и поэмы, в прозу, живопись. Пока Шевченко ограничивался записями в дневнике.

Всякий раз, когда я думаю о шевченковских снах на волжском пароходе, мне приходит на память как в Новопетровском укреплении один из снов навел поэта на мысль о поэме "Сатрап и Дервиш"...

Плывя навстречу будущему, Шевченко жил неостывшими воспоминаниями невольничьих своих лет.

Они возникали в будоражащих мелодиях "крепостного Паганини", чья скрипка изливала перед ним само горе народное, в переменчивой красоте волжских берегов, так несхожих с оставленными им прикаспийскими, в бесконечных разговорах с "сопутниками".

Но мысли его обращались не только к своему прошлому.

6 сентября 1857 года Шевченко записал:

"В капитанской каюте на полу увидел я измятый листок старого знакомого "Русского инвалида", поднял его и от нечего делать принялся читать фельетон. Там говорилось о китайских инсургентах и о том, какую речь произнес Гонг, предводитель инсургентов, перед штурмом Нанкина. Речь начинается так: "Бог идет с нами. Что же смогут против нас демоны? Мандарины эти - жирный убойный скот, годный только в жертву нашему небесному отцу, высочайшему владыке, единому истинному богу..."

Это - по Шевченко - главное в прочитанном, изложение его сути. А далее - комментарий самого поэта. Его, шевченковский, вывод-вопрос: "Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про русских бояр то же самое?"

Интересно? Бесспорно! И понятно, как хотелось прочесть "тот" листок мне самому.

Отыскался он (не измятый - вполне сохранный) в подшивке "Русского инвалида", на одном из многочисленных стеллажей газетного зала столичной библиотеки.

"Газета военная, литературная и политическая... Выходит ежедневно... Год издания сорок четвертый..." А вот и номер 163-й, выпущенный в среду, 31 июля 1857 года. Статья, привлекавшая внимание Шевченко, называется так: "Новейшие сведения о действиях китайских инсургентов". Читаешь - и сразу представляется, как "глотал" эти же строки он, поэт, следовавший на пароходе "Князь Пожарский" навстречу своей новой жизни. Что выделял, что опускал, что привлекало его особенно...

"...Вскоре по взятии Нанкина глаза Гонга и его соправителей блистали надеждой. "Бог идет с нами,- говорил Гонг,- что же смогут против нас демоны? Мандарины эти - жирный убойный скот, годный только в жертву нашему небесному отцу, высочайшему владыке, единому истинному богу..."

То, что я выделил,- слово в слово - можно прочесть и в дневнике. Ничего более Шевченко сюда не перенес. "Инсургентов" - из заголовка и выразительнейшие слова Гонга...

Значит ли это, что остальное его внимания не привлекло?

...Тайнинское восстание - крестьянская революционная война в Китае, начавшаяся в 1851 году под руководством Хун Сю-цюаня (Гонга, как называли его в русской печати),- получило поистине всемирный отклик.

Журналы в России были лишены права освещать текущие политические события. В русской прессе информация о них публиковалась редко, причем искажала она не только имена, названия, факты, но и сам смысл происходящего. Множество таких ошибок есть в статье "Русского инвалида".

"Первым по-настоящему добросовестным выступлением русской печати, первым открытым и искренним выражением сочувствия освободительной борьбе китайского народа" было информационное сообщение Н. Г. Чернышевского, помещенное без подписи в восьмой книге "Современника" за 1856 год,- пишет современный исследователь.- Последующие статьи, содержавшие революционно-демократическую трактовку событий, относятся уже к 1858-му и последующим годам. Они принадлежали перу Н. И. Березина, В. А. Обручева, Н. В. Шелгунова. (Ф. Б. Белелюб-ский. "Тайнинское восстание в русской литературе 50-60-х годов XIX в. // Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.- М., 1965.- С. 187-197).

Но между 1856-м и 1858-м был ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ, отмеченный откликом на великую крестьянскую войну тайпинов в дневнике Шевченко.

Газету со статьей о китайских повстанцах он нашел в капитанской каюте.

Значит, в каюте Кишкина.

"Капитанская светелка" упоминается на многих страницах дневника. Но не сразу, а только на деся-тый-одиннадцатый день путешествия начинает она ассоциироваться с интересами Шевченко-читателя.

Поначалу Тарас Григорьевич читал только то, что облюбовал в Астрахани. Именно так можно понимать запись, сделанную 28 августа: "Все книги всех русских

журналов за текущий год добрейший Александр Александрович предложил к моим услугам, и я только сегодня начал читать "Королеву Варвару" Попова..."

Пароход собственностью Сапожникова не был; здесь он являлся пассажиром (пусть привилегированным, но пассажиром) и книжным фондом "Князя Пожарского" не владел. Потому-то не вызывает сомнения, что "все книги всех русских журналов" поэту были предложены до путешествия. Выбрал Шевченко впервые увиденный им в Астрахани "Русский вестник" - привлекли "Губернские очерки" М. Е. Салтыкова-Щедрина, "Королева Варвара" Н. А. Попова и некоторые другие произведения.

Между прочим, обращает внимание то, что поэта интересовали не только произведения, но и авторы. В дневнике - там, где говорится о "Губернских очерках", - называется, как автор, Салтыков, хотя публиковались они за подписью "Н. Щедрин". Характеризуя Попова как "историка нового и прекрасного стиля", Шевченко руководствовался, наряду с собственными впечатлениями от чтения исторического очерка, вероятно и рассказами о Ниле Александровиче тех, кто его знал. "Это был совсем еще молодой человек (ему в то время шел 25-й год) симпатичной наружности, с каштановыми, назад зачесанными волосами, в золотых очках, откидывавший голову несколько назад и имевший очень приятный, какой-то своеобразно певучий голос. Окончив курс в Московском университете в 1854 году, Н. Попов в 1857 году едва только сдал свой магистерский экзамен и в литературе был известен лишь двумя статьями: рецензией на VI т. "Истории России" С. М. Соловьева, об Иоанне Грозном, и монографией о "польской королеве Варваре" (второй жене короля Сигизмунда-Августа), помещенными в "Русском вестнике..." Так писал о Попове Д. А. Корсаков, вспоминая в статье "Былое из казанской жизни 1856-1860 годов" (Казань, 1898) свои первые впечатления о только что назначенном заведующем кафедрой русской истории в Казанском университете.

Так вот, в начале путешествия Шевченко читал, главным образом, захваченное с собою из Астрахани.

Но по мере продвижения к Нижнему Новгороду все большую роль стал играть уже новый источник чтения.

"Сегодня в 7 часов утра случайно собрались мы в капитанской каюте и слово за слово из обыденного разговора перешли к современной литературе и поэзии... Владимир Васильевич Кишкин достал из своей заветной портфели его же, Бенедиктова (перед тем был читан бенедиктовский перевод "Собачьего пира" Барбье-Л. Б.), "Вход воспрещается" и с чувством поклонника родной обновленной поэзии прочитал нам, внимательным слушателям. Потом прочитал его же "На новый 1857 год". Я дивился и ушам не верил. Много еще кое-чего упруго свежего, живого было прочитано нашим милым капитаном. Но я все свое внимание и удивление сосредоточил на Бенедиктове..."

Это записано 2 сентября. А 4-го "литературно-поэтическое утро" повторилось: "Обязательный Владимир Васильевич прочитал нам из своей заветной портфели несколько животрепещущих стихотворений неизвестных авторов и, между прочим, "Кающуюся Россию" Хомякова. Глубоко грустное это стихотворение я занес в свой журнал..."

Чтения продолжались.

17 сентября: "Капитан наш вытащил из-под спуда "Полярную звезду" 1824 года и прекрасно прочитал нам отрывки из поэмы "Наливайко", а Сапожников отрывки из поэмы "Войнаровский"..."

"Заветная портфель" В. В. Кишкина оказалась удивительно емкой, поистине неисчерпаемой, а сам он выказал себя "поклонником" не просто "родной обновленной поэзии", но и, прежде всего, поэзии потаенной.

Перечисленные (и частично приведенные в дневнике) произведения А. С. Хомякова и В. Г. Бенедиктова (в том числе его перевод "Собачьего пира"), переписанное 18 сентября стихотворение П. Л. Лаврова "Русскому народу" распространялись тогда лишь в списках. Большинство из них впервые увидело свет позднее - и то в бесцензурных изданиях. Например, лавровское "Русскому народу" в 1857 году опубликовал в четвертом выпуске "Голосов из России" А. И. Герцен.

Не приходится говорить и о том, что "Полярная звезда" за 1824 год представляла собою не только библиографическую редкость, но и издание запрещенное, преследуемое уже в силу самого его "декабристского происхождения".

А Кишкин все это собирал, хранил, читал сам и давал читать другим. Вчитываясь в шевченковские записи о "животрепещущих стихотворениях неизвестных авторов", о "многом... упруго свежем, живом", прочитанном капитаном в разные дни, отчетливо видишь: он накопил целую библиотеку произведений, которым доступ в журналы был закрыт, мало того - возил эту библиотеку с собою, не расставаясь с нею никогда. Моряк помнил о необходимости конспирации и соблюдал ее. Подтверждением тому: "в заветной портфели", "из-под спуда" и другие оговорки в шевченковских записях.

Но от Шевченко - автора произведений высокого революционного накала - Кишкин не таился. Больше того, он не перечил, когда поэт переписывал понравившееся ему особенно - иными словами, умножал рукописные копии нелегального.

НЕЧИТАННЫЙ ЛИСТОК

Этому листку много-много лет. Хранится он в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Академии наук СССР: Ф. 265.- Оп. 2.- Д. 3086.

Исследователи жизни и творчества Тараса Шевченко извлекли из фондов богатейшего ленинградского хранилища немало полезных и важных материалов. А вот он - листок, выделенный в особую единицу хранения и внесенный в доступный каждому алфавитный каталог Отдела рукописей,- остался незамеченным. Или, если говорить менее категорично,- не привлек особого внимания.

Почему - непонятно. То, о чем мы узнаем, читая и перечитывая давно написанные строки,- интересно по-настоящему.

...Переписываю от начала и до конца, слово в слово - ведь это будет первой публикацией полного текста неизвестной читателям заметки о Шевченко.

Итак:

Заметка о Шевченке Тарасе Григорьевиче

Лоцман парохода общества "Кавказ и Меркурий", крестьянин Михайлов. Рядовой Тарас Шевченко, на пароходе в июле месяце 1857 г.

Когда разрешено было Шевченко возвращение на жительство в Россию, кроме столиц, то Шевченко прибыл в г. Астрахань из Александровского форта, то был взят градским головою Алекс. Алекс. Сапожниковым под свое попечение, но как

Сапожников переезжал тогда с семьей на жительство в Москву, то он довез Шевченко до Нижнего.

На пути Тарас Шевченко много рисовал портретов. Прилагаемые, два, г-жа Нина Александровна Сапожникова представляет в редакцию "Русской старины", если найдут нужным, то отвечать.

Кроме того прилагаются ею же две грамоты времен Мазепы. Быть может, тоже заслуживающие внимания редакции.

Явленский

Листок - без даты. Текст написан карандашом. В составе архива журнала "Русская старина" он значился под номером 7779/1. Теперь номер у него другой; во всем остальном изменений не произошло. Не так уж даже бросаются в глаза следы времени. Возраст листка я определил по иным записям, связанным с именами Явленского и Сапожниковых, - обнаружил их в том самом архиве, но скажу о них где-то дальше, по ходу рассказа.

Сейчас меня занимает "Заметка..."

Воспоминание?

Написать воспоминания Явленский мог - ему посчастливилось пройти вместе с Шевченко весь путь от Астрахани до Нижнего Новгорода. Имя автора заметки не раз упоминается на страницах шевченковского дневника. В одном месте - в записи от 3 сентября - оставил свои автографы: "От любящего вас И. Явленского".

Будь это воспоминания, не начиналась бы запись с назывного предложения, которое, как кажется сразу, и Шевченко-то не касается: "Лоцман парохода... крестьянин Михайлов..." К чему нам лоцман? Какое отношение имеет к поэту? Ни на один вопрос ответа не следует.

Нет, у "Заметки..." назначение совсем другое.

((...Прилагаемые, два, г-жа Нина Александровна Сапожникова представляет в редакцию..."

Назывных предложений в начале прочитанного нами текста тоже два. Да ведь это подписи к тем самым рисункам, о которых идет речь!

На одном из рисунков, которые сохранялись в семье Сапожниковых, был запечатлен лоцман Михайлов, на другом - Тарас Шевченко; обе работы принадлежали к тем, которые он выполнил на борту парохода "Князь Пожарский".

"Заметка..." Явленского представляла собою, таким образом, краткое пояснение к шевченковским рисункам, переданным "Русской старине" на предмет использования.

В печати они тогда не появились.

В десятом томе полного собрания произведений Т. Г. Шевченко, представляющем нам его живописно-графическое наследие 1857-1861 годов, воспроизведен портрет крепкого, бородатого старика, по виду крестьянина. Подпись гласит, что это выполненный итальянским и белым карандашами на тонированной бумаге портрет Т. З. Эпифанова. Тут же дата, обозначающая год, месяц, день исполнения работы: 2.IX 1857 г.

Заглянем в комментарий, сопровождающий публикацию.

«...является одним из четырех портретов, которые были выполнены Шевченко на пароходе во время путешествия 1857 г. из Астрахани в Нижний Новгород и сохранялись у А. А. Сапожниковой..."

В дневнике Т. Г. Шевченко от 2 сентября 1857 г. есть запись: "А.А. сошел на берег и в скором времени возвратился на пароход со своим главным управляющим

Тихоном Зиновьевичем Эпифановым. Белый с черными бровями, свежий, удивительно красивый старик, с прекрасными манерами, и тени не напоминающими русского купца. Он мне живо напомнил своей изящной наружностью моего дядю Шевченка-Грыня".

Эта запись, а также общность приемов исполнения данного портрета с портретами Е. Н. Козаченко, М. П. Комаровского и Е. А. Панченко, является основанием для определения портретируемого лица и времени исполнения портрета.

"Как портрет Эпифанова впервые опубликовано Н. И. Мацапурой..."

Значит, доводов в пользу того, что нарисован здесь именно Эпифанов, два, и главный среди них - дневниковая запись, без которой уважаемый исследователь о существовании этого самого Эпифанова даже не знал бы.

Но прочел он, Н. И. Мацапура, а вслед за ним прочли другие, ту запись субъективно. Звучит она несколько по-иному - при цитировании опущено начало. И очень существенное начало...

"Ночью против города Волжска (место центральной конторы дома Сапожниковых) пароход на несколько часов остановился. А. А. сошел на берег..."

Ночью... На несколько часов... Эпифанова Шевченко видел, Эпифанов ему понравился, но о рисовании портрета нет и слова в дневнике, не могло быть и речи на пароходе: краткая ночная встреча к портрети-рованию не располагала.

Словесный портрет в цитированной записи чем-то, несомненно, "похож" на тот, что помещен в десятом томе, но... это не Эпифанов.

Что касается "общности приемов", то она сомнений не вызывает. Рисовано, действительно, в то же самое время, скорее всего - во время рейса.

И тут приходит на память первая же строка "Заметки..." Явленского: "Лоцман парохода общества "Кавказ и Меркурий", крестьянин Михайлов".

Вот кто на самом деле запечатлен художником Шевченко!

Лоцман произвел на него не меньшее впечатление, чем Эпифанов. Думается даже, что более глубокое - Тарас Григорьевич имел возможность общаться с ним много дней подряд. И наблюдать в работе, и разговаривать. Ему, лоцману "Князя Пожарского", точнее, его рассказу посвящена вся большая, развернутая запись, сделанная в дневнике 29 августа. Прочтем ее.

"...Выше Камышина в 60 верстах на правом берегу Волги лоцман парохода показал мне бугор Стеньки Разина. Это было на рассвете, и я не мог хорошо рассмотреть этой замечательной, но неживописной местности... И если бы лоцман мне не указал его, я и не заметил бы этой ничтожной твердыни славного лыцаря... Солнце еще не всходило, а бугор оставался за нами верстах в десяти, и я должен был довольствоваться небольшим фантастическим рассказом несловоохотливого лоцмана.

Волжские ловцы и вообще простой народ верит, что Стенька Разин живет до сих пор в одном из приволжских ущелий близ своего бугра, и что (по словам лоцмана) прошедшим летом какие-то матросы, плывшие из Казани, останавливались у его бугра, ходили в ущелье, видели и разговаривали с самим Семеном Степановичем (Степаном Тимофеевичем! - Л. Б.) Разиным..."

...По словам того же рассказчика, Разин не был разбойником, а он только на Волге брандвахту держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям. Коммунист, выходит".

Такие-то беседы вел Шевченко с лоцманом, имя которого мы знаем благодаря Явленскому. Это имя и должно значиться под портретом. Ошибку пора исправить.

Случилось, вероятно, так, что в "Русской старине" воспользоваться портретом не могли и он, являясь собственностью Н. А. Сапожниковой, был продан или передан ею кому-то из коллекционеров, от которых и поступил в Харьковскую галерею картин Тараса Шевченко.

Ну, а другой портрет, который Явленский предложил подписать: ((Рядовой Тарас Шевченко, на пароходе в июле месяце 1857 г."? (Июль - вместо августа-сентября - объясняется только отдаленностью события: прошло более тридцати лет).

Среди опубликованных художественных работ его нет.

Подпись наталкивает на мысль, что Шевченко ("рядовой") изобразил себя в форме солдата Отдельного Оренбургского корпуса и, судя по указанию, - "на пароходе", - с бородою, то есть таким, каким в то время и был.

Пока известен только один автопортрет с бородою, подаренный в конце 1857 года М. С. Щепкину. Тот, о котором говорится в "Заметке..." Явленского, с момента исполнения его и до начала 90-х годов находился в семье Сапожниковых. Возможно, это портрет, который в списке найденных произведений Шевченко значится под номером 131 (из собрания Н. М. Лисовского), или другой - из того же списка, но под номером 136, хранившийся у Г. Н. Честаховского и охарактеризованный им как выполненный итальянским карандашом в Оренбурге и "нисколько" не похожий на оригинал.

Однако справедливее в упомянутый мною перечень найденного включить этот автопортрет отдельным номером. Как вполне достоверный, и притом виденный не так уж давно - в конце прошлого столетия.

Включить и искать.

До сих пор разговор шел только вокруг "Заметки..." Явленского.

Пора сказать о нем самом.

В "Общей росписи всех чиновных особ в государстве на 1857 год" Иван Никифорович Явленский значится как чиновник особых поручений канцелярии астраханского генерал-губернатора.

Но это только должность, не более.

В одной из книг есть сведения о Явленском Ники-форе - отце интересующего меня лица. Доктор медицины, старший лекарь Тифлисского военного госпиталя, он умер на 53-м году жизни, в 1840-м. Ники-фор Явленский не чуждался занятий литературных; не случайно же о нем говорится в книге Ф. Змеева "Русские врачи - писатели" (Том 1.- Тетрадь II.- 1886.-С. 175).

Да ведь сведения нужны не об отце - о сыне. После долгих поисков они нашлись в том же Пушкинском Доме, где и привлечший мое внимание листок. Отыскались в одном из пяти альбомов М. И. Семевского, собравших под своими обложками автографы широчайшего круга людей, с которыми видный историк и публицист, издатель журнала "Русская старина" общался на протяжении десятков лет. "Знакомые" - так и называется уникальное собрание автографов.

На одной из страниц увидел я уже известный мне почерк автора записи в дневнике и - "Заметки..."

Это была его краткая автобиография, написанная в 1891 году:

"Иван Никифорович Явленский. Родился в 1824 году октября 17. Воспитывался в Дворянском полку и выпущен в 1844 году офицером; служил 6 лет в лейб-карабинерном Эриванском полку - в боях. С 1851 года служил по выборам дворянства и 12 лет был астраханским уездным и губернским предводителем. В настоящее время

в отставке, живу отставным, читая и вспоминая всю русскую старину. В свет издал брошюру "От Астрахани до Астрабада", поднесенную незабвенному государю Александру II, и ((Драмы, комедия и поэма" (Ф. 274.- Оп. 1.- Д. 399.- Л. 161-об.).

Жизнь его текла размеренно, спокойно, и не случайно стихотворное послание Явленского Семевско-му, помещенное в том же альбоме, сразу за приведенной записью, начинается словами: "За все, за все судьбе спасибо!"

Иной была жизнь Шевченко. Случай свел этих двух людей на пароходе, чтобы без особых сожалений - наверное, с той и другой стороны - развести в разные стороны.

Попав, однако, в шевченковский дневник, Явленский остался в книге жизни великого поэта маленькой, но долговечной зарубкой.

ДВА ПОРТРЕТА

И снова о портретах. Тех, которые были выполнены на пароходе "Князь Пожарский".

"На пути Тарас Шевченко много рисовал портретов",- свидетельствовала Н. А. Сапожникова.

Много... А комментаторы завершающего тома живописно-графического наследия Шевченко свели все сделанное им в том рейсе к четырем работам. Всего к четырем. Столько, дескать, упомянуто в дневнике.

Но, как убеждает исследовательский опыт, в дневниковых записях находили отражение не все, отнюдь не все его занятия портретированием. Кроме того, было бы совершеннейшей и почти неправдоподобной удачей обнаружить "сто процентов" портретной "продукции" художника в одном и том же месте - в семье Сапожниковых. Ведь не во всех, а лишь в отдельных случаях рисовались портреты с членов этой семьи...

Портрет лоцмана Михайлова был сделан, разумеется, не на заказ. Он вполне мог оказаться в руках Сапожниковых - подарок художника в благодарность за добрые чувства и бескорыстные услуги, ему оказанные. Таким образом, наличие его в коллекции астраханских знакомых оправданно.

Однако история портрета, ошибочно публикуемого в десятом томе как изображение Т. З. Эпифанова, освещена на страницах предыдущих; там сказано все, о чем мне и хотелось поведать.

Портрет Екатерины Никифоровны Козаченко атрибутирован, думается, совершенно правильно. В этом убеждает дарственная надпись: "А.А.С. (Сапожникову.- Л. Б.) На память 30 августа 1857 года, III." Она подкрепляется и подтверждается записью от того же 30 августа в дневнике: "Из уважения к имениннику и принятому обычаю дарить именинников, я сегодня подарил Александру Александровичу портрет его тещи m-me Козаченко. Портрет сделан в один сеанс белым и черным карандашами довольно аляповато, но не лишен экспрессии..."

Добавлю, что Екатерина Никифоровна была не только тещей А. А. Сапожникова - матерью Нины Александровны, но и дочерью ехавшей тут же Л. Г. Явленской, сестрой И. Н. Явленского, а кроме того, женой довольно видного астраханского деятеля Александра Петровича Козаченко, председателя казенной палаты и статского советника. Его самого среди пассажиров не было, однако

знакомство Шевченко с ним сомнений не вызывает. Оно состоялось в Астрахани - либо в доме Сапожниковых, либо перед отплытием "Князя Пожарского", уже на пароходе.

Но обратимся еще к двум портретам, помещенным в том же томе и находившимся первоначально в собственности Сапожниковых. В отличие от предыдущих, они публикуются с подписями, сопровождаемыми знаками вопроса:

"11. Портрет М. П. Комаровского (?)"

"12. Портрет Е. А. Панченко (?)"

Невольно вспоминается, что в другом месте, против фамилии Т. З. Эпифанова, вопросительного знака не было - тем не менее портретированным лицом оказался не он. Знаки вопроса настороженность повышают: значит, комментаторы в своей версии не уверены. Не уверены, однако считают нужным связать портреты с лицами конкретными. Чем это вызвано? Чем мотивировано то, что Комаровского они "разглядели" под номером 11-м, а не 12-м, как Панченко - под 12-м, а не 11-м?

Вопросов много. Поищем ответы - это важнее.

...Единственным доводом в пользу утверждения о том, что печального, даже болезненного вида человек на листе № 11 - не кто иной, как Комаровский, служит для комментаторов дневниковая запись от 15 сентября: "Пользуясь сей непродолжительной стоянкой и продолжительным тихим переходом через сей Ураковский перекаат, я нарисовал белым и черным карандашом, довольно удачно, портрет Михаила Петровича Кемеровского, будущего капитана будущего парохода А. Сапожникова, за то, что он подарил мне свои бархатные теплые сапоги".

Ну и что же? Да, рисовал. Да, довел до конца. И своей работой остался доволен. Но где доказательства того, что в записи говорится именно о портрете, который мы видим в десятом томе?

В 1857 году Михаилу Петровичу Кемеровскому было 45 лет. (Тут я уже обращаюсь к отысканным мною послужным спискам фонда 406 ЦГАВМФ: Д. 346.- № 96; Д. 384.- № 31; Д. 364.- № 48, а также к "Общему морскому списку", ч. X). На портрете запечатлен человек примерно такого же возраста, возможно чуть старше. Происходил Комаровский из дворян Новгородской губернии - дворян не богатых (за отцом его числилось 56 душ). Не богачей, не щеголь и на портрете. "Будущий капитан будущего парохода..." В капитаны частного судна могло быть принято лицо гражданское (какое мы и видим - сугубо гражданское, подчеркнуто гражданское).

Но в том-то и дело, что М. П. Комаровский являлся военным моряком, морским офицером. К тому же - в довольно высоком чине.

Поступив еще в 1825 году кадетом в морской корпус, он несколько лет спустя, в 1831-м, стал гардемаринном, а еще через год - мичманом. Много довелось ему плавать: в Данциг, к берегам Англии, по всей Балтике. В начале сороковых годов перевели его в Астрахань, на Каспий. Командовал бригам "Ардон" пароходами "Волга", "Кура", "Ленкорань". На "Ленкорани", вплоть до 1854 года, ходил для почтового сообщения по портам Каспийского моря. (Бывал и в Новопетровском укреплении - причем тогда, когда там уже находился Шевченко). В 1856 году капитан-лейтенант Комаровский стал капитаном второго ранга.

Капитан второго ранга... И притом - не уволенный, а находящийся в отпуске! Только 19 ноября появится в его формуляре запись: "Уволен для службы на коммерческих судах".

Позднее, после нескольких лет этой самой службы, он вернется в военный флот и станет капитаном первого ранга, потом генерал-майором, дослужится до генерал-лейтенанта. На портрете, который я разглядываю, морского офицера не увидишь - его нет.

Комаровского художник рисовал для Комаровского ("за то, что он подарил... свои бархатные теплые сапоги"). Ему портрет был вручен, им же увезен с собою, у него, вероятнее всего, оставался. Действительно, с какой стати портрет должен был находиться у Сапожниковых?

Вопрос под портретом, как я полагаю, должен быть снят. Вместе с фамилией М. П. Комаровского. Пока, увы, возможна одна-единственная подпись: "Портрет неизвестного. 1857".

...Елисей Александрович Панченко, тогда сорока трех лет, назван Тарасом Шевченко как домашний медик Сапожниковых. Но было у этого человека и вполне официальное положение: он, имевший чин коллежского советника, являлся медицинским инспектором Астраханского порта. По окончании Петербургской медико-хирургической академии Панченко удостоился степени кандидата и с тех пор уверенно продвигался по ступеням чинов. Упрочению положения способствовало то, что женою его стала дочь генерал-майора Поскочина. Начальствуя над медицинской частью порта, почтенный медик служил также в других учреждениях Астрахани - например, врачом Астраханской гимназии.

Из послужного списка, откуда почерпнуты главные из сообщенных сведений, становится известно, что Панченко "21 августа 1857 года" был "уволен в отпуск по домашним обстоятельствам в Нижний Новгород на 28 дней" (ЦГАВМФ.- Ф. 406.- Оп. 3.- Д. 249.- № 376; Д. 398.- № 143; Оп. 6.- Д. 212.- № 20; Д. 231.- № 18). Отсутствовал он чуть дольше. В "Астраханских губернских ведомостях" (1857, № 40) мне попались на глаза строчки: "30 сентября из Нижнего Новгорода приехал медицинский инспектор коллежский советник Панченко". Но если мы примем во внимание, что только 20 сентября пароход "Князь Пожарский" пришвартовался к нижегородской пристани, то станет ясным, что в этом городе он не задерживался. Можно также предположить, что под "домашними обстоятельствами" подразумевалось сопровождение семьи Сапожниковых во время плавания ее по Волге, ну и, заодно, приятное времяпровождение в кругу друзей. Добравшись до Нижнего, Панченко сразу пустился обратно, используя для этого ближайший рейс любого парохода, шедшего вниз.

Портрет лекаря был нарисован - это бесспорно. 17 сентября Шевченко записал: "Вчера мне ничто не удалось. Поутру начал рисовать портрет Е. А. Пан-ченка, домашнего медика А. Сапожникова. Не успел сделать контуры, как позвали завтракать. После завтрака пошел я в капитанскую светелку с твердым намерением продолжать начатый портрет, как начал открываться из-за горы город Чебоксары... Когда скрылись от нас живописные грязные Чебоксары, я снова принялся за портрет. Но принялся вяло, неохотно. Принялся для того, чтобы его кончить, и кончил, разумеется, скверно..."

Кончил!.. Однако снова те же, прежние вопросы: отчего Панченко должен был отказаться от своего портрета? Почему оказался он в семье Сапожниковых?..

Никаких данных в пользу того, что на известных нам портретах запечатлены М. П. Комаровский и Е. А. Панченко, у нас - как оказывается при объективном рассмотрении - нет. Шевченко рисовал не только те портреты, о которых упоминает в

дневнике, но и другие. Вот эти-то, "другие", мы и видим. Кто здесь нарисован? Гадать не будем. Со временем, быть может, удастся выявить фотографии членов семьи Сапожниковых (их ведь пока не искали); тогда, думается, мы сумеем и более точные подписи сделать. Более точные, чем те, которые можем дать сейчас: "Портрет неизвестного" и... "Портрет неизвестного".

Ну, а портреты "будущего капитана будущего парохода" и "домашнего медика" надо числить среди ненайденных. Они могут еще отыскаться.

ПОЖАР НАД ЗИМЕНКАМИ

Александр Леонович Дадиан - князь и полковник - отсылал в Нижний письмо за письмом. Поводом к этому, по его же словам, было то, что "в ноябре 1856 года случился в сельце Зименках, от неизвестной причины, пожар, истребивший весь почти до основания сноповой хлеб".

Владельцем села являлся не он, полковник, а сын его, Антон, унаследовавший имение от умершего бездетным дяди. Но пажу двора его величества заниматься хозяйством было недосуг, да и не лежала к этому душа совсем юного придворного. Всеми делами ведал на месте надворный советник Иванов Григорий Ильич, и жаловались на него не только крестьяне, а и... сами владельцы. Коварен, мол, опекун, своекорыстен.

Однако к чему я веду?

Дадиан... В другом месте архивного дела... Дадъ-ян... Так вот кто такой Дадьянов, на след которого никак не удавалось напасть комментаторам дневника!

Вспомним запись, сделанную Тарасом Шевченко накануне его прибытия в Нижний Новгород:

"...Пролетаем мы мимо красивого по местоположению села Зименки помещика Дадьянова и замечательного по следующему происшествию. Прошедшего лета, когда поспело жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов при благополучном ветре. Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие..."

Узнал Шевченко об этом на пароходе. Его, несомненно, радовал народный протест.

"...Так вот, летим мы во весь дух мимо этого замечательного села..."

Замечательного тем, прошлогодним, пожаром!

...Подозрение в поджоге пало на скотников Петра Ильина и Василия Васильева, "сделавших при спросе разноречивые показания, вследствие чего они взяты были под стражу".

Тем не менее дознание не привело ни к чему. Вина арестантов доказана не была, поджигателей не назвал никто и... Дадиан-отец из своего московского далека обвинил во всем опекуна Иванова: это он, дескать, старается лишить его сына прав наследства на имение или "по крайней мере, довести оное до публичной продажи".

В деле из фонда Нижегородского губернского предводителя дворянства (Государственный архив Горьковской области.- Ф. 639.- Оп. 124.- Д. 440) окончательных результатов переписки не оказалось. Но в то, что пожар устроил надворный советник, власти не поверили.

Не верим и мы.

Источником, из которого черпал он такие сведения, служил для поэта трудовой человек.

Незатертое слово шло от него же.

..."Симбирск-от видишь, а неделю идешь".

Эту поговорку Шевченко услышал от матроса, когда вдали показался город.

"Матрос вахтенный, указывая мне на беленькие пятнушки, проговорил бурлацкую поговорку, которую я тут же и записал..."

В любой обстановке, всюду и всегда вслушивался поэт в речь людскую, не пропуская мимо ушей ни меткого слова, ни живого рассказа.

Несколькими страницами далее записал он еще одну поговорку, уже о другом городе: "Казань городок - Москвы уголок". И тут же восстановил ее историю: "Эту поговорку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в Симбирской губернии, когда препровождался я на фельдъегере в Оренбург. Какой-то упитанный симбирский степняк, описывая моему препроводителю великолепие города Казани, замкнул свое описание этою ловкою поговоркою. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась..."

Лоцман парохода поведал Шевченко легенду о Степане Разине, рассказал о том, что говорят о нем, "славном лыцаре", на Волге - "волжские ловцы и вообще простой народ..."

От того же лоцмана - или от кого другого из команды - услышал Шевченко (и тоже записал) "народное предание" о происхождении названия "Царев Курган"; оно вызвало длинную цепь рассуждений о названиях знакомых ему мест на Украине.

Вписывая в дневник понравившееся выражение "капитанская светелка", Тарас Григорьевич сразу же помечает, что говорят так "волжские пловцы (матросы)". И сам далее повторяет это не один раз.

На пароходе Шевченко живет среди пассажиров привилегированных - он в числе "сопутников" богатея Сапожникова. Но душою своей поэт с теми, кто приводит пароход в движение. Наблюдает их тяжелую работу, говорит с ними, прислушивается к их голосам...

"Как вдруг левое колесо перестало вертеться... "Что случилось? - раздался общий голос. "Шат у н лопнул!" - раздался в ответ одинокий голос машиниста..."

Шевченко об этих людях пишет мало. Но когда он упоминает погрузку дров и сброс якоря, принятие груза и снятие с мели - он глубоко им сочувствует. И не случайно именно на пароходе рождаются его слова, обращенные к литературе и литераторам: "Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь!..."

ФОНД № 101 ИЛИ ВОЛЖСКАЯ ТЕТРАДЬ – II

...Ходил в контору "Меркурия"... ...Пароход "Князь Пожарский", принадлежащий компании "Меркурий"... ...Пароход и баржи для компании "Меркурий"...

Т. Шевченко

В дневнике Т. Шевченко компания "Меркурий" и ее служащие упоминаются на десятках страниц.

Из биографии ВОЛГА НА... НЕВЕ

Журнал правления высочайше утвержденного пароходного общества "Меркурий" за 1857 год... Такой же, за 1858-й... Личные карточки рабочих и служащих... Переписка о покупке акций...

В записи за 13 июня 1857 года Шевченко сетовал на то, что не может узнать "как часто отходит пароход из Астрахани в Нижний Новгород и какая цена местам для пассажиров", а вслед за тем строил планы: "Пароход буксирует (одно-единственное верное сведение) несколько барок, или, как их называют, подчалками, до Нижнего Новгорода с разным грузом. На одной из таких барок я думаю устроить свою временную квартиру и пролежать в ней до нижегородского дилижанса. Потом в Москву, а из Москвы, помолившись богу за фультонову душу, через 22 часа и в Питер. Не правда ли, яркая фантазия?"

План этот и впрямь оказался фантастическим.

Задержавшись в Астрахани потому, что утверждение "астраханских флотских офицеров", будто "пароходы... в Нижний ходят очень часто", оказалось несостоятельным, он уже там о компании "Меркурий" смог узнать достаточно много. Потом - и во время путешествия по Волге, и в течение месяцев, вынужденно проведенных в Нижнем,- представления о ней расширялись. Тем паче, что многие из служащих волжского пароходства стали его добрыми знакомыми, а некоторые даже друзьями.

Об этих людях нам известно мало. Фамилии, иногда имена-отчества, еще реже случайные биографические подробности - вот и все. А они вошли не только в дневник Тараса Шевченко, но и в его жизнь.

Но в любом случае для поисков нужна хоть сколько-нибудь надежная нить. Ее-то, возможно, и удастся мне отыскать в фонде пароходного общества "Кавказ и Меркурий" - том фонде № 101, о существовании которого я узнал из "Путеводителя" по ЦГИА СССР.

Сто первый... Оправдает ли он надежды?

...Уже на следующее утро я убедился: ради этого ехать в Ленинград стоило.

НЕУЛОВИМЫЙ ОЛЕЙНИКОВ

Шевченко с человеком дружил, и даже засвидетельствовал факт дружбы письменно, ты же сомневаешься: "А был ли мальчик?"

Так получилось и с Олейниковым. Никаких следов. Кто таков - неведомо. Один из комментаторов, прорываясь сквозь кордон беспомощной формулы "личность неизвестна", написал, что это, возможно, журналист. Руководствовался он тем, что Шевченко, рисуя портрет Олейникова, поставил ему условие: написать о пребывании М. С. Щепкина в Нижнем Новгороде для "Московских ведомостей". Но предположение о роде занятий этого человека "повисло в воздухе". Да и статьи в газете не оказалось. Что касается других сведений, которые удалось почерпнуть из дневника и переписки, то почти все они были связаны с приездом в Нижний Щепкина: общением с ним, проводами его, отсылкой дружеского подарка - кожушка. Ни единого указания на служебное положение Олейникова, на его возраст, даже на имя-отчество

или хотя бы имя. Иногда в шевченковских записях он соседствует с Брылкиным. Но следует ли придавать этому значение?

Последнее упоминание имени Олейникова в литературно-эпистолярном наследии Шевченко датировано апрелем 1858 года. Находясь в Петербурге, Шевченко "пустился... в Семеновский полк искать квартиру Олейникова". Семеновский полк... Так, может, он военный, офицер? Или это уже другой Олейников, не нижегородский - "Федот, да не тот"?

Раздумья-сомнения, поиски-неудачи продолжались до той счастливой минуты, когда я, раскрыв журнал правления пароходного общества "Меркурий" (архивное дело под номером 683), на первой же странице увидел фамилию "Алейников". Говорилось тут всего-навсего о выдаче некоему Н. С. Алейникову 500 р. в счет жалованья; мне же вдруг стало так горячо, будто оказался передо мною давно разыскиваемый знакомец.

Николай Сергеевич Алейников был служащим этого самого общества. Заведующим кабестанным пароходом... одним из усердных организаторов речного дела, чья служба неизменно поощрялась..., потом помощником управляющего пароходством "для заведывания собственно пассажирскими пароходами"... (Со временем, как удалось проследить по "Книге выдачи жалованья служащим пароходного общества "Кавказ и Меркурий" за 1860-1861 гг." - это оказалось уже в деле 4,- он продвинулся еще дальше, став управляющим нижегородской конторой и одним из директоров правления). Но то впоследствии, за чертою нижегородского периода жизни Шевченко. Сейчас Алейников, кажется, больше всего пекся о том, чтобы перевозка грузов по Волге шла с учетом "потребностей волжской промышленности", и, вместе с П. А. Брылкиным, отстаивал свой взгляд на параллельную организацию двух линий: "1-я - грузовые пароходы - в тех размерах и с тою степенью совершенства, как они существуют за границею, 2-я - чисто пассажирские пароходы, срочные, со скоростью 15 верст в час против течения... Только при такой быстроте и совершенной правильности прихода и отхода пароходов в известных пунктах возможно приобрести выгоду обществу, доставив средства жителям низовых волжских губерний скорого и возможно дешевого сообщения..." (в деле 683 - листы 129-131).

Тем более заслуживает внимания, что при всех своих служебных заботах Алейников увлекался театром, тяготел к литературе, живо воспринимал новинки потаенной поэзии. Ведь это он записал со слов Щепкина басню Дмитрия Ленского, направленную против Александра II, которая впервые увидела свет лишь полтора года спустя, и то в Лондоне, в герце-новской "Полярной звезде" за 1859 год". От него, "обязательнейшего Олейникова", получил Шевченко "стихотворение Курочкина на смерть Беранже"; появившиеся в печати лишь спустя несколько месяцев - в майской, 1858 года, книге "Русского вестника".

Но по-настоящему понятными, значительными для меня эти, поначалу не выделявшиеся, факты стали тогда, когда узnanное об Алейникове от его великого знакомого посчастливилось осветить "лучом из будущего". (Не узнав из журналов "Меркурия" подлинных имени-отчества-фамилии загадочного "Олейникова", я так бы этот луч и не увидел).

"Лучом из будущего" оказались "Воспоминания" Л. Ф. Пантелеева; он принимал активное участие в революционном движении шестидесятых годов, являлся членом "Земли и воли", был арестован по подозрению в причастности к восстанию 1863 года в Польше, отбыл долголетнюю ссылку в Сибири и к закату своей жизни

поделился с читателями всем, что видел, слышал и пережил, рассказал о людях, с которыми сводила судьба.

Среди этих людей Пантелеев назвал и Н. С. Алейникова. Назвал, правда, бегло, скромно, в примечании, но узнанное от него важно, и даже очень важно.

Во-первых, он свидетельствовал, что Алейников "называл себя учеником Грановского и большим поклонником Герцена". Во-вторых, этот человек находился "в близких отношениях" с П. К. Пашенко, которая являлась "большой приятельницей" землевольца А. А. Жука и "была несколько осведомлена насчет "Земли и воли".

Автор предупреждал, что "Алейников... не считался в нашем кружке человеком подходящим", но уже сам факт пусть косвенной, а все-таки причастности его к этой среде говорил о многом.

Тот ли это Алейников? Тот самый. Вот что вспомнил о нем Пантелеев: "Н. С. Алейников был одно время директором "Кавказа и Меркурия", присяжным поверенным, директором Владикавказской ж. д.". В заключение шла весть печальная: "Помнится, в 90-х гг. покончил самоубийством". (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания.- М., 1958.- С. 316).

...Таков он, "Олейников", из шевченковского дневника.

Они общались не только в течение нескольких дней пребывания М. С. Щепкина в Нижнем Новгороде да плюс еще немногих после того - нет, были вместе всю осень и зиму, за исключением разве недель, когда Алейников по делам службы отправлялся то в Москву, то в Петербург. Но несомненный интерес представляют и сами эти поездки. Они, безусловно, способствовали тому, что Шевченко мог больше и лучше знать о новостях столичной жизни.

Вот и все, что могу пока рассказать об Алейникове. Хотя есть еще одна запись, нуждающаяся в комментировании. Помните: "пустился я пешком в Семеновский полк искать квартиру Олейникова"? Это о нем же. Николай Сергеевич Алейников, получивший незадолго перед тем в свое заведывание все пассажирские пароходы общества, находился тогда, судя по документу в деле 684, в Петербурге, где заключал договора на оснащение пароходов, поставку разных сортов вин и прочее, прочее. Был он там продолжительное время. И если встреча не состоялась 8 апреля, то могла произойти днем, двумя, тремя позднее...

"РУСАЛКА" И "МЕРКУРИЙ"

20 июля 1856 года "высочайшим рескриптом" был утвержден Устав пассажирского пароходного общества по Волге под фирмою "Русалка".

Год спустя, даже много меньше, "Русалка" свое существование прекратила...

...Какое, однако, отношение имеет этот факт к Шевченко?

Отношение к нему имели учредители общества - и прежде всего Брылкин, Алейников, Овсянников.

Первоначальный капитал общества его учредители определили в 90 тысяч рублей серебром. Акции, по тысяче рублей каждая, разобрали еще до утверждения устава.

Несмотря на такое благоприятное начало, дела вновь организованной фирмы оказались не блестящими. Что касается перспектив, то они также расцвета не сулили. Правление "Русалки" увидело, что конкуренции с экономически более сильным

соперником не выдержать и "с согласия всех участников" попросило "принять предприятие сие в состав общества "Меркурий", дабы не подвергаться невыгодам конкуренции".

Весною 1857 года "Русалка" (это зафиксировано в деле 2) оказалась "удочеренной" входившим в силу "Меркурием"...

...Названных здесь лиц мы знаем по записям в дневнике. Шевченко они были известны. А коль так, то знал он и о скоропостижной кончине, постигшей детище Брылкина и К°.

Показательно, что именно на принадлежащем "Меркурию" пароходе "Князь Пожарский" написал он свои вдохновенные, глубоко прочувствованные слова: "...Под влиянием скорбных вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника (крепостного скрипача Панова.- Л. Б.) пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревающим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовою проглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон! И великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Мое пророчество несомненно".

Далеко-далеко вперед летели его мечты...

Уже во время рейса Шевченко смог познакомиться с самыми различными представителями "Меркурия": и его партнерами-работодателями (Сапожников), и его капитанами (Кишкин, Возницын), и его рабочими ("машинист", "лоцман", "волжские плователи", "крепостной Паганини"). Наблюдать их вблизи и как бы со стороны, слышать их речи, разговаривать с ними о разном. Там же, где читаем мы шевченковское пророчество о великом будущем "молодого", не по дням, а по часам растущего дитяти", рядом со словами, которые приведены чуть выше, есть и другие, тоже навеянные игрой Алексея Панова, "отпущенника г-на Крюкова": "Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный. Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный мрачный глубокий стон миллионов крепостных душ. Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, неублажимый боже?"

Записывал Шевченко мало, но видел много.

12 сентября: "Погода отвратительная. "Князь Пожарский" и "Сусанин" положили на ночь якорь в Спасском затоне. Это зимняя стоянка пароходов Меркуриевской компании. Здесь устроены мастерские, квартиры для капитанов, помещение для мастеровых, школа и кабак".

Только обойдя все (и все посмотрев), мог он увидеть такие контрасты, как "квартиры для капитанов" и "помещение для мастеровых", или другое, тоже противоположное: "школа и кабак". Несколько слов, а как много ими передано... Нет, не с палубы видел все это Шевченко. Да ведь и сам он о том свидетельствует: сходил на берег, гулял в роще, даже "набрал маленький букет" для одной из пассажирок. Прогулка, выходит, не для букета только...

И наконец Нижний. Длительная задержка здесь дала ему возможность увидеть и понять многое, очень важное.

В круг знакомых поэта с первых дней вошли самые видные организаторы "Меркурия" - уже названные Брылкин, Алейников, Овсянников. У Овсянникова - в доме, арендованном пароходным обществом,- он поселился. С Брылкиным ездил в

Балахну, где смотрел, как строятся пароход и баржи для компании. Вместе с ними был "мистер Стрем, американский инженер". К компании, пожалуй, имели отношение и некоторые другие лица, в дневниковых записях значащиеся, но без всякого определения служебной принадлежности и рода занятий.

Все глубже постигал Шевченко день за днем первое, так близко узнанное им, капиталистическое предприятие...

...Ну, а я, листая, читая и перечитывая дела из фонда № 101, как бы расшифровываю для себя (и, следовательно, для других) то, о чем он несомненно знал, но на страницы дневника записывать не успевал. Или записывал так, чтобы помнить лишь самому: дневниковые строки ни для кого другого не предназначались.

"Олейников" оказался Алейниковым... В ходе поиска обнаружились "ключики" и к некоторым другим именам - прежде всего, по-особому интересовавшим меня "Грасу" и "Стрему".

ОН НАЗЫВАЛ ЕГО СТРЕМОМ...

Павел Петрович Мельников, один из директоров компании "Меркурий", в апреле 1857 года отправлялся во Францию. Ехал он туда "для осмотра пароходов, плавающих на Роне, и собрания сведений, необходимых для соображений о возможности употребления таких пароходов на Волге". Сопутствовать ему был приглашен находившийся в Петербурге инженер Нистрем - ученик известного судостроителя Карл-зунда, который, по общему мнению, имел отличные специальные познания, а, кроме того, еще и большой опыт: в течение нескольких лет знакомился со всеми особенностями работы усовершенствованных речных пароходов в Америке.

В сентябре того же, пятьдесят седьмого, парижская поездка благополучно закончилась. Генерал-майор Мельников и судостроитель Нистрем вернулись в столицу России, исполнив возложенное на них поручение.

А 12 сентября в журнале правления общества "Меркурий" (Д. 683.-Лл. 165-168) появилась запись о том, что оно, правление, "желая воспользоваться отличным его (инженера.- Л. Б.) знанием дела, постановило: а) предложить г-ну Нистрему отправиться в Нижний Новгород и, по осмотре 120-сильных машин наших пароходов, составить, по соглашению с г. помощником управляющего пароходством Н. А. Брылкиным, подробные рабочие чертежи и Детали железных для них корпусов и потом труд этот представить на рассмотрение правления, ...в) поручить г. Нистрему вместе с Н. А. Брылкиным осмотреть мастерские общества при Спасском затоне и, по обоюдному соглашению, составить и представить в правление соображения о приведении тех мастерских в такое положение, чтобы можно было изготовлять в них не только корпуса для пароходов, но и самые машины..."

Несколько дней спустя он отправился в новую свою командировку - на этот раз к берегам Волги. И уже 24 сентября: "Н. А. Брылкин ездил в Балахну с мистером Стремом, американским инженером, посмотреть на строящийся там пароход и баржи для компании "Меркурий". От нечего делать и я напросился им сопутствовать".

Какой-такой Стрем?

Стремом называл Нистрема Шевченко. Последние строки, вами прочитанные, принадлежат ему.

На пятый день своего пребывания в Нижнем Новгороде поэт пустился в путь вновь. "Щегольской, новенький пароход "Лоцман" в полдень поднял якорь и понес нас вверх по Волге. С разными остановками в 5-ть часов вечера мы, наконец, остановились у Ба-лахны..."

"Инспектация" показалась ему короткой. Но только потому, что поездка в обществе Брылкина и Нистрема была на редкость интересной. В свой дневник он записал, что Балахна - "одна из главных верфей на берегах Волги", что это "родительница бесчисленных живописных расшив" (множество раз им виденных еще на Каспии, а затем - во время длительного плавания на пароходе "Князь Пожарский"). "Из рассказов я узнал..." - пишет Шевченко. Порассказали ему немало. Поездка на "Лоцмане" - только что построенном пассажирском пароходе - была не просто поездкой, но в гораздо большей степени испытанием новой машины, и любопытно было наблюдать как задают ей задачи то инженер, то Брылкин, то машинист Вальквист.

На глазах Шевченко словно рождался завтрашний день Волги.

Нистрем (встречаются в бумагах пароходного общества и другие написания этой фамилии: Нистром, Нюстрем) был, по всему судя, из тех иностранных инженеров, которые служили России не столько за деньги, сколько по велению совести. Искреннее удовлетворение испытал я, читая в деле 2 подлинное его письмо в правление общества "Меркурий", посланное в ноябре 1857 года, когда он уже успел на новом месте оглядеться и кое-что предпринять. Письмо направлено, прежде всего, против могущественного и влиятельного заводчика Людвига Нобеля, который не спешил вводить "превосходные улучшения", оправдавшие себя на многих пароходах. Нистрем требовал, чтобы выпускаемые в Петербурге машины не уступали лучшим зарубежным. Нобель обвинил инженера в том, что он, Нистрем, "причинил недоразумение между ним и обществом "Меркурий", но судостроитель стоял на своем, и стоял упорно.

...На Волге Джон В. Нистрем служил не один год. Во всяком случае, все месяцы, проведенные Шевченко в Нижнем Новгороде, был там и "американский инженер Стрем" - так что встречи их могли происходить и дальше. В июне 1858 года он изъявил желание перейти на службу в Российское общество пароходства и торговли.

Но это была та же Волга.

Волга "плюс Каспий".

ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ ГРАСС

1 октября Шевченко начал, а 2 октября закончил портрет "г. Грасса".

31 октября "И. П. Грае" познакомил его с Марией Александровной Дороховой.

2 февраля "Грае" был среди тех, кто собрался, чтобы дружески отметить день рождения поэта.

И на все эти четыре записи - всего одна биографическая подробность: Грае - зять Н. А. Брылкина; "М. А. Грае" - жена первого и сестра второго - упоминается в дневнике 12 января.

Как звали Граса? Где и кем служил? Что собою представлял? Не выяснив первых двух вопросов, нечего было думать и об ответе на главный.

Уже то, что имя его оказалось в бумагах "Меркурия", говорило о причастности интересующего меня лица к пароходному обществу. Илья Петрович Грасс (Д. 4.- Л. 11) оказался агентом нижегородской конторы, а в прошлом - офицером флота.

Ничего более найти о нем в фонде № 101 мне не удалось. Но сразу же рука моя достаточно уверенно потянулась к томам "Общего морского списка".

Грасс... Илья Петрович Грасс... Есть в девятой части!

Флотская его биография оказалась не слишком длинной.

В 1839 году Грасс поступил в морской корпус кадетом. Пять лет спустя он стал гардемаринном, еще через два года - мичманом. Тогда же юный моряк получил назначение в Черноморский флот. На бриге "Персей" ему довелось крейсировать вдоль восточного берега Черного моря, потом на транспорте "Буг" ходить по различным портам. В 1848-м последовал перевод в Дунайскую флотилию. Под свою команду он получил канонерскую лодку № 7.

Но уже в 1849 году морская служба Грасса закончилась. Его перевели в Бородинский егерский полк. Мичман стал прапорщиком.

Прапорщики "Общий морской список" не интересовали: звание не флотское и ведомство иное, сухопутное. Мне же этот человек был интересен по-прежнему. И тогда обратился к архивному фонду 406 ЦГАВМФ.

Нового из формуляра в деле 290 выяснил мало. То, например, что происходил он из дворян Московской губернии, где у отца его, в Рузском уезде, имелось 32 крестьянских души. Несложный подсчет помог определить возраст: мичманом стал в семнадцать лет, в прапорщики произвели в двадцать. Значит, в пятьдесят седьмом ему было двадцать восемь.

По какой причине ушел Грасс в отставку, об этом не сообщали и материалы архивные. Ясным было лишь то, что военная его служба продолжалась меньше, чем морская. На Волгу он приехал совсем молодым, чтобы испытать силы на поприще мирном. И в несколько лет достиг многого - не без влияния, конечно, удачной женитьбы. К началу шестидесятых годов он стал в нижегородской конторе общества "Кавказ и Меркурий" одним из главных должностных лиц.

...Грассу Шевченко был обязан своим первоначальным знакомством с Марией Александровной Дороховой; она, в свою очередь, помогла поэту ближе узнать мир декабристов.

Такой факт, известный из дневника, достоин войти в политическую характеристику Грасса.

Что представлял он не как служащий пароходного общества - как человек своей эпохи?

Здесь-то пришло время обратиться к следственному делу... Николая Гавриловича Чернышевского. Процессом над ним Александр II умножил, по выражению Герцена, черный список злодеяний русского самодержавия.

Среди многих имей, фигурирующих в материалах следствия, находим мы и имя Грасса - правда, слегка искаженное.

"Сегодня,- доносил один из агентов III отделения 20 ноября 1861 года,- в 9 1/2 час. утра был вынос тела умершего 17 числа литератора Добролюбова... В квартиру его на Литейной собралось более 200 человек литераторов, офицеров, студентов, гимназистов и других лиц. Всем, бывшим там, раздавали его визитные карточки. Гроб несли на руках до самого кладбища... Вся речь Чернышевского, а также и Некрасова,

клонила, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика..."

В числе "других лиц" находился Грасс. Откуда это известно?

Другое донесение, от 21 ноября: "18 ноября у Чернышевского были: приезжий из Нижнего Илья Петрович Грасс, который также был на похоронах у Добролюбова; живущая у Пяти углов, в доме Иванова, г-жа Пыпина и приказчик от Кожанчикова с запискою..." (Дело Чернышевского.- Сборник документов.- Саратов, 1968.- С. 75-76).

Следствие продолжалось долго, оно обрастало новыми и новыми документами. Вот еще один, с датой 1 августа 1862 года - список лиц, посещавших Чернышевского:

"...Лица, посещавшие его в разное время; из них многие бывали очень часто: Рычков, артиллерийский офицер, с Кавказа; Пыпин; Захарьин из Нижнего Новгорода; Шелгунов, подполковник; Обручев, полковник; Сокальский из Москвы; Грасс из Нижнего Новгорода..." (С. 153).

Список на нем не заканчивается.

Приводя эти цитаты, я меньше всего склонен убеждать вас в том, что Грасс принадлежал к "ближайшим соратникам" Чернышевского и Добролюбова. Нет, к таковым он не относился, его роль была скромной. Но когда думаешь о том, что же сблизило в Нижнем поэта-борца и молодого служащего, как не вспомнить, что этот служащий запросто приходил в дом к Чернышевскому и нес на плечах тело Добролюбова. Было это двумя-тремя годами позднее? Помню и не отрицаю. Только убежден: созревание - процесс не моментальный. Шел он и тогда, когда судьба, жестокая к Шевченко, одарила радостью общения с ним Ильей Петровичем Грассом.

Хотел бы я увидеть портрет, нарисованный Тарасом Шевченко в первые дни их знакомства.

БРЫЛКИНЫ

В первых числах октября 1857 года Петр Брылкин отправился из Петербурга в дальний путь - на Дунай. В Австро-Дунайскую компанию главное правление "Меркурия" посылало его ради того, чтобы, согласно документу в архиве (Ф. 101.- Оп. 1.- Д. 683.- Л. 186), "извлечь из сей командировки немаловажную... пользу уяснением себе того неслыханного у нас на Волге искусства в речном плавании, благодаря которому командир Дунайской компании водит за 400-сильным пароходом по 16 барж одна за другой".

Брылкин побывал во многих местах - не только на Дунае, но и, например, в Одессе. Он вернулся с обширнейшими сведениями, а к тому же еще с чертежами плавающих по южным рекам пароходов. В Петербурге, куда посланец фирмы прибыл сразу по окончании своей миссии, его успехами остались довольны. Отчет был принят. Автора попросили поехать в Нижний и "лично передать тамошней конторе собранные им на Дунае сведения" (Л. 283-284).

В город на Волге П. А. Брылкин приехал в один из последних дней уходящего года. Так что, читая в дневнике о "дружески веселой встрече Нового года" в семействе Брылкиных, не сомневаешься, что для Шевченко она явилась одновременно и знакомством с еще одним представителем уже известной ему флотской фамилии. Пройдет около двух месяцев - и поэт назовет П. Брылкина среди приятелей,

собравшихся 25 февраля 1858 года, чтобы поздравить его "с днем ангела" и скорым отъездом в Петербург. Значит, добрые отношения продолжались.

...Брылкины в материалах общества "Меркурий" встречаются наиболее часто. Особенно - Николай Александрович. В "Журналах правления..." за 1857- 1858 гг. мы видим его сначала в качестве помощника управляющего пароходством, а затем - управляющего пароходством и нижегородскою конторою (Д. 684.-Л. 73-76).

"Я управлял на месте делом с 1854 года самостоятельно..." - скажет он в 1861-м, когда в "Журнале для акционеров" (1860.- № 164) и "Санкт-Петербургских ведомостях" (1861.- №№ 52, 53) появятся статьи о беспорядках в уже объединенном обществе "Кавказ и Меркурий". Глазная часть критики здесь и в других органах печати будет обращена против него. (В том числе - в связи с "семейственностью". На это основной упор сделает Ф. Севастьянов.

"Защищать" Брылкина от критики своей задачей я не ставлю. Больше того, если говорить прямо, не вызывает сомнений и у меня то, что был он предпринимателем, притом оборотистым. И уж никак не бескорыстным.

Но Шевченко в Брылкиных и их окружении привлекала - сомнений у меня нет — непосредственная близость этих людей к тому новому, нарождавшемуся, что должно было "проглотить помещиков-инквизиторов". Именно они пестовали "колоссальное гениальное дитя" Фулгона и Уатта. В том же 1861-м, когда на них обрушится критика со стороны нескольких столичных органов печати, возникнет "Товарищество на вере, под фирмою Брылкин, Головин и К^о", и ему, этому товариществу, окажется под силу осуществить - на Волге впервые - "движение срочно-буксирных пароходов, с одною баржею, между Нижним и Астраханью".

Однако вернемся к самим Брылкиным. Кто они?

В "Общем морском списке" эта фамилия занимает несколько страниц. Выяснить степень их родства я не пытался, но для себя заметил, что некий Александр Николаевич участвовал в Крымской войне на корабле "Чесма", а затем на шестом бастионе оборонительной линии Севастополя; другой - Дмитрий Николаевич - дрался в том же гарнизоне Севастополя, на Малаховом кургане; третий - Владимир Николаевич - незадолго перед тем совершил переход из Кронштадта в Средиземное море; четвертый...

Впрочем, нас сейчас интересует иная ветвь Брылкиных.

Брылкин Николай Александрович!

...1837 г., сентября 4. Поступил в морской корпус кадетом.

1842 г., января 10. Произведен в гардемарины. На фрегатах "Амфитрида" и "Цесаревна" плавал по портам Финского залива.

1844 г., августа 9. Произведен в мичманы, с назначением в Черноморский флот.

1845 и 1846 г. На бригах "Эндимон" и "Меркурий" крейсеровал у абхазских берегов.

1847 г. Переведен из Черноморского в Балтийский флот.

1848 г. На пароходе "Ижора" ходил по портам Финского залива.

1849 г., декабря 6. Произведен в лейтенанты.

1850 г., октября 16. Уволен от службы для определения к статским делам.

1853 г., января 21. Определен в департамент корабельных лесов комиссионером, с переименованием в титулярные советники. Апреля, 29. Уволен от службы.

С тех пор - на Волге. (Помните: "Я управлял на месте делом с 1854 года самостоятельно"?)

Брат, Петр Александрович, был старше и служил на флоте дольше. Закончил он офицерскую свою службу в 1855-м в чине капитан-лейтенанта. Перед тем ему довелось находиться на Свеаборгском рейде и участвовать в защите крепости от нападения англофранцузского флота.

В обществе "Меркурий" П. Брылкин служил сначала капитаном парохода "Минин". Капитанскую службу оставил в 1857-м, получив тогда в награду триста рублей серебром. Оставил, однако, не для того, чтобы с Волгой расстаться; если и выехал на Дунай, то с желанием побольше почерпнуть полезного и для волжского пароходства.

Не без участия Брылкиных - во всяком случае, их примера - пришли на волжские пароходы другие офицеры флота: Яков Осипович Возницын, Владимир Васильевич Кишкин, Андрей Иванович Наумовский, Василий Иванович Иванов, Парфен Александрович Курош, Михаил Михайлович Гейнеман, Сергей Александрович Путятин, Петр Герасимович Веселаго... ("Мичман Веселаго, по рекомендации Н. А. Брылки-на, назначен помощником пароходного капитана" - так записано в "Журнале правления пароходного общества "Меркурий" 4 сентября 1857 г.).

Возницын и Кишкин, как знакомые Шевченко, нам известны по дневнику. Иванов являлся командиром "Адашева" - того самого, который назван в записи за 14 сентября 1857 г. Мог встречаться поэт и с другими, названными и не названными здесь, бывшими флотскими офицерами. Встречаться в доме Брылкиных, у Овсянникова или Алейникова, в конторе "Меркурия", в Нижнем Новгороде вообще... Были среди них и такие, которые могли быть ему известны еще со времени службы на Мангышлаке. Курош, например, ходил в 1855 году по Каспию на пароходе "Тарки".

...Я продолжаю листать дела из архивного фонда № 101.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

После того, как журналы "Меркурия" помогли мне ближе узнать Брылкиных, Овсянникова, Грасса, после той роли, которую они сыграли в раскрытии загадок "Олейникова" - Алейникова и "Стрема" - Ни-стрема, мог ли, смел ли желать от них большего?

Шевченко? Каким образом? Что о нем может быть тут?

Эту запись я переписываю - во всяком случае, все, что касается самого Шевченко.

ЖУРНАЛ ПРАВЛЕНИЯ

Высочайше утвержденного общества пароходства "Меркурий"

12 апреля 1858 года № 51

О выдаче Г. Шевченко, по переводному письму Нижегородской конторы, 375 рубл...

Г. Художник Тарас Григорьевич Шевченко, представя в Правление переводное письмо Нижегородской конторы от 5 сего Лщкмья :iu ..V uS2, на получение от него оною Конторою 375 рубл., просил о выдаче ему сей суммы.

Правление постановило: а) выдать Г. Шевченко означенные триста семьдесят пять рублей, для чего дать ордер Г. Казначей, и б) о сей выдаче уведомить Нижегородскую контору...

Председательствующий Н. Новосельский. Директоры: Евгений Гаспарини, Павел Мельников. Правитель дел Ф. Хенцинский.

Мое удивление понятно. Понятны и вопросы, которые эта запись породила. Что за "375 рубл...", полученных необычным тогда способом - по переводному письму? Личный долг?... гонорар?... Но долг был бы возвращен без помощи правления, а уж если бы довелось Тарасу Шевченко делать что-то для пароходного общества "Меркурий", мы о том прочли в дневнике... Нет, не то. Что же?

Перечитывая нижегородские письма поэта, я задержался на том, которое он 26 января 1858 года отправил П. А. Кулишу.

"...О каких ты это мне пишешь деньгах? (Даю в русском переводе - Л. Б.) Не знаю, из каких денег прислал мне М. Лазаревский в Новопетровское укрепление, перед выездом, 75 рублей. Да 150 рублей За-леский прислал в Нижний за рисунки через Лазаревского. Да ты, спасибо тебе, 250 рублей. Вот и все деньги. И я их не транжирю, так как думаю жениться, осточертело в неженатых ходить. Ну его: и ежели есть у вас какие-нибудь мои деньги, шлите их сюда. Я возьму на них акций Меркурьевского общества, и они принесут мне 10 % в год. Видишь, какой я хозяин. А тебе какой дурак наврал, что я и до сих пор - запорожец? Брехня! Не верь..."

Все в публикациях этого письма комментируется. Все - кроме "щепетильного" вопроса о деньгах и акциях. О деньгах - вроде и так понятно. Об акциях - наверное, шутил. Шевченко - и вдруг акционер!..

А его тревожило будущее. Страшили неопределенность судьбы, бездомность, безденежье. До боли хотелось иметь свой дом, свою семью. И в поисках хоть какой-то перспективы избавления от нищеты, он, по-приятельски связанный со многими служащими пароходного общества, мог увидеть пусть призрачную, но все-таки надежду в помещении скромнейших своих средств в такое предприятие, как общество "Меркурий".

Тем более, что технике, развитию производительных сил придавал значение огромное. (Еще раз вспомним его слова: "...Великий Фультон! И великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны...").

По деньгам своим Шевченко мог приобрести лишь половину акции. Сопоставим три с лишним его сотни с 24 тысячами полковника Кованько, 15 тысячами губернского секретаря Трубникова и даже 3-6 тысячами нижегородских знакомых Алейникова, Овсянникова, Брылкина, Шрейдерса. "Видишь, какой я хозяин..." - писал он Кулишу. Хозяйство денежное оказалось призрачным. Владел он всем - кроме денег. Не больше стало их и после этой затеи с "акциями".

Прошло два-три месяца и вложенный капитал в сумме 375 рублей был востребован обратно. Без процентов. Ждать их оказалось невтерпех.

...Так отвечаю я на свой же вопрос о происхождении и сути неожиданного документа.

Еще не раз, наверное, придется мне обращаться в своей книге к фонду № 101. Вновь перечитывать листы его дел, ссылаться на сведения, почерпнуть которые мог только здесь. Моих надежд он не обманул.

...Но тут же сделаю приписку.

Люди, о которых рассказано в этой, второй, "волжской тетради", в большинстве своем стали его знакомыми в Нижнем Новгороде. Сказал бы даже - первыми нижегородскими знакомыми. В городе, где заканчивался рейс "Князя Пожарского", они оказали Шевченко немало добрых услуг.

Однако с обществом "Меркурий" Шевченко впервые познакомился еще до прибытия в Нижний, и потому позволил я себе от строгой хронологии отступить. В данном случае суть не в датах.

Для читателя, который сочтет мое, автора, решение неправомерным, эта "тетрадь" пусть станет уже "нижегородской".

Одной из "нижегородских" - в повествовании центральных...

НИЖЕГОРОДСКАЯ ТЕТРАДЬ – I

Хороша свобода. Собака на привязи. Это значит, не стоит благодарности, ваше величество.

Т. Шевченко

С сентября 1857 г. по март 1858 г. поэт пребывал "на перепутье" - в Нижнем Новгороде...

Из биографии

ПРОХОДИЛ ПОЭТ ЧЕРЕЗ КРЕМЛЬ

Всем другим дорогам в Горьком предпочитаю я те, что ведут через Кремль. Сама История отлита в камень этих оград, этих башен.

"Пошел в Кремль..."

Такую запись Шевченко сделал в первый же день по прибытии "Князя Пожарского" в Нижний.

Бывал он в Кремле часто. Смотрел. Рисовал. Думал. И думал не только об архитектуре, о прошлом.

"На днях как-то проходил я через Кремль и видел большую толпу мужиков с открытыми головами перед губернаторским дворцом. Явление это показалось мне чем-то необыкновенным, и до сегодняшнего дня я не мог узнать его содержания, а сегодня Овсянников рассказал мне, в чем было дело.

Крестьяне помещика Демидова, того самого мерзавца Демидова, которого я знал в Гатчине кирасирским юнкером в 1837 году и который тогда не заплатил мне деньги за портрет своей невесты, теперь он, промотавшийся до снаги, живет в своей деревне и грабит крестьян. Кроткие мужички, вместо того чтобы просто повесить своего грабителя, пришли к губернатору просить управы, а губернатор, не будучи дурак, велел их посечь за то, чтобы они искали управы по начальству, т. е. начинали с станового.

Интересно знать, что дальше будет..."

Узнал ли - дневник не говорит.

Ну, а мне эту историю - всю, с продолжением и окончанием - открыло архивное дело из фонда канцелярии Нижегородского военного губернатора, начатое 25 октября 1857 года. (Государственный архив Горьковской области - сокращенно ГАГО.- Ф. 2.- Он. 6.- 1857.- Д. 77).

Двадцать пятое октября... Именно эта дата должна быть внесена в будущую "Летопись жизни и творчества Т. Шевченко" взамен расплывчатого "на днях".

Что в тот день случилось?

"Толпа мужиков", которую увидел поэт, и впрямь была большой: 208 человек. Крестьяне пришли сюда из сел Варган, Белозерихи, Любимова - все в Мака-ровском уезде - с жалобой на своего помещика Демидова:

"Означенный помещик наш майор Деонис Алексеевич Демидов, владея нами четвертый год по наследству после матери своей, собирает с нас оброчной суммы с тягла по сорока рублей серебром в год; столь тягостный оброк привел нас в такое разорение, что многие из нас не только лишились скота, но не имеют даже лошадей, необходимых в крестьянском быту к запашкам земли и разным работам... Если кто из крестьян имеет хороший дом и приличное крестьянину состояние, то вынужденно отбирает у таковых деньги сверх оброчной суммы, угрожая сломкою и переносом домов в другую деревню; сим образом забрал денег человек у 17-ти от 50 до 300 р. серебром с каждого, всего до 5000 р. серебром. Ныне, собрав с нас оброчной суммы вперед за январскую треть предстоящего 1858 года, вынуждает еще к отдаче таковой за майскую треть.

Изнуренные таковым распоряжением господина своего, мы не имеем возможности платить ему по 40 рублей серебром с тягла, а согласны только по двадцати рублей, почему вынужденными нашлись прибегнуть к вашему превосходительству и просить... покровительства и защиты".

Военный губернатор А. Н. Муравьев, управлявший в губернии и "гражданскою частию", получив жалобу, предписал старшему чиновнику особых поручений Жукову "немедленно отправиться на место происшествия" и вместе с жандармским офицером "произвести по всем обстоятельствам... тщательное исследование". Причем - "имея в виду свойственные крестьянам простоту и легкомыслие, последствием чего была и самовольная их отлучка" - губернатор предлагал сделать им "надлежащее внушение".

Оно, это "внушение", оказалось как раз таким, каким представлено в шевченковском дневнике.

"Крестьяне г. Демидова... возвращены с строгим внушением в место жительства, некоторые же из них были наказаны розгами и закованы",- читаем в официальной бумаге, вышедшей из канцелярии двумя днями позднее, двадцать седьмого.

А в селах, где произошли "беспорядки", началось следствие.

"Майор и кавалер" Деонис Демидов клятвенно заверил, будто он только просил, а, мол, крестьяне напились и заявили, "что они оброка платить не будут и что они вольные", потом же, по наущению зачинщиков, надумали "собраться по человеку со двора и идти в Нижний".

Сельский бурмистр Григорий Сазанов это, разумеется, подтвердил, заявив, что сроду "более 20 рублей в год не собиралось" и вообще помещик не позволял себе насилия, во всем уповая лишь на "добрую волю". Даже собственноручное письмо барина показал. Письмо "ласковое", "отцовское"...

Нет, такой документ не процитировать грех, и я выписал его из дела со всеми особенностями стиля:

"Прозьба к добрым моим крестьянам, которую предписываю Сазанову им прочесть.

Будучи в нужде я обращаюсь к Вам с прозьбою, не приказываю, ибо оно выходит из пределов того, что в праве от Вас требовать.

Но прошу если можно собрать мне теперь оброк так как передаст Вам Сазанов; обещаю Вам, что поправившись немного, я оброчный взнос Ваш, я отдалю на такие сроки, которые будут Вам не тягостны, а легкие; окончив мою постройку и надобность преждевременного збора на будет, но теперь прошу ребята помогите.

13 октября 1857 года". Помещик Д. Демидов

Записка, что и говорить, просительная. Но мало кто не усомнился: написал ее "майор и кавалер" не тринадцатого, а после двадцать пятого, когда ехали в село с дознанием. И к тому же - одно на бумаге, а другое - Старший чиновник Жуков и жандармский капитан Перфильев допрашивали мужиков долго.

Тихов Федор Васильевич, шестидесяти пяти лет от роду, показал, что у него "бурмистр Сазанов по приказанию барина занял сто рублей серебром" и "сколько ни валялся в ногах у Сазанова, чтобы смиростивился и взял только пятьдесят рублей, но Сазанов не смиростивился".

Парфенов Иван Михайлович, тоже крестьянин в годах, сказал, что у него "взяли полтора ста рублей серебром для барина взаймы", и тоже силою, принудительно.

Шеляпенкин Федор, двадцати лет, под присягой заявил: он-де "посмел отказаться от займа - ломать избу стали".

Десятки листов исписали следователи, и лишь немногие засвидетельствовали: "больше двадцати с тягла не брал, взаймы давать не доводилось". Боязно барину суперечить - разорит, упечет куда, по миру голыми пустит!..

..."Интересно знать, что дальше будет..." - задумывался Шевченко.

Вот так дальше и было: допросы, допросы, допросы. А еще - зачинщикам розги. И - "внушения" в холодной. И - штрафы за "неповиновение". В селах, откуда пошли к губернатору с жалобой, надолго поселился карательный отряд. Что же касается помещика, то в губернаторской канцелярии сочли: стал он жертвой, нуждающейся в защите.

Шевченко назвал его точнее: мерзавцем.

"Явлением необыкновенным" показались поэту муяшки перед дворцом губернатора. Только больше по душе была ему иная в отношении грабителя мера: "просто повесить"...

АННА НА ШЕЕ

Среди работ Шевченко-художника, составляющих заключительный, десятый, том полного собрания его произведений, помещен карандашный "Портрет полицейского". Так подписан лист № 20.

Отыщем комментарий. "Возможно, на этом портрете изображен нижегородской исправник А. Е. Бабкин, ибо из неотысканных нижегородских портретов только А. Е. Бабкин мог быть в военном мундире начальника уездной полиции". И предположение, и утверждение - все в одной фразе.

Как именовали этот рисунок прежде? "Портрет чиновника"... "Портрет неизвестного"... Приятель Шевченко, сам художник и в прошлом владелец этой и других работ (я говорю о Григории Честаховском) в свой перечень-список записал: "Портрет чиновного чоловша полщеядора зъ христом и мядалями".

Составители и редакторы академических томов с Честаховским согласны: "Портрет полицейского". Согласен и я. Но кто этот "полицейский"? Действительно ли Бабкин?

Шевченко его рисовал. "Бабкин подарил мне прекрасную акватинту, изображающую смерть Людовика XVI, а я сегодня, за это назидательное изображение, изобразил его собственную персону и довольно удачно",- записано в дневнике 13 января 1858 года.

И все же тут не он. Я подумал об этом, выяснив из "Общей росписи всех чиновных особ", что Александр Евграфович Бабкин имел в 1857-м гражданский чин титулярного советника и состоял при земском суде. Ну, а окончательно убедился, изучая... награды.

У Бабкина оказалось три медали и одного из орденов, которые на портрете.

Кавалерские отличия, подчеркнутые на карандашном рисунке, были у нижегородского полицмейстера П. В. Лаппо-Старженецкого. По формулярным спискам 1858 года, он имел ордена св. Анны 2 и 3 степени с бантом, св. Станислава 2 степени с императорской короной, бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 гг. и ряд медалей еще.

Шевченко испытывал к "Лапе" (так в дневнике) признательность за то, что он "засвидетельствовал действительность... мнимой болезни" и тем самым помог ему избежать возвращения в Оренбург. Их знакомство продолжалось до самого отъезда Тараса Григорьевича в Москву и Петербург. Встречались они и в Петербурге.

Интерес наш к этой фигуре, таким образом, оправдан.

По тем же послужным спискам удалось установить, что Павел Вильгельмович Лаппо-Старженецкий (сам он подписывался короче - "Лаппа") происходил из дворян Нижегородской губернии, начал военную карьеру еще в 1835-м, когда вступил в лейб-гвардии Преображенский полк, позднее участвовал "в делах против горцев" на Кавказе, в 1854-м был уволен со службы по болезни, а уж затем пошел по части иной: городничим в Гродно и Арзамассе, старшим полицмейстером в Нижнем Новгороде. (ГАГО.- Ф. 5.- 1858 г.-Д. 172).

Признательный за оказанную услугу, Шевченко о Лаппо-Старженецком отзывался в дневнике с похвалой. Искренность "любезнейшего П. В. Лаппы" он на этих страницах ни малейшему сомнению не подверг.

Увидел бы поэт переписку, которая велась о нем в то же самое время полицейскими властями... Посмотрел бы на своего знакомого беспристрастными глазами...

Александр Павлович Ленский увидел его несколькими годами позднее и оставил нам характеристику картинную:

"На углу стояло несколько извозчиков с хорошими запряжками. Вдруг все они без всякой видимой причины повскакали в свои сани и, нахлестывая лошадей, бросились врассыпную, кто куда. Такой переполох бывает только на птичьем дворе, когда куры внезапно завидят ястреба. Мой извозчик пугливо обернулся, торопливо снял шапку и задергал вожжами изо всех сил, понукая свою лошаденку. Сзади раздалось зычное: "П-а-а-ди!" - и мимо нас пронеслась, ныряя по ухабам, пара серых: пристяжная свилась кольцом, на козлах - бородатый кучер, а в санях военный, завернувшийся в шинель с бобрами и с широчайшими плечами, так что плечи его равнялись ширине саней.

Это был полицмейстер Лапа, известный взяточник и "дантист", сворачивавший скулы и правому и виноватому. Впоследствии, встречаясь с ним, я всегда выносил тяжелое впечатление от этих бесцветных, холодных глаз с желтоватыми белками; от этих, словно лязгающих при разговоре крупных желтых зубов из-под желтых же усов с подусниками и сильно двигающегося четырехугольного подбородка. Что-то холодное и жестокое чудилось в этом человеке. Впоследствии, читая щедринское описание градоначальника города Глупова, таким я представлял себе Угрюм-Бурчеева..." (А. П. Ленский. Статьи. Письма. Записки.- М., 1950.- С. 58-59).

Вернемся к предыдущему абзацу. Прочтем его еще раз и одновременно всмотримся в черты, схваченные художником. Совпадение удивительное! Но... удивляться нечему: словесный портрет касается Лаппы, то же лицо, ту же фигуру чаичатлсм Шевченко. И как запечатлел! Бескомпромиссно...

"Любезнейшего" Лаппы здесь нет. Он такой, ка-ким был на самом деле. Карандаш художника-реалиста внес в его характеристику свою, притом существенную, поправку.

"ЗАШЕЛ К БОБРЖИЦКОМУ..."

Корреспондентов у Короленко было много - сотни. Опись писем, им полученных, занимает несколько толстенных томов. Я выписал из хранилища одно. (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ).- Ф. 135.- Р. II, К. 19.-Д. 31). Сделать это меня побудили не дата "1895" - далекая от времени, изучением которого сейчас занимаюсь, и даже не помета "Нижний Новгород" (о том, что писатель жил там, известно каждому). Мое внимание привлекли первые буквы до конца не разобранный фамилии: "Бобр....."

"Многоуважаемый Владимир Галактионович.

Будьте добры, выручите меня. Лиза нездорова, просила взять денег из конторы, а хозяина нет; уехал в Самару, вернется послезавтра. Если можете, не откажите мне в 5 или 3 рублях до следующего воскресенья. Просил бы вас 5 рублей.

Уважающий Вас А. Бобр.....

Бобржицкий!

Фамилию, архивистами не прочтенную, расшифровать удалось без труда: мне она была знакома по дневнику Шевченко.

...Едва "Князь Пожарский" причалил к нижегородской пристани и пассажир вышел на берег, как потяну: "Заплел в гимназию к Бобржицкому, бывшему студенту Киевского университета; не нашел его дома, я пошел в Кремль..."

Неудача не обескуражила: "Из Кремля зашел я опять к Бобржицкому и опять не застал его дома..."

После "осечки" вторичной он отправился на временную квартиру своих попутчиков Сапожниковых; там Шевченко огорошили вестью о том, что есть "особенное предписание полицмейстера" дать знать ему о прибытии поэта в Нижний. "Успокоившись немного, я в третий раз пошел к Бобржицкому и на сей раз нашел его дома с широко распростертыми объятиями..."

Та же запись - за 20 сентября 1857 года - дает возможность произвести несложные подсчеты и вполне определенно сказать, что у Бобржицкого он провел не менее пяти-шести часов. Поговорить, выходит, им было о чем...

Тем более удивительно, что ни в одной из последующих дневниковых записей "бывший студент Киевского университета" не упоминается. После длительных поисков первого дня, после широко распростертых объятий при встрече, после многочасовой беседы - и вдруг исчезнуть, да еще так, бесследно?

Но раньше, чем задуматься над такой загадкой, хотелось бы узнать об этом человеке больше.

Сведений о нем я отыскал не много.

"Общая роспись всех чиновных особ в государстве" на 1858-1859 годы сообщала об "учителе латинского языка Нижегородской гимназии Алексее Александровиче Бобржицком".

Ссылка на то, что он учился в Киеве, привела к "Академическим спискам Императорского университета св. Владимира", изданным в 1884 году. Там, на странице 92-й, отыскалось упоминание и этого имени. Оказалось, что "Бобржецкий Алексей в 1848 г. закончил со званием кандидата первое отделение философского факультета Киевского университета".

Он был еще студентом, когда фельдъегерь мчал революционного поэта в Оренбург. Познакомились в Киеве? Маловероятно... Скорее всего о Бобржицком недавнему изгнаннику сообщили в Астрахани, где киевлян, к тому же питомцев университета (правда, более поздних выпусков), оказалось много.

Не откроют ли архивы чего-то еще?

В Отделе рукописей Библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в фонде 37 - А. И. Артемьева, дело 707 открывает письмо А. Бобржицкого, адресованное П. И. Мельникову-Печерскому; оно было послано из Нижнего Новгорода в марте 1859 года и касалось участия гимназического учителя в газете, которую начал издавать писатель.

Мельников-Печерский, как можно судить по письму, знал Бобржицкого и видел в нем будущего корреспондента своего "Русского дневника". Тот откликнулся охотно, но для начала отправил в Петербург не статью, не очерк - произведение более крупное, которое рекомендовал как "Хронику". "Я не утрировал описываемые мною лица. Эти гг.- мои бывшие наставники..." - предупредил автор.

"Пятнадцать лет прошло с тех пор, как я кончил гимназию, я сам уже десять лет учителем, и не в одной гимназии - но, к несчастью, должен сказать, что многие из моих сослуживцев представляют только вариации на ту же тему..."

О, тут и биографические данные - особенно насчет служебной деятельности: все годы - учительство-ние, притом с переменой мест. Адрес Бобржицкого, выходит, Шевченко мог узнать не так уж давно, иначе точностью он бы не отличался.

"У меня также готовы Очерки из жизни калмыков и Исторические очерки Подольского края..."

Ссылка на очерки о калмыках - тоже в пользу Астрахани. Причем не только как места, где жили другие киевляне-университетчики, но и того, где какое-то время мог служить Бобржицкий! Прежде чем написать этнографические очерки, надо увидеть жизнь, обычаи, нравы своими глазами...

Когда-то, по аналогичному поводу, я прибег к определению "эстафета дружбы". Вот и сейчас мысли мои об эстафете, одним из звеньев которой стал Бобржицкий. Однако отчего звено оборвалось?

Оборвалось оно только на страницах дневника - тетрадь не могла вместить в себя все встречи тех удивительно насыщенных нижегородских месяцев. Знакомство же, дружба - продолжались.

Чем я это докажу?

Главное доказательство этого уже приводилось - правда, в другом месте, по иному поводу *. Имею в виду воспоминания о Шевченко, опубликованные 21 июня 1861 года с подписью: "А.-тынов" (А. Ф. Мартынов). Вспоминая встречи в Нижнем Новгороде, автор пишет о "нередко" происходивших беседах с поэтом именно в квартире Бобржицкого, его товарища на учительском поприще, которому Шевченко даже "оставил на память какое-то свое стихотворение".

...Бобржицкий намного пережил Шевченко - на десятилетия. Учил детей, занимался исследованиями, писал. Общался с интересными людьми - вспомним Мельникова-Печерского, Короленко. А к закату жизни подошел нищим: "просил бы вас 5 рубл.". И в самых полнейших библиографиях не найти его статей, его произведений - мне, во всяком случае, это не удалось.

Но едва ступив на берег, Тарас Григорьевич напри вился к нему, и встречались они потом, в последующие дни и месяцы нижегородского перепутья, и было такое общение поэту нужным.

ПОМНОЖЕННОЕ НА ЗНАНИЕ

На седьмой день пребывания в Нижнем Новгороде, 26 сентября, Шевченко рисовал Благовещенский собор.

"Древнейшая в Нижнем церковь. Нужно будет узнать время ее построения. Но от кого? К пьяным косматым жрецам не хочется мне обращаться, а больше не к кому. Нижний Новгород во многих отношениях интересный город и не имеет печатного указателя. Дико!.."

Над прошлым города, историей его строений Шевченко задумывался не раз. И какой была радость, когда Н. А. Брылкин принес "давно жданное "Краткое историческое описание Нижнего Новгорода", составленное некоим Н. Хранцовским"!

Книгу он раскрыл сразу и тотчас оценил как "интересную". С сожалением откладывал ее, чтобы отправиться к Печерскому монастырю - день выдался неплохим и хотелось использовать возможность зарисовать еще одну достопримечательность. Но скоро вернулся. Позавтракал, согрелся - и снова обратился к книге. "Книга хорошая и достаточно знакомит с историею края и города. Жаль, что г. Хранцовский об архитектурных памятниках и вообще о памятниках старины говорит слишком экономно. Но и за то спасибо. Печерский монастырь, что я сегодня рисовал, построенный при царе Федоре Ивановиче в 1597 г. вместо разрушившегося древнего монастыря, основанного архимандритом Дионисием". Книга становилась для него источником новых и новых сведений.

12 октября он вычитал из нее о времени построения Архангельского собора - "оригинального, красивого и самого древнего... здания".

27 октября, рисуя церковь пророка Илии, Шевченко знал, что сооружение ее относится к 1506 году и что воздвигли сей храм "в память огненного стреляния, спасшего Нижний от татар и ногаев".

30 октября в дневник были записаны сведения о времени создания рисованного им Благовещенского монастыря. "Прекрасное, ненаглядное создание!"

Подарок Брылкина оказался более чем кстати.

...Если с книгой М. Рыбушкина об Астрахани Шевченко познакомиться не успел (или познакомился уже перед выездом из города, так что исторические сведения пришлось добывать именно от "косматых жрецов"), то здесь историко-краеведческий труд, о котором мечтал чуть не с самого начала пребывания в Нижнем, подоспел вовремя.

Название книги было несколько иным, чем обозначено - по памяти - в записи:

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ И ОПИСАНИЕ НИЖНЯГО-НОВГОРОДА,

в двух частях, составленные Н. Храмцовским.

Издание В. К. Мичурина.

С 28-ю видами и 2-мя планами, снятыми с натуры Быстрицким, гравированными на камне.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(Очерк истории). Нияший-Новгород.

В Губернской Типографии. 1857.

Вторая часть - с описанием города - вышла из печати уже в 1859-м; так что тут и далее говорится только о части первой, дозволенной цензурой в сентябре 1856 года, а вышедшей в свет где-то в конце лета или начале осени следующего, пятьдесят седьмого.

Как раз тогда, когда приехавший в Нижний Шевченко возмущался, что город "не имеет печатного указателя".

"Нижний-Новгород, по своему настоящему положению, какое дает ему ярмарка, и по своему прошедшему, имеющему важное значение в русской истории, заслуживает особого внимания и давно достоин особой истории; а между тем и по настоящее время не нашлось еще для него не только историка, но даже и простого описателя, который, не входя в строгий критический разбор исторических событий, передал бы их фактически в хронологической последовательности и возможной полноте, как материалы для будущего историка... Надеюсь, что историческая критика, удостоив обратит внимание на слабый труд мой, не потребует от меня более того, что я мог сделать..."

Это строки из предисловия указанного на титульном листе Н. Храмцовского.

Кто же автор книги?

За ответом обратимся, прежде всего, к изданию Нижегородской губернской ученой архивной комиссии 1899 года под названием "Памяти Н. И. Храмцовского, историка Нижнего-Новгорода". В него вошли материалы торжественного заседания, которым комиссия отметила восьмидесятилетие тогда уже покойного энтузиаста изучения родного края; включены сюда и некоторые другие, дополнительные (библиография, письма и т. д.). Их достаточно, чтобы интересующего нас человека представить себе довольно полно.

...Он родился и умер в Вологде. Однако главным городом и постоянной любовью в его жизни был Нижний Новгород, куда приехал совсем юным и откуда уехал на закате дней.

Еще восемнадцатилетним начал службу в Нижегородском соляном правлении. Поступил сюда письмоводителем, потом был счетоводом, приказчиком, приемщиком соли из различных запасных магазинов, наконец помощником комиссионера; эту

должность Храмцовский занимал уже в пятидесятые годы. По службе изъездил всю европейскую Россию, и дело свое вел не только усердно, но и самоотверженно. Его самообладание помогло осенним днем 1854-го спасти караван соли на Волге; на караван обрушилась сильнейшая буря, опасность нарастала с каждой минутой, и много понадобилось усилий, чтобы грядущую беду отвести.

С соляным правлением Николай Иванович расстался в пятьдесят пятом. За девять лет до того стал он автором книги "И русское сердце не камень. Были из жизни на святой Руси". Этот первый литературный труд Храмцовского вызвал отклики - правда, не хвалебные. Но пыла автора они не охладили. Только переключился он на более ему близкую - нижегородскую историю. Много трудов было приложено, прежде чем появился "Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода", Издание принесло Храмцовскому славу и... разорение. "Все, знавшие Н. Ив. в конце семидесятых годов в Нижнем, единогласно говорят, что Николаю Ивановичу у нас жилось куда "не вольготно и не весело", он прямо сильно бедствовал в материальном отношении и дожил... до "черных дней".

На чужие деньги добрался он до Вологды, навсегда покинув город, которому отдал полвека жизни, весь жар сердца и главный свой труд - первый очерк истории. Тот, которому порадовался Тарас Шевченко.

Шевченко от книг по истории требовал многого "...После обеда, как и до обеда, лежал и читал "Богдана Хмельницкого" Костомарова,- записал он 22 сентября 1857 года.- Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального бунтовщика. Поучительная, назидательная книга! Историческая литература сильно двинулась вперед в продолжение последнего десятилетия. Она осветила подробности, закопченные дымом фимиама, усердно кадимого перед порфирородными идолами". Только ступив на нижегородский берег, он уже искал встречи с той подлинной историей Нижнего, которая в его глазах олицетворялась Мининым и Пожарским,- с историей великого, безмерного подвига народа. И помните, как огорчил увиденный им памятник бессмертным сынам России: "Копеечное, позорящее неблагодарное потомство приношение! Утешительно, что этот грошовый обелиск уже переломился". Между обеими записями - связь прямая. Особенно если учесть, что раздумья над книгой Костомарова следовали в дневнике непосредственно за раздумьями у памятника замечательным людям.

Труд Храмцовского, во многом несовершенный, поверхностный, он принял как "печатный указатель", который "достаточно знакомит с историею края и города", иными словами как путеводитель по Нижнему Новгороду.

Ко второй части труда Н. Храмцовского, вышедшей только в 1859-м и потому ему, Шевченко, неизвестной, были приложены 27 гравированных на камне рисунков нижегородского художника Дмитрия Яковлевича Быстрицкого.

Часть из них тематически совпадает с рисунками Тараса Шевченко.

Шевченко рисовал Благовещенский собор - зафиксировал его "с натуры" Быстрицкий. В шевченковском альбоме сохранилась карандашная зарисовка Печерского монастыря - вот он, тот же самый Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь, в книге. Оба художника запечатлели в своих, дошедших до нас, рисунках и зарисовках церковь святого Ильи, Благовещенский монастырь...

Это лишь то, что сохранилось, а потому поддается сопоставлению.

Сопоставлению рисунков. Рисунков и описаний. Описаний и истории.

Картина получается любопытная!

Уже в первом из названных рисунков Шевченко сумел подчеркнуть и "почтенный возраст" Благовещенского собора, и старину самого города. У Быстрицкого здания церковные совершенно сливаются со всеми другими, выходящими на ту же площадь; кажется, будто они строились одновременно. Разность эпох, выраженная в разности стилей, не схвачена. Шевченко же избрал такой ракурс, который дал ему возможность раскрыть и облик "древнейшей в Нижнем церкви", и длительность формирования архитектурного облика Нижнего Новгорода. Слева от собора мы видим здание гораздо более позднего происхождения, справа - стену и башни нижегородского Кремля, осязаемо старинные. Так достигается ощущение не просто архитектурной, но и исторической многослойности.

В еще большей степени видим мы это, сопоставляя рисунки Печерского монастыря. В отличие от Быстрицкого, Шевченко удалось подчеркнуть рельеф местности, которую когда-то, еще в XIV веке, облюбовал монах Дионисий, запечатлеть дома и подворья, окружавшие территорию; что касается его, монастыря, самого, то он в этой карандашной шевченковской зарисовке предстает перед нами не застывшей, парадной фотографией фасадов, а живым, "дышащим" памятником веков, вдохновенным творением рук человеческих. Шевченко преклоняется не перед "святостью" монашеской обители, но перед талантом создателя-народа.

Такие параллели - и с такими же выводами - можно было бы продолжать далее.

Совершенно очевидно, что точности, достоверности, глубокому историзму рисунка способствовало не просто мастерство художника, но мастерство, помноженное на знание, понимание исторических обстоятельств.

Знанием же их Шевченко был во многом обязан книге Н. И. Храмцовского.

Книгу Шевченко знал - это бесспорно. Знал ли он автора? Скорее всего, знал.

Они могли встречаться в театре. Храмцовский был не только записным театралом-зрителем, но и театралом-рецензентом: "много лет вел в "Нижегородских губернских ведомостях" театральную хронику", как сказано в той же книге "Памяти Н. И. Храмцовского, историка Нижнего Новгорода" (издания Нижегородской ученой архивной комиссии, 1899).

Встречи могли происходить в нижегородских домах - например, у Якоби, который в течение нескольких лет возглавлял соляное правление, где служил и Николай Иванович, или у Трубецкого, с коим тот общался в связи с совместной их работой в комиссии по разбору древних актов истории Нижнего Новгорода.

Известно, что Шевченко встречался с П. И. Мельниковым-Печерским; там же и тогда же мог быть Храмцовский, к Мельникову близкий.

В общем, возможностей встречаться с Храмцовским у Шевченко было достаточно. Да еще если учесть интерес поэта к книге нижегородского историка...

РАЗДУМЬЯ О САЗОНОВЕ

Оторванный на много лет от активной политической жизни, Шевченко с жадностью наверстывал упущенное. Малейшую возможность узнать новое старался он использовать до конца.

...В записи дневника за 16 октября упоминается Петр Петрович Голиховский, очутившийся в Нижнем "мимоездом из Питера в Екатеринбург".

Позднее, по материалам ленинградского архива (тот же Ф. 101.- Оп. 1.- Д. 684.- Лл. 50-53), мне удалось установить, что Голиховский - а точнее Голяховский - приехал на Волгу как представитель Общества заводской обработки животных продуктов. Приехал в связи с тем, что при транспортировке грузов на один из уральских стеариновых заводов оказались недоставленными шесть ящиков с апельсинами и лимонами, да еще десять бочек гарпиуса. Голяховский согласился, что "настоящая причина недостачи" заключалась "в непрочной упаковке товаров и в том отчасти, что они в летнее жаркое время отправили водою из С. Петербурга в Екатеринбург, с тяжелым транспортом, такие товары..."

Но суть не в этих деловых расследованиях. Важно, что Голяховский в Нижнем Новгороде оказался, да еще то, что кто-то из служащих пароходного общества "Меркурий" - может быть, Брылкин, может, Овсянников - познакомил с ним Шевченко. С ним и его женою - "такой страстно-чувственно-электризующей красоты, какой я не встречал еще на своем веку".

Читаем дальше:

"...П. П. Голиховский между прочим сообщил мне, что в Париже образовался русский журнал под названием "Посредник", редактор Сазонов. Главная цель журнала - быть посредником между лондонскими периодическими изданиями Искандера и русским правительством и еще - обнаруживать подлости "Пчелы", "Le Nord" и вообще правительственные гадости. Прекрасное намерение. Жаль, что это не в Брюсселе или не в Женеве. В Париже как раз коронованный Картуш по-дружески прихлопнет это новорожденное дитя святой истины".

Фамилия Сазонова выделена. Как незнакомая? Или, напротив, известная? Судя по характеру записи - услышанная не впервые.

Две недели спустя, 3 ноября, когда Шевченко возьмет вторую книгу "Полярной звезды", вышедшую в мае 1856 года, он снова увидит эту фамилию, но уже под опубликованной Герценом большой статьей Николая Сазонова "Место России на всемирной выставке". Статьей, в которой раздумья о прошлом, настоящем и грядущем Российской державы, о месте ее в семье цивилизованных народов...

Нет, конечно, Шевченко знать не мог, что по поводу этой статьи автор еще в 1851-м общался с Марксом и, в частности, обращаясь к нему, писал: "Мне говорили, что Вы и г-н Энгельс хотите воспользоваться всемирной выставкой, чтобы показать буржуазии, как ее усилия, с виду весьма щедрые и разумные, неизбежно уведут от обычного пути и ускоряют наступление коммунизма. Это прекрасная тема, достойная Вашего гения, и как бы я хотел, чтобы Вы основательно ее разработали... Раздавите гадину!" (Сб. К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия.- М., 1967.-С. 154).

Ни этого, ни многого другого он, Шевченко, не ведал. Но о Сазонове слышал наверняка...

...Герцен о нем и ему подобных писал: "Они жертвовали всем, до чего добиваются другие - общественным положением, богатством, всем, что им предлагала традиционная жизнь, к чему влекла среда, пример, к чему нудила семья,- из-за своих убеждений" (А. И. Герцен. Н, И. Сазонов : Соч. в 9 т.- М., 1956.-Т. 5.- С. 579).

Их свел Московский университет - Герцена, Огарева, Сазонова и других единомышленников. Потом молодые правдолюбы увлеклись идеями утопического социализма. Как вспоминал в "Исповеди лишнего человека" Н. Огарев:

Ученики Фурье и Сен-Симона,- Мы поклялись, что посвятим всю жизнь Народу и его освобождению, Основую положим сощьялизм.

"В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою тогдашнюю революционность буржуазная демократия..." - сделал впоследствии вывод Ленин (Поли. собр. соч.- Т. 21.- С. 256).

Кружок просуществовал недолго. Герцен, Огарев и некоторые другие были арестованы, отправлены в ссылку. Сазонову удалось ареста избежать. А вскоре он оставил Россию - оставил навсегда.

Ему посчастливилось участвовать, причем активно, в революции 1848 года; его голос постоянно слышали в революционном клубе "Братство народов"; на страницах "Трибуны народов" - издания Адама Мицкевича - он выступал за самостоятельность Польши, за союз и дружбу ее с будущей свободной Россией; много писал в газете "Реформа", которой руководил Ламенне (там Сазонов являлся редактором иностранного отдела).

Демонстрация в защиту Римской республики, которая проходила 13 июля 1849 года, сблизила его с Марксом (их знакомство состоялось за шесть лет до того). Потом, когда оба они вынуждены были из Франции выехать, Сазонов уже из Женевы писал Марксу о том, что считает его своим учителем, присоединяется "по всем существенным пунктам" к "Манифесту Коммунистической партии". Он заявлял: "Серьезный революционер может быть только коммунистом, и я теперь коммунист" (цитированный ранее сборник.- С. 148), а в одном из следующих писем сообщал о переводе "Манифеста..." на французский язык (Там же.- С. 153).

И хотя его отношения с Герценом не переросли в дружбу, тем не менее факт остается фактом: в Вольной русской типографии печаталась сазонов-ская брошюра "Родной голос на чужбине", а в "Полярной звезде" - статья, о которой уже говорилось.

Еще одно произведение вышло анонимно, то был нашумевший памфлет "Правда об императоре Николае. Интимная история его жизни и царствования, написанная русским". Впрочем, автора узнали многие - и во Франции, и в России.

Читаешь этот труд сейчас (Т. 41-42 "Литературного наследия")-и бросается в глаза близость оценок многих сторон деятельности Николая I Сазоновым и Шевченко.

Примеры? Ну хотя бы из того же дневника, обращаюсь к которому особенно часто...

"Тираном", "палачом", "тормозом" - этими словами характеризует царя Шевченко. "Тиран", "палач", "деспот" - вот оценки, которые давал российскому монарху Сазонов.

"Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом... Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора... Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин Николай запретил мне то и другое. Оба палачи..."

Сазонов - о царском "покровительстве" ненавистным ему литераторам: "...Он пускал в ход ловкость и свирепость заправского палача всякий раз, как получал возможность дать почувствовать кому-либо из этих людей действие царской ненависти... Пушкин был не единственным поэтом, пострадавшим от ненависти Николая ко всякой поэзии; до него еще Полежаев... пал под грубым ударом бессердечного деспота... Разве призраки всех этих жертв (Рылеева, Бестужева, Лермонтова и многих других, "не менее достойных сожаления".- Л. Б.) не являются во сне тирану?.."

Шевченко Сазоновым не назван, но среди тех, которым "Николай отравил жизнь своими преследованиями",- и он, революционный поэт Украины. Его голосом говорят все, для кого Николай "явился, прямо или косвенно, виновником преждевременной смерти".

Я мог бы свои сопоставления продолжить, но уже приведенных достаточно, чтобы с полным правом сказать: обеих авторов объединяет ненависть к царю, душителю всего живого и светлого.

По всей видимости, этим и заинтересовало поэта известие о новом предприятии Сазонова - журнале "Посредник".

Известие оказалось слухом - журнал, о котором мы прочли в шевченковском дневнике, так и не родился. Ни в том году, ни позднее - до самой смерти Сазонова, последовавшей в 1862-м в Швейцарии. К этому времени некогда революционный публицист, которого Карл Маркс называл "известным русским писателем", успел отказаться от многих своих взглядов, планов и "никто не шел за его гробом, никто не был поражен вестью о его смерти" (Герцен).

Но тогда, в пятьдесят седьмом, надежды на него еще возлагали многие. Возлагал и Шевченко...

"КНЯЗЬ-ЧЕЛОВЕК"

Где жил в Нижнем Новгороде Добролюбов?

Этот дом известен. На фасаде - соответствующая мемориальная доска. Но какое отношение имеет доб-ролюбовский адрес к Шевченко? Представьте себе, прямое...

"Ходил к Трубецкому, весьма милому князю-человеку, и не застал его дома..." Так начинается дневниковая запись от 29 октября 1857 года.

Не застал дома на сей раз - понимать можно только так. Прежде заставал, и вообще с Трубецким встречался. Уж если успел сделать вывод: "князь-человек", да еще "весьма милый"!..

Между тем комментаторы все еще сомневаются: кто он такой? что за князь? "Возможно, это Владимир Александрович Трубецкой, председатель Нижегородского гражданского суда..." Что в шеститомнике киевском, что в пятитомнике московском - одно и то же: "возможно".

Сомнение пора снять. Комментарий должен звучать определенно. Примерно так: "Трубецкой Владимир Александрович (1825-1879) - князь, председатель Нижегородской палаты гражданского суда. Окончив в 1844 году Казанский университет, служил по министерству юстиции; с 1847 г. стал товарищем председателя, а с 1850 г.- председателем указанной палаты. В конце 1857 г. его назначили управляющим Московской удельной конторой, впоследствии был воронежским губернатором и членом совета министерства государственных имуществ".

"Князя-человека", однако, это не объясняет.

В поисках каких-либо о нем сведений натолкнулся я на письмо Е. И. Якушкина к И. И. Пущину, датированное 23-м сентября 1857 года: "В управляющие удельной конторой... назначается нижегородский Трубецкой,- вы должны его знать. Это еще

тайна, но ее, разумеется, все знают". (Летописи Государственного Литературного музея.- М., 1938.- Кн. 3.- С. 472).

Значит, во-первых, он был известен в кругах возвращавшихся из ссылки декабристов. Значит, во-вторых, Шевченко познакомился с ним в последний период пребывания Трубецкого в Нижнем Новгороде. Детали новые, но... не решающие.

"Князь-человек"... Человек... Что за этим?

...Однажды я читал Добролюбова, его письма. Какие-то строки заставили меня остановиться.

"...Нельзя ли узнать, где теперь кн. Трубецкой, если он не приехал еще в Нижний. Ежели он здесь, в Петербурге, то попросите папашу уведомить меня об этом..." Это из сентябрьского письма 1853-го; Добролюбов пишет из Петербурга. (Собр. соч. М.; Л., 1964.- Т. 9.- С. 56. Далее ссылки только на страницы).

Июльское, 1854-го,- из Нижнего. "Мне страшно было ехать в свой дом..." Семью постигло горе - умерла мать. Отец остался с детьми мал мала меньше. Он, Николай Добролюбов, целый день в заботах. А в свободное время, как пишет другу, возится "с братьями да еще с двумя гимназистами... Это брат и племянник кн. Трубецкого, живущие ныне в нашем доме" (с. 159-160).

В августе обрушивается новая страшная беда: от холеры умирает отец. "Семеро маленьких детей остались на моих руках, запутанные дела по дому - тоже" (с. 161).

И чаще, чаще упоминаются Трубецкие. Вся семья (Владимир Александрович, его жена Мария Алексеевна, сестра отца жены семидесятипятилетняя Елизавета Никитична Пещурова и другие) принимают самое искреннее участие в судьбе сирот. В их семье поселяется рано умершая сестра Добролюбова - Юлия.

Потом уже, следуя за одной из сносок девятого тома, я отыскал и письмо В. А. Трубецкого к Николаю Александровичу, и несколько писем к нему Е. Н. Пещуровой - они позволили особенно полно представить всю меру их участия, выказанного осиротевшей семье.

Испытывая к этим людям теплые, благодарные чувства, Добролюбов делился с ними самым сокровенным. "Буду еще учиться, и может быть, перед смертью посетит меня... сладостное сознание, что вот наконец - я понял жизнь!" - писал он в мае 1858 года (с. 304).

А был Добролюбов уже тогда и зрелым политическим мыслителем, и боевым литературным критиком - тем Добролюбовым, который стал одним из вождей русской революционной демократии.

Когда Шевченко и Добролюбов встретились в Петербурге, разговор мог пойти и о их общих нижегородских знакомых.

О "милом князе-человеке" - прежде всего.

УЛЫБЫШЕВ ИЗ "ЗЕЛеной ЛАМПЫ"...

Знакомство Тараса Григорьевича с Улыбышевым состоялось 2 декабря 1857 года в нижегородском театре.

Брать этот факт под сомнение - значит оспаривать совершенно ясную и определенную дневниковую запись поэта, сделанную по свежим следам встречи, в тот самый вечер.

Но знали они друг о друге еще до первого рукопожатия. Уговаривая М. С. Щепкина приехать в Нижний, Шевченко писал, что того желают все "добрые и умные люди". Тут и читаем: "Старий Улибишев, той самий, що написав б і о г р а ф і ю Бетговена, не пропуска ш одного спектакля: так щиро любить театр..."

Записей об Улыбышеве в дневнике, упоминаний о нем в переписке, прямо скажем, не много. Но говорит это лишь об одном: встречи их на бумагу не попали. Только об этом, но никак не о том, что все ограничилось знакомством в театре.

Знакомство продолжалось. Было оно и приятным, и полезным.

"Улыбышев, Александр Дмитриев. Коллежский советник.

По показанию князя Трубецкого, Улыбышев принадлежал к числу членов Общества Зеленой Лампы, учрежденного Всеволожским и получившего название сие от лампы, висевшей в зале дома Всеволожского, где собирались члены. По изысканию Комиссии оказалось, что предметом сего Общества было единственно чтение вновь выходящих литературных произведений и что оно уничтожено еще до 1821 года.

Комиссия, видя, что Общество сие не имело никакой политической цели, оставила оное без внимания..."

Я дословно цитирую справку из "Алфавита членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному Высочайше учрежденною 17 декабря 1825 года Следственной Комиссией)". (Восстание декабристов // Материалы.- Л., 1925.-Т. 8.-С. 197).

В политических целях "Зеленой лампы" следователям разобраться не удалось. Оппозиционно настроенная дворянская молодежь объединилась тогда, в девятнадцатом-двадцатом, не столько для чтения произведений литературных, сколько для обсуждения судеб России. Это и привлекло сюда С. П. Трубецкого, Ф. Н. Глинку, других будущих декабристов. Это привело в дружеский круг А. С. Пушкина.

Александру Улыбышеву было в то время за двадцать пять. Сын русского посланника в Саксонии, он родился в Дрездене и в Россию вернулся только шестнадцатилетним. Ко времени приобщения к "Зеленой лампе" он был уже видным чиновником в Коллегии иностранных дел, редактором газеты "Беспристрастный хранитель", автором многих статей на музыкальные и литературные темы.

Следователям по делу о декабристах не попался на глаза его "Сон". А в нем говорилось о грядущем перевороте, об освобождении, которое он несет, о новой России, расправившей, наконец, плечи: "Великие события, разбив наши оковы, вознесли нас на первое место среди народов Европы... Леса, поддерживающие деспотизм, рухнули вместе с ним..."

То была политическая утопия в духе раннего декабризма. Автор грезил об "идеальном" государстве, но - управляемом... конституционным монархом. Да ведь и такая мечта являлась тогда не просто смелой - дерзкой.

И не сдобровать бы Александру Улыбышеву, попадись его труд на глаза "верховному судье" героев 14 декабря...

Служебная карьера чиновника Улыбышева отличалась стремительностью. К 1830-му он дослужился до действительного статского советника - "статского генерала". И тогда же Александр Дмитриевич принял твердое решение: от дел уйти, отправиться в родовое село Лукино, что под Нижним, посвятить себя литературе и музыке.

Свое намерение он осуществил. Его дома - сельский и городской - стали притягательными центрами для поклонников, ценителей искусств. К Улыбышеву тянулась даровитая молодежь.

Ошибались, однако, те, которые видели в нем только "барина-меломана". Нет. Улыбышев был тружеником, и - неутомимым. В Луние родились три тома "Новой биографии Моцарта", еще один капитальный труд - "Бетховен, его критики и толкователи", перевод "Божественной комедии" Данте, несколько пьес, множество статей - в общем столько и такое, что на пороге смерти он, едва перешагнув через свои шестьдесят, мог сказать: "Я пожил и поработал за четверых..." Но даже сказав - "чувствуя ясно приближение смерти", Улыбышев продолжал и творить (заканчивал комедию "Женихи"), и спорить (на книгу о Бетховене отклики шли со всей Европы), и думать (не только о судьбе искусства, но и о судьбах людей и мира).

Они познакомились в театре. С театром, его миром, его интересами были связаны и некоторые другие их встречи.

"У В декабре, например, оба радовались приезду Щепкина.

"Ще одно Р. S. Поте буе уже я оце письмо на почту, та зострґвся мет старий Улибишев, просив написать од себе глубочайший поклон і просить тебе, щоб ги пршхав просто до його на квартиру". Это из пи-|''ьма Шевченко другу-артисту - письма, датирование 5-м декабря 1857 года. I Для характеристики Улыбышева-театрала - факт немаловажный.

...Улыбышев в театре... О, то было явление... если дотите - зрелище!

Вот каким запомнился он актрисе Екатерине Пиу-врвой - той самой, которую мечтал назвать своей Женой Шевченко:

Во время моего детства в Нижнем был самый Строгий критик сцены, как оперной, так и драматической,- генерал Улыбышев - человек высокообразованный и страстный любитель театра, не пропускавший буквально ни одного спектакля... Он имел постоянно абонированное кресло в первом ряду для себя и литерную боковую ложу - для семьи. Генерала все артисты страшно боялись, и все из кожи лезли угодить ему. Когда чья-либо игра удовлетворяла "генерала" (как все его звали), то он выражал это киванием своей, убеленной сединами, головы и обращением в свою ложу, с тем же знаком одобрения; если же играли дурно, он сидел вполне спокойно и, как только спускалась занавес, выражал громко свое суждение окружающим знакомым,- а его знакомые были весь город!.. Раз играли "Разбойников" Шиллера. Генерал проглядел два акта и уходит... Это сильно удивило всех, потому что все привыкли видеть его в театре от начала до конца, почему и подумали, что генералу дурно. Тогда полицмейстер встал, подошел к уходящему генералу и говорит: "Что с вами, ваше превосходительство?" Тот отвечает: "А что?" - "Да вы уезжать изволите?" - "Да что же мне тут делать? Я приехал смотреть шиллеровских "Разбойников", а это жулики макарьевские - так вот вы и смотрите!.."

Таким Улыбышев запомнился и Шевченко: "искренне любит театр..."

...Он вел дневник. День за днем, долгие годы. После смерти Улыбышева дневник исчез, следы его не отысканы до сих пор.

Вы представляете, как много потеряли мы вместе с утраченными записками этого интереснейшего человека?

О жизни нижегородского театра... о музыкальных вечерах... о городе... Наверняка и о Шевченко!..

Положить бы их дневники рядом, вчитаться в записи, сопоставить, подумать...

А может, еще отыщется?

Духовное завещание Улыбышева, обнаруженное среди бумаг Горьковского архива (Ф. 177.- Д. 9597), назвало мне имена людей, с которыми он был дружен и близок. Значился среди них и М. А. Балакирев.

Какое-то время спустя, попав в Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки в Ленинграде, я не преминул поискать адресованные ему "улыбышевские" письма.

И нашел их в фонде 41, где они выделены особо. В том числе за декабрь пятьдесят седьмого - январь пятьдесят восьмого. Как раз за время знакомства Улыбышева и Шевченко.

Письма дают представление о многом.

Об их авторе, что так занимал поэта... О его увлечениях - близки они были и Тарасу Григорьевичу... О событиях, которые волновали Улыбышева и Шевченко...

..."Нижний, 10 декабря 1857..." (Шевченко, напомним, познакомился с Улыбышевым 2-го). "Любезный Милий, исправность твоя в переписке с родными и друзьями так велика, что на днях твой отец явился ко мне узнать о твоём существовании или не существ-:овании. Глаза болят, извольте видеть! Ну да тебя, о горбатого, не исправит даже могила, так с тобой нечего делать, как ругнуть порядком, а потом пропить. Решаюсь на сие последнее..." ;,- Живой, темпераментный, деятельный Улыбышев - ;в каждой последующей строке. До конца жизни он дерется за свои, пусть субъективные, порой односторонне-догматические, взгляды с горячностью молодости. В этом письме речь идет о только что вышед-:идей его книге "Бетховен, его критики и толкователи"; история подтвердила, что в полной мере понять значение этого гениального композитора Улыбышев не смог и музыкальная эстетика А. Н. Серова, других его критиков оказалась глубже, проницательнее. Но как он спорит, как утверждает свое!..

"...По многим причинам я нынешней зимой не могу быть у вас в Петербурге. Первая и главная - дворянские выборы, которые открылись здесь сегодня, 10 числа. Да знаешь ли, какие это будут выборы! Нам, грешным, предстоит Гамлетов вопрос, быть или не быть, словом эмансипация крепостных людей. Все филины, совы, летучие мыши и другие зловредные ночные птицы наших 11-ти уездов слетелись в губернский город с криком ведьмовским и воплем раздирательным, ибо хотят вырвать из их когтей человеческую добычу, которою оне питались так долго..."

(В те же дни, а точнее, 12 декабря Шевченко в свой дневник занес: "...Кстати о помещиках. Их теперь нахлынуло в Нижний на выборы видимо и невидимо. И все без исключения с бородами и усами, в гусарских, уланских и других кавалерийских мундирах... Пьянствуют и шумят в театре и, слышно, составляют оппозицию против освобождения крепостных крестьян..." Два месяца позднее он назовет их "бандой своекорыстных помещиков". Бандой!..)

"...Что же касается до меня, то я уже за два месяца объявил моим крестьянам о близкой перемене их судьбы и поздравил их ото всей души с царскою милостшо... Благодарю бога, что дожил до того великого события, которое ставит нас, русских, наконец в ряды народов вполне европейских и вполне христианских..."

("Славным старым Улыбышевым" назвал его бывший крепостной Шевченко в письме к другому бывшему крепостному - Щепкину. Только ли за любовь к искусствам? Взгляды помещика Улыбышева на крестьянский вопрос тайной для него быть не могли).

"...Другая причина, удерживающая меня здесь,- упадок сил и здоровья. Надо знать честь, как говорится. Пожил и поработал всячески за четверых по крайней мере, так уж в мои лета и конец не далек. Впрочем, я провожу здесь время довольно сносно. Музыка опять возродилась у нас..."

(Из дневника за 14 декабря: "Вечером отправился к старику Улыбышеву с благою целью послушать музыку..." Он знал об этих музыкальных вечерах, о том, по каким дням двери улыбышевского дома раскрывались перед гостями - ценителями прекрасного, о тех, кто был завсегдатаями встреч под гостеприимным кровом - их имена встречаются то на одной, то на другой странице).

"...Владимир Веселовский начал играть весьма порядочно на виолончели..."

(У Шевченко: "Вечер провел у милейшего юноши виртуоза-виолончелиста Весловского..." Значит, не Весловского, а Веселовского).

"...Тенор нашего театра Климовский... по методу и вкусу несравненно выше петербургских теноров, за исключением, разумеется, Кальцолори..."

(Одним из "львов здешней сцены" назван Евгений Климовский в дневнике).

"...Сверх того, случайности службы, а может, и другие какие причины, забросили к нам одного молодого человека - Татарина, пианиста с большим талантом. Для аматора он почти виртуоз..."

(У Шевченко, запись за 1 декабря: "...случайно... услышал... виртуоза на фортепьяно, какого я и не подозревал услышать здесь, в захолустьи. Виртуоз этот - некто господин Татарин..." 2 декабря: "Сегодня сделал я визит вдохновенному моему виртуозу Татарину..." Тут оценки совпадают полностью. Даже словесно...)

Один и тот же круг музыкантов-любителей привлекает, притягивает Шевченко и Улыбышева; и если говорить об их сближении, то произошло оно не без воздействия музыки, волновавшей обоих и обоими любимой.

...Пропустив следующее, за 30 декабря,- тоже интересное и, безусловно, содержательное (Улыбышев вспоминает Глинку, свои с ним беседы...), обращаюсь к тому его письму, которому в переписке с Балакиревым суждено было стать последним.

Год 1858-й, 7 января... Жить Улыбышеву остается немногим более двух недель, а пока -

"...Старый год кончился как нельзя лучше. Первой из всех, Нижегородская губерния ответила единогласно на призыв царя и всего образованного мира, вопиющего против невольничества в христианском государстве. Но это покамест только задняя мысль. Теперь дело идет лишь об улучшении быта помещичьих крестьян. Государь прислал нам, через Муравьева, великолепный раскрипт, который, я думаю, будет напечатан в газетах. Белено открыть комитет 15-го сего месяца. Я, столь много хлопотавший на выборах об успехе великого дела, надеялся попасть во члены этого комитета; чувствовал, что могу тут принести пользу. Но увы! время мое прошло. Старая моя болезнь возобновилась в третий раз и приняла оборот по-видимому безнадежный. Это напоминает мне третий звонок на железной дороге. Четвертого не будет..."

(Но начал он не со "звонков" - с того, что радовало. 19 февраля, уже после смерти Улыбышева, Шевченко занес на одну из страниц дневника строки о торжественном открытии этого самого комитета, расценив сам акт открытия как "великое начало" дела "окончательного решения свободы крепостных крестьян").

И последние - самые последние - строки:

"...Ты знаешь, я не терплю никакой сентиментальности; но теперь 'я должен сказать, что люблю тебя как сына и много-много благодарил бы господу, если б ты был действительно мой сын... Прощай, кланяйся от меня всем добрым знакомым и скажи, чтобы не поминали меня лихом..."

На конверте адрес:

"Его благородию Милию Алексеевичу Балакиреву. На Екатерининском канале, меж Харламовым мостом и Новоникольским, дом Каменецкого. В С.-Петербурге".

"В церкви Покрова отпели тело Д. А. Улыбышева, знаменитого критика и биографа Бетговена и Моцарта".

Запись под датой "27 января". Но это - день записи, а не печального события, о котором в ней говорится. Александр Дмитриевич Улыбышев скончался 24-го, отпели его в Нижегородской Покровской церкви 26-го и в тот же день, в подгороднем сельце Луки-но, похоронили. (ГАГО.- Ф. 177.- Д. 9597).

..."Января 27. Был на похоронах А. Улыбышева..."

Авторы современных "Летописей жизни и творчества Т. Г. Шевченко" в этом вопросе единодушны. Ссылаются они на одну и ту же, ранее приведенную, дневниковую запись.

Да ведь о своем участии в похоронах Шевченко не пишет.

Он горевал о потере. Он делился своей печалью с другом Щепкиным: "...поховали славного старого Улибишева, і не найдеться шкого в Нижньому некролог йому написать!"

Написал этот некролог сам Шевченко. В дневнике... В письмах...

ЧИТАЯ ВОСПОМИНАНИЯ СЕНАТОРА

Сенатор Веселовский своих заслуг не преувеличивал.

"Жизнь моя не представляет выдающихся событий, для постороннего в описаниях найдется мало любопытного,- трезво констатировал он во вступлении к своим "Запискам".- Но,- продолжал далее,- если моя скромная летопись попадется когда-нибудь на глаза читателю, то, быть может, заинтересует его не ради моей личности, а как изображение таких нравов и особенностей быта, которые, принадлежа к поре давно минувшей, становятся менее и менее знакомыми молодым поколениям".

И впрямь: не ради личности автора - чиновника нижегородского, а затем петербургского, прошедшего в мире канцелярий путь от "рядового" до "генерала" - выписал я из хранилища преогромный том в семьсот с лишним листов. Не из желания постичь перипетии его служебной карьеры, а также "нравы и особенности быта" чиновных людей вообще, заинтересовался "скромной летописью" в роскошном переплете (Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.- Ф. IV. 861). М. П. Веселовский был братом В. П. Веселовского, радовавшего поэта своей игрой на виолончели.

Я привел раньше слова Шевченко ("Вечер провел у милейшего юноши виртуоза-виолончелиста Веселовского..."), исправив, на основе достоверного источника, его ошибку в написании фамилии.

Но теперь же из уточненной строки дневника явствовало, что поэт был (или даже бывал) в доме Ве-селовских, а уж одного этого, думается, достаточно, чтобы стал

совершенно оправданным интерес к названной семье и всему, что исходило от ее представителей.

...Нижегородские страницы "Записок" позволили мне встретиться со многими людьми, населяющими шевченковский дневник, прояснить их судьбы и характеры, увидеть то, что в лаконичных записях для памяти было лишь упомянуто, но не раскрыто. Не склонный к неоправданному преувеличению, я хотел бы причислить "Записки сенатора М. П. Веселовского" к тем источникам, которые для биографов Тараса Шевченко представляют безусловную ценность.

ВСТРЕЧА С ЯКОБИ

С первого дня знакомства с Якоби (оно произошло 2 октября на бульваре) Шевченко стал бывать в этом доме, и притом часто. "Один из нижегородских аристократов, весьма любезный и довольно едкий либерал и вдобавок любитель живописи" сразу завоевал его расположение. Тут у поэта состоялось немало интересных встреч-знакомств. Тут рисовал он (и закончил) портреты немолодых супругов - радушных своих хозяев. Их портреты (вернее, один, но парный) можно увидеть в соответствующем томе живописного наследия.

Комментарием к этой шевченковской работе может стать и страничка из "Записок"; правда, касается она чуть более раннего периода жизни семьи, когда Якоби еще служил.

Итак, свидетельствует М. П. Веселовский:

"Соляная часть была в заведывании Соляного правления, управляющим которого был Николай Карлович Якобий... Он служил прежде в военной службе, потом по комиссариатской части. В Нижнем он пользовался общою симпатией за его ум, приветливость и самое широкое гостеприимство.

Он был женат на Аграфене Николаевне Шуваловой, довольно миловидной, очень доброй и религиозной особе, которая отличалась крайнею словоохотливостью и презрением к материальным благам. Два последние свойства были развиты в ней до чрезвычайной степени. Когда она начинала говорить, то этому не предвиделось конца; речь ее напоминала журчание тихого ручейка или мерное бульканье капель из какого-нибудь дурно прилаженного крана. Равнодушие к деньгам она выказывала не только тогда, когда была окружена довольством, но и тогда, когда, в конце жизни, ей приходилось испытывать нужду. Это был тип женщины "не от мира сего".

Гораздо умнее и практичнее ее была жившая в их доме сестра Николая Карловича, пожилая девица Марья Карловна.

У супругов Якобий было двое детей: сын Владимир и дочь Екатерина.

"Владимир Николаевич Якобий, по переезде моем в Нижний, был еще в Казанском университете. По окончании курса он поступил на службу к нижегородскому губернатору. Впоследствии он служил по почтовой части в Уфе, был мировым судьей в Сызрани, умер в отставке. Это был добрый, но бесхарактерный малый. Он расстроил свои дела и оставил жену (урожденную Быстрову) с дочерью и старуху-мать в очень стесненном положении.

Екатерина Николаевна была уже замужем за полковником Алексеем Егоровичем Масловым..." (Лл. 261, 262, 262 об).

Маслова, однако, ко времени приезда Шевченко в Нижний Новгород здесь уже не было: его сменил генерал Веймарн. Так что Екатерина Николаевна в круг знакомых поэта входить не могла. Всех остальных он встречал и знал.

Подробности, сообщаемые Веселовским, существенны - они дополняют то, о чем мы узнаем от Шевченко. (Между прочим, не раз автор записок подчеркивает близость к семье Якобий революционера-демократа поэта М. Л. Михайлова, часто бывавшего в этом доме). Узнаем (пусть мало, но больше, чем до сих пор знали) и где вести, в каком направлении продолжать поиски. В том числе материалов о поэте.

Семейные бумаги, реликвии семьи Якоби (точнее, конечно, Якобий) побывали в Уфе, в Сызрани - кое-что могло там и "осесть". В поисках своих нам надо помнить не только о Якоби-Якобий, а и о Мас-ловых, Шуваловых, Быстровых.

"МИЛЕЙШИЙ ИЗ ЛЮДЕЙ"

Из Оренбурга в Нижний пришла "форменная бумага". Шевченко она касалась непосредственно и, вместе со Шрейдерсом, отправился все еще опальный поэт "в губернаторскую канцелярию к правителю канцелярии, милейшему из людей, Андрею Кирилловичу Кадинскому..." *

Выделим для себя: "милейшему из людей". Встречаться им, вероятно, уже приходилось - на скоропалительную, данную после первой же встречи, эта оценка не похожа. Не раз виделись они и потом. Известен шевченковский портрет Кадницкого. В числе немногих он сохранился и до нас дошел.

Тем более любопытна характеристика А. К. Кадницкого, данная Веселовским.

"Вторым (уголовным) отделом, в который я поступил, управлял Андрей Кириллович Кадницкий, сын священника в селе Кадницах (на Волге) и воспитанник Нижегородской семинарии. Это был человек с большим здравым смыслом, отличной души, дельный и, по общему отзыву, совершенно честный. Про-

В этой дневниковой записи - и ряде последующих - фамилия указывается неточно (надо - Кадницкому), ведя большую часть жизни за канцелярским столом, он не утратил привычки держаться чрезвычайно прямо; характер его также не измельчал от соприкосновения с каверзными делами и сохранил всю свою цельность и искренность. Впоследствии Кадницкий был правителем канцелярии, потом советником губернского правления и, наконец, управляющим ярмарочной конторой. В конце жизни он подвергся психическому расстройству и умер в сумасшествии".

Строки из "Записок" (л. 294) подкрепляют то, что сказал о своем знакомом Тарас Шевченко.

УЛЫБЫШЕВ ГЛАЗАМИ НИЖЕГОРОДЦА

"Во главе нижегородской музыкальности стоял бесспорно Александр Дмитриевич Улыбышев... В описываемую мною пору это был коренастый, невысокого роста мужчина, с курчавыми, с проседью, волосами, красноватым цветом лица, темными очками на глазах и голосом внятным до того, что он слышался среди публики в громадной зале... Ему, от полнокровия, было постоянно жарко; в самые жестокие морозы он обходился без шубы и не носил перчаток...

А. Д. был несомненно очень умен и остроумен, отличался большой начитанностью, не только по музыкальной части, где он приобрел своими сочинениями известный авторитет, но и по многим политическим и социальным вопросам. Живя в провинциальной глуши, он нисколько не отставал от современности. В то время Западную Европу" волновали социалистические и коммунистические теории. А. Д. за всем этим следил, всем этим интересовался...

В своей губернии он держал себя независимо, в некоторой оппозиции местным властям; нисколько не заискивал в губернаторе и даже, кажется, к нему не ездил. На выборах дворянства часто протестовал не только обычным официальным путем, но иногда и с помощью памфлетов...

А. Д. купил на Малой Покровской небольшой каменный дом... и принимал нижегородское общество с широким радушием... Общество бывало смешанным, но он был одинаково приветлив ко всем своим гостям, не делая между ними различия по их социальному положению...

Господствующим интересом (во время приемов) была музыка, преимущественно камерная. Устраивались трио, квартеты, квинтеты. Любимыми авторами были Гайдн, Моцарт, Бетховен, Мендельсон...

Он своим просвещенным взглядом будил общественную мысль, угадывал и поддерживал возникающий талант, справедливо оценивал всякое уже развившееся дарование..." (Лл. 271-276).

По достоинству оценил Улыбышев Тараса Шевченко, одарив его своею дружбой. Не остался в долгу перед "старым добрым Улыбышевым" и Шевченко.

ТО, ЧТО МОЖНО НАЗВАТЬ МОЗАИКОЙ

Есть в шевченковском дневнике записи или строки, которые не комментируются никогда. Их считают несущественными и потому опускают.

Они и впрямь принципиального значения не имеют. Но это штрихи, детали, как-то связанные с Шевченко, а коль так - обходить их не стоит. "Записки" М. П. Веселовского кое-что проясняют и тут.

"Говоря о нижегородском клубе..." Клуб, как место полезных, интересных, нередко веселых встреч, упоминается Тарасом Григорьевичем не раз. Душою клуба был Никита Егоров. Пишет о нем и Веселовский: "Говоря о нижегородском клубе, нельзя не упомянуть о тамошнем буфетчике, Никите Егорове. Он был очень популярен и впоследствии приобрел известность не только в Нижнем, но и всероссийскую. Сначала его звали "Никита Егоров", или "Никита Собран-ский"; а потом имя "Никита" сделалось столь же известно, как какое-нибудь историческое имя. Несмотря на чрезвычайную тучность, он был очень подвижен, предприимчив и услужлив. Кроме клубного буфета, он содержал прекрасный ресторан и буфеты на нижегородской железной дороге". (Лист 283 об.).

"Плотная кавалергард-мадам..." Это о Баренцевой, портрет которой, к сожалению не отысканный, нарисовал Шевченко в Нижнем Новгороде. "Кавалергард-мадам" - определение не случайное. Прочтем у Ве-селовского: "Директором ярмарки назначен был Баренцев, женатый на особе, славившейся как охотница до лошадей" (л. 335).

"Придворно-лакейская физиономия..." Хлесткими словами, будто плетью, отстегал Шевченко явившегося в Симбирске на пароход "Князь Пожарский" связанного с пароходной компанией статского советника Ренненкампа. Вот как сказано о нем в "Записках": "Губернский прокурор (нижегородский.- Л. В.) Рудольф Павлович Ренненкампф представлял тип белокурого, румяного, аккуратного немца... Он вышел из училища правоведения, знал дело, но - как говорили - "брал"... Впоследствии Ренненкампф служил председателем одной из соседних палат уголовного и гражданского суда" (Л. 260). "Соседней"-это Симбирской; тогда же он был и агентом конторы "Меркурий".

((Какого-то Шлиппенбаха..." 6 марта 1858 г. к Шевченко явился жандармский унтер-офицер и предложил ему довезти за 10 рублей до Москвы. "Он отвозил в Вятку какого-то непокорного отцу своему капитана Шлиппенбаха..." То ли жандарм втирал очки, то ли Шевченко не проявил особого интереса, но в Вятку отвозили не "капитана", а недавнего нижегородского почтмейстера. "Барон Павел Антонович Шлиппенбах,- пишет о нем Веселовский,- служил прежде в артиллерии и на войне был контужен в голову. В Нижний он приехал в качестве почтинспек-тора..." (л. 215). Несколько лет спустя: "В верхнем этаже (дома Веселовских.- Л. Б.) жили барон и баронесса Шлиппенбах. Барон в это время стал отличаться странностями" (л. 255). Несмотря на очевидное помрачение ума, его держали при должности. Но потом: "Наш жилец... становился все слабее и наконец вынужден был оставить службу. Его увезли из Нижнего и он скоро умер..." (Лл. 311-об-312). Увезли в конце февраля - начале марта 1858 года...

Чтение "Записок" М. П. Веселовского в известной мере расширяет представления о месяцах и спутниках нижегородского перепутья Шевченко.

РАССКАЗ О ТРЕХ "НЕИЗВЕСТНЫХ"

В Нижнем Новгороде у Шевченко состоялось много новых знакомств. Но не забывал он и друзей старых. С некоторыми из них возобновились личные связи, с другими возникла переписка.

Первое письмо Ираклию Александровичу Ускову, коменданту Новопетровского укрепления, было послано еще 10 августа 1857 года из Астрахани. Для нас оно остается неизвестным. Нет даже уверенности, дошло ли письмо до адресата. Сомнение поддерживается тем, что упоминаний о нем не найти и в письмах самого Ускова.

12 ноября, уже из Нижнего, написал поэт на Мангышлак снова. Он поведал Ускову, что произошло за последние месяцы, описал свою жизнь в городе, где оказался вынужденным задержаться, справлялся о здоровье Агаты Емельяновны, Наташеньки и Наденьки Усковых, передавал поклоны друзьям.

Понятно нетерпение, с каким ждал он ответа.

Не скоро, но ответ прибыл.

7 января 1858 года Новопетровское

Как я рад добрейший Тарас Григорьевич, что вы догадались остаться в Н. Новгороде и ожидать там результата решения из Оренбурга. Я второпях забыл вам вложить письмецо; а главное сомневался что бы моя бумага застала вас в Нижнем. Этот скотина Ми-хальский, заведывающий в отсутствие Львова бата-лионом наплел галиматью на счет вашего увольнения, и чрез это подверг меня большим

неприятностям. Корпусный командир получивши от меня донесение на счет увольнения вашего в Петербург вопреки зделанного им распоряжения, сделал мне строгий выговор и написал от себя в обе столицы что бы вам объявить о высочайшей воле.

Я теперь рад по крайней мере что вы не потребованы в Оренбург, и можете пользоваться свободою ехать куда угодно. Кстати я получил от Еленева письмо к вам от Кухаренки и при сем прилагаю.

Письма Киреевского пожалуйста пришлите ко мне с конвертами как они есть. Я думаю послать их к его отцу; а там посмотрю что будет. Может быть еще, вам же придется выручать эти деньги, если будете в Петербурге. Я уверен что вы не прервете со мною переписки по старому знакомству. Если будете в Киеве побывайте у моего дяди Полков. Матвея Яковлевича Ускова, он живет на Подоле против набережного Николая (церкви) в собственном доме.

И так дай Бог вам успехов в ваших занятиях в живописи. Радуюсь от души что вы имеете хороший прием в Нижнем. Меня надул подлец Чернягин и выслал объектив и вещи присверные, и сверх того от небрежной укупорки большая часть вещей попорчена и побита. Г. Лазаревский даже не потрудился посмотреть вещей и только написал мне, что он просил Чер-нягина скорей отправить ко мне вещи. Это мне вовсе не было в пользу.

Жена моя и дети здравы славу Богу и вам кланяются.

Итак, прощайте Тарас Григорьевич не забывайте нас и пишите, нам всегда будет приятно получать от вас весточки как от старого приятеля.

Преданный вам И. Усков

Храпичинский в Уральске женился на распутной вдове есаулыне.

Приписка на полях: Мостовский, Бурцев и Жуйков все вам кланяются.

Я привел это письмо полностью, во всех деталях и особенностях. Но почему, спросите вы? Не проще ли было дать ссылку на публикацию, причем вполне доступную, а уж читатель, заинтересовавшись, отыскал бы сам и прочел, и сделал выводы?

Письмо, действительно, опубликовано, и не раз.

Впервые оно появилось в печати во второй книге журнала "Киевская старина" за 1889 год. Потом, сорок лет спустя, было помещено в томе "Листування" (Харьков, 1929). А еще через тридцать три года, уже в совсем близкое нам время, оказалось в академическом сборнике "Листи до Т. Г. Шевченка. 1840- 1861" (К., 1992).

"Автограф неизвестен. Публикуется по первопечатному..." - так сказано в комментарии, помещенном в соответствующем месте сборника.

Моя публикация - как раз по этому, "неизвестному", автографу. Отыскать его мне посчастливилось в Киеве, в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук УССР. И произошло это неправдоподобно просто.

В этот раз к каталогам подошел без определенной заранее цели. Захотелось полистать карточки в ящиках переписки - тем и занялся. Буква за буквой, листок за листком... Кое-что взял на заметку - заинтересовало...

И вдруг: "УСКОВ"!

То ли фамилия показалась необычной, то ли послышалось знакомое, только не остановить внимания я не мог.

Неужели... Усков?

И оказалось: тут не один - целых три усковских автографа, всех трех его писем, посланных в пятьдесят восьмом и опубликованных в "Листах до Т. Г. Шевченка" по "первопечатному тексту" - то есть так, как некогда в "Киевской старине".

Пометы на самих листах рассказали, что автографы писем Ускова в последний раз были в руках шевчен-коведов где-то в самом конце двадцатых годов, а потом, с выходом в свет упомянутого тома "Листуван-ня", оказались отнесенными к букве "Г" (подвел почерк), после чего уже внимания не привлекали - затерялись.

Бывает и такое.

Но что находка дает? Чем нас обогащает?

Прежде всего, это автографы, а стало быть, документы первостепенные, важность которых для полной точности публикаций ни пояснений, ни доказательств не требует.

Сопоставление найденных листков с их воспроизведением в книге 1962 года позволило сразу же выявить некоторое количество разночтений - пусть не принципиальных, но в научной публикации недопустимых. Отыскал их более десятка - не считая необоснованного вторжения в авторский синтаксис, произвольной расстановки абзацев и других "мелких" погрешностей.

Поделюсь одним наблюдением. Сопоставляешь тексты - известные по прежним публикациям и содержащиеся в автографах (вы можете это сделать сами, на основе письма от 7 января) - и облик автора проясняется, он приходит к нам простым, откровенным, совсем не официальным. Не ахти какой грамотей, и уж совсем не каллиграф, Усков пишет, как говорит, а говорит как думает - не гладко, не казенно, от души.

Графологи могут со мною не согласиться, но я, читая подлинники писем Ускова и тех, что посылал ему Шевченко, вдруг, неожиданно для самого себя почувствовал: в них нечто схожее, близкое. И еще подумал: они сошлись во многом, потому что оба были искренними, честными людьми.

Но причем здесь, спросите, находка усковских автографов?

А в том, что они-то и помогли мне услышать их автора...

II ДОРОХОВА И ДРУГИЕ, ИЛИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ТЕТРАДЬ

*О если бы побольше подобных
женицин-матерей, лакейско-боярское
сословие у нас бы скоро перевелось...*

Т. Шевченко

Среди друзей в Нижнем Новгороде следует назвать М. А. Дорохову.

Из биографии

1857, ОКТЯБРЯ 31-го

...Дневник, который вел Шевченко, раскрыт на одной из страниц нижегородских.

Той, где о Дороховой.

Где-то в самом конце седьмой недели вынужденного жительства в Нижнем Новгороде у Тараса Григорьевича состоялось приятное знакомство. Если быть точным, произошло оно 31 октября 1857 года.

Того же числа, вечером, отчитываясь перед собою в дне прожитом, поэт записал о двух примечательных событиях: дочитал своего "Матроса", дабы решить, как им распорядиться, и - познакомился с Дороховой.

Что сообщил о ней, предваряя знакомство, Грасс, мы не знаем, но непосредственно по следам встречи Шевченко записал:

"Вечером И. П. Грасс познакомил меня с Марьей Александровной Дороховой. Директрисой здешнего института. Возвышенная, симпатическая женщина! Несмотря на свою аристократическую гнилую породу, в ней так много сохранилось простого, независимого человеческого чувства и наружной силы и достоинства, что я невольно (сравнил) с изображением свободы Барбье (в "Собачем пире"). Она еще мне живо напомнила своей отрывистой прямою речью, жестами и вообще наружностью моего незабвенного друга, княжну Варвару Николаевну Репнину. О если бы побольше подобных женщин-матерей, лакейско-боярское сословие у нас бы скоро перевелось".

О Репниной написано много. В любой шевченковской биографии есть доброе о ней слово. И никто, кажется, не усомнился, что это закономерно.

...Дочь вельможи, она подрастала при европейских дворах: отец был сначала посланником в Париже, потом вице-королем в Саксонии. И там, за границей, и позже, в бытность князя генерал-губернатором "Малороссии", Варвара Николаевна жадно впитывала узнанное, услышанное. Ей посчастливилось встречать Пушкина, быть знакомой с декабристами (С. Г. Волконский княжне приходился дядей), дружить с Гоголем. С Шевченко она познакомилась в июле 1843 года в Яготине; тогда уже тридцатипятилетняя, Репнина горячо привязалась к самобытному народному поэту, и, хотя на любовь княжны Тарас Григорьевич любовью не ответил, это не помешало им остаться друзьями, причем дружба не угасла даже тогда, когда оказался он в крепости, а затем был увезен далеко-далеко, в оренбургские степи. Писала ему (и получала письма ответные), посылала дорогие в неволе книги, хлопотала об облегчении участи... Так продолжалось до тех пор, пока не вмешалось III отделение и Репнина получила строгое внушение. Но и далее в памяти поэта она оставалась другом "незабвенным".

Только ли "отрывистой прямою речью, жестами и вообще наружностью" напомнила ему Дорохова Репнину? Обратимся к той записи снова, прочтем, подумаем... И не придет ли на ум вам, как пришла сейчас мне, мысль о родстве этих двух женщин в чем-то большем, а именно в простоте и независимости человеческого чувства - качествах, поэту-художнику дорогих?

"Живо напомнила... Репнину..."

Не потому ли именно в Нижнем "вернулась" княжна в его письма? Полтора года, с 21 апреля 1856-го, не упоминал ни разу, а вот с первых дней декабря - уже следующего, пятьдесят седьмого, спрашивает о ней и передает приветы в одном письме за другим...

Случайность? Совпадение?

А теперь о Барбье, его "Собачем пире" и его "изображении свободы"...

Слава поэта пришла к неизвестному двадцатилетнему Огюсту вскоре после того, как смолкли выстрелы на улицах революционного Парижа. Тогда-то, в июле 1830-го, и явился он в редакцию "Ревю де Пари" со своей поэмой "Раздел добычи". А уже в августе строки этой поэмы оказались на устах тысяч французов. Еще бы - автор выразил то, что волновало весь трудовой народ, проливший кровь за свободу и тут же обманутый, обворованный буржуазией.

Пятнадцать лет спустя русский поэт-петрашевец С. Дуров скажет о Барбье так: "Богобоязненный пророк, неподкупной ничем свидетель, он как палач разит порок, как гений ценит добродетель". Тогда же, в те августовские дни, все настоящие патриоты Франции с болью и гневом повторяли негодующие строки о "собачьем пире". Со сворой разъяренных псов сравнил поэт французских буржуа, которые, забыв обо всем, кроме добычи и поживы, хищно вцепились в завоеванную народом власть.

"Собачий пир"... Эти слова вынес в название своего перевода (точнее, переложения) "Раздела добычи" Владимир Бенедиктов. И разлетелась поэма - уже русская - множеством списков по России.

Один из списков, как известно, оказался на пароходе "Князь Пожарский". Шевченко не раз слушал Барбье-Бенедиктова в чтении Сапожникова и Киш-кина, потом читал, перечитывал сам и, наконец, полностью переписал в дневник.

А вот и те строки о свободе - "изображении свободы Барбье",- которые припомнились революционному поэту Украины, когда он познакомился с Дороховой:

Свобода - женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудию,
В дымящейся руке!
Свобода - женщина с широким, гордым шагом,
Со взором огневым,
Под гордо вьющимся по ветру красным флагом,
Под дымом боевым.
И голос у нее не женственный сопрано,
Но жерл чугунный ряд, Ни медь колоколов, ни палка барабана
Его не заглушат! ...Ей нравится плебей, окрепнувший в проклятьях,
А не гнилая знать, И в свежей кровию дымящихся объятьях
Ей любо трепетать...

Портрету поэтическому соответствует "Свобода, ведущая народ" Делакура. Шевченко мог видеть эту картину в репродукциях. Увидев же ее однажды, уже не забудешь.

...Дорохова - и народный идеал красоты... Богиня революции - и Дорохова... Почему?

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

1

Что о новой знакомой есть в дневнике дальше?

Запись о первой встрече датирована 31-м октября. Состоялась встреча вечером. А на следующий день (именно день, а не вечер) Тарас Григорьевич "рисовал портрет М. А. Дороховой". Так значится в самом начале первой записи ноября.

Продолжаем чтение. "4 (ноября). Кончил сегодня портреты М. А. Дороховой и ее воспитанницы Нины, побочной дочери Пущина, одного из декабристов..."

Дорохова - и Пущин? В доме - дочь декабриста? И "воспитанница" - значит, живущая постоянно?

"Удивительно милое и резвое создание..."

Это тоже о Нине. Он любит ее уже не первый день: 1-го ноября о портрете не упоминалось, тут же - "кончил"; значит, был в доме и в промежуток между первым и четвертым.

Сколько он думал-передумал, делая портреты Дороховой и ее воспитанницы! И то неожиданное, что мы читаем дальше,- только один из поворотов его взбудораженной, растревоженной мысли: "...Мне как-то грустно делается, когда я смотрю на побочных детей. Я никому, и тем более заступнику свободы, не извиняю этой безнравственной независимости, так туго связывающей этих бедных побочных детей. Простительно какому-нибудь забубенному гусару, потому что он только гусар, но никак не человек. Или какому-нибудь помещику-собачнику, потому что он собачник и только. Но декабристу, понесшему свой крест в пустынную Сибирь во имя человеческой свободы, подобная независимость непростительна. Если он не мог стать выше обыкновенного человека, то не должен и унижать себя перед обыкновенным человеком".

Здесь многое: и благоговейное отношение к декабристам, и особая требовательность к ним, как людям необычным, и сближение Нины с теми Ивасями и Катрусями - детьми несчастных, брошенных матерей-крестьянок, доле которых посвятил он немало строк горючих в стихах и поэмах...

Мысли о Дороховой и Нине, декабристах и Пущине не покидают Шевченко ни на день. 6 ноября он заходит в дом к своим знакомым Якоби и здесь, беседуя с хозяевами (особенно с говорливыми старушками-хозяйками), прежде всего впитывает в себя сведения об Анненкове и Ивашеве, их женах-героинях, последовавших за мужьями в Сибирь и, конечно, о Пущине и Нине.

"По поводу портрета М. А. Дороховой и ее воспитанницы Ниночки, которые я на днях рисовал, старушки сообщили мне, что мать Ниночки простая якутка и теперь жива в Ялutorовске, а что отец ее, г. Пущин, служит где-то на видном месте в Москве и что он женился на богатой вдове, некоей madame Коцебу, собственно для того, чтобы достойно и прилично воспитать свою Ниночку. Отвратительный отец",

(Что, интересно, пишут на сей счет комментаторы шевченковских изданий?)

И. Я. А и з е н ш т о к: "И. И. Пущин никаких "видных мест" не занимал, женился в 1857 году на вдове декабриста М. А. Фонвизина Наталье Дмитриевне".

Ю. А. И в а к и н: "На самом деле Пущин женился не "на богатой вдове", а на вдове своего товарища декабриста Фонвизина. Не служил он и "на видном месте в Москве", там ему было запрещено жить").

Комментаторы осторожно подводят к мысли: "Отвратительный отец" в устах Шевченко - оценка неоправданная. Но ведь это и не его оценка. "Старушки сообщили мне, что..." В дневник занесен их рассказ, и осуждение Пущина - тоже от них.

..."8 (ноября)... Между прочими гостями в гостиной (у Веймарна.- Л. Б.) встретил я И. А. Анненкова, и в продолжение вечера я не расставался с ним". Долгий разговор с декабристом мог касаться и Пущина, его дочери, Дороховой.

В течение почти полутора месяцев имя Дороховой в дневнике не упоминается. Это, однако, не означает, что их общение прервалось. И в запись от 20 декабря она снова входит на правах давней и доброй знакомой, виденной не вчера, так позавчера, или третьего дня: "Я... хотел уйти (с репетиции благотворительного спектакля, основу которого составляли "живые картины".- Л, В.), но меня остановила Марья Александровна Дорохова и просила поставить и осветить ее Ниночку. Ниночка, не

красавица, явилась в картине очаровательною..." А на следующий день: "Спектакль... сошел хорошо... Ниночка Пущина была очаровательна".

Снова перерыв. Но и этот - только в записях.

..."11 (января). Сегодня суббота. По субботам я и милейшая К. Б. Пиунова обедаем у М. А. Дороховой. Но сегодня я должен отказаться от этой радости, и моя милая компаньонка отправилась сам-друг с портретом М. С. Щепкина, присланным им в подарок Марье Александровне..."

Шевченко полюбил Пиунову. Он строит планы женитьбы, он мечтает о семейном счастье. И вновь прибегает к помощи той же Дороховой.

..."31 (января). Я совершенно не гожусь для роли любовника. Она вероятно приняла меня за помешанного или просто за пьяного и вдобавок за мерзавца. Как растолковать ей, что я ни то, ни другое, ни третье, и что не пошлый театральный любовник, а искренний, глубоко сердечный ее друг. Сам я ей этого не умею рассказать. Обращусь к моему другу М. А. Дороховой. Если и она не вразумит ее, тогда я самый смешной и несчастный жених".

Но нет, Пиунова не намерена связывать жизнь свою с ним, Шевченко.

..."3 (февраля). Ниночка Пущина именинница. Вчера я уведомил Пиунову об этом с намерением увидеться и поговорить с нею, но политика мне не далась. Возлюбленная моя явилась, поздравила именинницу и через полчаса уехала..."

А вот запись от 6 февраля. Приведу ее частично, хотя Дороховой она посвящена целиком.

..."После... репетиции зашел к Марье Александровне. Встретил у нее старого моего знакомого, некоего г. Шумахера. Он недавно возвратился из-за границы и привез с собою 4 № "Колокола". Я в первый раз сегодня увидел газету и с благоговением облобызал".

За четыре с лишним месяца перед этим он сравнивал Дорохову с изображением свободы, затем узнал, что ее воспитанница Нина - дочь декабриста Пущина, и вот в этом же доме встречает поэта-сатирика Петра Васильевича Шумахера, принесшего с собой еще не виданный им "Колокол".

...О Дороховой Шевченко вспоминает по равным поводам.

"19 (февраля)... Великое это начало... (работа губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян.- Л. В.) открыто речью военного губернатора А. Н. Муравьева, речью не пошлою, официальною, а одушевленною, христианскою, свободною речью. Но банда своекорыстных помещиков не ото-звалась ни одним звуком на человеческое святое слово. Лакеи! Будет ли напечатана эта речь? Попрошу М. А. Дорохову, не может ли она достать копию", 20 (февраля). Один экземпляр моего неруко-тзоренного образа * подарил М. А. Дороховой, он ей не понравился, выражение находит слишком жестким. Просил достать копию речи Муравьева, обещала..."

Наконец подошел день отъезда. Накануне - 7-го марта - Шевченко записал: "От часу пополудни до часу пополуночи прощался с моими нижегородскими друзьями. Заключил расставание у М. А. Дороховой..."

Ну, а в Петербурге, сразу по приезде: "Заказал фотографический портрет в шапке и тулупе для М. А. Дороховой..."

О друге своем он помнил.

Таков обзор дневника.

Есть источники и другие - письма.

...Шевченко-Щепкину, 15-18 января 1858 года: "А тебе цѣлуютъ други геогр. Дорохова, Голынская, Брилкин...", "Сердечно дякують тобѣ за портрет Брилкин, Дорохова, Голынская, Шунова".

...Т оже Щепкину, 3 февраля: "...А тебе цѣлуе М. А. Дорохова з своєю чужою дитиною".

...Щепкин - Шевченко, 15 января 1858 года: "Завтра еду к Волынским и передам поручение г-жи Дороховой, которой передай мой душевный поклон..."

...Т оже от Щепкина, 6 февраля: "...ты... говоришь, что ее (Пиунову.- Л. Б.) нужно вырвать из этого болота. Но вспомни, что в этом болоте существует г-жа Дорохова, Голынская и семейство Врылкиных..."

И снова от Щепкина, около 15 февраля: "Передай мои душевные поклоны г. Дороховой, семейству Врылкиных и всем, кто меня помнит".

Вот и все, что касается переписки.

В томе, где собрано живописное наследие Шевченко 1857-1861 годов, портреты Марии Александровны Дороховой и Нины Пущиной значатся, но... в перечне найденных. В сборниках воспоминаний современников - и московском, и киевском - как Дорохова, так и ее воспитанница не упоминаются. Биографии Шевченко, даже академическая, сведений не добавляют. Почти ничего нет о ней в другой шевченковедческой литературе.

Остается еще раз заглянуть в комментарии ко всем названным томам.

Наиболее "обширные" сведения о Дороховой - у И. Я. Айзенштока: "М. А. Дорохова была начальницей Нижегородского института благородных девиц в 1856-1864 гг. После смерти единственной дочери взяла на воспитание дочь декабриста И. И. Пущина Аннушку..." О Нине - Анне - чуть далее, и только две даты 1842-1863. В других, киевских, изданиях из дополнительных сведений есть указания на "границы" жизни самой Дороховой: 1811-1867. К тому, что ясно из дневника, добавлены лишь эти цифры - год рождения и год смерти...

А если мне она, Дорохова, представляется фигурой значительной? Если с ней в моем представлении уже связаны Пущин, Герцен, Шевченко?

ОТКРОВЕНИЯ "ПАШКОВСКОГО ДОМА"

1

Через час по приезде в Москву я уже сворачивал с проспекта Маркса на улицу Фрунзе, держа путь к "Пашковскому дому" - творению знаменитого Баженова. Дому, которому история определила вдвойне прекрасную жизнь: и как великолепного памятника архитектуры, и как первоосновы Румянцевского музея, Публичной библиотеки и рукописного при ней отделения. Отделение с годами превратилось в колоссальный, богатейший архив поистине мирового значения.

Перед читальным залом - ряды каталогов.

Пальцы привычно перебирают алфавит карточек, мелькают фамилии, имена, отчества, ссылки на фонды.

Дорохова (урожденная Плещеева), М. А.! Письмо к Жуковскому, Василию Андреевичу... Она самая? Совпадение?

Дорохова Мария Александровна! Письмо - нет, целая подборка писем - к декабристу Батенькову... Снова Дорохова, и инициалы те же... Письма к Фонвизинной,

вдове декабриста... Пушкину Ивану Ивановичу! Уж тут сомнений нет. Дорохова - Нина - Пушкин... Час-другой, и я узнаю многое.

Выписываю требования. Волнуюсь и жду.

Письмо к Жуковскому, на французском языке (Ф. 99.- Оп. 4.- Д. 35), дошло к нам из давних, еще тридцатых, годов. Звучит в нем дочерняя нежность и говорит оно о дружбе - глубокой и искренней.

За пределы занимающих меня лет этот факт выходит. Но могу ли я сбросить его со счетов? Ведь гласит же народная мудрость: "Скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты"...

Друзей у Дороховой было много. "Всегда люблю и буду любить вас по-прежнему..." Это уже из письма к Батенькову - не датированного и при обработке помеченного 1853-м. (Здесь и далее, до следующей оговорки, рассматриваются материалы фонда Г. С. Ба-тенькова; письма Дороховой - в коробе 11, деле 15).

"Я скоро буду принадлежать вам совершенно, мои друзья..." То же письмо, только несколькими строками ниже.

Один из видных членов Северного общества, Гавриил Степанович Батеньков к движению декабристов примкнул только в год восстания, и тем не менее среди пятисот арестованных, именно он - после пяти казненных - понес наиболее тяжкую кару: двадцатилетнее одиночное заключение в Алексеевской рavelине Петропавловской крепости. Лишь в 1846-м его отправили на поселение в Томск; в течение десяти лет, до амнистии декабристов, Батеньков жил в семье коренных томичей Лучшевых.

Туда, в Томск, и писала Дорохова. Да ведь и сама она находилась тогда в Сибири!

"Я нашла, что Иван Иванович Пушкин помолодел..."

Это письмо датировано: 1854, 10 сентября. Отправлено оно из Ялуторовска - городка, в течение долгих лет служившего местом ссылки многих декабристов.

А о ком дальше?

((Когда я вижу кого-нибудь из его товарищей, мне кажется, что я не совсем его потеряла, и что я вижу частицу его самого..."

Неподдельная грусть в признании женщины. Кого она потеряла?

Дорохова лишилась дочери; я читал об этом в одном из комментариев к дневнику Шевченко, и даже имел случай упоминать. Но тут "его товарищей", "его потеряла", "частицу его самого"... Внесут ли ясность письма последующие?

Того же, пятьдесят четвертого, но уже из Москвы:

"Грустна была моя встреча с матушкой моего покойного друга! Вообразите, что это бедное старое дитя, при первом слове, начала делать выговоры Петру Александровичу, говоря, что он погубил ее, что она от него только плакала всю жизнь и так далее; слышать упреки тому, кого я считаю святым, тому, которому никто не мог упрекнуть ни в чем, слышать это от его матери было для меня убийственно..."

Она любила декабриста. "Петр Александрович" и после смерти оставался для нее святым, безупречным.

Петр Александрович... Умерший в конце 1853-го или в 1854-м... Достаточно было посмотреть "Алфавит декабристов", чтобы убедиться: лицо это - П. А. Муханов, член Союза Благоденствия и участник собраний членов Тайного общества в Москве после 14 декабря; умер он 12 февраля 1854 года в Иркутске.

1855-й. Дорохова уже в Нижнем Новгороде. "Мы живем пока (речь идет о Нижегородском институте благородных девиц.- Л. Б.) очень тесно, ...и жалование мое гораздо менее, чем было в Иркутске..." (Иркутске! Вот где она жила и служила!) Но женщина не сетует: "Благословляю небо, что не оставило меня на дороге Сибири..." И в том же письме: "Никто не проедет мимо меня из вас, чтобы я не обошла и не расцеловала сто раз, и я все не теряю надежды... и я не умру, не прижав вас к любящему моему сердцу..." Читая письмо, чувствуешь: ее томит одиночество, и только в делах находит она забвенье.

1856-й. Дорохова радуется - она теперь не одна. "Бог меня наградил общим милым ребенком... Пусть он наградит доброго Ивана Ивановича за добро, которое он мне сделал, уступя мне свое сокровище!"

Но и в новых заботах не оставляет ее мысль о друзьях в суровом краю ссылки: "Это письмо вы получите от молодых людей, которые едут из Кавказа в Сибирь... один из них (постарше) мой старый знакомый... Я хотела доставить им счастье познакомиться с вами".

Она ждет возвращения декабристов: "Как я буду тогда счастлива, увидя всех моих чудных и святых друзей..."

А несколько месяцев погодя, в том же пятьдесят шестом, Дорохова откровенно ликует: "Ура! Ура! Ура!.., наконец-то мы увидимся, вы приезжайте прямо ко мне, моя душа, мой чудный Гаврила Степанович!.."

Уже в ноябре - продолжался 1856-й - в доме Марии Александровны начались дорогие ей встречи. "4 числа проводила я Пущина в Питер,- писала она 8 декабря Батенькову.- Он оставил у меня своего Ваню (сын Пущина и ялutorовской жительницы-бурятки, тогда семилетний.- Л. Б.), потому что, как кажется, боялся его везти к родным..."

Встречи продолжались, за ними следовали разлуки.

1857, 1 мая: "Свистуновы уехали в Калугу, Оболенский тоже... У Зины Свербеевой родился сын Сережа, она будет жить у нас..."

Свистуновы - Петр Николаевич, член Северного и Южного обществ, и его жена сибирячка Татьяна Александровна. Оболенский - Евгений Петрович, член Союза Благоденствия и Северного общества. Свербеева - Зинаида Сергеевна, дочь декабриста С. П. Трубецкого, одного из вождей Северного общества, назначенного диктатором восстания.

Самую живую связь поддерживала Мария Александровна с дочерьми декабриста Ивашева. Они писали ей, они бывали в Нижнем. Впоследствии сестры - и особенно Мария - заняли видное место в общественной жизни России. Во второй половине пятидесятых годов стал широко известен кружок Марии Васильевны Трубниковой - выдающейся деятельницы женского освободительного движения. Он начал свою деятельность с образования летом 1859 года "Общества дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям С. Петербурга", которое уже через год насчитывало 300 членов. При обществе была открыта швейная мастерская; позже, купив дом в Измайловском полку, устроили там и мастерскую, и общую кухню, и детский сад, и школу. Дочь Ивашева близко стояла к братьям Серно-Соловьевичам, а через них - к Чернышевскому.

Кто только не побывал у Дороховой - в доме, который спустя какое-то время стал родным и для Тараса Шевченко. Он был уже в Нижнем, когда Мария

Александровна писала тому же Батенькову: "Вы все еще меня любите и даже считаете меня сестрой, если бы вы знали, как горжусь я таким названием..."

ЕЕ РУКОЮ

люю юную дочь: "Я никому, и тем более заступнику свободы, не извиню этой безнравственной независимости..."

Если судить по дневнику, больше к истории Нины и Пущина поэт не возвращался. На самом же деле, заинтересовавшись ею однажды, не выяснить все досконально он не мог. Да и возможностей для выяснения становилось больше: в доме Дороховой Шевченко был уже "своим человеком" и говорили тут обо всем, в том числе о сокровенном.

Сомнений нет: он все узнал и все понял. То, что поначалу было расценено им как безнравственность, на самом деле являлось высоким проявлением нравственной силы. Пущин меньше всего думал о себе. Его заботила судьба дочери, его волновало одиночество Дороховой - это, а не что другое, руководило человеком, который за тридцать с лишним лет до того понес, по словам Шевченко, "свой крест в пустынную Сибирь во имя человеческой свободы".

...Я думаю об этом, еще только начав второй свой день в Рукописном отделе главной библиотеки страны.

День, который мне обещает новые встречи...

Событие известно. А толкования - различны. Снять ошибочное может только достоверное, неопровержимое свидетельство. Лучше всего ему, событию, современное...

...Из записи в дневнике я знаю, как был Шевченко взволнован, когда узнал, что Нина - воспитанница Дороховой - это побочная дочь Пущина. Что вызвало его досаду? Отказ отца от своего ребенка. Именно такие разговоры шли в Нижнем. И до боли обидно было Тарасу Григорьевичу за декабриста.

Дорохова пишет Пущину (Ф. 243.- Оп. 1.- Д. 43). Из Нижнего Новгорода - в Ялуторовск. Большинство писем - за пятьдесят пятый.

18 июля.

"Не нахожу слов, милый и дорогой друг мой,., чтобы выразить вам мою благодарность за подарок или лучше сказать благоденствие, которое вы мне делаете, доверяя мне Анюту; она никогда не может быть моею, как вы говорите, но всегда будет нашею, вы отец ее и навеки останетесь отцом. Но, по милости вашей, я буду ее матерью..."

"Вы мне даете жизнь, давая мне цель к жизни..."

"Я жду ее с нетерпением, она будет жить со мною в одной комнате..."

25 ноября.

"Вы мне даруете жизнь, даруя мне дочь; я буду жить, я уже берегу себя..."

"Моя Нина опять воскресла..."

"Меня немного озадачила в письме строчка, где сказано что-то о тратах. Неужто брат должен платить сестре за ее же дочь?..."

"Я не только буду учить Нину, но постараюсь из нее сделать и хозяйку, такую как была моя Нина, и рукоделию буду учить, а потом через годиков пять мы вместе

отдадим ее замуж, я говорю вместе, потому что моя лучшая мечта жить в одном городе с любимым братом..."

Каждое из писем года - и сентябрьское, и декабрьское - полно одним: мыслями о ней, дочери декабриста, о ее достойном воспитании, о цели к жизни, олицетворяемой Анютой-Ниной.

Эту цель "даровал" Дороховой Пущин, друг ее друга.

10 декабря. "...9-ть лет моей сибирской жизни они благословенные, я жила под крылом небесного друга Петра Александровича, которого люблю и благословляю каждую минуту. Ему обязана всем хорошим, что во мне есть..."

И "все хорошее", что было в Муханове, все, что узнала она в других благороднейших людях - декабристах, чем обогатилась рядом с ними сама - все это Мария Александровна мечтает отдать той, которую ждала весь 1855-й и дождалась где-то в начале следующего, пятьдесят шестого...

...Сколько дочери Пущина тогда было лет?

Загляну-ка вновь в "Алфавит декабристов".

Пущин, Иван Иванович... родился 4 мая 1798... член Союза Благоденствия и Северного общества,... приговорен в каторжную работу вечно... срок сокращен до 15 лет...

А вот и о его семье. "Был женат (с 1857) на вдове декабриста Наталье Дмитриевне Фонвизиной, рожденной Апухтиной... Имел двоих побочных детей: от бурятки - сына Ивана... и дочь Анну (р. в Ялutorовске 8.IX.1842), воспитывавшуюся у М. А. Дороховой, вышедшую 23.X.1860, в Нижнем Новгороде, замуж за Анатолия Александровича Палибина..."

Дорохова стала ей матерью, когда девочке шел четырнадцатый...

"Что сказать тебе, моя милая, наимилейшая Натали? Грустно! Грустно и тяжело. Но я начну с начала нашего пребывания в Питере..."

Наталя Дмитриевна была из тех "декабристок", подвиг которых не забудется вовек. Связав в 1822-м свою судьбу с генерал-майором Фонвизиним, человеком старше ее на семнадцать лет, она делила ее и тогда, когда муж, член Северного общества, оказался на каторжных работах в Нерчинских рудниках. В самом начале 1828-го, суровой зимою, Фонвизина отправилась в Сибирь, чтобы оставаться там с мужем в течение двадцати пяти лет, до 1853-го, когда им, наконец, разрешили вернуться. Она снесла все унижения, тяготы, лишения, выпавшие на долю жен декабристов. Ей довелось похоронить двух детей, в Сибири рожденных и там же умерших; ей не пришлось видеть более сыновей, оставленных на попечении родственников совсем маленькими. Но, пережив и такое, она не утратила своей высокой человечности, не растеряла тех замечательных душевных качеств, которыми обладала с юности. И потом, овдовев, Наталя Дмитриевна стала женой уставшего, больного, нуждавшегося в заботе Ивана Ивановича Пущина, незадолго перед тем из ссылки освобожденного.

После смерти Пущина, в апреле 1859-го, письма Дороховой шли к ней. В одном из них, посланном из Нижнего 12 июня 1860 года, Мария Александровна звала Фонвизину "на свадьбу нашей девочки" и тут же добавляла: "иначе для нас будет праздник не полный".

Обратившись в переписке Дороховой уже не с Иваном Ивановичем, а с Натальей Дмитриевной (Ф. ФВ.- Оп. 1.- Д. 84), я, однако, выделил для себя письмо не

это, упомянутое, а следующее - того же шестидесятого, того же июня, но - 23-го и уже из Петербурга.

Итак, она в Петербурге. С Ниной и ее женихом. По делам, связанным с предстоящей свадьбой.

"Что сказать тебе, моя милая, наимилейшая Натали?.."

На душе женщины тревога, ее гложут заботы, она же находит силы подтрунивать над собою, над своей провинциальной неприспособленностью к железной дороге, к карете, над слабостями своими, явно выдающимися волнение.

Отдав дань юмору, шутке, Дорохова переходит на тон серьезный. И сразу же бросается в глаза имя знакомое, имя великое. Того, ради которого и пустился в этот новый поиск я. Шевченко!

Чуть ли не тотчас по приезде в Петербург Мария Александровна, Нина Пущина и ее будущий муж "приехали в академию к Шевченке". Значит, знали, где он живет: получали письма (они неизвестны), писали ему (не попадались и эти) - в общем, были верны той дружбе, что возникла в 1857-1858 гг. на берегу Волги...

К Шевченко в Академии поднялась Дорохова, но - "его не застала и написала ему записку".

Только дружеский визит? Просто желание видеть? Нет, не только и не просто. "На другой день он явился и говорит, что нет никакой надежды продать портрет; можешь вообразить мое отчаяние..."

Портрет?! Выходит, нижегородских гостей привело сюда дело. И Шевченко знал, что они приедут. И предпринимал какие-то усилия, дабы встретить не с пустыми руками. И... ничего сделать не смог - не удалось.

О каком портрете идет речь?

А о нем и дальше.

"...Помолимся, моя родная, чтобы мой господь помог продать портрет, а то просто мочи нет как тяжело; бедный наш мальчик тоже огорчен, ему сказал брат, что их состояние совершенно расстроено; но что они все-таки выиграли какой-то процесс и что ему дадут часть; он страдает, что не может свою Нину окружить всем на свете; но ведь ты знаешь, что нашей девочке очень не много нужно..."

Пишет озабоченная мать.хлопоты... дела... А на первом плане - портрет. "Можешь вообразить мое отчаяние..." - это оттого, что он не продан. "Просто мочи нет как тяжело..." - опять о том же. "Помолимся... чтобы мой господь помог продать портрет..." До чего важно, до чего необходимо, если даже "помолимся"?!

"Делай венчальное платье как знаешь, моя душа... Нина просит сделать поэкономнее, и если можно что-нибудь сэкономить, чтобы ты послала в Боснию... Я тоже поплакала об этих несчастных..."

Среди множества предсвадебных забот - неожиданно, но как-то очень естественно и закономерно: не просто сочувствие, а желание помочь тем, кто борется за свободу. Вскользь, мимоходом... Однако нужны ли слова другие, чтобы убедить: она, Дорохова, вырастила не только невесту, но и человека.

Ради ее счастья Мария Александровна была готова на все.

...Они пробыли в Петербурге до 8 июля и с Шевченко, наверняка, еще встречались. К 4-му июля портрет продать не удалось. В этом, очередном письме есть такая строчка: "...портрет еще у меня, последняя надежда на Строганова лопнула..."

Что за портрет?

Загадка...

СВИДАНИЕ С ПРОШЛЫМ

Мое новое свидание с Шевченко, с теми, кто ему сопутствовал в Нижнем Новгороде, состоялось в ...церкви. Не той, что была им рисована, но, пожалуй, тех же времен. Здание областного архива еще не было достроено, и основные дореволюционные фонды хранились пока здесь.

...Из любой, мало-мальски подробной, биографии можно узнать о том, что едва Шевченко ступил на нижегородский берег, как услышал, что о его прибытии будет немедленно доложено полицейским властям.

Со старшим полицмейстером и его сотрудниками он встретился гораздо раньше, чем с теми, кого жаждал видеть. Справедливости ради надо сказать: впечатление они произвели неплохое ("Кудлай... не похож на полицмейстера, как и товарищ его Лапа").

Где-то в конце октября Шевченко в дневнике заметил, что в губернаторской канцелярии узнал об уготованном ему запрете въезда "в обе столицы" и пребывании "под секретным надзором полиции" без всякого срока. "Хороша свобода,- записал он, и горько добавил: "Собака на привязи".

На невидимой - но крепкой - "привязи" Шевченко держали пять с половиной месяцев, проведенных в Нижнем. Не избавился от нее и дальше, получив разрешение выехать.

Он выехал, а переписка о нем продолжалась.

В фонде корпуса жандармов дел сохранилось не много. "Журнал входящих и исходящих бумаг, по наблюдательной части" оказался с записями только за 1858-й. (ГАГО.- Ф. 1864.- Оп. 1.- Д. 5).

Зато отыскиались в нем следы четырех (четырех!) документов, связанных с Шевченко.

Входящий: 21 мая, № 66 - отношение ис-прав. должность Нижегород. старшего полицмейстера от 21 мая № 42, о выезде в С.-Петербург состоящ. под надзором рядового (художника) Шевченко.

Исходящие:

21 мая, №116. Отношение Московскому жандар. штаб-офицеру, о выезде в Москву состоящего под надзором рядового Шевченко.

21 мая, № 117. Рапорт г. начальнику округа о том же.

Входящий:

3 июня, № 76. Отношение Московского жан-дармск. штаб-офицера, от 29 мая, № 210, о состоящ. под надзором рядовом Тарасе Шевченко.

Всюду - с пометой "секретно". Везде - резолюция: "к делу".

И - перечитайте: "рядового", только "рядового", лишь однажды, и то в скобках, "художника". В главах жандармских властей он оставался тем же ссыльным, солдатом, что и в течение десяти лет.

В "Журнале входящих и исходящих" нашлись только следы перечисленных документов.

Да, не вся переписка о Шевченко отыскана, прочитана, изучена...

Прежде чем эту "единицу хранения" сдать, листаю "Журнал..." еще раз. На всякий случай стоит выписать сведения о нескольких других документах, обративших мое внимание при первом знакомстве.

...Анненков!

"Секретно. Отношение Московского жандармского штаб-офицера от 8 января за № 11 о состоящем под надзором полиции титулярном советнике Анненкове".

Шевченко к этому времени уже был с ним знаком и встречался не раз.

...Пушин!

"Секретно. Отношение г. Нижегородскому старшему полициймейстеру о доставлении сведения, где квартирует г. Пушин..."

"Секретно. Отношение Московскому жандармскому штаб-офицеру о выезде в Московскую губернию состоящего под надзором полиции дворянина Пушина..."

Документы датированы июнем 1858-го; Шевченко тогда находился в Петербурге. И все же это тяготение декабристов к Нижнему интересно, значительно.

...Дюма!

"Секретно. Отношение Московскому жандармскому штаб-офицеру от 13 сентября № 379, о известном французском писателе Александре Дюма (отец), который имеет прибыть в Нижний Новгород".

"Секретно. Записка г. начальнику 7 округа корпуса жандармов об отправлении французским писателем Дюма конверта в Париж..."

Переписка о Дюма-отце продолжалась около трех месяцев. Будь Шевченко в то время еще в Нижнем Новгороде, он не преминул бы с прославленным французом познакомиться. Уж хотя бы потому, что тот "написал сантиментальный роман на... богатырскую тему". (Цитирую запись из дневника за 6 ноября 1857 года; речь в нем идет о романе "Учитель фехтования", посвященном судьбе француженки П. Гебль, которая стала женой декабриста Анненкова и отправилась за ним в Сибирь).

..."Журнал входящих и исходящих..." Всего-навсего перечень документов. Но до чего обидно, что не сохранился такой же за 1857-й...

Исчезло одно - дошло другое.

Из самых неожиданных мест выходили ко мне люди, с которыми довелось Шевченко общаться в Нижнем. Известные по его дневнику, по письмам, по воспоминаниям. И почти незнакомые, потому что чаще записями теми наши сведения о них и ограничивались.

...4 января 1858 года у Шевченко состоялась новая встреча: он "познакомился... с доктором Рейковским, ученым и весьма интересным человеком.

"Рейковский Донаг Михайлович - врач, служил в почтовом ведомстве, комментировал эту запись И. Я. Айзеншток.- Причины, по которым Шевченко называет его "ученым", неизвестны".

"Рейковский Донат Михайлович - врач, служил в почтовом - ведомстве",- повторил ту же версию Ю. А. Ивакин.

Согласиться с этим готов был и я. Останавливало лишь странное несоответствие: врач - и вдруг "почтовое ведомство". Что могло привести туда медика?

Читаю письма "А. Сапожникова": в фонде известного общественного деятеля Нижегородской губернии, краеведа, статистика, литератора А. Гациского их немало. Выписал эти письма из хранилища, потому что рассчитывал прочесть написанное Александром Александровичем - астраханским рыбопромышленником, сослужившим Шевченко добрую службу. Оказалось - не тот. Не исключено, что родственник... Заинтересовался, читаю. Просто читаю, не делая выписок. И вдруг останавливаюсь на строчках: "К счастью моему, что судьба поселила в Нижнем Райковского, которого я

люблю и уважаю, как человека и верю как в искусного врача..." (ГАГО.- Ф. 765.-Д. 249.-Л. 112).

Характеристика, что и говорить, близкая к шевченковской.

Так мне открылся Рапповский. Продолжая искать, укрепился в мысли: Шевченко писал о нем. Опытный, знающий врач служил в Приказе общественного призрения, ведавшем больницами и прочими "богоугодными заведениями", состоял в чине коллежского секретаря, а звали его Измаилом Ивановичем.

Отчего поэт поименовал своего знакомого ученым, спрашивать не к чему: понятно. А вот почему "весьма интересный человек"? За этими словами, возможно, и большее, чем просто "хороший собеседник". Значит, надо еще поискать. Тем более что искать теперь легче: кого ищу - знаю, и по следу не нужного мне Доната Михайловича Рейковского, врача из "почтового ведомства", не пойду. (Дальнейшие поиски показали, что Измаил Иванович, сын протоиерея, был братом долголетнего профессора богословия Петербургского университета А. И. Райковского и профессора математики Петербургской духовной академии С. И. Райковского. С этой семьей был дружен Г. Чернышевский -- однокашник сына Андрея Ивановича, Сергея, в годы студенческой их жизни).

...Среди множества знакомых Шевченко, названных в дневнике, я, помнится, сразу выделил Петровича. "Петрович по происхождению серб, образованный, прямой и сердечный человек, хорошо разумеющий и глубоко сочувствующий всему современному. Мне больно, что я прожил столько времени в Нижнем и только встретился сегодня с этим редким человеком".

Серб Петрович заинтересовал меня раньше всего потому, что как раз перед этим, работая в Оренбургском архиве, я нашел несколько дел, касающихся ссыльных греческих этеристов (Ф. 6.- Оп. 4.- Д. 7829, 8060, 8335), и среди названных был активный участник национально-освободительного движения в дунайских княжествах Петрович - тоже серб и, кстати, тоже капитан. Сомнения в их родстве у меня нет и сейчас; запись в дневнике ("глубоко сочувствующий всему современному") лишь подчеркивает верность шевченковского знакомого главной традиции своей семьи: свободолюбию, свободомыслию, стремлению к свободе.

Сведения о Петровиче - Григории Фердинандовиче Петровиче, "служащем в ведомстве Нижегородской строительной и дорожной комиссии, Корпуса лесничих капитане" - нашлись в нескольких делах областного архива в Горьком (Ф. 5.- Оп. 46.- 1857.- Д. 153; Ф. 2.- Оп. 4.- Д. 1857; Ф. 180.- Оп. 640.-Д. 302). Под его руководством как "начальника искусственного стола" упомянутой комиссии осуществлялись, оказывается, благоустроительные работы в Нижнем Новгороде, он участвовал в "устройстве Нижегородской железной дороги" (этим, наверное, была вызвана и поездка в Медновку, во время которой состоялось знакомство с Шевченко), но, при всем том, являлся... "несостоятельным должником". Подтверждением тому - переписка по жалобе купца Де-дюхина о "невозврате долга". Как говорится в официальной бумаге, "по изысканию полиции у него (Петровича.- Л. Б.) никакого имущества, которым бы можно было обеспечить сей долг (200 р. сер.) не оказалось..."

...Десятки людей вошли в жизнь поэта в Нижнем Новгороде.

НАД ПОЖЕЛТЕВШИМ КОМПЛЕКТОМ

У "Нижегородских губернских ведомостей" есть в Шевченкиане свое, и достаточно прочное, место. Главным образом, в связи с тем, что именно здесь появилась единственная известная нам театральная рецензия поэта - "Бенефис г-жи Пиуновой, января 21, 1858 г." Но о рецензии речь пойдет в другом месте. И если разговор о газете возник уже сейчас, то исключительно потому, что писать мн^ю предстоит о статье, которая называется: "Первый выпуск воспитанниц Нижегородского Мариинского института благородных девиц" (Нижегородские губернские ведомости, неофициальная часть.- 1858.- № 9.- 1 марта).

Статья имеет прямое отношение к Дороховой и ее делу, а заодно и к одной из записей в дневнике...

Раньше я говорил об этой записи вскользь, сейчас приведу ее полностью - или почти полностью, исключив то, что описываемого события не касается.

..."6 февраля.

М. А. Дорохова сегодня репетировала предстоящий акт выпускным своим юным питомицам. Юные питомицы в зеленых платицах и белых пелеринках числом (здесь пропуск.- Л. Б.) чинно сидели на скамейках, вроде театральных зрителей, и благоговейно внимали, как их досужие подруги исполняли на фортепиано руколомные пьесы. Между прочим, была исполнена на двух инструментах, весьма недурно, увертюра из "Вильгельма Телля". Потом прочитаны стихи по-французски, по-немецки и в заключение девица Беляева прочитала русские стихи собственного сочинения, на тему - благодарность за воспитание. Для ее возраста стихи хороши, за что я ей обещался подарить сочинения И. Козлова, если найду в Нижнем. В заключение пропет был хором так называемый народный гимн, и репетиция тем кончилась.

Все это обыкновенно дурно, но вот что отвратительно. В залах института, кроме скамеек и грозного лубочного изображения самодержца, ни одной картины, ни одной гравюры. Чисто, гладко, как в любом манеже. Где же эстетическое воспитание женщины? А оно для нее, как освежающий дыхание воздух, необходимо. Душегубцы".

Запись я знал, о ней помнил, и потому, увидев в старом комплекте газетную статью о том же событии, остаться равнодушным не мог. Прочел и раз, и другой, потом раскрыл дневник...

Первым моим желанием стало восстановление пропущенной цифры. "Юные питомицы... числом (?)..." Статья подсказала: "двадцать три". Так и надо печатать: "числом 23", оговаривая вставку разве что в комментариях.

Какие фортепианные пьесы Шевченко окрестил одним словом: "руколомные"? Прежде всего, исполненный на четырех инструментах "Польский марш" сочинения... "Его Императорского Высочества Принца Петра Георгиевича Ольденбургского".

Более других понравилась гостю-поэту сыгранная "весьма недурно" увертюра из "Вильгельма Телля". Статья называет исполнительниц: Н. Стremoухову, А. Лунину, А. Томас и М. Томашевскую.

Из той же статьи узнаешь, и кем были "прочитаны стихи по-французски" (А. Фомичевой), "по-немецки" (М. Семеновой), и какие "русские стихи собственного сочинения, на тему - благодарность за воспитание" прочла "в заключение девица Беляева".

Прошло то время золотое, Прошли дни счастья и забав, Воспоминание святое О них горит во всех сердцах! Пленяя славою земною, Пред нами свет шумит и блещет, Нам новый путь открыт судьбой... И сердце бьется и трепещет... Простите все, кто нас

лелеял, Нам ум и сердце просвещал, В нас семя доброе посеял, И нас с заботой возвращал...

Процитировал я только три - из четырнадцати - строф ученически скромного, искреннего стихотворения Беляевой. Этим-то (чем еще?) понравилось оно Шевченко, так ценившему простоту и искренность. "Для ее возраста стихи хороши..."

Нравилось и обращение ее к Дороховой:

О наша нежная, родная, И вечно милая нам мать! Твою обитель покидая, Прости! тебе должны сказать, Прости! тебя мы не забудем, Тебя клянемся век любить, С тобою мысленно жить будем И за тебя Творца молить!..

Его, Шевченко, человека чуткой души, не могла не тронуть такая любовь к Марии Александровне, к которой и он проникся сердечной симпатией.

Беляева на "акте" получила золотую медаль, он же, поэт, уже после репетиции не преминул выразить ей свое одобрение и пообещал подарить стихи И. Козлова. Удалось ли это сделать, нашелся ли в нижегородской книжной лавке заветный томик - как узнаешь? Пока выяснено только то, что Е. Л. Беляева сдала впоследствии экзамен на домашнюю учительницу и длительное время служила учительницей приготовительного класса в женской гимназии.

Тарас Григорьевич, очевидно, был приглашен Дороховой на репетицию не "просто так", а как критик и художник; до того, если вспомните другую запись, он помогал уже ставить "живые картины" в одном из благотворительных спектаклей.

Этой именно ролью Шевченко в предварительном просмотре и вызваны, надо полагать, замечания его как художника: "...кроме скамеек и грозного лубочного изображения самодержца, ни одной картины, ни одной гравюры".

Пригодились ли его замечания и советы при последующей подготовке к выпускному акту? Был ли он и на том вечере, что проходил через три дня -

9 февраля? Неизвестно. Дневниковые записи за 9-

10 февраля этому не противоречат. Но и подтверждений в них нет...

...Статью в "Нижегородских губернских ведомостях" я читал с напряженным, по-особому настороженным вниманием. Она предо мною и сейчас - в непогрешимо точной копии.

Дело в том, что там же, в Горьком, мне стало известно о возникшей у местных исследователей версии, будто статья, опубликованная 1 марта 1858 года, написана Тарасом Шевченко или, по крайней мере, при его личном литературном участии. В авторитетном научном издании утверждалось, что это даже не вызывает сомнений. (Ученые записки Горьковско-го государственного педагогического института им. М. Горького: Серия филол. вып. 42, 1963 г. Статья Н. М. Добротвора "Новое о Шевченко".- С. 39-41).

У меня такой вывод сомнение вызвал.

Уважаемый исследователь исходил из того... Однако не лучше ли дать слово ему?

"После тщательного анализа статьи (в "Нижегородских губернских ведомостях".- Л. Б.) мы пришли к предположению, что статья написана не одним автором. Можно предположить, что один автор написал сухой, официальный отчет о первом выпуске института, а другой автор внес ряд изменений, дал новые формулировки. Стиль другого автора - свободный, оригинальный. Содержание его поправок имеет демократическую направленность".

"Другой автор", по твердому убеждению исследователя, это Шевченко. В статье приводятся большие куски текста, тщательно разделенные на то, что написано "одним" (давшим "сухой, официальный отчет"), и "другим" (стиль которого "свободный, оригинальный", а содержание имеет "демократическую направленность").

Да ведь выделенное как творчество этого мнимого "другого" отличается лишь несколько большей живостью (или бойкостью) изложения, вполне закономерной для любой статьи (в том числе печатаемых в наши дни), где отчет о собрании, вечере либо ином торжественном акте сопровождается раздумьями по его поводу. Ну, а "демократическая направленность"? Автор выступления в ученых записках видит ее, к примеру, в замечании: "Не одно заученное высказывалось в ответах их (выпускниц.- Л. Б.), в них ясно слышалось убеждение, свидетельствующее, что воспитанниц заставляли думать и рассуждать..." Или в словах: "...нельзя не высказать глубокой признательности, которую не может не проникнуться сердце каждого, сочувствующего прогрессу в деле общественного образования, при виде, что талант не только не остается, как то прежде часто бывало, не замеченным, но и получает... настоящее направление..." Но, позвольте, где здесь, в словах приведенных, можем мы ее, ту особую направленность, узреть? В робких и декларативных восхвалениях некоторых положительных сторон обучения в Мариинском институте?

"В пользу авторства Шевченко (или его редакторства) говорит и то, что Шевченко присутствовал на генеральной репетиции..."

Да, присутствовал. И совпадения отдельных оценок отрицать не приходится. Хотя... бесспорно оно только в одном случае: автору статьи в губернской газете понравились стихи Е. Беляевой, по душе они пришлись и Тарасу Григорьевичу. Что касается другого якобы совпадения мнений (по поводу увертюры к "Вильгельму Теллю"), то, отмеченный в дневнике, в газетной статье номер не выделен никак - просто назван в общем ряду и, между прочим, в конце его, после трехкратного похвального упоминания сыгранных и спетых произведений принца Ольденбургского. И это, по автору,- Шевченко?

Сравним лучше другое.

Дневник: "В заключение пропет был хором так называемый народный гимн..."

Статья: "Акт окончился пением народного гимна "Боже, Царя храни".

Дневник: "Чисто и гладко, как в любом манеже. Где же эстетическое воспитание женщины?"

Статья: "В числе замечательных памятников стремлений нижегородского дворянства к общественному благу одно из видных мест занимает учреждение Мариинского института благородных девиц..."

Дневник: "Душегубцы".

Статья: "...Его превосходительство господин нижегородский губернатор Александр Николаевич Муравьев, имевший всегда о воспитанницах чисто-отеческое попечение и которого оне любили, как родного, обратился к окончившим курс с краткой речью..."

Так-то... и других доказательств не нужно...

"На самом выпускном акте Шевченко не был, но он присутствовал на репетиции. Поэтому-то, вероятно, и вышло так, что кто-то сначала написал отчет о первом выпуске в официальных тонах, а Шевченко статью отредактировал и внес в нее поправки, которые ее оживили, сделали интересной и содержательной".

Был поэт на самом акте или не был - утверждать, повторяю, трудно. Все же остальное - домысел, фантазия. Фантазия с благородной целью: пополнить наследие Шевченко еще одним произведением. Но пополнять нужно шевченковским, а эту статью ни писать, ни дописывать или даже редактировать (по какому, позвольте, праву?) он не мог. Какой ее автор сделал, такой она в свет и вышла.

Автор... Кто он?

Статья не без подписи. Однако вместо фамилии: "...- ь". Так подписывались преимущественно те, чья фамилия заканчивалась на "твердый знак".

А не сам ли это редактор газеты? "А. Ждановъ"...

Он или не он, но - не Шевченко. Ошибочно и предположение, будто в это время в Нижнем не было, кроме Тараса Григорьевича, никого, кто мог бы так написать. Преувеличение явное. В том же году, в той же газете печатался Николай Храмцовский - автор "Краткого очерка истории и описания Нижнего Новгорода" (поэт читал книгу вскоре по приезде и нашел ее "интересной"); достаточно уверенно владели пером Раевский, Щеголев и некоторые другие местные газетчики.

АРХИВ ДАЕТ НИТИ

1

В Горьковском архиве сведений о Дороховой нашлось мало. Дела института благородных девиц за годы начальствования в нем Марии Александровны в большинстве своем оказались утраченными.

Прежде всего, характеризующее ее деятельную заботу о своем детище - институте.

Это не без ее стараний 3 октября 1858 года нижегородское купечество, собравшееся в "общественном нижебазарном доме", согласилось "жертвовать ежегодно, в течение десяти лет, с объявляемых по Нижнему Новгороду капиталов, по одному полупроценту", с целью учреждения в городе "высшего училища для девиц" (ГАГО.- Ф. 27.- Он. 638.- Д. 2613.- Л. 5).

В том же деле Дорохова названа "вдовой, пору-чицей".

...Урожденная Плещеева и... вдова поручика.

Оказалось, что Мария Александровна была дочерью камергера Александра Алексеевича Плещеева, бывшего в свое время чтецом у императрицы Марии Федоровны и членом "Арзамаса", и жены его Анны Ивановны, урожденной графини Чернышевой, умершей, когда маленькой Маше (она родилась в 1811-м) не исполнилось и шести.

Выяснилось далее, что ее, Марии, братья - Александр и Алексей - были причастны к декабристам. Первый, корнет лейб-гвардии Конного полка, просидел полтора года в Петропавловской крепости, а затем получил отставку; второй, поручик тоже того полка, также прошел через этот страшный каземат, но пребывал в нем "всего" несколько месяцев, после чего его перевели прежним чином в Курляндский драгунский полк. Оба брата скончались в сороковые годы. (Восстание декабристов // Материалы. Л., 1925.-Т. 8.-С. 376).

Декабристами, и довольно видными, являлись также двоюродные братья Марии Плещеевой - Александр и Федор Вадковские, Захар Чернышев (Там же.- Стр. 291-292, 419-420).

К моменту восстания на Сенатской площади Марии было четырнадцать. В приготовления ее не посвящали и посвящать не могли. Но она жила, выросла в обстановке необычной.

"Вдова поручика..." Поручика Дорохова?

Я зло упрекнул себя в том, что не дал себе труда вникнуть в письмо Дороховой к В. А. Жуковскому; оно показалось тогда слишком удаленным от лет и событий, которые меня занимали. Я припомнил, что в письме было и о муже Марии Александровны. Она писала о нем, как о лихом рубаке, который по сабле тоскует куда больше, чем по жене, и готов на все, лишь бы драться.

Письмо датировано 1838-м. Дорохов находился на Кавказе. Она называла его... да, Руфином...

Руфин Дорохов - прототип Долохова в "Войне и мире"!

Вот с кем связала свою судьбу Мария Плещеева, впоследствии невеста Муханова, названная мать дочери Пущина, друг Шевченко.

Многое тут неясно.

Загадочно-Таинственно!..

...Без рассказа о Дорохове теперь уже не обойтись.

ЦЕПЬ НЕРАСТОРЖИМАЯ

Несколько лет тому назад писал я исследовательскую повесть "Побратимы" - о дружеских связях Шевченко с польским революционным поэтом Желиговским.

Живо помню, как поразил меня тот факт, что спутник Эдварда Желиговского во время переезда из Петрозаводска в Оренбург - опальный князь Сергей Васильевич Трубецкой - был личным знакомым, даже приятелем Лермонтова и секундантом на роковой его дуэли с Мартыновым.

Протягивалась туго натянутая нить: Лермонтов - Трубецкой - Желиговский - Шевченко...

Сведения о Дорохове я собирал в дворянских родословных, в архивных фондах, в книгах Толстого и о Толстом, в мемуарах различных деятелей - в общем, всюду, где только было возможно. Но наиболее полные нашел в одном из томов "Литературного наследства", в статье о... Лермонтове. (Новый источник для биографии Лермонтова. Неизвестная рукопись А. В. Дружинина. Статья и публикация Эммы Герш-тейн // Лит. наследство.- М., 1959.- Т. 67.- С. 616- 644).

И снова возникла цепь, звеньями которой являлись Лермонтов и Шевченко.

...Руфин Иванович Дорохов родился в 1806-м. Его отцом был герой Отечественной войны генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов, скончавшийся от ран, когда сыну едва исполнилось девять. Но к тому времени он уже три года как числился на военной службе. Карьера военного предопределялась Руфину чуть ли не от рождения.

(Шевченко о Дорохове знал. Еще в начале июля 1857 года, занося в дневник воспоминания о пребывании, вместе с А. С. Афанасьевым-Чужбинским, в Чернигове, поэт писал: "Мы прожили с ним, вместе весь великий пост (в 1846 г.- Л. В.), и не оказалось в городе не только барышни, дамы, даже старухи, которой бы он (не написал) в альбом не четырехстишие какое-нибудь (он мелочь презирал), а полную увесистую идилию. Если же альбома не обреталось у какой-нибудь очаровательницы,

как, например, у старушки Дороховой, вдовы известного генерала 1812 года, то он преподносил ей просто на шести и более листах самое сентиментальное послание"). "Известный генерал" был отцом Руфина, "старушка Дорохова" - матерью.

"На произвол его пылких страстей", как сказано в одном из документов, Р. И. Дорохова оставили рано. И он, едва выйдя из пажеского корпуса в учебно-карабинерный полк, убил на дуэли старшего сослуживца-капитана. В семнадцать лет Руфин оказался разжалованным в солдаты и посаженным под арест за то, что "в театре на балконе... сел на плечи какого-то статского советника и хлестал его по голове за то, что тот в антракте занял место незанумерованное и им перед тем оставленное" (так вспоминал впоследствии М. И. Пущин). Тот же Пущин писал, что "через несколько лет... встретился с Дороховым на Кавказе, другой раз разжалованным".

Это было уже в конце двадцатых годов. Рядовой Нижегородского драгунского полка, Дорохов участвовал во многих опаснейших операциях кавказской войны и день за днем выказывал свою поистине легендарную доблесть. "В кавалерийском деле при Джаван-булахе он врубается вместе с серпуховскими уланами в персидскую конницу и берет лично в плен двух наездников; в деле под Карсом он участвует в качестве саперного офицера и первый устанавливает орудия на башне Темир-паша; при штурме Ахал-цыха врывается в город в первых рядах ширванцев..."

Тяжелое ранение в грудь и контузия осколком гранаты, производство в поручики и награждение золотой саблей за храбрость - таковы были его "трофеи" в войне на Кавказе.

Вскоре он встретился с Пушкиным. "Путешествие в Арзрум" донесло до нас его, пушкинское, свидетельство: "Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы". Поездку они продолжали вместе, Пущин восхищался Дороховым, находя "много прелести в его товариществе", а впоследствии написал о нем стихи, в которых были и такие строки:

Ты прострелен на дуэле, Ты разрублен на войне, Хоть герой ты в самом деле, Но повеса ты вполне.

Так рисовал поэт портрет Дорохова за три или четыре года до того, как тот вышел в отставку, женился на дочери камергера Плещеева и осел в Москве - казалось, окончательно.

Не изменился у Руфина Ивановича только характер. "Неприятные истории" следуют одна за другой. Некоторые удастся замять, но та, что случилась в 1837-м, когда он нанес "кинжальные раны" отставному ротмистру Сверчкову, привела к беде. Дорохова арестовали, ему угрожала каторга, и только хлопоты В. А. Жуковского, искренне расположенного к Марии Александровне, жене Дорохова, от каторжных работ избавили: поручик в отставке был назначен до выслуги рядовым в Навагинский пехотный полк. Он вернулся в строй. Как писала Жуковскому М. А. Дорохова: "Вы водворили его в свою сферу".

...Вот и снова мы взяли в руки то ее письмо, которое привлекло внимание еще в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Письмо от 12 июля 1838 года, на французском языке, из обширного фонда Елагиных (Ф. 99.-4/35).

Кто-кто, а она понимает неукротимый нрав своего мужа!

Во время бури, которая прокатилась по Черно-морью в конце мая 1838 года, Дорохов, назначенный перед тем в отряд по строительству Вельяминовского порта при устье р. Туапсе, бросился с группой солдат в лодку, после шести часов

единоборства с волнами оказался на противоположном берегу и там, с ходу вступив в бой с черкесами, сумел не только отразить их нападение, но и причинить неприятелю весьма значительный ущерб.

Рассказывая об этом, Мария Александровна писала: "Руфин с товарищами вернулись, изнемогая от усталости и промокшие до костей. Мой бедный муж, едва излечившийся от длительной и тяжелой болезни, схватил ужасную простуду, и его начальник отправил его в госпиталь на излечение. Но он мне пишет, что не будет ждать своего выздоровления, и, если предстоит новая экспедиция, он непременно постарается в ней участвовать. Для того, чтобы мне показать, как хранит его провидение, он прислал мне свою солдатскую фуражку, пробитую двумя пулями... Мой муж представлен к производству, это будет сильно способствовать его выздоровлению".

Дорохова переписала для Жуковского сочиненную Руфином Ивановичем песню "Что грустишь ты, казак". (Некоторые стихи Дорохова увидели свет в журнале "Сын Отечества" за 1837 год; о поэтических его занятиях было известно и Пушкину, назвавшему своего знакомого "Нелединским в стихах"). Да, песня, как и другие поэтические упражнения лихого рубаки, особыми достоинствами не отличается. Но... "Заметьте, что мой бедняга Руфин выдает себя в этой песне с головой; ясно видно, что из всех постигших его бед больше всего его терзает потеря сабли с надписью "За храбрость". Вообразите, я ревную. Он по сабле тоскует более нежели по жене... Но так как мой муж не желает никогда больше расставаться с военной службой, я прощаю ему, что он сделал моей соперницей золотую саблю..."

Это, напоминаю, из письма, датированного июлем 1838-го. Дорохов продолжал и служить, и сражаться.

В 1840-м он возглавил команду охотников, которую сам же собрал из казаков, кабардинцев, разжалованных офицеров. Отчаянные рейды добровольцев наводили на противника страх.

Потом, когда его ранили в глаз и в ногу, молодцов своих Дорохов передал Лермонтову.

Их дружеское общение, к сожалению, было недолгим; начавшееся в сороковом, оно оборвалось в сорок первом, со смертельным выстрелом у подножья горы Машук. Но в течение года оба опальных встречались часто: и в совместных боевых действиях, и в кругу офицеров, и в разных домах - сначала Ставрополя, затем Пятигорска. После ссоры Лермонтова с Мартыновым Дорохов всячески старался дуэль между ними предотвратить. Он понимал: готовится преступление, убийство, жертвой которого должен стать великий поэт России. И до последней возможности стремился его спасти.

Небезынтересный факт содержится в "Воспоминаниях декабриста Александра Семеновича Гангеблова" (М., 1888). Когда Лермонтов был убит, припоминал Гангеблов, священник отказывался его хоронить как умершего без покаяния. Это вызвало гнев у Дорохова. Он горячился, грозил, а затем, как буря, набросился на священника - "еле удержали"...

"Дружеские отношения его к Лермонтову были несомненны,- читаем в статье А. В. Дружинина, впервые опубликованной "Литературным наследством".- За день до своего выступления из города Пятигорска, где мы сошлись случайно,- он, укладываясь (в начале 1851 г.- Л. Б.) в поход, показывал нам мелкие вещицы, принадлежащие Лермонтову, свой альбом с несколькими шуточными стихами поэта, портрет, снятый с

него в день смерти, и большую тетрадь в кожаном переплете, наполненную рисунками (Лермонтов рисовал очень бойко и недурно)... Кой-где между ними еще были стихи..."

Ни альбом Дорохова с лермонтовскими стихами, ни альбом Лермонтова исследователям неизвестны.

В 1843 году Дорохов вышел в отставку, и, как пишет Эмма Герштейн, "шесть последующих лет его жизни остаются совершенно неосвещенными". Шесть лет до того дня в 1849-м, когда он запросил свидетельство, поручающее его покровительству "Комитета инвалидов".

Определенно мы не знаем ничего. Но именно в эти годы между Дороховыми, вероятно, произошел разрыв, и Мария Александровна с дочерью уехала в Сибирь, где с августа 1849 года стала начальницей Иркутского института благородных девиц.

В сентябре ее Нина умерла *. Умерла на восемнадцатом году жизни, оставив мать с горем наедине...

Ну, а Руфин Иванович? Ему не суждено было жить "на покое". Тогда, когда его жена приступала к исполнению своих новых обязанностей за тысячи верст от столиц, он сетовал на то, что не имеет возможности немедленно ринуться в бой, так как "война кончена". Для него это "насмешка судьбы": "я просто в отчаянии..." Однако был Кавказ, где боевые действия не прекращались. Там, в начале 1852 года, он, вместе с другими участниками отряда добровольцев, попал в засаду. И долго еще в одном из ущелий изрубленное его тело находилось во власти хищных птиц и шакалов...

Весть об этом до Иркутска могла дойти не скоро. Так, однако, или иначе, но именно в пятьдесят втором стала Дорохова "вдовой, поручицей".

Было ей тогда сорок, и она еще мечтала о счастье.

Счастье с Мухановым, которого узнала в Сибири...

ПЕТР МУХАНОВ, ГЕРОЙ 14 ДЕКАБРЯ

...Штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка... Член Союза Благоденствия (1819)... После событий 14-го декабря принимал участие в собраниях Тайного общества в Москве... Был доставлен на главную гауптвахту, а оттуда в Петропавловскую крепость с распоряжением "содержать под строжайшим арестом"... Приговорен к каторжной работе на восемь лет... После шести лет тюрьмы и каторги (Нерчин-ские рудники) обращен на поселение в Братском остроге Нижнеудинского округа Иркутской губернии. Мать ходатайствует о переводе сына в Западную Сибирь, но получает отказ: "очень дурно себя ведет и недостойн снисхождения"... Ссылный просит разрешить ему вступление в брак, однако неудача постигает и здесь: "Муханов по правилам греко-российской церкви, по причине родства его с княжной Шаховской, не может на ней жениться"... Он болен, болезнь обостряется, и родственники умоляют: перевести поселенца хотя бы поближе к Иркутску... Дозволение поступает только в конце 1841-го; еще пять месяцев спустя, уже в 1842-м, его наконец переводят в Усть-Кудинское, Иркутского округа... Не один год идет переписка о "даровании права" поехать на лечение - и лишь в 1848-м выходит на то соизволение...

Иркутск - Туркинские минеральные воды - снова Иркутск... Здесь и настигает его смерть - на 55-м году от рождения, 12 февраля 1854 года...

Эти сведения о Петре Александровиче Муханове почерпнуты мною из вполне достоверного источника: не раз упомянутого "Алфавита декабристов".

...Он был не только военным, а и писателем. В 1822 году Муханов стал одним из авторов либретто к опере Алябьева "Лунная ночь, или домовые"; его статьи печатались в "Сыне Отечества" вместе с произведениями Пушкина, Грибоедова, Одоевского, Рылеева.

Крепкая и нежная дружба с Рылеевым - еще одна важная деталь в его характеристике. Не случайно свою думу "Смерть Ермака" поэт-декабрист посвятил Муханову.

О личной его трагедии ранее было сказано, но вскользь, мимоходом. История же эта достойна и поэмы, и романа.

Задолго до восстания на Сенатской площади молодой офицер встретил и полюбил Варвару Михайловну Шаховскую. Еще тогда они решили связать свои судьбы. Но вот арест, крепость, каторга. Княжна Варвара отправилась за ним. Поселившись в Иркутске, она стала связующим звеном между декабристами и их близкими в обеих столицах. Шаховская оставалась в Сибири и тогда, когда Николай I отказал любящим в праве на вступление в брак. ("По причине родства..." А родство заключалось в том, что сестра Муханова была замужем за братом Шаховской!)

В архиве князей Шаховских сохранилась обширная переписка Варвары Михайловны, и нет, пожалуй, ни одного письма без душевных слов о ее женихе, ради которого она готова была пожертвовать всем.

Десять лет прожили Шаховская и Муханов в одном краю, но ни разу не суждено им было даже увидеться. Варваре Михайловне пришлось уехать из Сибири, а три года спустя, в сентябре 1836-го в Симферополе она умерла. Весть обрушилась на Петра Александровича горем ураганной силы - едва-едва выдержал. Но - выдержал.

А счастье ему улыбнулось. Под конец жизни. Счастье в облике Марии Дороховой!

Она лишилась мужа; она отправилась на "край света"; уже там, в Сибири, скончалась ее дочь. Но так много было в ней нерастраченного чувства, что женщина полюбила, и полюбила всем сердцем, горячо, самозабвенно.

По церковным законам Дорохов оставался ее мужем; до смерти его второй брак осуществлен быть не мог. Только в 1853-м, по истечении года со времени гибели лихого рубаки, стала Мария Александровна невестой Муханова. "Я скоро буду принадлежать вам совершенно, мои друзья..." Это - из письма К. Г. С. Батенькову, ранее цитированного. Да, конечно, она имела в виду близкий уже брак с женихом-, декабристом...

.. Женитьбе помешала его безвременная, внезапная смерть.

..."Неутешная Пушкина (так звали Муханова друзья.- Л. Б.) суженая выезжает отсюда в половине июля (1854 года.- Л. Б.), вижусь с нею ежедневно, душевно сожалею о ней..." - писал С. Г. Волконский И. И. Пущину.

Сочувствовали Марии Александровне все, кто знал ее, Муханова и горькую, горестную историю их несостоявшегося счастья.

СТРОКИ ИЗ ПЕРЕПИСКИ

...Итак, тысяча восемьсот пятьдесят четвертый...

И. И. Пущин, 8 июля, Ялуторовск: "...Марью Александровну мы ждем. Бедная женщина! Из какой-то непонятной мечты расстроила полезное свое существование..."

(Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля.- М., 1936.- Стр. 249). С. Г. Волконский, 26 июля, Иркутск: "...Марья Александровна выезжает 28-го, т. е. послезавтра, приедет погостить в Ялуторовск, приедет неутешной вдовой, жалею ее очень..." (Декабристы : Летописи Государственного Литературного музея.- М., 1938.- Кн. 3.-С. 94). Г. С. Батеньков, 22 августа, Томск: "...Вот, наконец, и Марья Александровна следует мимо нас... Случай бесподобный для беседы... Будь на моем месте лорд Редклиф Стратфорд, он ни за что на свете не бросился бы во всю прыть с Соломенного, чтоб жарко обнять приезжую страдальцу и своим, отчасти притворным, веселием сколько-нибудь влить такового же истинного в ее сердце..." (Там же.- С. 33).

И. И. Пущин, 24 сентября, Ялуторовск: "...Марья Александровна со всем своим причтом явилась в сумерки 3-го сентября... Разумеется, тотчас подали самовар. Тут и слезы, толки бесконечные... Самой директрисы я не мог задержать у себя на житье, потому что это обидело бы Муравьевых, у которых она жила, когда ехала в Сибирь. На другой день все общество обедало в доме Бронникова (так именует Пущин дом, который он снимал; Бронников - фамилия домовладельца.- Л. Б.) и вечеровало. Таким образом, переменяя сцену, мы прожили вместе до 12-го сентября... В этот день после обедни отслужили панихиду по Муханове и, отобедавши, посадили дорогих гостей в экипажи. Мрачно мне было думать и теперь мрачно думается о доброй Марье Александровне. Я при ней и хохотал, и дурачился, но все это было не совсем искренно. Она едет бог знает зачем, к людям ей совершенно неизвестным. Надобно самые счастливые стечения обстоятельств, чтобы она ужилась с родными своего жениха, к которым она как с неба свалится. Много мы об этом говорили. Она сама понимает - и говорит, может быть, возвращусь в Сибирь. Вообще наша Марья Александровна ходячий пример преследования судьбы. Что она вытерпела - это страшно... Дай бог, чтоб она, с теплой душой своей, успокоилась..." (Письма Г. С. Батенькова...- С. 250-251).

В. И. Штейнгель, 30 сентября, Тобольск: "...Строки, посвященные Марье Александровне, легли на сердце... Да утешит ее господь и взыскательница погибающих..." (Декабристы.- С. 382).

И. Д. Якушкин, 28 октября, Иркутск: о "...Что касается до Дороховой, то, кажется, она не на радость отправилась в Москву, потому что родные Муханова, еще она и не приехала к ним, уже бомбардируют письмами Софью Григорьевну (Волконскую, жену министра двора.- Л. Б.), прося поскорее найти ей место где-нибудь внутри России..." (Там же.-С. 450).

Г. С. Батеньков, 6 ноября, Соломенный: "...О Марье Александровне еще не имею из Москвы слуха. Страшусь за нее... Пожалуй, можно из ее положения выводить много морали и романтизма, но это ей ни к чему не послужит. Правда, она свободна, и это великая выгода, нам весьма завидная..." (Декабристы.- С. 36).

Слово - М. А. Дороховой (она пишет в те же дни - Батенькову): "Я думала, что жизнь моя будет хотя немного полезна здесь старой матери моего незабвенного друга; но, увы! теперь вижу, что я горько ошиблась, что она никогда не любила своего родного сына, столь достойного любви, она только любит самое себя и другого сына, который составляет совершенную противоположность с моим усопшим ангелом; я не имею минуты спокойной; она все ворчит и бранится и наконец почти в глаза говорит мне, что ее стесняю, что мое присутствие ее нисколько не утешает". (Письма Г. С. Батенькова...- С. 255). И. И. Пущин, 11 декабря, Ялуторовск: "...Последние известия о

Марье Александровне заключаются в том, что она едет в Петербург искать места. Значит не осуществилась ее фантастическая мысль ухаживать за матерью покойного своего жениха. Я ей это предсказывал, но она ничего не хотела слушать... От души желаю ей найти приют..." (Там же.-С. 301).

Прежде чем судьба Марии Дороховой решилась, прошел не один месяц. Даже самые близкие друзья, Пущин и Батеньков, знали о ней в это время до обидного мало.

И вот уже 1855-й; письмо И. И. Пущина датировано 27-м мая: "...Вы мне при ваших изворотах говорите, что Дорохова у отца, а я вам скажу, что она уже начальницей института в Нижнем. Я уже к ней туда писал, радуясь, что она, оставивши свои поздние фантазии, опять деятельную жизнь начала. Скоро жду от нее известий с новоселья. Уверен, что на новом месте полюбят эту женщину, одаренную необыкновенной теплотой души". (Письма Г. С. Батенькова...-С. 261).

Наконец, снова ее, Дороховой, голос: "...Я опять окружена огромным семейством, опять мои детки но вые меня полюбили. (Там же.- С. 305).

Она обрела новые заботы, она снова людям полезна - и снова счастлива. Почти счастлива...

"ДОМ ДЕКАБРИСТОВ"

Он возникает передо мною живым и шумным - дом женщины, которая тянется к хорошим людям, не представляет себя вне больших забот и никогда, что бы ни делала, чем бы ни занималась, не выключается, и не может выключиться из широкого круга интересов общественных. В этом доме - память о великих, уже ушедших. О Пушкине и Лермонтове, которых могла знать и, вероятно, знала не только по рассказам Руфина; с Лермонтовым она состояла даже в дальнем родстве - через Вадковских. Память о Жуковском - искреннем ее друге-доброжелателе. И о скольких еще?..

Лучшего "почтового ящика" не сыскать, и потому А. Ф. фон дер Бриггея, выезжая из Кургана, уведомляет о том И. И. Пущина письмом "через Марью Александровну" (Декабристы.- С. 86); вдова А. В. Ен-тальцова, вернувшись из Ялуторовска, восстанавливает связи с друзьями мужа и друзьями своими через

-нее, Дорохову. (Там же.-С. 116-117). Всех она знает, обо всех помнит, каждому готова помочь. Дом ее открыт для людей. Для декабристов, их жен, их детей - в любой час, всегда.

"Любезный и многоуважаемый друг и товарищ, ты

^удивишься, что пишу тебе с берегов Волги, и поэтому объясню тебе мой приезд сюда..." Это пишет Сергей Григорьевич Волконский; пишет он Ивану Ивановичу Пущину, 20 августа 1857 года (за месяц до приез-

-да в Нижний Новгород Шевченко!), все из того же дома Дороховой. Он ехал с дочерью и внуком к близкой своей родне в деревню близ Костромы, но решил свернуть с пути, чтобы "сперва посетить Мишню Александровну", и пробыл у нее гораздо больше времени, чем рассчитывал.

"Писав из Нижнего - первое слово будет о твоей Аннушке, Анюте, Нине..." (О ней, дочери Пущина, для которой Дорохова стала матерью,- чуть не в каждом письме из Нижнего или о Нижнем, кто бы из декабристов ни писал; и снова, снова вспоминаются дневниковые записи поэта). "...Нашел ее в неожиданном по здоровью

положении после первого моего с ней знакомства в прошедшем ноябре. (Волконский заезжал к Дороховой и в пятьдесят шестом.- Л. В.). Это, тогда хилое, существо - совершенно изменилось: полна здоровьем, возмужала, если это можно сказать о женщине - и ты вполне должен благодарить бога о ее нормальном положении сил жизненных. Что же относится до образования ее умственного,- то и тут вполне тебе можно радоваться - ...занятия учебные дельные, постоянные, занимается успешно. Занимается с учителями: закон божий, русский язык, география, немецкий язык, рисование, музыку, а с Марьей Александровной французскому языку, истории и посторонними чтениями. Всегда в присутствии Марьи Александровны - и не в классах - а на дому и комнатах у ней. Испытывал и вижу большие успехи... Доверие твое к Марье Александровне вполне оправдывается..."

Сергей Волконский - "твой друг по гроб мой" - обещает к Пушкину заехать, чтобы рассказать о впечатлениях подробнее. Но уже в письме из Нижнего сообщает он и об Анненкове, и о Александре Крюкове; встретил того и другого здесь же: первый там поселился, второй - оказался проездом. (Декабристы.- С. 114-116). Значит, еще два имени, еще два декабриста сплетаются с ее, Дороховой, именем...

Тот же 1857-й, только начало; пишет Пушкину Августа Сигюшшич - воспитанница М. И. Муравьева-Апостола: "До Нижнего мы насилу дотащились. Сделалась гололедица. Ни одной снежинки. Только что приехали, сейчас отправились к Марье Александровне. Ниночку мы не узнали. Такая высокая, стройная и грациозная девушка. Мы так были рады ее обнять, говорили, не наговорились... По милости дурной дороги мы прожили в Нижнем полторы недели..." (Декабристы.- С. 207).

Пишет И. Д. Якушкин: "О пребывании моем в Нижнем я к вам писал. Аннушке прекрасно у доб-! рой ее мамы..." (Там же.- С. 468). ; Цитирую П. Н. Свистунова: "...Меня здесь (в Ниж-И" нем Новгороде.- Л. Б.) Марья Александровна, Ша-И ховская и Пещуровы (Шаховская - жена А. Н. Му-|f равьева; Пещуровы - родственники жены В. А. Трубецкого, "князя-человека", как назвал его Шевченко.- Л. В.) познакомили с целым городом, так что я не знаю, куда податься. Совсем замотался, дома не |; живу... Ехал сюда, думал с одной Марьей Александровной познакомиться и жить отшельником, не тут-то было... и у Марьи Александровны, бесценной союзницы, по несколько дней не бываю..."

"...Вы меня спросите, зачем я живу в Нижнем, когда поместье зовет меня в Калугу. Здесь я вас ожидал, I здесь союзница, никем не заменяемая..." (Там же.- С. 305-307).

Бесценная союзница... Никем не заменяемая... Это все о ней - о Дороховой.

Нину свою она не просто любила и лелеяла, учила наукам и прекрасному.

"...Аннушка приложила к письму (М. А. Дорохо-| вой - Л. Б.) свой собственный труд - переписала речь Александра Николаевича при открытии Комитета. Речь хороша, здесь ее и читали и перечитывали..." | На этот раз я привожу строки из адресованного Пушкину письма Е. П. Оболенского. Дата - 1858-й, март. (Декабристы.- С. 266).

А в феврале Шевченко дважды в дневнике записывал: "Будет ли напечатана эта речь? Попрошу М. А. Дорохову, не может ли она достать копию" - и сразу же, на другой день: "Просил достать копию речи Муравьева, обещала". Речь шла все о той же речи нижегородского губернатора, в прошлом декабриста, Муравьева при открытии "комитета, собранного для окончательного решения свободы крепостных крестьян". И

вполне вероятно, что он, Шевченко, получил "свою" копию (ту, что просил у Дороховой) тоже переписанной рукою Нины Пущиной.

...Дом, в который Тарас Григорьевич впервые вошел 31 октября или 1 ноября 1857 года и где он очень скоро стал всегда желанным гостем, я бы назвал Домом Декабристов.

Вдвойне примечательно, что именно здесь Шевченко увидел привезенный из-за границы "Колонол".

Декабристы и Герцен в одном доме... А вместе с ними и он, Шевченко.

РОЖДЕНИЕ ПОЭМЫ

В Нижнем Новгороде под пером Шевченко родился пролог, или запев, будущей большой поэмы. О сути своего нового замысла сказал сам автор. Сказал, открыто, страстно.

...а из гною

Встають стовпом передо мною

Його безбожний дила...

Безбожний царю! творче зла!

Правди гонителю жестокий!

Чого накоїв на землі

Ти, всевидящее око!

Чи ти дивилося звисока,

Як сотнями в кайданах гнали

В Сибір невольників святих,

Як мордовали, розпинали

И вишали...

Замысел был грандиозным:

...Царям і людям на показ

На св!т вас виведу надал!

Рядами довгими в кайданах...

"Вас" это "споборників святой воли".

Замысел остался неосуществленным.

Но когда мы думаем, когда говорим об отношении Шевченко к декабристам, на память приходят строки "Юродивого".

...Поэму "Неофити" он написал; это, как известно, произведение законченное.

Уже много лет не спорят: о чем она? о ком? Исследователи установили и доказали: в образах мучеников-христиан поэт воплотил черты декабристов; не римская, а российская история стояла перед его взором, когда он писал об Алкиде и Матери, о Нероне и Невольниках, о Капитолии и Скифии. "Идеш шукать його в Сибір, чи тев... в Скифію..." Да если бы кто и усомнился, одной такой оговорки хватило, чтобы отогнать сомнения напрочь.

...Хвала!

Хвала вам, души молодіе! Хвала вам, лица прі святіе! Вики-вики похвала!

...Две поэмы о декабристах. Обе написаны почти одновременно, в Нижнем.

О причинах, вызвавших крутой, небывало бурный и высокий взлет декабристской темы в творчестве Шевченко, причем взлет именно в эти, нижегородские, месяцы его жизни, написано довольно много. "Дневник поэта свидетельствует, что в последние месяцы 1857 г., то есть во время создания "Неофита", Шевченко живет в ...из уважения к памяти декабристов..."

Ю. Ивакин, замечательный комментатор шевченковской поэзии, подкрепляет им сделанный, а мною процитированный, вывод примерами безотказной убедительности: в Нижнем Новгороде поэт с жадностью читает бесцензурные герценовские издания, в которых печатались многочисленные материалы о декабристах; его глубоко волнуют увиденные на обложке "Полярной звезды" портреты казненных героев восстания на Сенатской площади - "первых наших апостолов-мучеников"; он "благоговейно" знакомится с Иваном Александровичем Анненковым, который незадолго перед тем возвратился из Сибири, и говорит с ним "о многом и многих" он прислушивается к рассказам о Николае Тургеневе, о "беспримерной святой героине" Полине Гебль - Прасковье Анненковой, о судьбе семьи Ивашевых...

Сомнений эти примеры не вызывают.

Но далее... Далее на первый план выходят Анненковы.

Не без оговорки, но в общем-то принимает Ю. Ивакин мысль, высказанную до него Е. Ненадкевичем в книге "Творчество Т. Г. Шевченко (1857-1858)" (К., 1956.- С. 10), о важнейшей роли состоявшегося знакомства поэта с декабристом и услышанного вслед за тем рассказа о его жене и их героико-романтической истории как "психологической основе" поэмы, рожденной месяц спустя. "В целом возможным" считает он предположение, что судьба француженки Полины Гебль могла повлиять на создание образа матери Алкида...

Между тем в "Неофитах" нет ничего, что перекликались бы не с общей участью декабристов, а с конкретном судьбой Анненковых.

Уж не эта ли строка в смущенье вводит: "...Когда в Италии росла подросток-девочка?" Но "России не было тогда", и все в поэме происходит в "Нероновом Риме". Явление молоденькой француженки Полины Гебль в Сибирь - акт бесспорно героический - с приходом матери ассоциируется меньше всего. Шевченко не называет ее матерью даже в связи с тем, что в семье декабристов было в 1857 году шестеро детей, и некоторые из них жили там же, в Нижнем.

Матерью на страницах дневника поэт именует Дорохову.

Помните запись от 31 октября?

"Возвышенная, симпатическая женщина!..."

"Так много... простого, независимого человеческого чувства..."

"Так много... наружной силы и достоинства..."

"Я невольно сравнил с изображением свободы..."

И наконец:

"О если бы побольше подобных женщин-матерей..."

Матерью была она для своей, родной Нины, которую потеряла почти одновременно с Мухановым; она стала ею для Аннушки Пущиной, на которую перенесла всю любовь и к умершей Нине, и к Муханову, Пущину, их (и своим) друзьям; она - мать десяткам воспитанниц в Иркутске и Нижнем Новгороде.

По-матерински готовая придти на помощь, по-матерински способная на добро и ласку - такова Дорохова.

Нет, я не стану утверждать, что мать Алкида это она, и только она, хотя в героине поэмы мне видятся и черты характера Дороховой.

Например, в таком месте "Неофитов":

І ти осталася одна
На берез!. І ти дивилась,
Як розстилалися, стелились
Круги широкі над ними
Над сином праведниц твоїм
Дивилась, поки не осталось
Живого слиду на вод!.
І усмихнулася тойд!,
І тяжко, страшно заридала,
І помолилася в перший раз
За нас розп'ятому.
І спас Тебе розп'ятий син Марі.
І ти слова його живий
В живу душу прийняла.
І на торжища і в чертоги
Живого істинного бога
Ти слово правди понесла.

Образ Матери в поэме, конечно, шире, глубже, ярче любого возможного прототипа. Но я убежден, что замысел возник тут, в этом доме, в общении с Марией Александровной, с Ниной Пущиной, с гостями (многие из которых с декабристами были связаны узами кровными и узами товарищескими), наконец, в обстановке постоянного ожидания писем, вестей от тех, кого после ссылки жизнь раскидала по всей европейской России. Они шли сюда день за днем - иногда приятные, часто горькие, и в доме отзывались на каждое, торжествуя или переживая, радуясь или горя.

А он, Шевченко, откликался самым ему близким - поэтическими строками: "Хвала вам, лицар! святые!.."

И вынашивал новые планы: "А я долину на Сибір..."

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СЧАСТЬЕ

А портрет? Почему автор умалчивает о портрете?

О нем я скажу на этих, последних, страницах своего повествования о друге поэта - Дороховой.

Но прежде напомним строки из ее письма, отправленного 23 июня 1860 года из Петербурга и отысканного мною в фонде Фонвизиных.

"...На другой день он (Шевченко.- Л. Б.) явился и говорит, что нет никакой надежды продать портрет; можешь вообразить мое отчаяние..."

"...Помолимся, моя родная, чтобы мой господь помог продать портрет, а то просто мочи нет как тяжело..."

Дополнительных на сей счет сведений - имею в виду документальные - найти мне не удалось. А вот сопоставление нового с известным к определенным выводам привело. Точнее, к выводам-гипотезам. Для того, чтобы утвердить их окончательно, поиск нужно продолжить.

Итак - главное:

а) Шевченко после отъезда своего из Нижнего поддерживал дружеские связи с Дороховой и ее близкими;

б) они общались и тогда, когда он жил в Петербурге: обменивались живыми приветами, вели переписку;

в) поэт заблаговременно знал о предстоящей свадьбе воспитанницы Марии Александровны, дочери умершего к тому времени декабриста Пущина;

г) Тарас Григорьевич непосредственно участвовал в подготовке этого торжественного для Аннушки-Нины и для ее приемной матери акта;

д) портрет, о котором в том письме идет речь, был его материальным вкладом в проведение предстоящего торжества, и на этот вклад Дорохова рассчитывала.

В Нижнем Новгороде, еще в первые дни их знакомства, Шевченко рисовал Марию Александровну и Нину, и портреты их закончил (запись от 4 ноября 1857 года - лучшее тому подтверждение). Ныне эти произведения неизвестны; работы никогда не репродуцировались. Но писала Дорохова не об этих портретах, или одном из двух. Продажа их могла дать слишком небольшую сумму, чтобы, огорченная неудачей, она испытала "отчаяние". Только изображение значительного, знаменитого лица, к тому же выполненное фундаментально (например, в масле), давало основание рассчитывать на покупателя "солидного", что в данном случае и требовалось. (Уж если "последней надеждой" являлся Строганов - об этом идет речь в письме Дороховой от 4 июля 1860 г., тоже ранее цитированном, - то в этом сомневаться не приходится) .

Что же за портрет?..

Коль скоро нижегородские - Дороховой и Нины - исключаются (а доводы свои я полагаю убедительными), то разговор может идти об одном из произведений портретного жанра, созданном Шевченко уже в Петербурге.

Портреты "заказные" во внимание быть приняты не могут - их оплачивали и получали те, кого художник писал; распоряжаться ими волен он не был.

О портретах лиц известных, почитаемых, даже высокопоставленных, которые заинтересовали бы "крупных" покупателей, говорить не приходится, поскольку за этот период они учтены с завидной полнотой. (Я много думал над шевченковским, по утверждению искусствоведов, портретом В. А. Жуковского - художническим повторением того, брюлловского, который был предназначен для выкупа Тараса Григорьевича из крепостной неволи; тем более, что Жуковский имел прямое отношение и к Дороховой. Но... портрет этот является работой 1839-1844 годов, да к тому же Шевченко и не принадлежал).

А не был ли это автопортрет?

...На академической художественной выставке 1860 года экспонировалось несколько его работ. Василий Федорович Тимм, художник и издатель, писал:

"Известный малороссийский поэт Т. Г. Шевченко выставил пять очень удачных гравюр а l'eau forte и, свой собственный портрет, написанный масляными красками. Мы слышали, что художник предназначил этот портрет для розыгрыша в лотерею, сбор с которой он определил на издание дешевой малороссийской азбуки. От всей

души желаем, чтобы этот слух оказался справедливым и чтобы предприятие Т. Г. Шевченка сопровождалось полным успехом". (Русский художественный листок, издаваемый Тиммом.- СПб, 1860.- № 36.- Художественная летопись.- С. 152).

Выставленный автопортрет был тут же, по совету Ф. П. Толстого, куплен великой княгиней Еленой Павловной. Сохранилось уведомление: "Господин Шевченко приглашается пожаловать в канцелярию государыни великой княгини Елены Павловны в Михайловском дворце в пятницу 24 сего ноября от 11 до 2-х часов для получения денег, следующих за купленный ее императорским высочеством портрет.

23 ноября 1860 года".

Портрет был оценен в двести рублей. Невысокая плата за популярность, которую именитая покупательница надеялась таким путем снискать...

Но для целей, о которых писал Тимм, предназначался портрет не этот, купленный великой княгиней.

Для лотереи впоследствии Шевченко сделал авторскую копию; она стала одной из последних его работ. "Счастливый билет" достался архитектору А. И. Резанову, который подарил свой выигрыш Василию Матвеевичу Лазаревскому - представителю семьи давних и искренних друзей поэта. Вырученные деньги - тоже двести - на этот раз пошли на издание, распространение "Букваря".

На этот... А тогда? Я предполагаю, что портрет, о котором писала Дорохова, был автопортретом Тараса Шевченко, выполненным в 1860 году и, после получения известия о скором замужестве Нины Пущиной, предназначенным для устройства ее счастья.

Но... продать портрет оказалось делом трудным, и тянулось оно не один месяц. Деньги, во всяком случае, художник получил уже через месяц (или более) после того, как свадьба состоялась. (В письме от 23 июня называется дата предстоящего торжества: 9 октября 1860 года; в "Алфавите декабристов" значится, что состоялось оно 23 октября. Расхождение невелико...) Надо думать, что подарок Шевченко оказался нелишним и в этом случае...

Замышляя лотерею, он не мог объявить ее истинного назначения: не только потому, что требовалось указать имя дочери декабриста Пущина - просто назвать "стесненную в средствах" невесту, доставив неприятное и ей, и жениху, и другим, к рождающейся семье причастным. Своим подарком Шевченко как бы благословлял - по-отцовски благословлял - декабристскую сироту Нину на жизнь жены и матери, на светлую и добрую дорогу. Но это пока лишь предположение. Я на том стою, а все ж хотел бы найти и подтверждения новые, окончательные.

...Анна Ивановна Пущина в октябре 1860 года вышла замуж за Анатолия Александровича Палибина.

Они жили в Нижнем Новгороде. "Мне осталось еще прослужить два года... до моего полупансиона...- писала Мария Александровна Е. П. Оболенскому.- И конечно эти деньги пойдут моим Анатолию и Нине и я впридачу: нянчить их малюток и умереть у них на руках. Я не дождусь этого счастья, не доживу до отставки".

Дорохову радует то, что молодые "живут друг для друга, как голубь с голубкой", что "Нина наша - редкая жена". (Пушкинский Дом.- Ф. 606.- Д. 8; письмо от 17 февраля 1862 г.). Их дом по-прежнему открыт для хороших людей. П. В. Шумахер подарил Аннушке свою фотографию, сопроводив ее стихотворным обращением:

Желал бы очень посмотреть я
Как вы, прабабушка, семидесяти лет,
На рубеже двадцатого столетия
С немою грустию возьмете мой портрет...
И если на него с улыбкой детской глядя
Ваш баловень, любимый внук,
Вас спросит: бабушка, кто этот толстый дядя?
Скажите - это был мой друг.

(Щукинский сборник.- Вып. десятый.- М., 1912.-С. 186).

Как и раньше, к Дороховой стекались все известия о декабристах. Стекались потому, что она спрашивала о них, интересовалась их судьбою. "Ради бога, напиши про наших..." - обращалась она к тому же Оболенскому.

И снова - о Нине. 14 июня 1862 г. Дорохова писала Фонвизиной: "Я живу ожиданием... жду разрешения моей Нины..." В письме - смутная тревога.

Тревога обернулась бедою.

В начале 1863-го, на двадцать первом году жизни, Аннушки-Нины не стало. Горе же Дороховой представит любой.

"Смерть Нины меня согнула не только до земли, но я боюсь, чтобы не пригнула меня даже в преисподнюю. Я что-то не умею молиться, так тяжело, что мочи нет. Я так ее любила. Она была так молода, так счастлива... Жизнь была мне в тягость после кончины Петра Александровича. Зачем же было меня мирить с жизнью, пославши мне этого ангела? Чтобы через 7 лет отнять ее от меня? Но это невыносимо!.." (ПД.- Ф. 606.- Д. 8; письмо без даты / Лл. 7-7об.).

Мария Александровна оплакивает свою воспитанницу, а мысли ее уже о Наташе. "Милый ребенок..." Это о ней, дочери Нины. "И бедная Наташа меня не утешает..." А все же есть о ком и о чем заботиться. Значит, надо жить!

...Прожила она недолго - умерла в 1867-м.

Мне хочется знать о них больше.

О Дороховой. Ее приемной дочери. Их доме, в котором запросто бывал Шевченко. О судьбе портретов "нижегородских декабристок". Проверены десятки фондов. Обследованы экспозиции и запасники - тоже многие. "Нет..." "Не найдено..." "Пока не обнаружено..."

Пока не обнаружено...

Портреты были. Портреты есть. Их надо только найти!

Думается, что были - и тоже не отысканы - шевченковские письма к Дороховой и Пушиной.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ТЕТРАДЬ – III

Я так много перенес испытаний и неудач в своей жизни, казалось бы, пора уже освоиться с этими мерзостями. Не могу.

Т. Шевченко

Мысли о судьбе народа, о его будущем не давали поэту покоя...

Из биографии

ЗВУЧАЛА МУЗЫКА...

Судьба не обнадеживала.

Выезд из Нижнего оставался неопределенным - поэта по-прежнему держали "на привязи".

Произведений его не печатали - ни поэм и стихов, ни повестей, написанных по-русски.

Он рвался в академические мастерские, а рисовать приходилось то, что угодно было заказчикам.

Ко всему еще - Пиунова. Чувства Шевченко ее не волновали...

Это, а вовсе не "беспутно проведенная ночь", и стало причиной того "раздражения нерв", которое - по его, Тараса Григорьевича, словам - вызвало в нем "стремление к стихословию" и повлекло рождение несравненного шедевра лирики, записанного в дневнике 9 февраля 1858 года. Именно в тот день поэт "без малейшего усилия" - я вновь цитирую его самого - создал свой удивительный триптих: "Доля", "Муза", "Слава". Триптихом считал эти стихотворения он, Шевченко. Сообщая С. Т. Аксакову об отправке в адрес М. С. Щепкина своих новых произведений, он писал: "На днях послал я ему три или, лучше сказать, одно в трех лицах, тоже новорожденное чадо". Одно в трех лицах!

Оно и впрямь триедино - нижегородское детище гения. Его идейно-эмоциональную неразрывность, его смыслово-композиционную целостность отмечали многие исследователи. И Е. А. Ненадкевич, и Е. П. Кирилук, и Ю. А. Ивакин - шевченковеды, уделившие триптиху внимание особое.

Каждого из названных авторов рассматриваемый цикл привлек со своей, отличной от другого, позиции. Если у Кирилюка мы находим полное и точное определение места, значения, роли цикла во всей творческой биографии поэта-революционера, то Ненадкевич делает основной упор уже на его содержании, стиле и тоне, на толковании поэтических образов, а Ивакин, расширяя и углубляя разбор смысла, жанра, характера триады, высказывает мысли, непосредственно касающиеся психологии творчества Шевченко. В "Доле", "Музе", "Славе", в том, каким "порывом вдохновения" были вызваны они к жизни, видит он, в частности, лишнее подтверждение "чрезвычайной, можно сказать взрывной, интенсивности творческого процесса у Шевченко".

Но каждому взрыву - а поэтическому тем более - предшествует многое. И да позволено будет высказать мысль по поводу одной из не главных, частных, а все же, думается, причин "раздражения нерв", повлекшего столь бурный взрыв вдохновения. Мысль о связи триптиха с музыкой, поэтического произведения Шевченко с сонатами Гайдна...

5 февраля поэт записал: "Вечером был у Татарино-ва. Белов и Татаринов играли в четыре руки увертюру из "Вильгельма Телля" и из "Фрейшица", а потом некоторые вещи духовного содержания Гайдна. Божественный Гайдн! Божественная музыка!" После музыки в гостинной возникла беседа о театре, о таланте Пиуновой, но поэту, слушавшему поначалу все это "с удовольствием", вдруг стало грустно, да так, что он "хотел уйти". Превозмог себя: "глупо, нелепо ревновать актрису к зрителям". Оставшись, Шевченко слушал в чтении Татаринова "Старого холостяка" Беранже, и "песня" снова заставила его уйти в себя, задуматься над своею собственной долей и грозившим ему одиночеством. Разбередили душу "некоторые вещи духовного содержания Гайдена".

Долго раздумывал я над тем, что же он слушал в тот вечер. Вот и сейчас, когда я это пишу, в какой уж раз звучат особенно полубившиеся мне сонаты. Не ими ли восторгался великий сын Украины? Загадка!..

Гайдн, пишут теоретики и историки музыки, явился основоположником классического стиля инструментальной музыки. Сын каретника, словянина-хор-вата, стал одним из преобразователей различных жанров и форм. Жизнеутверждающий характер его сонат, их народная мелодическая основа сочетаются с необычайной стройностью и уравновешенностью формы.

Нужно заметить, что сонатная циклическая форма, состоящая обычно из трех-четырех, различных по своему характеру и темпу, частей, из которых хотя бы одна написана в форме "сонатного аллегро", выступает высшим, наиболее развитым типом многочастной композиции. Различные части цикла, контрастируя между собою, раскрывают единый идейно-художественный замысел. В трехчастной сонате, особенно часто встречающейся у Гайдна, первая, как правило, быстрая, драматического характера, вторая - медленная, лирически-напевная, с острохарактерными ритмами, третья - финальная, отличающаяся оживленным или торжественным характером, порою переходящая в то же аллегро, которым и начиналась.

Опираясь на эти особенности, я вплотную подошел к мысли о том, что "триптих Тараса Шевченко в чем-то близок, родственен сонатам Йозефа Гайдна. Близок проникновением в душевный мир человека и неподдельной народностью каждой части. Родственен сонатной строгостью формы, сонатным развитием поэтических тем и образов.

Я читаю "Долю", "Музу", "Славу" Шевченко - и слышу музыку сонаты-триптиха "божественного Гайдна".

И чем больше думаю над непосредственными импульсами, которые вызвали прекрасный всплеск вдохновения Шевченко, тем теснее, органичнее связываются в моем представлении "музыкальный вечер" 5 февраля и плодотворнейшее "поэтическое утро" 9 февраля, принесшее с собою рождение триптиха.

Многие произведения поэта написаны под впечатлением музыки.

Вспомним:

Буває, шод{ старий
Не знає сам, того зрад]е,
Неначе стане мелодий,
І заспиває... як ум!е,
І стане ясно перед ним
Над ангелом святим...

Вспомним:

Ми заствали, роз!йшлись, Без сльоз і без розмови...

Вспомним:

Огш горять, музика грає, Музика плаче, завивав...

Это еще более утверждает меня в мысли о том, что лирический триптих, написанный в феврале 1858 года в Нижнем Новгороде, был в известной мере навеян слушанием чудесной музыки. Подчеркиваю: в известной мере. Свести рождение шедевра к одному только этому я не собираюсь.

Записав "новорожденное чадо" в дневник, Шевченко послал его, в феврале же, М. С. Щепкину и М. М. Лазаревскому, перенес в "Бшыпу книжку", и каждый из

автографов знаменовал собою непрерывную работу над стихотворным циклом. Многочисленные варианты - тому подтверждение.

...Триптих поэта как музыка - нежная и возвышенная, чарующая и гордая. Музыка, которой он восхищался... Музыка, которая вдохновляла на поэзию...

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПОЭТА

Читая - перед тем, как взяться за этот очерк - книгу стихотворений и сатир Петра Васильевича Шумахера, я выделил два произведения, датированных 1859 годом: "Сказку про белого царя" и "Последний из могикан". Какой надо было обладать смелостью, чтобы пустить в то время по рукам такие строки о Николае I:

"Вот. в некотором царстве", Как сказывали встарь, Сидел на государстве Могучий белый царь. Носил с орлами каску, Боялся букваря... Сказать вам, детки, сказку Про белого царя? Народ его был черный: Он мыться запрещал, И казною позорной Ослушников карал. И задал же острастку Он после "Декабря"... Сказать вам, детки, сказку Про белого царя?..

О печатании не могло быть и речи, но их читали, повторяли, переписывали; я видел списки, сделанные разными почерками, в разных городах. Другое произведение в печати появилось: в 1860-м, в "Московских ведомостях". То, что названо было - "Последний из могикан".

Черт возьми, совсем не спится,
От клопов покоя нет;
Чуть заснешь,- исправник снится,
Депутаты, комитет!
Что и делать, сам не знаю,
Видно, надобно вставать...
Ванька - мыться! Гришка - чаю!
Юрка - повара позвать!
Протрубили англичане,
Что у них-де все равны
И что баре, что крестьяне
Для свободы рождены.
И у нас пошли драть глотки,
И печатать и писать...
Васька - редьки! Мишка - водки!
Санька - кушать подавать!
Где уж русскому народу
Брать примеры с англичан?
Дай-ка Фильке я свободу,-
Через час напьется пьян.

Гей! сказать попу Маркелу, В дурачки чтоб шел играть... Федька - карты!
Фомка - меду! Митька - ужин собирать! Вот и дожили, канальство: Барин, в отчине своей, Без заведома начальства Хама выпороть не смей! И задашь, бывало, лупку,- Просто божья благодать... Тишка - свечку, Яшка - трубку! Кузька - ставни запирать!
Говорят, пора приспела! Нет спасенья,-говорят; Ах, когда б все это дело Повернуть на

старый лад! Все не легче час от часу,- Завалиться с горя спать... Тришка - Пчелку! Оська - квасу! Филька - Сашку мне послать!

Это стихотворение я привел здесь полностью. Думается, что когда-то, давая разрешение на его публикацию, цензор был введен в заблуждение названием, которое представляло описанное так, будто речь идет об одном, исключительном крепостнике - действительно последнем могикине крепостного строя. А читалось оно как обличение всей крепостнической

России...

...Но почему затеян мною разговор о произведениях Шумахера? Зачем цитирую и даже пытаюсь рассмотреть их творческую историю?

Стихотворения-сатиры датированы 1859-м. Место их "рождения" под датой не значится. Однако сомнения оно не вызывает: им был Нижний Новгород. А годом ранее, в 1858-м,- и в том же Нижнем - Шумахер раскрыл перед Шевченко "Колокол".

В записи, сделанной по этому поводу 6 февраля 1858 года, при первом чтении все кажется понятным.

"...После... театральной репетиции, зашел к Марье Александровне. Встретил у нее старого моего знакомого, некоего г. Шумахера. Он недавно возвратился из-за границы и привез с собою 4 № "Колокола". Я в первый раз сегодня увидел газету и с благоговением облобызал".

"Старого... знакомого... Шумахера..." Почему "старого", где познакомились?

"Недавно возвратился из-за границы..." Когда вернулся? Куда ездил?

"Привез... 4 №..." Четвертый номер? Четыре номера? Какие именно?

Родился Шумахер... И сразу недоумение: по одному источнику - в 1820-м, по другому - в 1814-м, по третьему - в 1817-м. Примем за истину утверждение последнего, по времени новейшего (вступительная статья к тому в популярной серии "Библиотеки поэта" 1937 года).

Учился будущий поэт сначала в Орше, в иезуитском конvikте, потом в Петербурге, в коммерческом училище. В 1835-м он впервые поехал в Сибирь. Родственник и друг семьи Шумахеров, некий Якобсон, выезжая туда по делам служебным, взял его с собою в качестве "чиновника для письма". Служба на дальней окраине России открывала возможности продвижения - и Петр остался в канцелярии Сибирского генерал-губернатора.

В Петербург Шумахер вернулся уже в сороковые годы. Служба его здесь протекала в министерстве финансов. А досуги он предпочитал проводить в литературно-музыкальных, литературно-артистических салонах - склонность к поэзии проявилась сызмала.

Из Петербурга Шумахер выезжал только в Поволжье - иных командировок у него не было. Да и служил в министерстве не долго: молодого чиновника успели узнать в Сибири как человека дельного, распорядительного, умного и - пригласили управлять золотыми приисками...

Дороги Шевченко и Шумахера могли скреститься только тогда, в сороковые годы, в бытность последнего на службе в министерстве. Знакомство, надо полагать, состоялось в одном из литературных салонов и было не близким, возможно даже мимолетным. ("Встретил у нее старого моего знакомого, некоего г. Шумахера..." Тон записи это предположение подтверждает) .

В начале пятидесятых годов Шумахер оставил свою доходную службу, чтобы вернуться в Европейскую Россию. Обратный путь проходил через Канск, и там он

женился на вдове купца Александре Петровне Прен. В Петербург приехали вместе. Через непродолжительное время отправились за границу - главным образом, в Париж. В Россию супруги вернулись в 1854-м или 1855-м - не позднее. В пятьдесят пятом же поселились в Нижнем Новгороде, на Нижнем базаре, в доме деда жены Шумахера - очень богатого купца Шушляева. Значит ли, что "4 №" "Колокола" Шумахер привез из этой поездки? Или одно с другим не связано? Не связано и - связано!

В любопытной статье журнала "Артист" относительно нижегородских занятий Шумахера сказано, что ни в карты, ни в билиард он не играл. Запомнились зато многим его живые, остроумные рассказы, его роли в любительских спектаклях "Она помешана", "Бука" и других. "Очень оживленно и тонко" исполнил он "сценку-монолог, приспособленную по поводу тогдашних современных, животрепещущих вопросов". Многие его стихотворения ходили по Нижнему в списках. А разве не могли быть среди них та же "Сказка про белого царя" и тот же "Последний из могикиан"? Даты, поставленные под автографом более ранних вариантов не исключают...

Тут можно и спорить. Бесспорным остается то, что ко времени нижегородской встречи с Шевченко жрецом "чистой поэзии" (каким являлся в 40-е годы) Шумахер быть перестал, его захватил, увлек подъем освободительного движения.

Первый номер "Колокола" вышел в Лондоне 1 июля 1857 года.

"...Полярная Звезда выходит слишком редко, мы не имеем средств издавать ее чаще. Между тем события в России несутся быстро, их надобно ловить на лету, обсуживать тотчас. Для этого мы предпринимаем новое повременное издание. Не определяя сроков выхода, мы постараемся ежемесячно издавать один лист, иногда два, под заглавием КОЛОКОЛ.

...Колокол, посвященный исключительно русским интересам, будет звонить чем бы ни был затронут - нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное, все идет под Колокол.

А потому обращаемся ко всем соотечественникам, делящим нашу любовь к России, и просим их не только слушать наш Колокол, но и самим звонить в него!" Это выписки из "предисловия", которым открывался первый лист нового издания Герцена и Огарева.

Последующие листы выходили: второй - 1 августа; третий - 1 сентября; четвертый - 1 октября; пятый - 1 ноября; шестой - 1 декабря; седьмой - 1 января (уже 1858-го); восьмой - 1 февраля; девятый - 15 февраля...

Источник этих данных - авторитетнейший: Библиографическое описание изданий Вольной Русской типографии в Лондоне. 1853-1865 (Составил П. Н. Берков) - М.; Л., 1935.- С. 71-73.

Итак, девятый лист вышел уже после того, как Шевченко "в первый раз... увидел газету и с благоговением облобызал". Не мог к 6-му февраля оказаться в Нижнем Новгороде и лист восьмой: подобные темпы в то время находились за пределами возможностей даже экстра-почты, которой ни Герцен в Лондоне, ни распространители его изданий в России пользоваться, разумеется, не могли. Значит, "4 №" "Колокола" следует искать среди семи, не более. Нередко, ссылаясь на журнальные публикации, Шевченко указывал порядковые номера изданий, а кроме того еще и количество. Например, 26 октября: "...взял... для прочтения два номера, 2 и 3, "Русской беседы". Что же в данном случае: "четвертый номер" или "четыре номера"?

Комментаторы склоняются к тому, что именно четыре номера. Согласен с этим и я. Согласен еще и потому, что имею реальные предположения относительно того, как листы "Колокола" попали к Шумахеру.

Версия о "недавнем возвращении" поэта из-за границы биографическими о нем сведениями, как мы уже убедились, опровергается. Зато, действительно, "недавно" возвратился из зарубежной поездки, во время которой являлся гостем Герцена и Огарева, сын М. С. Щепкина - Николай Михайлович, владелец московской книжной лавки и активный пропагандист нелегальных изданий. По возвращении в Россию, буквально сразу, Н. М. Щепкин отправился на Нижегородскую ярмарку.

В одной из секретных бумаг московского военного генерал-губернатора графа А. А. Закревского читаем:

"...Распространение сочинений Герцена. В прошедшем году (1857-м.- Л. Б.), во время ярмарки в Нижнем Новгороде, и в продолжение зимы один из сыновей Щепкина уезжал несколько раз из Москвы, и, как говорят, развозил несколько тысяч экземпляров запрещенных сочинений на русском языке..." (Пушкинский Дом.- Р. 1.- Оп. 10.- Д. 9.- Л. 5). "Один из сыновей" - это именно Николай Михайлович, "отставной поручик и временный купец, книгопродавец", который, по тому же донесению, "действует одинаково с отцом" (а отец - "желает переворотов и на все готовый").

Знакомство Щепкина с Шумахером подтверждается многими источниками. Вот свидетельство начала шестидесятых годов: "Николин день, как водится, мы отпраздновали у Николая Михайловича. Были Бабст, Кетчер, Попов, Афанасьев, Шумахер..." (Цитирую по книге Н. Я. Эйдельмана Тайные корреспонденты "Полярной звезды".- М., 1966.- С. 289).

С уверенностью можно сказать, что и поздним летом, и зимою 1857-го Щепкин не раз бывал в доме на Нижнем базаре, и листы "Колокола" шли от него или через него.

...Когда издания распространяются в тысячах экземпляров, это подразумевает определенную комплектность. Один из таких комплектов (пусть не полных, но комплектов) оказался благодаря Шумахеру в руках Шевченко. Вернее всего, что увидел он тогда первые четыре номера: ведь чтение обычно начинают с начала, а последующие можно было, через того же Шумахера, получить и неделей позже.

Но могли оказаться в его руках и листы с четвертого по седьмой. Главное не в этом - в том, что Шевченко слышал голос "Колокола".

Жизнь Петра Шумахера известна не многим. Уже менее чем через двадцать лет статья о нем в одном из русских журналов была озаглавлена: "Забытый поэт-сатирик". (Исторический вестник.- 1910.- № 2.- С. 504-528; эта статья А. М. Белова содержит и ряд интересных фактов, касающихся нижегородского периода).

Он умер в 1891-м в "странопришом доме" графа С. Д. Шереметьева у Сухаревой башни в Москве. Развод с женой, еще в 60-е годы, лишил его средств, служба актерская их не прибавила, занятия литературные заработка не приносили. Цензура делала все, чтобы Шумахер умолк, и навсегда.

От первого сборника - "Для всякого употребления" (1871) - сохранился лишь единственный экземпляр: переплетенная типографская верстка, присланная автору для корректуры. Все, что было напечатано, пошло под нож. Шумахеру предъявили обвинение по статьям 1001-й и 1045-й, первая из которых карала за "цинизм", а вторая - за "политические выпады против существующего строя".

"Тятка, эвон что народу Собралось у кабака: Ждут каку-то все слободу: Тятка, као она така?" - "Цыц! нишкни! пушай гуторют, Наше дело - сторона; Как возьмут тебя да вспорют, Так узнаешь, кто она!"

Такие стихи - что и говорить - издателям, цензорам царской России по душе быть не могли...

Поэт мечтал прийти к читателю со своими книгами. Но дороги к людям перед ним закрыли наглухо. Только при содействии И. С. Тургенева в 1873-м и в 1880-м вышли сборники шумахеровских стихотворений и сатир в Берлине. Они, однако, не приносят ни денег, ни морального удовлетворения: в Россию попадают считанные экземпляры. И вот наконец единственная тоненькая тетрабочка стихов последних лет благополучно покидает московскую типографию. "Оскопленная книжонка", "все, что цензура дозволила, и то в искаленном виде", как с горечью напишет другу автор.

Исковеркала, истерзала цензура и книгу, выпущенную через одиннадцать лет после смерти Шумахера. Слуги царицы не оставляли его своими "заботами"...

Конечно же, поэзия Шумахера перекликается с шевченковской, но моя задача не так широка. Я пишу только об одной их встрече - нижегородской, - когда Шевченко впервые взял в руки "Колокол".

О РЕЧИ, И НЕ ТОЛЬКО О РЕЧИ

Отзыв - в дневнике, за 19 февраля 1858 года. "В 12 часов в зале дворянского собрания происходило торжественное открытие комитета, собранного для окончательного решения свободы крепостных крестьян. Великое это начало благословлено епископом и открыто речью военного губернатора А. Н. Муравьева, речью не пошлою, официальною, а одушевленную, христианскою, свободою речью..."

За каждым из выделенных мною слов - одобрение чувств и мыслей, в той речи прозвучавших. - ..." Попрошу М. А. Дорохову, не может ли она достать копию".

..."Просил достать копию речи Муравьева, обещала".

Желание Шевченко, надо полагать, осуществилось. Отыскал список этой речи и я.

Пусть состоится на этих страницах публикация документа, который вполне мог быть вписан в дневник - под тем же девятнадцатым или днем, тремя, пятью позднее.

Говорит Александр Николаевич Муравьев, нижегородский губернатор:

- Милостивые государи!

По соглашению с господином губернским предводителем дворянства, комитет для составления проекта положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян, комитет, которому государь император оказывает столь высокое доверие, вместо предположенного 20 числа, открывается ныне, 19 февраля, в день восшествия на престол монарха...

Можно ли избрать более приличный день для начала такого собрания, которое сосредотачивает в себе надежды царицы, надежды отечества, надежды 25 000 000 обоюбого пола братии наших, ожидающих возвращения утраченных ими прав гражданской жизни и достоинства человека.

Милостивые государи! Испытайте высокое призвание ваше: не посланные ли вы того, в руках которого сердце царицы, чтобы осуществить слова, им изреченные:

"Отпустите сокрушенные в отраду: пропо-ведати лето господне приятно". И если так, то помыслите, на какую высокую ступень вы, между людьми, поставлены! Не сходите же со ступени сей, не давайте житейским расчетам, необходимым для дела вашего, перевеса над благом преданных великодушию вашему; выше сих расчетов стоят расчеты нравственного быта нашего,- и вот ваше призвание! Я сказал - нравственного быта нашего; да, милостивые государи, вопрос этот бесспорно поставит нас на высшую ступень того сословия, коему суждено разрешить его самоотвержением и сознанием прав человечества!

...Вам же предоставлено оградить от произвола и положить основание не случайности, а незыблемости. Но как достигнуть сего, если взирать на человека, как на одну производительную силу, подобную силе других животных? Как достигнуть сего, если не воззванием к жизни тлеющего под теплом чувства человека, если не развитием вольного труда? Тогда только на разумные, а не произвольные, требования отзовутся соответственные им производительные силы, не мертвые, как ныне, но живые, прямо человеческие!

Итак, одушевите необходимые вещественные расчеты уважением к потребностям истинно человеческим, воздайте человеку то, что подобает человеку, и вы оправдаете доверие царя, ожидание России и, смею сказать, дивное явите вселенной, устремившей на вас взоры свои. Тогда труды ваши обратят на главы ваши благословение господне, благословение рода человеческого, и вы как зародыш правды и любви в отечестве нашем, как первенцы в деле его возрождения, внесете имена ваши в книгу жизни России.

Такова была та речь - "одушевленная, христианская, свободная". Публикацию ее по одному из списков, подобных тем, который хотел получить Шевченко (ГАГО.- Коллекция Нижегородской ученой архивной комиссии.- Он. 602.- Л. 4-4 об), я считаю прямым комментарием к его дневниковой записи от 19 февраля.

В шевченковском дневнике губернатор упоминается не часто; о том же, что поэт встречался с ним лично, прямо говорится всего один раз - в записи, сделанной 12 января, когда он, оказавшись в доме Муравьевых в час официального приема, "поздравил его с получением через плечо Анны, раскланялся и вышел..."

Уверен, эта встреча первой не была.

В воспоминаниях нижегородского чиновника, в прошлом студента Киевского университета Константина Антоновича Шрейдерса, опубликованных Георгием Демьяновым при жизни самого рассказчика и ни им, ни кем-либо другим не опротестованных (хотя, как установлено биографами Шевченко, есть в них и фактические ошибки, и субъективные толкования) , имеется любопытное свидетельство.

"В конце сентября 1857 года,- излагал услышанное им Г. П. Демьянов, Муравьев посылает собственноручную записку к К. А. Шр-су и просит его приехать как можно скорее во дворец. К. А. Шр-с, и доньше здравствующий и пользующийся всеобщим уважением, каким он пользовался и в 1857 году, в то время состоял секретарем губернского комитета (благотворительного). Получив записку, он немедленно явился к губернатору, принимавшему его всегда запросто. Переступив порог кабинета, К. А. был изумлен, увидя, что в кресле против Муравьева сидит сутуловатая фигура мужчины, одетого в какую-то рваную шубейку и длинные сапоги..."

После обычного приветствия Муравьев сказал, обращаясь к Шпр-су с приветливой улыбкой:

- Вот, Константин Антонович,- при этом он указал на сидевшего мужчину,- рекомендую вам нашего знаменитого поэта Тараса Григорьевича Шевченко...

Затем губернатор начал рассказывать о том, что при увольнении Шевченка из службы произошла ошибка, которую, вероятно, допустил "пьяный писарь"...

- Словом,- продолжал Муравьев,- в билете ему написали вместо "в Оренбург" - "в Петербург", и эта ошибка была открыта только теперь, когда Тарас Григорьевич приехал в Нижний Новгород. Во всяком случае, сделаем в пользу его все, что в силах сделать. С божьей помощью я надеюсь испросить милости у государя... А теперь, Константин Антонович, я убедительно прошу вас приютить у себя Тараса Григорьевича, которому я говорил так много о вас хорошего.

Нечего говорить о том, что К. А. с радостью принял предложение губернатора..." (Исторический вестник.- 1893.- Май.- С. 337-344).

Это свидетельство, конечно, требует критического к себе отношения, но мимолетные упоминания о том, что Муравьев оказывал Шевченко внимание, можно отыскать также в других источниках.

Не мог не интересоваться Муравьевым и сам поэт.

Узнать о нем позволяло общение с довольно широким кругом лиц, хорошо этого человека знавших. Назову нескольких: Дорохова, Голынская, Трубецкой, Голицын, Якоби...

Портрет губернатора - сложный, во многом противоречивый - обрастал живыми деталями во время встреч с людьми, которые принадлежали к разным слоям общества: чиновниками и артистами, офицерами и крестьянами, инженерами и рабочими. Губернатор Муравьев говорил то, что некогда в мечтах своих вынашивал Муравьев-декабрист.

"Неправдоподобным представлялся старый крамольник, мечтавший в молодые годы о вольности и отмене крепостного рабства, пронесший эту мечту через царские казематы и казенные присутственные места и на склоне лет вновь с юношеским жаром взявшийся осуществлять ее..."

Эти слова принадлежат В. Г. Короленко. В Нижнем Новгороде он оказался через много лет после Шевченко, но и тогда не угасал здесь интерес к необычайно яркой фигуре Муравьева. Живя в городе, где некогда тот губернаторствовал, писатель увлеченно собирал о нем материалы, которые потом, со временем, легли в основу очерка "Легенда о царе и декабристе".

Среди тех, кто мог рассказать (и рассказывал) ему о герое будущего очерка, были люди, с которыми общался поэт Украины. Например, учитель гимназии Бобржицкий... На многое Короленко смотрел глазами современников этих событий. И читая напечатанное в "Русском богатстве" (1911.- Февр.- С. 113-140). не раз ловишь себя на мысли: а не так ли думал о Муравьеве Шевченко?

"Революционер-мечтатель в юности, прошедший долгую школу дореформенного режима,- сам он стоял на грани двух периодов русской жизни. Свободолюбец мечтой, всеми привычками и приемами он принадлежал к старому типу самовластного дореформенного чиновничества. Необыкновенно даровитая натура, он в совершенстве овладел этими приемами и направил их, как новый Валленрод, на разрушение основ этого строя... А стремился он к новому до конца. И через все человеческие недостатки, тоже, может быть, крупные в этой богатой, сложной,

независимой натуре, светится все-таки редкая красота ранней мечты и борьбы за нее на закате жизни..."

Светилась она автору этих строк Короленко, светилась - Тарасу Шевченко.

"Порождением 1812 года" называл Муравьев себя, а равно собратьев по судьбе, в одном из писем.

Незадолго перед Отечественной войной, в 1810 году, семнадцатилетний дворянин из весьма знатной, хотя и не богатой, семьи, только что окончив Московский университет, был принят на службу в квартир-мейстерскую часть "свиты его императорского величества", позже преобразованную в генеральный штаб. Служба в Петербурге, картографические съемки в южных губерниях, общение с новыми и новыми людьми позволили ему увидеть многие противоречия тогдашней жизни. Постепенно возникал кружок единомышленников. Александра Муравьева все чаще можно было видеть в обществе М. Орлова, братьев Калошиных, Муравьевых-Апостолов и других, которые по прошествии лет стали декабристами. Встречаясь, они страстно говорили о русском народе – его прошлом, настоящем, будущем, непримиримо-гневно возмущались рабством перед иностранщиной.

С увлечением читал я "Автобиографические записки" А. Н. Муравьева, в отрывках сохранившиеся в архиве князей Шаховских, что находится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. (Декабристы: Новые материалы // Сб. трудов Отдела рукописей ГБЛ.- М., 1955.- С. 157- 207).

Войну Муравьев закончил полковником, кавалером русских и иностранных орденов. Ему пророчили быстрое восхождение к вершинам военной карьеры. А он думал о другом и к другому стремился.

Все острее, резче становились споры в офицерских кружках-артелях. "Священная артель", душою которой являлись братья Муравьевы, просуществовала с 1814 до 1817 года. Из вполне легального объединения, образовавшегося для того, чтобы вместе вести хозяйство, вместе развлекаться и учиться, она, эта артель, постепенно превратилась в политический клуб, который обсуждал - и осуждал - такие, по словам декабриста И. Я. Якушкина, "язвы нашего общества", как "закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще". Назрело создание тайного общества. Инициатором и организатором его стал он, Александр Муравьев.

"Союз Спасения" ставил своей целью добиться конституционной монархии и освобождения крестьян с землей. С особенной страстью выступал против крепостного права сам Муравьев, наиболее деятельный среди всех членов этого общества. Но просуществовало оно совсем недолго. Некоторое время спустя ушел Александр Николаевич и из другого тайного общества - "Союза Благоденствия". И на сей раз уход был вызван внутренними разногласиями.

В восстании декабристов Александр Муравьев не участвовал. Но перед Верховным уголовным судом предстал. Основатель "Союза Спасения", деятельный участник "Союза Благоденствия" - пусть вышедший из него еще в 1819-м, пусть даже раскаявшийся,- прощен быть, по мнению царя, не мог. Сначала его приговорили к шести годам каторги, затем каторгу заменили сибирской ссылкой без лишения чинов и дворянства. Ссылнопоселенец в Якутске и Верхне-удинске, городничий, а затем исправляющий должность председателя губернского правления в Иркутске, председатель правления и гражданский губернатор в Тобольске - такой была его

служба в Сибири до 1834 года. И всюду - желание бороться с лихоимством, с притеснением простых людей. Всюду - внимание к участи осужденных декабристов, к их женам, которые приехали, чтобы облегчить долю мужей.

Муравьев продвигался по лестнице должностей, но и в Вятке, и в Симферополе, и в Архангельске своим идеалам оставался верен. Михаил Бакунин, русский революционер, встретившись с ним в 1838-м, писал: "...мы с ним сошлись в том, что составляет сущность наших двух жизней; разница лет исчезла перед вечной юностью духа... Он - редкий, замечательный и высокий человек". (М. А. Бакунин. Собр. соч. и писем.- М., 1934.- Т. 9.- С. 153). Вскоре после этого архангельский гражданский губернатор был уволен от своей должности, и даже с запрещением оставаться в губернии, за то, что пытался помешать экзекуции над крестьянами Ижемской волости.

Только несколько лет спустя вернулся он на служебную стезю.

Снова возвращаюсь к страницам очерка В. Г. Короленко: "В тревожные, как грозное весеннее утро, годы накануне реформы, когда в воздухе уже реяли всевозможные слухи и превратные толкования, когда в народе разносились крамольные вести о предстоящей свободе, а дворянство и власть растерялись и не знали, как отнестись ко всему происходящему, Нижний Новгород был осчастливлен вестью о назначении губернатором основателя первого в России тайного общества, бывшего участника в "замысле цареубийства", декабриста, приговоренного некогда к каторге..." Событие это произошло в сентябре 1856-го - ровно за год до того, как оказался в Нижнем Шевченко.

Писателю Н. Задонскому выпала большая удача - отыскать среди бумаг Государственного Исторического музея собственноручные письма А. Н. Муравьева к брату, и я не могу лишить своих читателей возможности прочесть то, что писал в 1857-1858 годах новый нижегородский губернатор, рассказывая о себе и о губернии. (Цит. по кн.: Тайны времен минувших, где помещен интересный, документально насыщенный очерк "Губернатор-каторжник".- Воронеж, 1964.-С. 67-80).

27 февраля 1857 года: "Пользуюсь только шестью часами сна в сутки (и то не всегда), а весь день напролет занят делами управления весьма сложного и разнородного, ибо я вместе военный и гражданский губернатор над 1250 000 жителями, которые, найдя во мне человека доступного всякому, заваливают меня своими просьбами после долгого угнетения, в котором они были. Кроме того, обыкновенные текущие дела по военному, гражданскому в торговому ведомствам и еще много дел, выходящих из обыкновенного разряда. Все это в такой губернии, где на все привыкли смотреть равнодушно, обратило меня и в распорядителя и в исполнителя, что продолжаться будет дотоле, доколе я не разбужу спящих над своим долгом и не пекущихся об исполнении своих обязанностей и доколе не сотру главы гидры злоупотреблений, взяток и неимоверного корыстолюбия..."

11 февраля 1858 года: "Теперь (это пишется в самый канун заседания, на котором Муравьев выступил с той самой "не пошлою, официальною, а одушевленною, христианскою, свободою речью".- Л. Б.) комитеты об освобождении крестьян весьма затруднительны, тем более, что мне высочайше вверено наблюдение и направление всего этого дела в губернии, где владельцами суть магнаты, занимающие высшие должности в государстве. Дай я промах - то и пропал!"

Речь, о копии которой Шевченко просил Дорохову, жандармский офицер в своем донесении для III отделения назвал "возмутительной прокламацией" (Декабристы.- С. 154). Что касается "магнатов", то об их реакции на эту

"прокламацию" лучше всего сказал поэт: "...банда своекорыстных помещиков не отзывалась ни одним звуком на человеческое святое слово. Лакеи!"

Один из "своекорыстных" много лет спустя написал воспоминания - в них он по-прежнему воевал с Муравьевым, выступал его рьяным противником. Имею я в виду воспоминания П. Д. Стремоухова "Нижегородский губернатор А. Н. Муравьев" (Русская старина.- 1901- Май.- С. 349-361).

Известно, что партию нижегородских крепостников, открыто противодействовавших реформе, возглавлял крупнейший землевладелец Шереметьев. Когда его крестьяне отказались подписать разорительный для них помещичий план "добровольного выкупа", крепостник пустил в ход нагайки. Муравьев вынужден был вмешаться. Если судить по Стремоухову (автору упомянутых воспоминаний), от приближенных Муравьева исходило якобы и "тенденциозное донесение по делу о крестьянах С. В. Шереметьева", посланное в "Колокол"!

Голосом Стремоухова говорили многие заядлые крепостники, которые всячески старались задержать осуществление крестьянской реформы.

От Стремоухова узнаем мы и другое: "Положение 29-го февраля" не оправдало ожиданий Муравьева. Разочарование его, по получении "Положения", было глубокое. Прочитав его, он заплакал и только сказал: бедные крестьяне!"

О слезах губернатора мемуарист узнал из вполне достоверного источника: от друга Муравьева Г. О. Розена, управлявшего тогда Нижегородской удельной конторой.

Как не мог Шевченко не думать о "крестьянской 1 реформе", не переживать все ее перипетии, так не мог он не интересоваться и Александром Николаевичем Муравьевым - человеком необычайным.

"ГОРЯЧО СОЧУВСТВУЮЩИЙ"

И еще одна речь - о том же, о судьбе крепостных. Она созвучна с муравьевской, воспроизведенной ранее. Но произнес ее другой человек, Тарасу Шевченко также знакомый. Этот человек - Николай Петрович Болтин, губернский предводитель дворянства.

Послушаем Болтина.

- Милостивые государи!

Никогда еще собрание представителей нижегородского дворянства не было так знаменательно, как теперь, по случаю открытия комитета. Вопрос, который будет подвергнут в нем нашему обсуждению, имеет такое великое значение для будущности нашей, что потомки наши будут иметь право нас благословлять или порицать, смотря по тому какие составим мы теперь положения по вопросу улучшения быта помещичьих крестьян и чрез то какую приготавим им будущность...

Итак... милостивые государи, путь, предстоящий нам теперь к улучшению быта помещичьих крестьян, есть путь не новый. Он давно уже прежде нас пройден был другими народами. Так воспользуемся же уроком, который дает нам история, возвысим беспристрастно те причины, следствием которых подобный путь у других народов был сопровождаем более или менее печальными последствиями. Для пользы нас самих, для блага детей наших, для общего благосостояния нашей милой отчизны, будем стараться избегать тех ошибок, в которые впадали предшественники наши, и

пользуясь уроком их, постарайтесь избрать такой путь к решению этого исторического вопроса, который бы мог примирить интересы помещиков с интересами крестьян; для этого вооружитесь благоразумием, умеренностью и, призвавши на помощь всевышнего, с сознанием своего долга, приступим к исполнению великого долга.

Свою речь Болтин произнес на следующий день после А. Н. Муравьева, 20 февраля 1858 года. (ГАГО.- Коллекция Нижегородской ученой архивной комиссии.- Оп. 602.- Лл. 5-5 об). Мне она сейчас понадобилась, чтобы прокомментировать дневниковую запись Шевченко, сделанную за три недели до открытия комитета.

Вся запись за 28 января посвящена знакомству и беседе с этим человеком. "Николай Петрович Болтин, губернский дворянский предводитель, изъявил желание познакомиться со мною. Я удовлетворил его любезному желанию и не раскаиваюсь. Он человек здраво и благородно мыслящий, горячо сочувствующий вопросу о крепостных крестьянах, и усердно хлопочет о составе комитета, который должен порешить это дело в Нижегородской губернии".

То, что я выделил в записи дневника, и речь, приведенная мною дословно, связаны между собою несомненно.

Беседа состоялась в разгар подготовки и открытия комитета. 15 января Болтин предписал: "Отнестись чрез посредство уездных предводителей дворянства к каждому из владельцев недвижимых населенных имений и пригласить их прибыть в уездные города к 10-му февраля 1858 года для необходимых, по важности предмета, совещаний, и для избрания в губернский комитет членов и к ним кандидатов; и за тем 20 февраля открыть самый комитет" (Нижегородский сборник.-1867.-Т. 1.-С. 7). Ко времени встречи, о которой записал Шевченко, эта работа была уже в полном разгаре, вызывая и ожесточенный протест помещиков, и надежды крестьян. "Весть о цели учреждения губернского дворянского комитета,- читаем там же,- быстро распространившись по губернии, сильно заняла умы крестьян, представляя освобождение их в самых широких размерах, в виде безвозмездного отвода им всех или большей части помещичьих земель и угодий, свободы от всяких обязательств к помещику, и все это в самом близком времени. В этом ожидании крестьяне начали уклоняться от исполнения повинностей к помещикам, в особенности от уплаты оброков, и простирали свое нетерпение в ожидаемом освобождении до того, что обвиняли дворянство в умышленном замедлении хода этого дела".

Свидетельства современников подтверждают: вопреки всем недругам, он последовательно голосовал за упразднение крестьянской неволи, крестьянского рабства.

Для чего хотел дворянский предводитель встретиться с опальным поэтом? Инициатива знакомства исходила от Болтина. Не желал ли он проверить свои мысли и сомнения на бывшем крепостном, к тому же тяжело за убеждения покаранном?

...После всего, что здесь сказано, естественно желание знать о Болтине больше.

В "Общей росписи всех чиновных особ в государстве на 1857 год" рядом с его должностью губернского предводителя значится чин капитан-лейтенанта.

Нижегородский дворянин Болтин начинал свою карьеру прапорщиком лейб-гвардии Литовского полка.

Из подпоручиков этого полка был "переименован" в лейтенанты флота и в течение пяти лет служил на Балтике, в 1842-м получил увольнение от службы и в чине капитан-лейтенанта возвратился в Нижний. (Общий морской список.- 1897.- Ч. IX.- Спб.- С. 273).

С тех пор Болтин занимался помещичьим хозяйством, а заодно обязанностями, возложенными на него дворянством. В 1855 году он был начальником Сергачской дружины ополчения. (Краткий очерк истории и описание Нижнего-Новгорода в двух частях, составленные Н. Храмцовским.- 1858.- Ч. 1.-С. 124).

Еще один факт, к нему же относящийся: на племяннице Болтина был женат М. Е. Салтыков-Щедрин...

Вот что выяснил я пока об этом человеке, так лестно охарактеризованном Тарасом Шевченко в своем дневнике.

ПОГОЖЕВ: О НЕМ И ОН О СЕБЕ

18 января 1858 года Шевченко, придя к Брылкину, встретил у него В. Н. Погожева, которого в дневнике охарактеризовал как "давнишнего и нелюбимого своего поклонника". Погожев оказался в Нижнем "по делам службы". "Завтра едет в Москву",- записывал поэт далее.

Ничего больше о той встрече у Шевченко не сказано. Но это не значит, будто была она малозначительной. Успели, конечно, переговорить о многом, если в тот же день - или на следующий - Погожев получил от Тараса Григорьевича письмо на имя М. С. Щепкина, содержащее в себе весьма для Шевченко важное, глубоко сокровенное. Это письмо, начатое 17-го, а законченное 18-го, доступно прочтению каждого, кого оно заинтересует. Прочтите его в том писем поэта, обратитесь к письму Погожева, посланному в Нижний Новгород из Владимира 5 февраля (Листи до Т. Г. Шевченка.- С. 127-128), сопоставьте оба эти письма, и вы согласитесь, что вывод мой основателен. "...В Москве я пробыл неделю, но по болезни не мог выезжать и уже решил я записку твою отправить к М. С. Щепкину с сыном моим. Но почтенный и заслуженный старец-артист сам приехал ко мне и порадовал меня и всю мою семью добрым вниманием его, лестным знакомством и чрезвычайно приятным чтением одной новой басни и твоей "Пуст-ки"... Он прослезился, и мы все прослезились..."

"...Михаила Семенович спрашивает, когда ты именно можешь к нему приехать в Подмосквную? А потому и прошу тебя, любезнейший друг Тарас Григорьевич, известить меня письмом в г. Владимир..." "...Статью о милой Пиуновой я отправил в редакцию "Московских университетских ведомостей" через Евгения Федоровича Коршл..."

Все это - из отчета Погожева об исполнении просьб-поручений Шевченко. Поручений, как видите, разнообразных. И выполнял он их с уважением и любовью к поэту.

А вот и прямое признание в любви - последние строки письма: "Затем, до свиданья, не говорю прощай, потому что, кого люблю, с тем расстаюсь до свидания".

Получив письмо, Шевченко записал о том в дневник; было оно ему очень приятно.

"Я пишу, что чувствовал и видел..."

Так начинаются погожевские мемуары, которые печатались в "Историческом вестнике",- номер за номером, с июля по октябрь 1893-го. "Печатаемые здесь воспоминания инженер-майора В. Н. Погожева интересны в двух отношениях,- читаем в кратком вступлении от редакции.- Во-первых, они рисуют мелкие и характерные подробности жизни среднего класса людей в России в первую половину отживаемого

нами столетия... Во-вторых, воспоминания... говорят о жизни и развитии двух маленьких, безвременно погибших знаменитостей, пианисток Веры и Натальи Погожевых, обративших на себя в 40-х и 50-х годах большое внимание в музыкальных сферах не только Петербурга и Москвы, но и Лейпцига..."

Но обратимся к написанному самим Василием По-гожевым - о себе, о близких ему людях, о том, что видел и пережил.

Родился он 19 января 1802 года в Москве. (Нижегородская встреча с Шевченко состоялась, следовательно, в канун дня его рождения, когда Василию Николаевичу исполнилось пятьдесят пять). Отец Погожева - сын купца, именитого гражданина Великого Устюга - получил образование в Голландии, однако, блестяще начав карьеру и дослужившись до обер-секретаря сената, на 32-м году жизни умер, оставив на попечении совсем молодой жены трех сыновей. Старшему, Василию, едва исполнилось пять. Со временем определили его в пансион Московского университета и там, одиннадцатилетним, стал Погожев свидетелем бурных событий Отечественной войны. "С умилением вспоминаю силу веры и единоплеменные русского народа..." Увезенный из Москвы накануне вступления французов, он возвратился туда из Костромской губернии полтора года спустя и увидел лишь пепелище отчего дома. Как пепел пожарища, рассеялась и возможность вернуться в университетский пансион. Судьбой его распорядились по иному, отдав в кадетский корпус.

В 1821-м Погожева произвели в офицеры. Служба угнетала юного прапорщика настолько, что он даже вознамерился... постричься в монахи. Но скоро явилась перспектива учиться: как способного к инженерным наукам, его назначили адъютантом к профессору фортификации. Аттестат об окончании курса высшего военного образования стал не единственным признанием его успехов. О многом говорило то, что именно ему, пусть временно, поручили, в дополнение к другим предметам, преподавать в юнкерской школе... словесность и историю.

И снова в полк. Моршанск... Рязань... Не частые поездки в Москву после тусклой и однообразной провинциальной жизни казались событиями необычайными. Большую часть времени он проводил в театрах. "Вот это актер по призванию, а не по ремеслу",- записал Погожев о Щепкине; тогда-то и зародилось в нем благоговение перед великим артистом.

..."Страшное воспоминание о 14-м декабря 1825 года" - с этого должна была начинаться шестая глава мемуаров. Но цензура воспоминание вымарала, забыв убрать только строку в оглавлении. Нам остается догадываться, что именно хотел сказать на сей счет Погожев. Однако уже сам факт причастности его, пусть косвенной, к событиям на Сенатской площади незамеченным остаться не может.

В 1827-м он был переведен в чине поручика в строительный отряд путей сообщения, который вел работы между Новгородом и Валдаем. А скоро последовало другое событие: женитьба на бедной девушке, с которой прожил в любви и согласии немало счастливых лет.

Память сохранила много живых воспоминаний. И как, читая, не обратить внимания на то, что под началом Погожева, в его роте, служило "до ста польских мятежников, из которых большая часть были люди честные, ловкие", не выделить эпизоды, рисующие нравы того времени: от пьянства офицеров до махрового взяточничества в генерал-аудиториате. Ценою всечасных усилий удалось ему упрочить свое положение, продвинуться в чинах и должностях. В 1840 году Василия

Николаевича назначили в Петербургский хозяйственный комитет. Тогда-то, или вскоре после этого (во всяком случае, в сороковые годы), и состоялось его знакомство с Шевченко. Оно было связано с необычайным музыкальным талантом дочерей Погожева - Веры и Натальи. Совсем маленькие (одна родилась в 1833-м, другая - в 1834-м), девочки стали известны в Петербурге как удивительные пианистки; вечера с их участием привлекали многих.

Все советовали заботиться о развитии юных дарований. "Я старался исполнить советы... Я обратил их более к музыке. В этом меня поощряли особенно, кроме Катенина и Кукольника, А. А. Карнеев, П. П. Каменский, Е. П. Гребенка, академик Остроградский, поэт и живописец Шевченко, Ф. А. Кони, В. В. Межевич, Р. М. и В. Р. Зотовы..."

Шевченко назван только здесь, в восьмой книге "Исторического вестника", на странице 372-й.

С ничтожными средствами отправились Погожевы за границу.

Не удержусь от искуса привести здесь оригинальное "обязательство" сестер, горевших желанием учиться:

"Мы, нижеподписавшиеся..., обязуемся сдерживать следующие условия в продолжение двух лет:

"1. Ничего не просить купить из платьев и лакомства.

2. Ежели, сохрани боже, заболеем, то, не отговариваясь, лечиться и слушать доктора.

3. Довольствоваться теми кушаньями, которые раздаются в зале для бедных.

4. Не проситься ни в гости, ни в театр, не нанимать извозчика, а ходить пешком.

5. Нам достаточно получать каждый день четверть фунта говядины, обеим шесть картофелин (три больших и три маленьких).

6. Чай пить спитой и полфунта сахара в месяц, по полфунту черного хлеба и пятикопеечную булку обеим.

7. По воскресеньям по чайной ложечке патоки.

8. Чинить платья будем сами.

Ежели мы этих условий не исполним, тогда да будет нам стыдно. Мы любим страстно музыку и потому желаем всю жизнь посвятить на изучение ее..."

Вера и Наталья стали ученицами Мендельсона-Бартольди в Лейпциге, а сам Погожев - не только свидетелем музыкальной жизни Германии, но и очевидцем революционных событий, потрясших в 1848-м Европу.

События в Европе заставили Погожевых возвратиться в Россию. "Я был уверен, что дочери мои преподаванием уроков разовьют в России музыкальное образование в истинном значении..." Натолкнулись же они на козни, которые еще более подорвали их силы. Наталья умерла в 1856-м, Вера (упомянутая в письме Погожева к Шевченко) пережила сестру только на два года: она скончалась в октябре 1858-го.

Что касается Василия Николаевича, то он по возвращении на родину снова поступил на службу по ведомству путей сообщения и, живя в Костроме, ездил по всему Поволжью, занимаясь одним - устройством дорог. Так оказался он и в Нижнем Новгороде. Так состоялась его нежданная встреча с Шевченко.

Нежданная ли?..

Они могли встретиться и впоследствии: во Владимире, в Москве, в Петербурге. Нам об этих встречах неизвестно.

Умер Погожев в 1859-м - вслед за любимицами дочерьми.

..."С. Петербургская сохранный казна... сим объявляет, что в оной будет продаваться с аукционного торга заложенное и просроченное имение умершего майора Василия Николаевича Погожева, Костромской губернии, Кологривского уезда, при дер. Горки, на коем долга Сохранной казне состоит 2606 руб".

Это - из источника вполне официального: Санкт-Петербургские ведомости,- 1866.- 1 нояб.- № 286.

ЗАПИСЬ В ОДНУ СТРОКУ

"21 (января). Бенефис милочки Пиуновой. Полон театр зрителей и очаровательная бенефициантка,- прекрасная тема для газетной статейки. Не попробовать ли?.." Статья была написана. Под названием "Бенефис г-жи Пиуновой; января 21, 1858 г." ее напечатали - без указания автора - "Нижегородские губернские ведомости". Номер вышел 1 февраля. Эта статья известна, она печатается во всех собраниях сочинений Шевченко.

Но вот страницей или двумя далее в дневнике следует еще одна, совсем короткая, запись: "2 9 (я н-варя). Аляповатый бенефис г-жи Васильевой и сплетни". Она комментаторами обойдена - будто ясно в ней все.

Между тем обе заметки - и та, что 21-го, и та, что 29-го,- связаны между собою.

...Свою рецензию Шевченко написал по свежим следам бенефиса Пиуновой. Уже 24-25 января она, вероятно, была отослана в редакцию. А к 29-му, еще не напечатанная, стала, по-видимому, известна если не "всему Нижнему", то уже наверняка его театральным завсегдатаям. И на бенефисе Васильевой это вылилось наружу. Вылилось в то, что поэт окрестил одним словом: "сплетни".

"Заметки на статью о бенефисе г-жи Пиуновой (в 5 № Н. Г. В.)" раскрывают суть сплетен весьма полно.

Эта, очередная, статья о нижегородском театре появилась 22 февраля за подписью "Щеголев". Ей сопутствовало примечание: "Следуя своей программе, мы помещаем в нашей газете статьи, расходящиеся с нами во взглядах, в убеждениях, что из разносторонних воззрений возникает истина".

Слова, которые выделил, ясно говорят, какое из двух мнений было ближе самой редакции. Она осталась на стороне автора рецензии - то есть Шевченко.

Но обратимся к статье неизвестного нам Щеголева. Прямое отношение ее к газетному выступлению поэта очевидно.

"Статья о бенефисе г-жи Пиуновой, кажется, много шуму наделала по городу. И как же не сделать шуму, когда прошло столько времени и никто не прочел строчки о нижегородском театре? На сцене нового было много, а писать никто не хотел - непростительное равнодушие! Но, слава богу, долго ждали, да много взяли! Мы очень благодарны автору за сюрприз и ни от кого не скроем, что в статье его мы нашли много оригинального.

Например, г. автор искренне думает, что г-жа Пиунова смело может расширить свой репертуар. Еще прежде совета автора, г-жа Пиунова делала попытки перейти за черту своей амплуа - в "Ревизоре", "Детском докторе", "Царской невесте" и многих других пьесах и, вероятно, от души поздравит автора статьи своего бенефиса, что он напрасно искренне так думает.

Автор статьи уверяет г-жу Пиунову, что если она будет разрабатывать исключительно свое амплуа, то это пристрастие повредит ее таланту. Будто? Если я, например, порядочно пишу деловые бумаги, разве я непременно должен браться писать и статьи о бенефисах, чтоб расширить свои способности? А если я не умею писать статей о бенефисах? Зачем же мне браться за то, чего я не могу сделать? И г-жа Пиунова заставляла сожалеть о себе, когда была не на своем месте.

Автор статьи говорит, что М. С. Щепкин ни с кем с таким удовольствием не играл, как с г-жой Пиуно-вой. Жаль, что Щепкин мог поздно встретиться с г-жой Пиуновой; может быть, через это мы многое потеряли от таланта Щепкина.

О г-же Васильевой автор пишет: "Лучше всего она в "Бедной невесте". "Где же этому доказательство?" - спрашивает любопытный. А мы и отвечаем: в 5-м № "Нижегородских губернских ведомостей", на второй странице, во втором столбце, сверху на 30-й строке. Дальше о г-же Васильевой автор продолжает: "Но странное впечатление оставляет (т. е. в авторе) г-жа Васильева: видна какая-то законченность в ее игре, как будто она выказала все свои средства и что дальше ожидать нечего"; впечатление (автора), не говорящее в пользу будущего развития, признать совершенно установившимся талантом г-жу Васильеву нельзя. Автор видит законченность в игре неустановившегося таланта (т. е. еще развивающегося). Этого мы не понимаем и сомневаемся, чтобы сам автор понимал.

Это впечатление г. автор высказывает об артистке, которая с каждой новой ролью более и более удивляет разнообразием своего таланта. Но об игре г-жи Васильевой здесь говорить не место, да и нижегородская публика сама, без всяких посторонних разговоров, знает, за что оглушает рукоплесканиями свою любимицу.

О г. Владимирове автор говорит, что роль свою в "Парижских нищих" он выполнил чрезвычайно рельефно и талантливо, что в первое представление "Парижских нищих" он только читал роль.

Далее г. автор в статье о бенефисе г-жи Пиуновой очень кстати разговаривает о домашних делах г. Кли-мовского, - а как это дело для нас темное, то мы и прекращаем заметки.

Виноват! забыл еще про одно впечатление автора. Когда г. автор вошел в театр в день представления бенефиса г-жи Пиуновой, он очень удивился, что много было народу в театре. А удивился он потому, что принял в соображение нравы нижегородских обитателей как мужского, так и женского пола.

Удивившись, он обратился с вопросом к отъявленному нетеатралу: почему-де нынче много народу в театре? А отъявленный нетеатрал ему и отвечал: потому-де, что нынче бенефис г-жи Пиуновой, а не другой чей, стало быть и удивляться нечему. ("Я, мол, уж на что, и то здесь").

Будто другие актеры и актрисы менее г-жи Пиуно-вой пользуются вниманием публики!

Г. автор хотя и высказал, и сильно высказал, что от игры г-жи Васильевой он всегда чувствует грустное впечатление, а от игры г-жи Пиуновой необыкновенное удовольствие, однако ж посовестился-таки сказать, что то же самое чувствовал и в "Парижских нищих". Он сделал даже более: сознался, что г-жа Пи-унова была слаба, а в особенности в той сцене, когда с ней, как говорится, столкнулась на одной доске г-жа Васильева. А г-жа Пиунова с своей ролью могла бы торжествовать над г-жой Васильевой. А если бы роли были розданы наоборот - тогда бы что?

Щеголев"

Статья из "Нижегородских губернских ведомостей" приведена здесь полностью и со всеми особенностями стиля. Думается, что для раскрытия лаконичной записи от 29 января она дает не меньше, чем рецензия Шевченко - для понимания записи от 21-го,

"Сплетни" по поводу рецензии Шевченко закипели ранее, чем она появилась в газете. Но от желания увидеть ее опубликованной автор не отказался. Не повлияло на него и явно изменившееся - не без воздействия сплетен - отношение Пиуновой (об этой перемене можно судить хотя бы по записи от 30 января). Статью она приняла совсем иначе, нежели представлял Тарас Григорьевич. "Быть может, ей не понравилось мое нельстивое рукоделье, и она поторопилась уехать",- читаем в дневнике за 3 февраля. А на следующий день после появления "Заметок на статью о бенефисе..." Шевченко узнал, что Пиунова отвергла его и Щепкина заботу, оттолкнула их дружескую руку и... дала все основания записать: "Вот она где, нравственная нищета, а я боялся материальной. Дружба врозь и черти в воду".

КЛИМОВСКИЙ, АКТЕР НИЖЕГОРОДСКИЙ

На обеде в день рождения Шевченко из артистов присутствовали Климовский и Владимиров. Спич, в котором виновник торжества заявил, что не будет "на бога в претензии", если доведется ему "встречать всюду таких добрых людей, как они", относился к этим двоим не меньше, чем к братьям Брылкиным, Грассу, Товбичу и другим.

С Климовским, отправлявшимся в Петербург, поэт еще несколько дней тому назад собирался доехать до Москвы, чтобы повидаться там с Щепкиным и вернуться. Остановило письмо от М. Лазаревского, который сообщал о выхлопотанном наконец дозволении жить в столице; теперь надо было дожидаться официального подтверждения, чтобы выехать отсюда окончательно, навсегда.

Климовский ехал один. Шевченко провожал его как доброго приятеля.

((Грустно, с каким-то особенно неприятным чувством садился я в тарантас, готовый снова умчать меня из родной Москвы. В третий раз оставлял я белокаменную затем, чтобы пожать в провинции и лавры, и целковые,- и в этот третий мне было в первый раз неприятно расстаться с ней..."

В Отделе рукописей Пушкинского Дома я обнаружил, выписал, прочел, а затем и перенес в свою рабочую тетрадь очень интересное письмо. Евгений Иванович Климовский писал Леониду Львовичу Леонидову, артисту Александрійского театра. Писал из Нижнего Новгорода, в 1857-м, больше того - в то же время, к которому относятся его встречи с Шевченко. Дата окончания письма - 27 декабря.

Предупрежу сразу: о Шевченко здесь нет ни слова. Но для характеристики нижегородских театральных нравов, для лучшего нашего знакомства с Климовским и другими приятелями поэта из актерской среды (прежде всего, теми, кого он упоминает в дневниковых записях) материала на этих четырнадцати листах (Ф. 357.- Оп. 3.- Д. 109) много.

...Артист, выступавший прежде на петербургской и московской сценах, ехал с женой в незнакомый им город. Ехали не одни - вместе с известными комиками Живокини и Васильевым, следовавшими в Нижний Новгород, а оттуда в Казань, на

гастроли, вместе с молодой актрисой Васильевой, которая отправлялась в провинцию, чтобы попытать свое артистическое счастье там.

Живо, даже картинно описал Климовский первые спектакли, первые впечатления. О, он требователен очень. И в высокой степени трезв. "Мы все, актеры, весьма плохие критики в нашем искусстве. По особенному устройству нашего организма, или по чему-нибудь другому, только, сколько я заметил, наши приговоры бывают истинно приговорами, а не критикою. У нас нет середины... Актер-судья берет в руки просто анатомический нож, и боже сохрани, если он наострен еще недавними собственными успехами..." Человеку, на такое признание способному, - веришь!

Вот здесь, следуя за Климовским, мы и подходим к тому, что к Шевченко имеет отношение непосредственное. Непосредственное, хотя и косвенное. Большинство людей, о которых тут говорится, называется в дневнике, в статье "Бенефис г-жи Пиуновой...", в письмах.

Дневник, 1 октября 1857 года: "Ссе-годнишнего дня начинаются здесь спектакли..."

Климовский: "Настоящая нижегородская труппа состоит большею частию из людей довольно умных и отчасти даже не лишенных образования. Корифеями ее являются: гг. Владимиров (комик), Рыбаков (трагик), Трусов (любовник), Платонов (резонер), я (черт знает, кто я!?), г-жи Рыбакова (трагичка), Трусова (комичка), Пиунова (водеви-листка), Шмитгоф (певица) и вновь прибывшая Васильева".

Дневник, 6 октября: "Роль Амалии, дочери барона, исполняла артистка московского театра госпожа Васильева, натурально и благородно..." 13 октября: "Спектакль был хоть куда. Васильева... была естественна и грациозна. Легкая игривая роль ей к лицу и по летам..."

12 ноября: "Все было порядочно, кроме г-жи Васильевой. Она, бедняжка, думала очаровать зрителя своим фанданго и совсем не надела панталон. Какое варварское понятие об искусстве..." И з рецензии, 22- 27 января 1858 года: "Г-жа Васильева передала очень верно тщеславную и своевольную Алиду, дочь банкира. Мимика ее замечательная, роль же сама по себе не может дать полного понятия об ее игре. Лучше всего она в "Бедной невесте". Но странное впечатление оставляет г-жа Васильева: видна какая-то законченность в ее игре, как будто она выказала все свои средства и Что дальше ожидать нечего... Очень желательно было бы, если б г-жа Васильева вникнула в причину такого явления..." 29 января: "Аляповатый бенефис г-жи Васильевой..."

Климовский: "Девушка лет 22-х весьма недурной наружности и хорошего возраста, получившая образование в Императорской театральной школе при Московском театре, т. е. танцовщица... Привыкшая с малолетства быть на сцене, и на сцене столичной, - она приобрела некоторый актерский такт, т. е. свободу держать себя на сцене; оделенная от природы довольно легонькой головкой и большой самоуверенностью, - она смело берется за всякую новую (первую) роль и, обладая хорошою памятью, выучивает ее скоро и твердо. Заметив, что на сцене всего лучше быть ловкой и грациозной, - она любит изображать аристократок. Постоянно слыша и видя, что все ныне стремится к натуре, она старается до крайности быть натуральной... Главное достоинство ее таланта я полагаю в обыденности: что бы она ни исполняла, т. е. какую бы роль ни играла, она говорит и держится на сцене совсем натурально, точь-в-точь как у себя в комнате. Но этого еще весьма недостаточно, чтобы заслужить

название артистки, а г-же Васильевой, несмотря на все приличие ее игры, еще очень далеко до этого. И это потому, что у ней есть все наружное и ничего внутреннего..."

Дневник, 12 декабря: "Сегодня видел я на сцене "Станционного зрителя" Пушкина... Сцены второго акта и последняя сцена третьего были так естественно трагически исполнены, что хоть бы и самому гениальному артисту так впору. Исполать, тебе, господин Владимиров". 23 января: "...мой любимец Владимиров в роли старика, дворецкого маркиза, был... безобразен..." Из рецензии: "В г. Владимирове виден весьма опытный артист, занимавшийся своим искусством добросовестно. Он вовсе не односторонен, и игра его в особенности замечательна в пьесах, имеющих литературное достоинство... В гримировке и костюмировке он просто совершенен. Вообще о г. Владимирове мало отозваться лестно,- в нем видно и развитие и необыкновенное понимание искусства..."

Климовский: "Г. Владимиров обладает превосходной памятью, отличным сценическим тактом, актер чрезвычайно добросовестный... Гримируется он художественно, одевается с умением, фарса ни в чем и никогда не заметно... В чем можно особенно упрекнуть его, это в ужасной торопливости чтения..."

Дневник, 6 октября: "...Прочие, кроме г. Платонова (играли)... лубочно..." 9 декабря: "В компании честных артистов Климовского, Владимирова и Платонова праздновал именины..."

Климовский: "Платонов мне друг, а судить своих друзей весьма нелегко... Г. Платонов человек, не обладающий большим талантом, но и не без дарования. Как провинциальный актер, ...он сплошь и рядом исполняет все, а потому на его долю очень часто выпадают так называемые роли неблагодарные... Многие - не в его средствах (например, любовники, в которых он смешон, драматические, в которых он только пытит как паровоз, важных лиц, для которых у него не хватает приличия). А Осип в "Ревизоре", слуга-старик в водевиле "Собачкин" и т. д.- очень удачно..."

Дневник, 1 октября: "Г. Климовский, как и роль его, приторен..." 12 ноября: "Г-н Климовский в роли Филиппа IV был прекрасен..." 17 декабря: "Вечером был на бенефисе г. Климовского. И несмотря на порядочное исполнение, все-таки "Дообеденный сон" Островского мне не понравился... Прочее так себе шло, кроме попури, пропетого в антракте бенефициантом, вдобавок собственного сочинения". 19 января: "Климовский в роли Чупруна и по выговору и по мимике вандал..." Из рецензии: "...Кажется, целью его поступления на нижегородскую сцену были испытание себя и окончательный выбор тех ролей, которые более подойдут к свойству его таланта. Нам он в особенности понравился в пьесе "Суд людской - не божий" и в пьесах г. Островского".

Климовский: "Я довольно скоро, по переселении моем... в губернский город, обратил внимание на все незавидное положение провинциального актера. Вы, столичные, с высоты вашего величия, ни мало не замечаете, чему подвергается этот несчастный, но сплошь и рядом великий труженик... Но мне стало ясно, что и в провинции великий художник будет великим, а ничтожество останется ничтожеством, хотя бы оно было не только в столице, но даже близ трона... Стараюсь, хлопочу - поумнеть хочу. Великим постом надеюсь обнять тебя в Питере и показать себя начальству. Очень хочется сесть на постоянное гнездо, но я боюсь столицы. Что если опять наступит там для меня сценическое бездействие?! Душа моя теперь так настроена итти вперед, что остановить ее было бы решительным убийством..."

Характеристики, не расходясь, как правило, в главном, одна другую дополняют, и в результате мы яснее, отчетливее представляем себе тех, кого Шевченко видел не только на сцене, кто пусть в малой мере, но скрашивал его нижегородские недели и месяцы.

...Записи в дневнике - не рецензии для печати. Это всего-навсего заметки для себя. Но когда из немногих "корифеев" труппы остаются не названными только два или три имени, невольно задаешь вопрос: кто? почему?

В тот сезон в Нижнем Новгороде играл известнейший русский трагик Николай Хрисанфович Рыбаков. В дневниковых записях о нем ни слова, хотя не видеть его на сцене поэт не мог. Климовский о Рыбакове пишет. Но как? "Странное дело, этот г-н заслужил славу чуть ли не всероссийского трагика, а на мои глаза он ниже всякой посредственности..." Не придерживался ли такого взгляда и Шевченко? Правда, Климовский чувствовал неприязнь к Рыбакову и как к человеку.

Старейшиною и признанным "первым сюжетом" нижегородской труппы являлся Владимир Максимович Трусов. Климовский называет его актером "очень хорошим", отмечая и многолетнюю опытность, и огромный репертуар, и "твердую выучку ролей", и "приличие жестов". Но, пересмотрев все сценические знаменитости, Трусов, по мнению автора письма, стремился исполнять свои роли "дагерротипно", между тем как следовало стараться играть не хуже, а все ж "по своему". Как тут не вспомнить резкие слова Шевченко в адрес подражателей в искусстве? Хотя... неупоминание Трусова и Рыбакова в шевченковских записях могло и не иметь под собою каких-либо причин - ни творческих, ни житейских. Не пришлось, скажем, к слову...

В таком случае эти, последние, строки, тоже вызванные чтением письма Е. И. Климовского, просто напомним, что на сцене Нижегородского театра в тот сезон работали и В. М. Трусов, и Н. Х. Рыбаков, и жена последнего - тоже известная актриса - П. Г. Рыбакова. Знать об этом нелишне.

Они расстались 25 февраля 1858 года - поэт и артист ("актер нижегородский", как подписано его повествование).

19 апреля А. Ф. Писемский писал А. Н. Островскому: "Климовский твой был у меня. Он добивается дебюта, но как это делается, сказать трудно..."

(Приходится ли сомневаться, что и Островский, и Писемский получили от Климовского о делах, о планах Шевченко достаточно полную информацию?)

Дебюта в Петербурге артист добился. А скоро он переехал туда навсегда - как и мечтал, "сел на постоянное гнездо".

Значит, встречи продолжались?

Сведений о них нет, но - не исключено...

Р. S. Уже после того как этот очерк был написан, автор познакомился с архивным фондом Климовского (№ 115) в Государственном Центральном театральном музее имени Бахрушина, что находится на одной из старых улиц Москвы.

Знакомство с небольшим фондом (всего 11 единиц хранения) было полезным, так как позволило добавить к портрету артиста весьма существенные штрихи.

Своей родиной Климовский считал Украину. "Господи! Неужели в самом деле мне суждено увидеть нынешний год мою милую родину - мою дорогую Малороссию..." - записывал он в дневнике своем 12 апреля 1859 года. (Значит, в приятеле-артисте Шевченко видел еще и земляка - обстоятельство немаловажное).

Дневники Климовского вводят нас в мир интересов, мыслей, чувств актера и человека, который с середины пятидесятих годов переживал подъем и духовных, и человеческих сил.

Вот несколько записей 1857 года:

"...Я еду играть на Нижегородский театр - условия заключил с тамошней дирекцией хорошие... Кажется, можно будет кое-что собрать и для будущего нашего малютки. Новый город, новая публика! Ох, что то будет???"

"...Дебютировал не блестяще, но очень удачно... Здешняя театралка медемуазель Голынская... аплодировала мне. Улыбывав, известный критик Моцарта, говорят, был доволен мною".

"...25-го августа господь дал нам с Олей дочь - Машу".

"...С роли Ивана из драмы "Суд людской - не божий" Потехина начались мои успехи чисто актерские..."

Даты над записями подводили к дням, когда начались - и приобрели регулярность - встречи Климовского с Шевченко. Но как раз в месяцы их общения дневника он не вел - или записывал памятное в другой тетради, до нас не дошедшей.

Бывает же такое...

Привлекла внимание "Книга для памяти о добрых людях". Не повезло с дневником, так может повезет с альбомом?

Стихи Евгения Баратынского - собственноручные, посвящены сыну...

Листок из лаврового венка, поднесенного Фанни Эйслер после одного из спектаклей...

Автограф Никколо Паганини - не описанный, не известный, истинная редкость...

"Два слова, друг мой: без меня будь счастлив ты и не забудь меня..." Пустенькие альбомные стишки, но писала Екатерина Пиунова - та, к которой влекло Шевченко. Климовский ценил ее - не случайна приписка: "весьма даровитая актриса".

Переворачиваю страницу - стихи иного характера, отнюдь не безобидные:

Пить велит сама природа. Посмотри! все люди пьют! Короли пьют кровь народа, А попы кровь божью пьют. Люд чиновный пьет бесчинно Сок металла золотой. Мы же, пьяницы, с тобою Только водку пьем невинно Да и то, мой друг, с водой...

Такое, естественно, могло распространяться только в потаенных списках...

Долго вглядывался я в небольшой рисунок в альбоме - на нем, вероятно, Климовский. Дольше обычного держал его в руках - подносил к глазам, отодвигал от глаз, в общем, рассматривал с особым вниманием. Не Шевченко ли набросок? К зарисовке еще надо возвратиться...

"ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА" ДРУЖБЫ

Имя Сухомлинова упоминается в дневнике, и потому, обнаружив его в списках фондообразователей архива Академии наук СССР в Ленинграде, я не преминул затребовать описи.

Надежда не обманула. Одна из "единиц хранения" (Ф. 101.- Он. 1.- Д. 98), содержащая всего четыре фотографии, порадовала меня изображением Тараса Шевченко. Это была репродукция его нижегородского автопортрета.

Дарственная надпись на отпечатке оказалась воспроизведенной не полностью. Прочсть удалось только следующее: "...рому другу моему Михайлов..."

Оригинал, выполненный итальянским и белым карандашом, я увидел позднее - в Киеве, в Государственном музее Т. Г. Шевченко. Лист, на котором рисовал художник, был поврежден. Кто-то из прежних владельцев обрезал его края. От чернильной надписи внизу остались едва заметные следы.

Однако оказалась в музее и фотография. "Родная сестра" той, которая обнаружилась в Ленинграде. То самое изображение, та самая надпись: "...рому другу моему Михайлов..."

Сухомлинова звали Михаилом Ивановичем. Но не его имел в виду Шевченко, выводя имя на оригинале, а Михаила Матвеевича. Знакомого и приятеля еще с Оренбурга - Лазаревского...

..."В 8-мь часов вечера проводил своего хозяина Овсянникова в Петербург..." - записал он 4 января 1858 года.

Павел Абрамович Овсянников, должностное лицо и акционер пароходного общества "Меркурий", ехал в столицу, чтобы произвести покупку вещей, "потребных для отделки малых пассажирских пароходов". (ЦГИА СССР.-Ф. 101.-Он. 1.-Д. 684.-Л. 49).

Шевченко воспользовался поездкой приятеля как оказией и переслал с ним несколько писем: М. С. Щепкину, С. Т. Аксакову, М. А. Максимовичу, М. М. Лазаревскому, П. А. Кулишу и еще, вероятно, А. И. Толстой (хотя это, в отличие от предыдущих, датировано не 4-м, а 2-м января). Овсянников увез с собою автографы поэмы "Неофгги", возможно некоторые другие стихотворения, а также шевченковский автопортрет.

Сей, последний, предназначался Лазаревскому. И как тот был тронут! "Спасибг тобг, велике спасибг мш милий, мой золотой Тарасе, за твой подарок: твое п о л и ч ь е. Ты не мог выдумать лучшего подарка, и я ему так рад, что не знаю, как и благодарить тебя".

Лазаревский позаботился о распространении автопортрета среди знакомых. Искренне благодарил его Шевченко за изготовление пятидесяти фотоотпечатков "помянутого образа", выражая удовлетворение тем, что хоть таким образом земляки получают возможность видеть "сей облик бородатого недобитого кобзаря своего". Снимки использовались и для сбора средств, в которых Шевченко нуждался.

Сам же он, получив несколько оттисков, отправил их И. А. Ускову, Я. Г. Кухаренко и другим близким людям.

...Такова история фотографии, которая отыскалась в фонде Михаила Ивановича Сухомлинова - историка литературы, профессора русской словесности Петербургского университета, впоследствии академика. Личное знакомство с ним Шевченко состоялось по приезде поэта в столицу, а уже в мае он провожал ученого в длительную заграничную командировку, которая закончилась лишь в сентябре 1860-го.

Автопортрет стал "визитной карточкой" дружбы.

В Москве более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии...

Т. Шевченко

Он пробыл здесь с 10 по 26 марта.

Каждый из московских дней был
полон встреч - интересных, важных.

Из биографии

Дневник, 10 марта 1858 года:

"В три часа пополудни 8 марта оставил Нижний на санях, а во Владимир приехал 9-го ночью на телеге. Кроме этого весьма обыкновенного явления в настоящее время года, ничего особенного не случилось..."

Случилось, конечно, большее: закончилось нижегородское перепутье.

Дорога вела в Москву.

Ключ к тетради московской, заполнять которую лишь предстоит (не сейчас - в дальнейшем), отыскал я в Ленинграде, в не раз упомянутом мною с благодарностью Отделе рукописей Пушкинского Дома, в деле № 9 десятой описи фонда Р-1, или, проще говоря, в секретных бумагах графа Арсения Андреевича Закревского, московского военного генерал-губернатора, а до этого министра внутренних дел и члена верховного уголовного суда по делу декабристов.

"Список подозрительных лиц в Москве"... Тридцать фамилий...

Шевченко среди них нет: в октябре 1858 года, когда список составлялся, поэта в Москве не было. И вообще - пребывание его в этом городе носило характер быстротечный.

Но почему, читая и перечитывая "Список", не перестаешь думать о нем, только что отбывшем свою десятилетнюю солдатчину, и в этом, в пятьдесят восьмом, всей душой устремленном навстречу будущему? Отчего то и дело взгляд задерживается на фамилиях, адресах, характеристиках - одного... другого... третьего?..

Да ведь это люди из дневника Шевченко, из переписки его, из других достоверных источников, связанных с биографией Кобзаря!..

"В 7 часов утра... пустился отыскивать своего друга М. С. Щепкина. Нашел его у старого Пимена в доме Щепотьевой и у него поселился..."

(Первая московская страница - и уже на ней имя человека из "Списка подозрительных...": великого артиста России. "Желает переворотов и на все готовый..." Тарас Григорьевич едва дождался рассвета, "чтобы отправиться в Воротницкий переулок - по адресу, известному не только ему, а и жандармам). ...Вечером (следующего дня.- Л. Б.) ...сошел я Увниз... где встретил несколько человек гостей, и между ними Кетчера, Бабста и Афанасьева, с которыми тут и познакомил меня хозяин..." (Еще две фамилии из "черного списка": Кетчер и Бабст. Первые новые знакомые в Москве - из тех же неблагонадежных, что и человек, в гости к которому они пришли).

..."Потом заехали в книжный магазин Н. Щепкина, где мне Якушкин подарил портрет знаменитого Николая Новикова..."

(Оба названные участники поездки, о которой говорится в записи 18 марта, а именно Николай Щепкин и Евгений Якушкин, также у властей на подозрении: один "действует одинаково с отцом", другой - сын декабриста, и добавим, гордится этим.

Они - и эти двое, и те, о ком шла речь ранее,- становятся неизменными московскими спутниками поэта, их имена на дневниковых страницах встречаются постоянно).

..."В 9-ть часов (цитирую запись от 25 марта.- Л. Б.) с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Кошелеву, где встретился и познакомился с Хомяковым..."

(Все четверо - подряд, один за другим - открывают список лиц, за которыми по мнению властей надлежало следить недреманным оком. И следили: службу свою ищейки царя знали).

На московских страницах фигурируют и цензор Круже, и "стремящийся к возмущению" Погодин. Но, встречаясь в те дни со многими, Шевченко поименно называет лишь какую-то часть своих новых знакомых. Потом, в Петербурге, продолжая ежедневные записи, он упомянет и других, Закревскому подозрительных. Источники мемуарные этот список удлинляют еще более...

Случайность? Непреднамеренное совпадение?

Совпадение очевидное, но случайным его не назовешь.

"Я встретился и познакомился с ними, как с давно знакомыми родными людьми",- записал Шевченко 24 марта, после пира "московской учено-литературной знаменитости" по случаю новоселья книжного магазина Н. М. Щепкина.

Давно знакомыми... Он знал о них, он хотел с ними встретиться, он стремился узнать этих людей ближе - о том говорят и дневниковые записи, и переписка, и воспоминания людей, которые с поэтом общались.

Его привлекали не просто отдельные лица (хотя некоторых, как, например, М. С. Щепкина, не выделить невозможно). Привлекала вся московская прогрессивная политическая среда.

Я возвращаюсь к тому же архивному делу с секретными бумагами графа Закревского - извлекаю из него еще один документ, написанный рукою информатора осведомленного.

"По разным слухам и секретным негласным дознаниям можно предположить, что так называемые славянофилы составляют у нас тайное политическое общество.

Славянофилы появились после Польской револю.-ции, в виде литературного общества любителей русской старины. Центр этого общества - Москва. Литературные органы его:

1. Русская беседа; редактор Кошелев, главные сотрудники Хомяков, Аксаков и Самарин.

2. Сельское благоустройство, отдел Русской беседы; редактор и сотрудники те же.

Денежный двигатель общества - Кокорев, под-; держанный множеством купцов нового поколения, которых славянофилы всячески к себе привлекают. Общество славянофилов развивает общинные или демократические начала. Оно составлено из лиц разных сословий - дворян, чиновников, купцов, мещан, людей духовного звания и ученых.

Вредное по своему составу и началам, общество это надеется на какое-ю покровительство и смело распространяет круг своих действий. Прежде оно имело своим органом одно периодическое издание - Московский Сборник, выходивший непостоянно и остановленный изданием в 1853 году.

Кроме помянутых двух журналов, необходимо обратить строгое внимание высшей цензуры и на следующие, издаваемые также в Москве:

1. Русский вестник. Редакторы Катков и Леонтьев. Цензор фон Крузе.
2. Атеней. Редактор Корш, сотрудники Кетчер и другие. Цензор также фон-Крузе.

3. Московские ведомости. Редактор Корш.

Все эти издания расходятся в большом числе экземпляров, читаются пылкою неопытною молодежью и дают направление общему мнению.

Элементы, которые могут послужить неблагонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве, следующие:

1. Крестьянский вопрос - орудие для возбуждения крестьян против помещиков, а последних против правительства.

2. Бессрочно-отпускные нижние чины.

3. Раскольники. Им стараются внушать, что они напрасно надеются на милосердие царя, а должны ожидать всего от перемены образа правления.

4. Фабричный народ. Этот класс людей давно готовится уже к беспорядкам разными иностранными механиками и мастерами на фабриках.

5. Театральные представления. Актер Щепкин, на одном из своих вечеров, подал мысль, чтобы авторы писали пиесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена, и дарили эти пиесы бедным артистам на бенефисы.

6. Распространение сочинений Герцена. В прошедшем году, во время ярмарки в Нижнем Новгороде, и в продолжение зимы один из сыновей Щепкина уезжал несколько раз из Москвы и, как говорят, развозил несколько тысяч экземпляров запрещенных сочинений на русском языке. В настоящее время, как слышно, тайные агенты заняты распространением изданной Герценом книги - "Толкование евангелия".

...Независимо от степени полноты, достоверности и четкости характеристик, которые в документе содержатся, глубины проникновения автора записки в суть славянофильства и других явлений общественной жизни 50-х годов, очевидной даже произвольности и субъективности трактовки ряда важных вопросов, ныне изученных, - независимо от всего этого, приведенная здесь "бумага" представляется интересной и значительной. Уж если Закревский и его подручные пришли к выводу о существовании в Москве тайного политического общества, то почему не мог о таком обществе думать Шевченко, стремившийся после ссылки как можно скорее окунуться в жизнь кипучую? Тем, надо полагать, и объясняется тяготение поэта к людям, в которых московский генерал-губернатор видел "злонамеренных возмутителей", "желающих беспорядков" и вообще "готовых на все".

Вот в этом я вижу "ключ" к пониманию настроений, мыслей и планов, с которыми въезжал Шевченко в Москву мартовским днем 1858 года.

То были важные дни его жизни. Дни на пороге Петербурга и новых славных дел... Заслуживают они повествования особого.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Путь Т. Г. Шевченко из ссылки, продолжавшийся почти восемь месяцев и пролеглий через Астрахань, Волгу, Нижний Новгород, Москву, занимает важное место в биографии великого сына Украины. Поэт-революционер, надолго оторванный от активной общественно-политической деятельности, смог в кратчайшее время вновь приобщиться к тому главному, чем жила Россия и что волновало умы передовых

людей, окунуться в бурное течение прогрессивной мысли и сказать свое страстное поэтическое слово, знаменовавшее возвращение его в авангард несломленных и нестигаемых бойцов за дело народа.

Из первых уст - от участников событий - узнал Шевченко правду о только что закончившейся тогда Крымской войне, которая с новой силой выявила героизм, благородство народа и, в такой же мере, гнилость царского строя.

Не понаслышке, косвенно, а непосредственно и прямо соприкоснулся он с судьбой декабристов: одни стали его личными знакомыми, о других поведали близкие к ним люди; поэт (преувеличения тут нет) на несколько месяцев оказался в атмосфере декабризма.

В эти же месяцы Шевченко получил возможность прильнуть к живому ключу потаенной поэзии и бесцензурной журналистики - прежде всего, изданиям Герцена и Огарева.

Он познакомился, подружился с людьми, которые знали (и поддерживали) Чернышевского, Добролюбова, были связаны с кружками Белинского, Грановского, Станкевича, находились на стержне передовой общественной мысли.

Своими глазами Шевченко увидел, всем сердцем почувствовал остроту борьбы за решение большого и больного вопроса - освобождения миллионных масс крестьян от кабалы крепостничества.

Перед взором поэта раскрывались капиталистические предприятия, впервые воочию увиденные им на Волге.

Все более расширялись связи его с представителями различных классов, сословий, групп: лучше, полнее узнал рабочих и чиновников, медиков и артистов, предпринимателей и моряков, крестьян и учителей.

Шевченко пережил радость надежд и горечь прозрения, новую любовь и новое разочарование.

И все это на пути (правда, затянувшемся пути) из ссылки...

В повествовании, которое вы дочитываете, рассказать удалось не обо всем. То, что достаточно полно освещено другими, автором не обойдено (возник бы пробел), но и не "развернуто" (к чему повторяться?) Упор, как прежде, был сделан на поиск, сообщение, анализ преимущественно новых или малоизвестных, главным образом архивных, материалов, и, как читатель мог уже убедиться, их оказалось немало. Но уверен, не меньше (если не больше) того пребывает пока под спудом. Источниковедческая основа изучения шевченковской биографии, шевченковского творчества должна расширяться. Год от года, день ото дня - и все упорнее, изобретательнее, с использованием всех возможных средств и методов той науки, которую можно окрестить как литературоведческая эвристика.

Исключительная важность рассматриваемых месяцев не может быть понята и оценена без глубокого